ЧИНГИЗ
АЙТМАТОВ

И дольше века длится день...



АЗБУКА-КЛАССИКА

И дольше века длится день... [Буранный полустанок]

Чингиз Айтматов

Аннотация
Чингиз Айтматов. И дольше века длится день....
Буранный полустанок
Вся правда, девять лет спустя...
От автора
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Аннотация

Самый верный путь к творческому бессмертию — это писать с точки зрения вечности. Именно с этой позиции пишет свою прозу Чингиз Айтматов, классик русской и киргизской литературы, лауреат престижнейших премий. В 1980 г. публикация романа «И дольше века длится день…» (тогда он вышел под названием «Буранный полустанок») произвела фурор среди читающей публики, а за Чингизом Айтматовым окончательно закрепилось звание «властителя дум». Автор знаменитых произведений, переведенных на десятки мировых языков повестей-притч «Белый пароход», «Прощай, Гульсары!», «Пегий пес, бегущий краем моря», он создал тогда новое произведение, которое сегодня, спустя десятилетия, звучит трагически актуально и которое стало мостом к следующим притчам Ч. Айтматова — романам «Плаха» и «Тавро Кассандры».

Едигей — главный герой романа, железнодорожный рабочий, проживший

практически всю жизнь на разъезде Боранлы-Буранный, затерявшемся в безбрежных сарозекских степях, и в этом суровом краю укоренились только двое — Едигей и его друг Казангап. И вот Казангапу пришло время умирать. Потеряв лучшего друга, Едигей решает похоронить его на старинном кладбище Ана-Бейит, овеянном множеством легенд и преданий. Одновременно в художественную ткань романа вплетается другая сюжетная линия, связанная с установлением контакта с внеземной цивилизацией, планетой Лесная Грудь, которая ушла далеко вперед в своем развитии.

Чингиз Айтматов
И дольше века длится день…
Буранный полустанок

Вся правда, девять лет спустя…

В принципе, я не любитель разного рода приложений к литературному тексту типа предисловий, послесловий и т. п. Художественное произведение должно быть абсолютно законченным объектом и по форме и по сути, как живопись или как музыка, т. е. само за себя говорящим, воспринимаемым без подсобных комментариев. Однако в практике бывают оказии, когда поневоле приходится прибегать к предварительному слову, чтобы внести ясность в некоторые вопросы.

Именно такого рода случаи, касающиеся судеб моих книг, дважды, имели место в моей творческой жизни, когда я по своей воле счел нужным обратиться к жанру предисловия. Прочитав предложенное предисловие к повести «Лицом к лицу», читатель, надеюсь, поймет, чем это было вызвано. Надеюсь также, что предисловие, сохраняемое к первоначальному изданию «И дольше века длится день», объяснит читателю во многом вынужденность тогдашнего предварения.

Здесь же я хотел бы остановиться главным об-

разом на истории романа «И дольше века длится день», увидевшего свет девять лет тому назад на страницах журнала «Новый мир». Начну с того, что осложнения романа на пути в свет начались с первых шагов. Первозданное, родное, если можно так выразиться, название книги было «Обруч». Имелся в виду «обруч» манкуртовский, трансформированный в обруч космический, «накладывавшийся на голову человечества» сверхдержавами в процессе соперничества на мировое господство… Однако цензура быстро раскусила смысл такого названия книги, потребовала найти другое наименование, и тогда я остановился на строке из Шекспира в переводе Пастернака: «И дольше века длится день». Исходил при этом из того, что лучше поступиться названием, чем содержанием. Но в «Роман-газете» и в издательстве «Молодая гвардия» и такое название не нашло согласия. Потребовали более упрощенное, «соцреалистическое» название — и тогда явился на свет «Буранный полустанок», в «роман-газетном» варианте с литературными купюрами мест, показавшихся идеологически сомнительными. Шел я на это скрепя сердце, выбирая наименьшее из зол. Главным было опубликовать книгу. Не поставить ее под удар фа-

натичной вульгаризированной критики. Теперь эти дела в прошлом, но тогда идеология являла собой доминирующую силу.

Но вот прошли годы. Из демагогии, политического фарса свобода превратилась в действительность. Тем временем роман «И дольше века длится день» множество раз издавался и переиздавался и в стране и особенно за рубежом. И никто из читателей, столь горячо принявших роман, не подозревал, как сокрушался я в душе всякий раз на больших публичных встречах, ибо в романе было описано далеко не все, что я намерен был сказать. Не без оснований я избегал включать в повествование те события, которые явно не могли быть проходящими по цензурным соображениям.

Эта внутренняя авторская неудовлетворенность, недосказанность, копившаяся многие годы, обида на обстоятельства и на самого себя, однако же нашли, наконец, свое разрешение — я решился на трудное дело — дописать к уже сложившемуся в читательском мире произведению новые главы, выношенные и выстраданные за многие годы. Эдакое случается редко, если вообще имеет прецедент…

Но такова оказалась судьба этой книги. Новые

главы — интегрированная повесть к роману — «Белое облако Чингисхана». Хотелось бы, чтобы читатели сами рассудили, стоило ли автору так долго мучиться, так долго держать в тени от недремлющего идеологического ока задуманные главы.

Как бы то ни было книга теперь в полном составе. Какое-то время в новых переизданиях интегрированная повесть будет соседствовать с прежним названием романа «И дольше века длится день» и в скобках («Белое облако Чингисхана»). Этот сопроводительный подзаголовок, думаю, со временем исчерпает свое назначение.

А пока до новых встреч, дорогие читатели. Не взыщите…

Чингиз Айтматов
Москва, сентябрь 1990 г.

От автора

Общеизвестно: трудолюбие — одно из непременных мерил достоинства человека.

В этом смысле Едигей Жангельдин, Буранный Едигей, так еще называют его знающие люди, поистине настоящий труженик. Он один из тех, на которых, как говорится, земля держится. Он связан со своей эпохой, насколько я могу полагать, наикрепчайшим образом, и в том его сущность — он сын своего времени.

Именно поэтому для меня было важно, обращаясь к проблемам, затронутым в романе, увидеть мир через его судьбу — фронтовика, железнодорожного рабочего. И я попытался это сделать в доступной мне мере. Образ Буранного Едигея — это мое отношение к коренному принципу социалистического реализма, главным объектом исследования которого был и остается человек труда.

Однако я далек от абсолютизации самого понятия «труженик» лишь потому, что он «простой, натуральный человек», усердно пашет землю или пасет скот. В столкновении вечного и текущего в

жизни человек-труженик интересен и важен настолько, насколько он личность, насколько богат его духовный мир, насколько сконцентрировано в нем его время. Вот я и пытался поставить Буранного Едигея в центр современного мне миропорядка, в центр волнующих меня проблем.

Буранный Едигей не только труженик от природы и по роду занятий. Он человек трудолюбивой души. Человек трудолюбивой души будет задавать себе вопросы, на которые у других всегда есть готовый ответ, поэтому они лениво делают какое-то дело, даже когда делают его хорошо, и живут, только потребляя.

Людей же трудолюбивой души будто соединяет некое братство — они всегда способны отличить один другого и понять, а если не понять, то задуматься. Наше время дает им столько пищи для размышлений, как никакое не давало никогда. Цепочка человеческой памяти уже тянется с Земли в космос.

Должно быть, самое трагическое противоречие конца XX века заключается в беспредельности человеческого гения и невозможности реализовать его из-за политических, идеологических, расовых барьеров, порожденных империализмом.

В условиях сегодняшнего дня, когда не про-

сто появляются технические возможности для стабильного выхода в космос, но когда экономические и экологические нужды человечества властно требуют осуществления этой возможности, разжигание розни между народами, растрачивание материальных ресурсов и мозговой энергии на гонку вооружений есть самое чудовищное из преступлений против человека.

Только разрядка международной напряженности может считаться прогрессивной политикой сегодня. Более ответственной задачи на свете нет.

Если человечество не научится жить в мире, оно погибнет.

Атмосфера недоверия, настороженности, конфронтации есть одна из самых опасных угроз спокойной и счастливой жизни человечества.

Люди могут быть терпимы друг к другу, но они не могут мыслить одинаково, оставаясь при этом людьми, сохраняя свои человеческие качества. Желание лишить человека его индивидуальности издревле и до наших дней сопровождало цели имперских, империалистических, гегемонистских притязаний.

Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое

место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем.

Как и в прежних своих произведениях, и в этот раз я опираюсь на легенды и мифы, на предания как на опыт, предназначенный нам в наследство предыдущими поколениями. И вместе с тем впервые в своей писательской практике прибегаю к использованию фантастического сюжета. И то и другое для меня не самоцель, а лишь метод мышления, один из способов познания и интерпретации действительности.

Разумеется, события, связанные с описаниями контактов с внеземной цивилизацией, и все то, что происходит по этой причине, не имеют под собой решительно никакой реальной почвы. Нигде на свете не существуют в действительности сарозекские и невадские космодромы. Два различных мира — две различные системы взяты здесь мною вне исторической реальности, совершенно условно, как правило игры. Вся «космологическая» история вымышлена мной с одной лишь целью — заострить в парадоксальной, гиперболизированной форме ситуацию, чреватую потенциальными опасностями для

людей на земле.

Страшный парадокс этого мира: в Древней Греции прекращались войны на время Олимпийских игр, а сегодня Олимпиада стала для некоторых стран поводом для «холодной войны».

Что касается значения фантастического вымысла, то еще Достоевский писал: «Фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти поверить ему».

Достоевский точно сформулировал закон фантастического. Действительно, мифология ли древних, фантастический ли реализм Гоголя, Булгакова или Маркеса, научная ли фантастика — при всей их разности все они убедительны именно в силу своего соприкосновения с реальным. Фантастическое укрупняет какие-то из сторон реального и, задав «правила игры», показывает их философски обобщенно, до предела стараясь раскрыть потенциал развития выбранных его черт.

Фантастическое — это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения. Метафоры сделались особенно необходимыми в наш век не только из-за вторжения научно-технических свершений в область

вчерашней фантастики, но скорее потому, что фантастичен мир, в котором мы живем, раздираемый противоречиями — экономическими, политическими, идеологическими, расовыми.

Вот я и хочу, чтобы сарозекские метафоры моего романа напомнили еще раз трудящемуся человеку о его ответственности за судьбу нашей земли…

И книга эта — вместо моего тела,
И слово это — вместо души моей...

Григор Нарекаци, «Книга скорби», X век

I

Требовалось большое терпение в поисках добычи по иссохшим буеракам и облысевшим логам. Выслеживая запутанные до головокружения, суетливые пробежки мелкой землеройной твари, то лихорадочно разгребая сусликовую нору, то выжидая, чтобы притаившийся под обмыском старой промоины крохотный тушканчик выпрыгнул наконец на открытое место, где его можно было бы придавить в два счета, мышкующая голодная лисица медленно и неуклонно приближалась издали к железной дороге, той темнеющей ровнопротяженной насыпной гряде в степи, которая ее и манила и отпугивала одновременно, по которой то в одну, то в другую сторону, тяжко содрогая землю окрест, проносились громыхающие поезда, оставляя по себе с дымом и гарью сильные раздражающие запахи, гонимые по земле ветром.

К вечеру лисица залегла пообочь телеграфной линии на дне овражка, в густом и высоком островке сухостойного конского щавеля и, свернувшись рыже-палевым комком подле темно-красных,

густо обсеменившихся стеблей, терпеливо дожидалась ночи, нервно прядая ушами, постоянно прислушиваясь к тонкому посвисту понизового ветра в жестко шелестящих мертвых травах. Телеграфные столбы тоже нудно гудели. Лиса, однако, их не боялась. Столбы всегда остаются на месте, они не могут преследовать.

Но оглушительные шумы периодически пробегающих поездов всякий раз заставляли ее напряженно вздрагивать и еще крепче вжиматься в себя. От гудящего пода всем своим хрупким тельцем, ребрами она ощущала эту чудовищную силу землепроминающей тяжеловесности и яростности движения составов и все-таки, превозмогая страх и отвращение к чуждым запахам, не уходила из овражка, ждала своего часа, когда с наступлением ночи на путях станет относительно спокойнее.

Она прибегала сюда крайне редко, только в исключительно голодных случаях…

В перерывах между поездами в степи наступала внезапная тишина, как после обвала, и в той абсолютной тишине лисица улавливала в воздухе настораживающий ее какой-то невнятный высотный звук, витавший над сумеречной степью, едва слышный, никому не принадлежа-

щий. То была игра воздушных течений, то было к скорой перемене погоды. Зверек инстинктивно чувствовал это и горько замирал, застывал в неподвижности, ему хотелось взвыть в голос, затявкать от смутного предощущения некой общей беды. Но голод заглушал даже этот предупреждающий сигнал природы.

Зализывая намаянные в беготне подушечки лап, лиса лишь тихонько поскуливала.

В те дни вечерами уже холодало, дело шло к осени. По ночам же почва быстро выхолаживалась, и к рассвету степь покрывалась белесым, как солончак, налетом недолговечного инея. Скудная, безотрадная пора приближалась для степного зверя. Та редкая дичь, что держалась в этих краях летом, исчезала кто куда — кто в теплые края, кто в норы, кто подался на зиму в пески. Теперь каждая лисица промышляла себе пропитание, рыская в степи в полном одиночестве, точно бы начисто перевелось на свете лисье отродье. Молодняк того года уже подрос и разбежался в разные стороны, а любовная пора еще была впереди, когда лисы начнут сбегаться зимой отовсюду для новых встреч, когда самцы будут сшибаться в драках с такой силой, какой наделена жизнь от сотворения мира…

С наступлением ночи лисица вышла из овражка. Выждала, вслушиваясь, и потрусила к железнодорожной насыпи, бесшумно перебегая то на одну, то на другую сторону путей. Здесь она выискивала объедки, выброшенные пассажирами из окон вагонов. Долго ей пришлось бежать вдоль откосов, обнюхивая всяческие предметы, дразнящие и отвратительно пахнущие, пока не наткнулась на что-то мало-мальски пригодное. Весь путь следования поездов был засорен обрывками бумаги и скомканных газет, битыми бутылками, окурками, искореженными консервными банками и прочим бесполезным мусором. Особенно зловонным был дух из горлышек уцелевших бутылок — разило дурманом. После того как раза два закружилась голова, лисица уже избегала вдыхать в себя спиртной воздух. Фыркала, отскакивала сразу в сторону.

А того, что ей требовалось, ради чего она так долго готовилась, перебарывая собственный страх, как назло, не встречалось. И в надежде, что еще удастся чем-то подкормиться, лиса неутомимо бежала по железной дороге, то и дело шмыгая с одной стороны насыпи на другую.

Но вдруг она замерла на бегу, приподняв переднюю лапу, точно бы застигнутая чем-то

врасплох. Растворяясь в чалом свете высокой мглистой луны, она стояла между рельсами как призрак, не шелохнувшись. Настораживающий ее далекий гул не исчез. Пока он был слишком далек. Все так же держа хвост на отлете, лиса нерешительно ступила с ноги на ногу, собираясь убраться с путей. Но вместо этого вдруг заторопилась, принялась шнырять по откосам, все еще надеясь наткнуться на нечто такое, чем можно было бы поживиться. Чуяла — вот-вот налетит на находку, хотя неотвратимо надвигались лязг и перестук сотен колес. Лиса замешкалась всего на какую-то долю минуты, и этого оказалось достаточно, чтобы она заметалась, закувыркалась, как ошалевший мотылек, когда вдруг с поворота полоснули ближние и дальние огни спаренных цугом локомотивов, когда мощные прожекторы, высветляя и ослепляя всю впереди лежащую местность, на мгновение выбелили степь, безжалостно обнажая ее мертвенную сушь. А поезд сокрушительно катил по рельсам. В воздухе запахло едкой гарью и пылью, ударил ветер.

Лисица опрометью кинулась прочь, то и дело оглядываясь, припадая в страхе к земле. А чудовище с бегущими огнями долго еще грохотало и проносилось, долго еще стучало колесами.

Лисица вскакивала и снова бросалась бежать со всех ног…

Потом она отдышалась, и ее опять потянуло туда, к железной дороге, где можно было бы утолить голод. Но впереди на линии снова завиднелись огни, снова пара локомотивов тащила длинный груженый состав.

Тогда лисица побежала в обход по степи, решив, что выйдет к железной дороге в таком месте, где не ходят поезда…

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана…

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

В полночь кто-то долго и упорно добирался к нему в будку стрелочника, вначале прямо по шпалам, потом с появлением встречного поезда впереди, скатившись вниз с откоса, пробивался, как в пургу, заслоняясь руками от ветра и пыли,

выносимых шквалом из-под скоростного товарняка (то следовал зеленой улицей литерный состав — поезд особого назначения, который уходил затем на отдельную ветку в закрытую зону Сары-Озек-1, там у них своя, отдельная путевая служба, уходил на космодром, короче говоря, потому поезд шел весь укрытый брезентами и с воинской охраной на платформах). Едигей сразу догадался, что это жена спешила к нему, что неспроста спешит и что есть на то какая-то очень серьезная причина. Так оно потом и оказалось. Но по долгу службы он не имел права отлучиться с места, пока не прокатился мимо последний хвостовой вагон с кондуктором на открытой площадке. Они посигналили друг другу фонарями в знак того, что все в порядке на пути, и только тогда полу-оглохший от сплошного шума Едигей обернулся к подоспевшей жене:

— Ты чего?

Она тревожно глянула на него и шевельнула губами. Едигей не расслышал, но понял — он так и думал.

— Пошли сюда от ветра. — Он повел ее в будку.

Но прежде чем услышать из ее уст то, что он уже сам предполагал, в ту минуту почему-то поразило его совсем другое. Хотя и прежде он примечал,

что дело шло к старости, но в этот раз оттого, как задыхалась она после быстрой ходьбы, как надсадно хрипело и сипело в ее груди и как при этом неестественно высоко вздымались обхудевшие плечи, ему стало обидно за нее. Сильный электрический свет в железнодорожной будке вдруг резко обнаружил глубокие и никогда не исчезавшие уже морщины на синюшно потемневших щеках Укубалы (а была ведь литой смуглянкой ровного пшеничного оттенка, и глаза всегда сияли черным блеском), и еще эта щербатость рта, лишний раз убеждающая, что даже отжившей свой бабий век женщине никак не следует быть беззубой (давно надо было свозить ее на станцию вставить эти самые металлические зубы, теперь все, и стар и млад, ходят с такими), и ко всему тому седые, уже белым-белые пряди волос, разметавшиеся по лицу из-под опавшего платка, больно резануло по сердцу. «Эх, как постарела ты у меня», пожалел он ее в душе с щемящим чувством вины. И оттого еще больше проникся молчаливой благодарностью, явившейся за все сразу, за все то, что было пережито вместе за многие годы, и особенно за то, что прибежала сейчас по путям, среди ночи, в самую дальнюю точку разъезда из уважения и из долга, потому что зна-

ла, как это важно для Едигея, прибежала сказать о смерти несчастного старика Казангапа, одинокого старца, умершего в пустой глинобитной мазанке, потому что понимала — только Едигей один на свете близко к сердцу примет кончину всеми покинутого человека, хотя покойник и не доводился мужу ни братом, ни сватом.

— Садись, отдышись, — сказал Едигей, когда они вошли в будку.

— И ты садись, — сказала она мужу.

Они сели.

— Что случилось?

— Казангап умер.

— Когда?

— Да вот только что заглянула — как он там, думаю, может, чего требуется. Вхожу, свет горит, и он на своем месте, и только борода торчком как-то, задралась кверху. Подхожу. Казаке, говорю, Казаке, может, вам чаю горячего, а он уже… — Голос ее пресекся, слезы навернулись на покрасневших и истончившихся веках, и, всхлипнув, Укубала тихо заплакала. — Вот как оно обернулось под конец. Какой человек был! А умер — некому оказалось глаза закрыть, — сокрушалась она, плача. — Кто бы мог подумать! Так и помер человек… — Она собиралась сказать

— как собака на дороге, но промолчала, не стоило уточнять, и без того было ясно.

Слушая жену, Буранный Едигей, так прозывался он в округе, прослужив на разъезде Боранлы-Буранный от тех дней еще, как вернулся с войны, сумрачно сидел на приставной лавке, положив тяжелые, как коряги, руки на колени. Козырек железнодорожной фуражки, изрядно замасленной и потрепанной, затенял его глаза. О чем он думал?

— Что будем делать теперь? — промолвила жена.

Едигей поднял голову, глянул на нее с горькой усмешкой.

— Что будем делать? А что делают в таких случаях! Хоронить будем. — Он привстал с места, как человек, уже принявший решение. — Ты вот что, жена, возвращайся побыстрей. А сейчас слушай меня.

— Слушаю.

— Разбуди Оспана. Не смотри, что начальник разъезда, неважно, перед смертью все равны. Скажи ему, что Казангап умер. Сорок четыре года проработал человек на одном месте. Оспан, может, тогда еще и не родился, когда Казангап начинал здесь и никакую собаку ни за какие

деньги не затянуть было тогда сюда, на сарозеки. Сколько поездов прошло тут на веку его — волос не хватит на голове… Пусть он подумает. Так и скажи. И еще слушай:

— Слушаю.

— Буди всех подряд. Стучи в окошки. Сколько нас тут народу — восемь домов, по пальцам перечесть… Всех подними на ноги. Никто не должен спать сегодня, когда умер такой человек. Всех подними на ноги.

— А если ругаться начнут?

— Наше дело известить каждого, а там пусть ругаются. Скажи, что я велел будить. Надо совесть иметь. Постой!

— Что еще?

— Забеги вначале к дежурному, сегодня Шаймерден сидит диспетчером, передай ему, что и как, и скажи, пусть подумает, как быть. Может, найдет мне замену на этот раз. Если что, пусть даст знать. Ты поняла меня, так и скажи!

— Скажу, скажу, — отвечала Укубала, а потом спохватилась, как бы вспомнив вдруг о самом главном, непростительно забытом ею. — А дети-то его! Вот те на! Надо же им первым долгом весть послать, а то как же? Отец умер…

Едигей нахмурился отчужденно при этих сло-

вах, еще больше посуровел. Не отозвался.

— Какие ни есть, но дети есть дети, — продолжала Укубала оправдывающим тоном, зная, что Едигею это неприятно слушать.

— Да знаю, — махнул он рукой. — Что ж я, совсем не соображаю? Вот то-то и оно, как можно без них, хотя, будь моя воля, я бы их близко не допустил!

— Едигей, то не наше дело. Пусть приедут и сами хоронят. Разговоров будет потом, век не оберешься…

— А я что, мешаю? Пусть едут.

— А как сын не поспеет из города?

— Поспеет, если захочет. Позавчера еще, когда был на станции, сам телеграмму отбил ему, что, мол, так и так, отец твой при смерти. Чего еще больше! Он себя умным считает, должен понять, что к чему…

— Ну, если так, то еще ладно, — неопределенно примирилась жена с доводами Едигея и, все еще думая о чем-то своем, тревожащем ее, проговорила:

— Хорошо бы с женой заявился, все-таки свекра хоронить, а не кого-нибудь…

— Это уж сами пусть решают. Как тут подсказывать, не малые же дети.

— Да, так-то оно, конечно, — все еще сомневаясь, соглашалась Укубала.

И они замолчали.

— Ну, ты не задерживайся, иди, — напомнил Едигей. У жены, однако, было еще что сказать:

— А дочь-то его — Айзада горемычная — на станции с мужем своим, забулдыгой беспробудным, да с детьми, ей ведь тоже надо успеть на похороны.

Едигей невольно улыбнулся, похлопал жену по плечу.

— Ну вот, ты теперь начнешь переживать за каждого… До Айзады тут рукой подать, с утра подскочит кто-нибудь на станцию, скажет. Прибудет, конечно. Ты, жена, пойми одно — и от Айзады, и от Сабитжана тем более, пусть он и сын, мужчина, толку будет мало. Вот посмотришь, приедут, никуда не денутся, но будут стоять как гости сторонние, а хоронить будем мы, так уж получается… Иди и делай, как я сказал.

Жена пошла, потом остановилась нерешительно и снова пошла. Но тут окликнул ее сам Едигей:

— Не забудь перво-наперво к дежурному, к Шаймердену, пусть кого-то пошлет вместо меня, я потом отработаю. Покойник лежит в пустом

доме, и рядом никого, как можно… Так и скажи…

И жена пошла, кивнув. Тем временем на дистанционном щите загудел, заморгал красным светом сигнализатор — к разъезду Боранлы-Буранный приближался новый состав. По команде дежурного предстояло принять его на запасную линию, чтобы пропустить встречный, тоже находящийся у входа в разъезд, только у стрелки с противоположного конца. Обычный маневр. Пока поезда продвигались по своим колеям, Едигей оглядывался урывками на уходящую краем линии Укубалу, точно бы он забыл что-то еще сказать ей. Сказать, конечно, было что, мало ли дел перед похоронами, всего сразу не упомнишь, но оглядывался он не поэтому, просто именно сейчас он обратил внимание с огорчением, как состарилась, ссутулилась жена в последнее время, и это очень заметно было в желтой дымке тусклого путевого освещения.

«Стало быть, старость уже на плечах сидит, — подумалось ему. — Вот и дожили — старик и старуха!» И хотя здоровьем бог его не обидел, крепок был еще, но счет годам набегал немалый — шестьдесят, да еще с годком, шестьдесят один было уже. «Глядишь, года через два и на пенсию могут попросить», сказал Едигей себе не без на-

смешки. Но он знал, что не так скоро уйдет на пенсию и не так просто найти человека в этих краях на его место — обходчика путей и ремонтного рабочего, стрелочником он бывал от случая к случаю, когда кто-то заболевал или уходил в отпуск. Разве что кто позарится на дополнительную оплату за отдаленность и безводность? Но вряд ли. Поди таких сыщи среди нынешней молодежи.

Чтобы жить на сарозекских разъездах, надо твердый дух иметь, а иначе сгинешь. Степь огромна, а человек невелик. Степь безучастна, ей все равно, худо ли, хорошо ли тебе, принимай ее такую, какая она есть, а человеку не все равно, что и как на свете, и терзается он, томится, кажется, что где-то в другом месте, среди других людей ему бы повезло, а тут он по ошибке судьбы… И оттого утрачивает он себя перед лицом великой неумолимой степи, разряжается духом, как тот аккумулятор с трехколесного мотоцикла Шаймердена. Хозяин все бережет его, сам не ездит и другим не дает. Вот и стоит машина без дела, а как надо — не заводится, иссякла заводная сила. Так и человек на сарозекских разъездах: не пристанет к делу, не укоренится в степи, не приживется — трудно устоять будет. Иные, глядя из вагонов

мимоходом, за голову хватаются — господи, как тут люди могут жить?! Кругом только степь да верблюды! А вот так и живут, у кого на сколько терпения хватает. Три года, от силы четыре продержится — и делу тамам[1]: рассчитывается и уезжает куда подальше…

На Боранлы-Буранном только двое укоренились тут на всю жизнь — Казангап и он, Буранный Едигей. А сколько перебывало других между тем! О себе трудно судить, жил не сдавался, а Казангап отработал здесь сорок четыре года не потому, что дурнее других был. На десяток иных не променял бы Едигей одного Казангапа… Нет теперь его, нет Казангапа…

Поезда разминулись, один ушел на восток, другой на запад. Опустели на какое-то время разъездные пути Боранлы-Буранного. И сразу все обнажилось вокруг — звезды с темного неба засветились вроде сильнее, отчетливее, и ветер резвее загудел по откосам, со шпалам, по гравийному настилу между слабо позванивающими, пощелкивающими рельсами.

Едигей не уходил в будку. Задумался, прислонился к столбу. Далеко впереди, за железной

---

[1] Примечания: 1
Тамам — конец.

дорогой, различил смутные силуэты пасущихся в поле верблюдов. Они стояли под луной, застыв в неподвижности, пережидали ночь. И среди них различил Едигей своего двугорбого, крупноголового нара — самого сильного, пожалуй, в сарозеках и быстроходного, прозывающегося, как и хозяин, Буранным Каранаром. Едигей гордился им, редкой силы животное, хотя и нелегко управляться с ним, потому что Каранар оставался атаном — в молодости Едигей его не кастрировал, а потом не стал трогать.

Среди прочих дел на завтра припомнил для себя Едигей, что надо с утра пораньше пригнать Каранара домой, поставить под седловище. Пригодится для поездок на похоронах. И еще приходили в голову разные заботы…

А на разъезде люди пока еще спокойно спали. С примостившимися с одного края путей небольшими станционными службами, с домами под одинаковыми двускатными шиферными крышами, их было шесть, сборно-щитовых построек, поставленных железнодорожным ведомством, да еще дом Едигея, построенный им самим, и мазанка покойного Казангапа, да разные надворные печурки, пристройки, камышитовые загороди для скота и прочей надобности, в центре ветровая

и она же универсальная электронасосная и при случае ручная водокачка, появившаяся здесь в последние годы, — вот и весь поселочек Боранлы-Буранный.

Весь как есть при великой железной дороге, при великой Сары-Озекской степи, маленькое связующее звено в разветвленной, как кровеносные сосуды, системе других разъездов, станций, узлов, городов… Весь как есть, как на духу, открытый всем ветрам на свете, особенно зимним, когда метут сарозекские вьюги, заваливая дома по окна сугробами, а железную дорогу холмами плотного мерзлого свея… Потому и назывался этот степной разъезд Боранлы-Буранный, и надпись висит двойная: Боранлы — по-казахски, Буранный — по-русски…

Вспомнилось Едигею, что до того, как появились на перегонах всевозможные снегоочистители — и пуляющие снег струями, и сдвигающие его по сторонам килевыми ножами, и прочие, — пришлось им с Казангапом побороться с заносами на путях, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. А вроде бы совсем недавно это было. В пятьдесят первом, пятьдесят втором годах — какие лютые зимы стояли. Разве только на фронте приходилось так, когда жизнь употреблялась

на одноразовое дело — на одну атаку, на один бросок гранаты под танк… Так и здесь бывало. Пусть никто тебя не убивал. Но зато сам убивался. Сколько заносов перекидали вручную, выволокли волокушами и даже мешками выносили снег наверх, это на седьмом километре, там дорога проходит низом сквозь прорезанный бугор, и каждый раз казалось, что это последняя схватка с метельной круговертью и что ради этого можно не задумываясь отдать к чертям эту жизнь, только бы не слышать, как ревут в степи паровозы — им дорогу давай!

Но снега те растаяли, поезда те промчались, те годы ушли… Никому и дела нет теперь до того. Было — не было. Теперешние путейцы прибывают сюда наездами, шумливые типы — контрольно-ремонтные бригады, так они не то что не верят, не понимают, в голову не могут себе взять, как это могло быть: сарозекские заносы — и на перегоне несколько человек с лопатами! Чудеса! А среди них иные в открытую смеются: а зачем это надо было — такие муки брать на себя, зачем было гробить себя, с какой стати! Нам бы такое — ни за что! Да пошли вы к такой-то бабушке, поднялись бы — и на другое место, на худой конец, на стройку-матку двинулись бы или еще куда, где все как

положено. Столько-то отработали — столько-то плати. А если аврал — собирай народ, гони сверхурочные… «На дурняка выезжали на вас, старики, дураками и помрете!..»

Когда встречались такие «переоценщики», Казангап не обращал на них внимания, точно бы это его не касалось, усмехался только, будто бы он знал про себя нечто большее, им недоступное, а Едигей — тот не выдерживал, взрывался, бывало, спорил, только кровь себе портил.

А ведь между собой у них с Казапгапом случались разговоры и о том, над чем посмеивались теперь приезжие типы в контрольно-ремонтных спецвагонах, и о многом другом еще и в прежние годы, когда эти умники наверняка еще без штанов бегали, а они тогда еще обмозговывали житье-бытье, насколько хватало разумения, и потом постоянно, срок-то был великий от тех дней — с сорок пятого года, и особенно после того, как вышел Казангап на пенсию, да как-то неудачно получилось: уехал в город к сыну на житье и вернулся месяца через три. О многом тогда потолковали, как и что оно на свете. Мудрый был мужик Казангап. Есть о чем вспомнить… И вдруг понял Едигей с совершенной ясностью и острым приступом нахлынувшей горечи, что

отныне остается только вспоминать…

Едигей поспешил в будку, услышав, как щелкнул, включился микрофон переговорника. Зашуршало, зашипело, как в пургу, в этом дурацком устройстве, прежде чем голос раздался.

— Едике, алло, Едике, — просипел Шаймерден, дежурный по разъезду, — ты слышишь меня? Отзовись!

— Я слушаю! Слышу!

— Ты слышишь?

— Слышу, слышу!

— Как слышишь?

— Как с того света!

— Почему как с того света?

— Да так!

— А-а… Стало быть, старик Казангап того самого!

— Чего того самого?

— Ну, умер, значит. — Шаймерден тщился найти подходящие к случаю слова. — Ну как сказать? Стало быть, завершил, того самого, ну, это самое, свой славный путь.

— Да, — коротко ответил Едигей.

«Вот хайван[2] безмозглый, — подумал он, — о

---

[2] Примечания: 2
Хайван — скотина.

смерти даже не может сказать по-людски».

Шаймерден примолк на минутку. Микрофон еще сильнее разразился шорохом, скрипом, шумом дыхания. Затем Шаймерден прохрипел:

— Едике, дорогой, только ты, того самого, голову мне не морочь. Если умер, то что ж теперь… У меня людей нет. Чего тебе понадобилось сидеть рядом? Покойник, того самого, от этого не подымется, как я думаю…

— А я думаю, понятия у тебя никакого нет! — возмутился Едигей. — Что значит — голову не морочь! Ты здесь второй год, а мы с ним тридцать лет проработали вместе. Ты подумай. Среди нас человек умер, нельзя, не положено оставлять покойника одного в пустом доме.

— А откуда ему знать, того самого, один он или не один?

— Зато мы знаем!

— Ну ладно, не шуми, того самого, не шуми, старик!

— Я тебе объясняю.

— Ну что ты хочешь? У меня людей нет. Что там будешь делать, все равно ночь кругом.

— Буду молиться. Покойника буду обряжать. Молитвы буду приносить.

— Молиться? Ты, Буранный Едигей?

— Да, я. Я знаю молитвы.

— Вот те раз — шестьдесят лет, того самого, советской власти.

— Да ты оставь, при чем тут советская власть! По умершим молятся люди испокон веков. Человек ведь умер, а не скотина!

— Ну ладно, молись, того самого, только не шуми. Пошлю за Длинным Эдильбаем, если согласится, то придет, того самого, заступит вместо тебя… А сейчас давай, сто семнадцатый подходит, готовь на вторую запасную…

И на том Шаймерден отключился, щелкнул выключатель переговорника. Едигей поспешил к стрелке и, занимаясь своим делом, думал, согласится ли, придет ли Эдильбай. И обнадежился, совесть-то есть у людей, когда увидел, как ярко засветились окна в некоторых домах. Собаки залаяли. Значит, жена тревожит, поднимает боранлинцев на ноги.

Тем временем сто семнадцатый встал на запасную линию. С другого конца подошел нефтеналивной состав — одни цистерны. Они разминулись, один — на восток, другой — на запад…

Был уже второй час ночи. Звезды в небе разгорались, каждая звезда выделялась сама по себе.

И луна засветила над сарозеками чуть ярче, наполняясь постепенно приливающей силой. А под звездным небом далеко, беспредельно простерлись сарозеки, только контуры верблюдов — и среди них двугорбый великан Буранный Каранар — да смутные очертания ближайших привалов были различимы, а все остальное по обе стороны железной дороги уходило в ночную бесконечность. Да ветер не спал, все посвистывал, шуршал вокруг сором.

Едигей то входил, то выходил из будки, ждал, не покажется ли на путях Длинный Эдильбай. И тут он увидел в стороне зверька какого-то. То оказалась лисица. Глаза ее отсвечивали зеленоватым мигающим переливом. Она понуро стояла под телеграфным столбом, не собираясь ни приближаться, ни убегать.

— Ты чего тут! — пробормотал Едигей, шутливо пригрозив пальцем. Лиса не испугалась. — Ты смотри! Я тебя! — И притопнул ногой.

Лисица отскочила подальше и села, оборотившись к нему. Пристально и скорбно смотрела она, как казалось ему, не сводя глаз, то ли на него, то ли на что-то другое возле него. Что ее могло привлекать, почему она появилась здесь? То ли огни электрические приманили, то ли с голоду

пришла? Странным показалось Едигею ее поведение. А почему бы не пристукнуть каменюкой, раз такое дело, коли добыча сама в руки просится. Едигей нашарил на земле камень покрупней. Примерился и, замахнувшись, опустил руку. Выронил камень под ноги. Даже пот прошиб. Надо же, чего только не приходит человеку в голову! Чушь какая-то! Собираясь прибить лису, вспомнил вдруг, как кто-то рассказывал, то ли кто из тех приезжих типов, то ли фотограф, с которым о боге беседовал, то ли еще кто-то, да нет же, Сабитжан рассказывал, будь он неладен, вечно у него разные чудеса, лишь бы ему внимали, лишь бы поразить других. Сабитжан, сын Казангапа, рассказывал о посмертном переселении душ.

Вот ведь выучили на свою голову болтуна никчемного. На первый взгляд — вроде ничего малый. Все-то он знает, все-то он слышал, только толку мало от всего этою. Учили, учили по интернатам, по институтам, а человечек получился не ахти. Похвалиться любит, выпить, тосты говорить мастак, а дела нет. Пустышка, одним словом, оттого и жидковат против Казангапа, хотя и дипломом козыряет. Нет, не удался, не в отца пошел сын. Но бог с ним, что ж делать, какой есть.

Так вот, как-то рассказывал он, что в Индии

верят в учение, по которому считается, что если человек умирает, то душа его переселяется в какую-нибудь живую тварь, в любую, пусть даже то муравей. И считается, что человек когда-то, еще до своего рождения, побывал до этого птицей, или зверем каким, или насекомым. Поэтому у них грех убить животину, пусть даже змея, кобра, встретится на пути человеку, не тронет ее, а лишь поклонится и уступит дорогу.

Каких только чудес нет на свете. Насколько все это верно, кто его знает. Мир велик, а человеку не все дано знать. Вот и подумалось, когда хотел пристукнуть камнем лису: а что, если в ней отныне душа Казангапа? Что, если, переселившись в лису, пришел Казангап к своему лучшему другу, потому что в мазанке после его смерти пусто, безлюдно, тоскливо?.. «Из ума выживаю никак! — укорял он себя. — И как может такое придуматься? Тьфу ты! Оглупел вконец!»

И все-таки, подступая осторожно к лисице, он говорил ей, точно она могла понимать его речь:

— Ты иди, не место тебе здесь, иди к себе в степь. Слышишь? Иди, иди. Только не туда — там собаки. Ступай с богом, иди себе в степь.

Лисица повернулась и потрусила прочь. Раз-два оглянувшись, она исчезла во тьме.

Между тем к разъезду подходил очередной железнодорожный состав. Погромыхивая, поезд постепенно замедлил ход, неся с собой мерцающую мглу движения — летучую пыль над верхами вагонов. Когда он остановился, из локомотива, сдержанно гудящего холостыми оборотами двигателей, выглянул машинист:

— Эй, Едике, Буранный, ассалам алейкум!

— Алеейкум ассалам!

Едигей задрал голову, чтобы получше разглядеть, кто бы это мог быть. На этой трассе они все знали друг друга, свой оказался парень. С ним и передал Едигей, чтобы на Кумбеле, на узловой станции, где жила Айзада, сообщили ей о смерти отца. Машинист охотно согласился выполнить эту просьбу из уважения к памяти Казангапа, тем более на Кумбеле пересмена поездных бригад, и обещал даже на обратном пути подвезти Айзаду с семьей, если она к тому времени поспеет.

Человек был надежный. Едигей почувствовал даже облегчение. Значит, одно дело сделано.

Поезд тронулся через несколько минут, и, прощаясь с машинистом, Едигей увидел, что кто-то долговязый шел к нему краем полотна, вдоль набирающего ход состава. Едигей вгляделся, то был Эдильбай.

Пока Едигей сдавал смену, пока они с Длинным Эдильбаем поговорили о случившемся, повздыхали, повспоминали Казангапа, на Боранлы-Буранный вкатилась и разминулась здесь еще пара поездов. И когда, освободившись от всех этих дел, Едигей пошел домой, вспомнил по дороге наконец-то, что позабыл давеча напомнить жене, вернее посоветоваться, как же быть, дочерям-то своим да зятьям как сообщить о кончине старика Казангапа. Две замужние дочери Едигея жили совсем в другой стороне — под Кзыл-Ордой. Старшая в рисоводческом совхозе, муж ее тракторист. Младшая жила вначале на станции под Казалинском, потом переехала с семьей поближе к сестре, в тот же совхоз, муж ее работал шофером. И хотя Казангап не приходился им родным человеком, на похороны которого полагается непременно прибыть, Едигей считал, что Казангап был для них дороже, чем любой другой родственник. Дочери народились при нем в Боранлы-Буранном. Здесь выросли, учились в школе, в станционном интернате в Кумбеле, куда отвозили их поочередно то сам Едигей, то Казангап. Вспомнил девчушек. Вспомнил, как на каникулы или с каникул возили их верхом на верблюде. Младшая впереди, отец посередине,

старшая сзади — и поехали все втроем. Часа три, а зимой так и дольше, рысцой размашистой бежал Каранар от Боранлы-Буранного до Кумбеля. А когда Едигею некогда было, отвозил их Казангап. Он был им как отец. Едигей решил, что утром надо дать им телеграмму, а там как сумеют… Но пусть знают, что нет больше старика Казангапа…

Потом он шел и думал о том, что утром первонаперво надо пригнать с выпаса своего Каранара, очень он нужен будет. Умереть не просто, а похоронить человека честь по чести в этом мире тоже нелегко… Обнаруживается всегда, что того нет, этого нет, что все нужно добывать в спешном порядке, начиная от савана и кончая дровами для поминок.

Именно в тот момент в воздухе что-то колыхнулось, напомнило, как бывало на фронте, отдаленный удар мощной взрывной волны, и земля содрогнулась под ногами. И он увидел прямо перед собой, как далеко в степи, в той стороне, где располагался, насколько ему было известно, Сарозеккосмонав-томский космодром, что-то взлетело в небо сплошь пламенеющим, вырастающим ввысь огненным смерчем. И оторопел — в космос поднималась ракета. Такого он еще никогда не видывал. Он знал, как все сарозек-

цы, о существовании космодрома Сары-Озек-1, то было отсюда километрах в сорока или чуть поменьше, знал, что туда проброшена отдельная железнодорожная ветка от станции Тогрек-Там, и рассказывали даже, что в той стороне в степи возник большой город с большими магазинами, слышал бесконечно по радио, в разговорах, читал в газетах о космонавтах, о космических полетах. Все это происходило где-то поблизости, во всяком случае, на концерте самодеятельности в областном городе, где жил Сабитжан, а город этот находился куда дальше — около полутора суток езды поездом, — детишки хором пели песенку о том, что они самые счастливые дети на свете, потому что дяди космонавты уходят в космос с их земли; но поскольку все, что окружало космодром, считалось закрытой зоной, Едигей, живя не так далеко от этих мест, довольствовался тем, что слышал и узнавал стороной. И вот впервые наблюдал воочию, как стремительно вздымалась в бушующем напряженном пламени, озаряя округу трепещущими сполохами света, космическая ракета в темную, звездную высь. Едигею стало не по себе — неужто в том огнище сидит человек? Один или двое? И почему, постоянно живя здесь, он никогда раньше не видел момента

взлета, ведь сколько раз уже летели в космос, со счета собьешься. Может быть, в те разы корабли улетали днем. При солнечном свете с такого расстояния вряд ли что различишь. А этот-то почему рванул ночью? Значит, к спеху или так положено? А возможно, он поднимается от земли ночью, а там сразу попадает в день? Сабитжан как-то рассказывал, словно сам там побывал, что в космосе будто бы через каждые полчаса сменяются день и ночь. Надо порасспросить Сабитжана. Сабитжан все знает. Очень уж хочется ему быть всезнающим, важным человеком. Как-никак в областном городе работает. Ну не прикидывался бы. К чему? Кто ты есть, тем и будь. «Я с тем-то был, с большим человеком, я тому-то то-то сказал». А Длинный Эдильбай рассказывал — попал он к нему как-то раз на службу. Только и бегает, говорит, наш Сабитжан от телефонов к дверям кабинета в приемной, только успевает: «Слушаюсь, Альжапар Кахарманович! Есть, Альжапар Кахарманович! Сию минуту, Альжапар Кахарманович!» А тот, говорит, сидит там в кабинете и все кнопками погоняет. Так и не поговорили между собой толком… Вот такой он, говорит, оказался, наш землячок боранлинский. Да бог с ним, какой уж есть… Жаль только Казангапа. Он ведь очень

переживал за сына. До самых последних дней не говорил о нем ничего худого. Переехал даже было в город к сыну да снохе на житье, сами же его упросили, сами же увозили, а что получилось… Ну, это отдельный разговор…

С такими мыслями уходил Едигей той глубокой ночью, проводив космическую ракету до самого полного ее исчезновения. Долго следил он за этим чудом. И когда огненный корабль, все сжимаясь и уменьшаясь, канул в черную бездну, превратившись в белую туманную точечку, он покрутил головой и пошел, испытывая странные, противоречивые чувства. Восхищаясь увиденным, он в то же время понимал, что для него это постороннее дело, вызывающее и удивление и страх. Вспомнилась при этом вдруг та лисица, которая прибегала к железной дороге. Каково-то ей стало, когда застиг ее в пустой степи этот смерч в небе. Не знала, наверно, куда себя девать…

Но сам-то он, Буранный Едигей, свидетель ночного взлета ракеты в космос, не подозревал, да и не полагалось ему знать, что то был экстренный, аварийный вылет космического корабля с космонавтом — без всяких торжеств, журналистов и рапортов, в связи с чрезвычайным происшествием на космической станции «Паритет»,

находившейся уже более полутора лет по совместной советско-американской программе на орбите, условно называемой «Трамплин». Откуда Едигею было знать обо всем этом. Не подозревал он и о том, что это событие коснется и его, его жизни, и не просто по причине нерасторжимой связи человека и человечества в их всеобщем значении, а самым конкретным и прямым образом. Тем более не знал он и не мог предполагать, что некоторое время спустя вслед за кораблем, стартовавшим с Сары-Озека, на другом конце планеты, в Неваде, поднялся с космодрома американский корабль с той же задачей, на ту же станцию «Паритет», на ту же орбиту «Трамплин», только с иным ходом обращения.

Корабли были срочно посланы в космос по команде, поступившей с научно-исследовательского авианосца «Конвенция», являвшегося плавучей базой объединенного советско-американского центра управления программы «Демиург».

Авианосец «Конвенция» находился в районе своего постоянного местопребывания — в Тихом океане, южнее Алеутских островов, в квадрате примерно на одинаковом расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско. Объединенный центр

управления — Общенупр — в это время напряженно следил за выходом обоих кораблей на орбиту «Трамплин». Пока все шло успешно. Предстояли маневры по стыковке с комплексом «Паритет». Задача была наисложнейшая, стыковка должна была происходить не последовательно, одна вслед за другой с необходимым интервалом очередности, а одновременно, совершенно синхронно с двух разных подходов к станции. «Паритет» не реагировал на сигналы Общенупра с «Конвенции» уже свыше двенадцати часов, не реагировал он и на сигналы кораблей, идущих к нему на стыковку… Предстояло выяснить, что произошло с экипажем «Паритета».

II

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…

По сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана…

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

От разъезда Боранлы-Буранный до родового найманского кладбища Ана-Бейит было по меньшей мере километров тридцать в сторону от железной дороги, и то при условии, если путь держать напрямик, наугад по сарозекам. Если же не рисковать, чтобы не заплутаться, случаем, в степи, то лучше ехать обычной колеей, что все время сопутствует железной дороге, но тогда расстояние до кладбища еще больше увеличится. Придется делать добрый крюк до поворота от Кыйсыксайской пади на Ана-Бейит. Иного выхода нет. Вот и получается в лучшем

случае тридцать верст в один конец да столько же в другой. Но, кроме самого Едигея, никто из нынешних боранлинцев толком и не знал, как туда добираться, хотя слышать слышали о том старинном Бейите, о котором рассказывали всякие истории, то ли были, то ли небылицы, но самим пока не доводилось туда наезжать. Нужды такой не возникало. За многие годы это был первый случай в Боранлы-Буранном, придорожном поселочке из восьми домов, когда умер человек и предстояли похороны. До этого несколько лет назад, когда в одночасье скончалась девочка от грудного удушья, родители увезли ее хоронить к себе на родину, в Уральскую область. А жена Казангапа, старушка Букей, покоилась на станционном погосте в Кумбеле — умерла в тамошней больнице несколько лет назад, ну и решили тогда на станции и схоронить. Везти покойницу в Боранлы-Буранный не было смысла. А Кумбель — самая большая станция в Сары-Озеках, к тому же дочь Айзада проживает там да зять, пусть и непутевый, выпивающий, но все же свой человек. За могилкой, мол, присматривать будут. Но тогда жив был Казангап, он сам решал, как ему поступить.

А теперь думали-гадали, как быть.

Едигей, однако, настоял на своем.

— Да бросьте вы неджигитские речи, — урезонил он молодых. — Хоронить такого человека будем на Ана-Бейите, там, где предки лежат. Там, где завещал сам покойный. Давайте от слов к делу перейдем, готовиться будем. Путь предстоит не близкий. Завтра с утра пораньше двинемся…

Все понимали — Едигей имел право принять решение. На том и согласились. Правда, Сабитжан пробовал было возразить. Подоспел он в тот день попутным товарняком, пассажирские поезда здесь не задерживались. И то, что прибыл на похороны отца, хотя и не знал, жив еще тот или нет, уже одно это растрогало и даже обрадовало Едигея. И были минуты, когда они обнялись и плакали, объединенные общим горем и печалью. Едигей потом удивлялся себе. Прижимая Сабитжана к груди и плача, он не мог совладать с собою, все говорил, всхлипывая. «Хорошо, что ты приехал, родимый, хорошо, что ты приехал!» — точно бы его приезд мог воскресить Казангапа. И чего Едигей так расплакался, сам не мог понять, никогда с ним такого не случалось. Долго они плакали во дворе, у дверей осиротевшей мазанки казангаповской. Что-то подействовало на Едигея. Вспомнилось, что Сабитжан вырос у него на

глазах, мальчонкой был, любимцем отца был, возили его учиться в кумбельскую школу-интернат для детей железнодорожников, как выпадало свободное время, наезжали проведать — то попутным составом, то верхами на верблюдах. Как он там, в общежитии, не обидел ли кто, не натворил ли дел каких недозволенных, да как учится, да что говорят о нем учителя… А на каникулах сколько раз, укутав в шубу, увозили верхами по снежным сарозекам, в мороз да вьюгу, чтобы только не опоздал на занятия.

Эх, безвозвратные дни! И все это ушло, уплыло, как сон. И вот теперь стоит взрослый человек, лишь отдаленно напоминающий того, каким он был в детстве — пучеглазый и улыбчивый, а теперь в очках, в широкополой приплющенной шляпе, при галстуке. Работает теперь в областном городе и очень хочет казаться значительным, большим работником, а жизнь штука коварная, не так-то просто выйти в начальники, как сам он не раз жаловался, если нет поддержки хорошей да знакомства или родства, а кто он — сын какого-то Казангапа с какого-то разъезда Боранлы-Буранного. Вот несчастный-то! Но теперь и такого отца нет, самый никудышный отец, да живой, в тысячу раз лучше прославленного мерт-

вого, но теперь и такого нет…

А потом слезы унялись. Перешли к разговорам, к делу. И тут обнаружилось, что сынок-то милый, всезнающий, не хоронить приехал отца, а только отделаться, прикопать как-нибудь и побыстрей уехать. Стал он мысли такие высказывать — к чему, мол, тащиться в эдакую даль на Ана-Бейит, вокруг вон сколько простора — безлюдная степь Сары-Озек от самого порога и до самого края света. Можно же вырыть могилу где-нибудь неподалеку, на пригорочке каком, сбоку железнодорожной линии, пусть лежит себе старый обходчик да слышит, как поезда бегут по перегону, на котором он проработал всю свою жизнь. Припомнил даже к случаю поговорку давнишнюю: избавление от мертвого в погребении скором. К чему тянуть, зачем мудрить, не все ли равно, где быть зарытым, в деле таком чем быстрей, тем лучше.

Рассуждал он таким образом, а сам вроде бы оправдывался, что дела у него срочные да важные ждут на работе и времени в обрез, известное дело, начальству какая забота, далеко ли, близко ли здесь кладбище, велено явиться на службу в такой-то день, в такой-то час, и все тут. Начальство есть начальство, и город есть город…

Едигей выругал себя в душе старым дураком.

Стыдно и жаль стало, что плакал навзрыд, растроганный появлением этого типа, пусть и сына покойного Казангапа. Едигей поднялся с места, сидели они человек пять на старых шпалах, приспособленных вместо скамеек у стены, и ему пришлось собрать немало сил своих, чтобы только сдержаться, не наговорить при людях в такой день чего обидного, оскорбительного. Пощадил память Казангапа. Сказал только:

— Места-то вокруг полно, конечно, сколько хочешь. Только почему-то люди не закапывают своих близких где попало. Неспроста, должно быть. А иначе земли, что ли, жалко кому? — И замолчал, и его молча слушали боранлинцы. Решайте, думайте, а я пойду узнаю, как там дела.

И пошел с потемневшим, неприязненным лицом подальше от греха. Брови его сошлись на переносице. Крут он был, горяч — Буранным прозвали еще и за то, что характером был тому под стать. Вот и сейчас, будь они наедине с Сабитжаном, высказал бы в бесстыжие глаза все, что тот заслуживал. Да так, чтобы запомнил на всю жизнь! Но не хотелось в бабьи разговоры лезть. Женщины вот шушукаются, возмущаются — приехал, мол, сынок хоронить отца как в гости. С пустыми руками в карманах. Хоть бы

пачку чая привез, не говоря уж о другом. Да и жена, сноха-то городская, могла бы уважить, приехать, поплакать и попричитать, как заведено. Ни стыда, ни совести. Когда старик был жив да при достатке — пара дойных верблюдиц, овец с ягнятами полтора десятка, — тогда он был хорош. Тогда она наезжала, пока не добилась, чтобы все было продано. Увезла старика вроде к себе, а сами понакупили мебели да машину заодно, а потом и старик оказался ненужным. Теперь и носа не кажет. Хотели было женщины шум поднять, да Едигей не позволил. Не смейте, говорит, и рта и раскрывать в такой день, и не наше это дело, пусть сами разбираются…

Он зашагал к загону, возле которого стоял на привязи, изредка, но сердито покрикивая, пригнанный им с выпаса Буранный Каранар. Если не считать того, что раза два приходил Каранар с гуртом воды напиться из колодца у водокачки, то почти целую неделю днями и ночами гулял он на полной свободе. От рук отбился, злодей, и вот теперь выражал свое недовольство — свирепо разевая зубатую пасть, вопил время от времени: старая история — снова неволя, а к ней надо привыкать.

Едигей подошел к нему раздосадованный по-

сле разговора с Сабитжаном, хотя заранее знал, что так оно и убудет. Получалось — Сабитжан делал им одолжение, присутствуя на похоронах собственного отца. Для него это обуза, от которой надо суметь побыстрей отвязаться. Не стал Едигей тратить лишних слов, не стоило того, поскольку так и так приходилось делать все самому, да вот и соседи не остались в стороне. Все, кто не был занят на линии, помогали в приготовлениях к завтрашним похоронам и поминкам. Женщины посуду собирали по домам, самовары надраивали, тесто месили и уже начали хлебы печь, мужчины носили воду, распиливали на дрова отслужившие свой срок старые шпалы — топливо в голой степи всегда первейшая надобность, как и вода. И только Сабитжан мельтешился тут, отвлекая от дел, разглагольствовал о том о сем, кто на какой должности в области, кого сняли с работы, кого повысили. А то, что жена его не приехала хоронить свекра, это его нисколько не смущало. Чудно, ей-богу! У нее, видите ли, какая-то конференция, а на ней должны присутствовать какие-то зарубежные гости. А о внуках и речи нет. Они там борются за успеваемость и посещаемость, чтобы аттестат получить в лучшем виде для поступления в институт. «Что за люди

пошли, что за народ! — негодовал в душе Едигей. — Для них все важно на свете, кроме смерти!» И это не давало ему покоя: «Если смерть для них ничто, то, выходит, и жизнь цены не имеет. В чем же смысл, для чего и как они живут там?» Едигей в сердцах накричал на Каранара: — Ты чего орешь, крокодил? Ты чего орешь в небо, как будто там тебя сам бог слышит? — Крокодилом обзывал Едигей своего верблюда в самых крайних случаях, когда уж совсем выходил из себя. Это приезжие путейцы придумали Буран-ному Каранару такую кличку за зубатую пасть его и злой норов. — Ты у меня докричишься, крокодил, я тебе все зубы пообломаю!

Надо было соорудить седло на верблюде, и, приступая к делу, Едигей понемногу отошел, смягчился. Залюбовался. Красив и могуч был Буранный Каранар. До головы рукой не дотянешся, хотя Едигей был росту достаточного. Едигей изловчился, пригнул верблюду шею и, постукивая кнутовищем по мозолистым коленям, внушая строгим голосом, осадил его. Громко протестуя, верблюд все же подчинился воле хозяина, и, когда наконец, сложив под себя ноги, он прилег грудью на землю и успокоился, Едигей принялся за дело.

Оседлать верблюда по-настоящему — это боль-

шая работа, все равно что дом построить Седло сооружается каждый раз заново, сноровка должна быть, да и силы немалые, тем более если седлаешь такого громадного верблюда, как Каранар.

Каранаром, то есть Черным наром, он прозывался неспроста. Черная патлатая голова с черной, росшей до загривка мощной бородой, шея понизу вся в черных космах, свисающих до коленей густой дикой гривой — главное украшение самца, — пара упругих горбов, возвышающихся, как черные башни, на спине. И в завершение всего — черный кончик куцего хвоста. А все остальное — верх шеи, грудь, бока, ноги, живот — было светлое, светло-каштановой масти. Тем и пригож был Буранный Каранар, тем и славен — и статью и мастью. И сам он в ту пору находился в самой атановской зрелости — третий десяток шел Каранару от роду.

Верблюды долго живут. Оттого, наверно, детенышей рожают на пятом году и затем не каждый год, а лишь в два года раз, и плод вынашивают в утробе дольше всех животных — двенадцать месяцев. Верблюжонка, самое главное, выходить в первые год-полтора, чтобы уберечь от простуды, от сквозняка степного, а потом он растет день ото

дня, и тогда ничто ему не страшно — ни холод, ни жара, ни безводье…

Едигей знал толк в этом деле — содержал Буранного Каранара всегда в справности. Первый признак здоровья и силы — черные горбы на нем торчали как чугунные. Когда-то Казангап подарил ему верблюжонка еще молочным, махоньким, пушистым, как утенок, в те годы первоначальные, когда вернулся Едигей с войны да обосновался на разъезде Боранлы-Буранном. А сам Едигей молодой был еще — куда там! Знать не знал, что пребудет здесь до стариковских седин. Иной раз глянет на те фотографии и сам не верит себе. Здорово изменился — сивым стал. Даже брови и те побелели. В лице, конечно, изменился. А телом не потяжелел, как бывает в таком возрасте. Как-то само по себе получилось — вначале усы отрастил, потом бороду. А теперь вроде никак без бороды, все равно что голым ходить. Целая история минула, можно сказать, с тех пор.

Вот и сейчас, оседлывая Каранара, лежащего на земле, приструнивал его то голосом, то намахом руки, когда тот нет-нет да и огрызался, рявкая, как лев, подворачивая черную патлатую голову на длиннющей шее, Едигей между делом припоминал сегодня, что было да как было в те годы. И

отходил душой…

Долго он возился, все укладывал, отлаживал сбрую. В этот раз, прежде чем устроить седло, он накрыл Каранара лучшей выездной попоной старинной работы, с разноцветными длинными кистями, с ковровыми узорами. Уж и не помнил, когда в последний раз украшал он Каранара этой редкой сбруей, ревниво сберегаемой Укубалой. Выпал теперь такой случай…

Когда Буранный Каранар был оседлан, Едигей заставил его подняться на ноги и остался очень доволен. И даже возгордился своей работой. Каранар выглядел внушительно и величественно, украшенный попоной с кистями и мастерски сооруженным седлом между горбами. Нет, пусть полюбуются молодые, особенно Сабитжан, пусть поймут: похороны достойно прожившего человека не обуза, не помеха, а великое, пусть и горестное событие и тому должны быть свои подобающие почести У одних играют музыку, выносят знамена, у других палят в воздух, у третьих цветами путь устилают и венки несут…

А он, Буранный Едигей, завтра с утра возглавит верхом на Каранаре, убранном попоной с кистями, путь на Ана-Бейит, провожая Казангапа к его последнему и вечному приюту… И всю дорогу

Едигей будет думать о нем, пересекая великие и пустынные сарозеки. И с мыслями о нем предаст его земле на родовом кладбище, как и был у них о том уговор. Да, был такой уговор. Далеко ли, близко ли путь держать, но никто не разубедит его в том, что нужно выполнить волю Казангапа, даже родной сын покойного…

Пусть все знают, что быть посему, и для этой цели его Каранар готов — оседлан и обряжен сбруей.

Пусть все видят. Едигей повел Каранара на поводу от загона вокруг всех домов и поставил на привязь возле казангаповской мазанки. Пусть все видят. Не может он, Буранный Едигей, не сдержать своего слова. Только напрасно он это доказывал. Пока Едигей занимался сбруей, Длинный Эдильбай, улучив момент, отозвал Сабитжана в сторону:

— Пошли-ка в тенек потолкуем.

Там у них разговор состоялся недолгий. Эдильбай не стал уговаривать, высказался напрямик:

— Ты вот что, Сабитжан, возблагодари бога, что есть такой Буранный Едигей на свете, друг твоего отца. И не мешай нам похоронить человека как положено. А спешишь, мы тебя не держим. Я за тебя брошу лишнюю горсть земли!

— Это мой отец, и я сам знаю… — начал было Сабитжан, но Эдильбай перебил его на полуслове:

— Отец-то твой, да только вот ты сам не свой.

— Ну ты скажешь, — пошел на попятную Сабитжан. — Ладно, давай не будем в такой день. Пусть будет Ана-Бейит, какая разница, просто я думал — далековато…

На том разговор их закончился. И когда. Едигей, поставив Каранара всем напоказ, вернулся и сказал боранлинцам: «Да бросьте вы неджигитские речи. Хоронить такого человека будем на Ана-Бейите…» — то никто не возразил, все молча согласились…

Вечер и ночь того дня коротали все вместе, по-соседски, во дворе перед домом умершего, благо и погода к тому располагала. После дневной жары наступила резкая предосенняя прохлада сарозеков. Великая, сумеречная, безветренная тишина объяла мир. И уже в сумерках закончили свежевать тушу заколотого к завтрашним поминкам барана. А пока чай пили у дымящих самоваров да разговоры всякие вели о том о сем… Почти все приготовления к похоронам были сделаны, и теперь оставалось лишь ждать утра, чтобы двинуться на Ана-Бейит. Тихо и умиротворенно протекали те вечерние часы, как и полагается

при кончине престарелого человека — что уж больно тужить…

А на разъезде Боранлы-Буранном, как всегда, приходили и уходили поезда — сходились с востока и запада и расходились на восток и запад…

Так обстояли дела в тот вечер накануне выезда на Ана-Бейит, и все бы ничего, если бы не один неприятный случай. К тому времени попутным товарняком прибыла на похороны отца и Айзада со своим мужем. И как только она огласила свое появление громким рыданием, женщины окружили ее и тоже подняли плач. Особенно Укубала переживала, убивалась вместе с Айзадой. Жалела она ее. Крепко они плакали и причитали. Едигей пытался было успокоить Айзаду: что ж, мол, теперь делать, за умершим вслед не умрешь, надо примириться с судьбой. Но Айзада не унималась.

Так оно бывает зачастую — смерть отца явилась для нее поводом выплакаться, излить принародно душу, все то, что давно не находило открытого выхода в слове. Плача в голос, обращаясь к умершему отцу, растрепанная и опухшая, горько сетовала она по-бабьи на свою нескладную судьбину, что некому ее ни понять, ни приветить, что не удалась ее жизнь с молодых лет, муж — пропойца, дети с утра до вечера околачиваются

на станции без призора и строгости и потому превратились в хулиганов, а завтра, может, и бандитами станут, поезда начнут грабить, старший вон выпивать уже начал, и милиция уже приходила, предупредили ее — скоро дело дойдет до прокуратуры. А что она может поделать одна, а их шестеро! А отцу хоть бы что…

А тому и действительно было хоть бы что, муж ее сидел себе опустошившийся и смурной, с грустным, отрешенным видом, все же на похороны тестя приехал, и молча курил себе вонючие, бросовые сигареты. Для него это было не впервой. Он знал: покричит-покричит баба и устанет… Но тут некстати вмешался брат — Сабитжан. С того и началось. Сабитжан стал совестить сестру: где это видано, что это за манера, зачем она приехала — отца хоронить или себя срамить? Разве так пристало оплакивать казахской дочери своего почтенного отца? Разве великие плачи казахских женщин не становились легендами и песнями для потомков на сотни лет? От тех плачей лишь мертвые не оживали, а все живые вокруг исходили слезами. А умершему воздавалась хвала и все его достоинства возносились до небес — вот как плакали прежние женщины. А она? Развела тут сиротскую жалобу, как ей плохо и худо на свете!

Айзада только этого вроде и ждала. И вскричала она с новой силой и яростью. Ах ты какой умный и ученый выискался! Ты, мол, вначале свою жену научи. Ты эти красивые слова вначале ей втолкуй! Почему-то она не приехала и не показала нам плач величальный. А уж ей-то не грешно было бы и воздать должное отцу нашему, потому как она, бестия, и ты, подкаблучник подлый, обобрали, ограбили старика до ниточки. Мой муж, какой он ни алкоголик, но он здесь, а где твоя умная-разумная?

Сабитжан тогда стал орать на ее мужа, чтобы он заставил замолчать Айзаду, а тот вдруг взбеленился и кинулся душить Сабитжана…

С трудом удалось боранлинцам утихомирить разошедшихся родственников. Неприятно и стыдно было всем. Едигей очень расстроился. Знал он им цену, но такого оборота не ожидал. И в сердцах предупредил их строго-настрого: если вы не уважаете друг друга, то не позорьте хотя бы память отца, а иначе не позволю вам здесь никому оставаться, не посмотрю ни на что, пеняйте на себя…

Да, вот такая нехорошая история вышла накануне похорон. Сильно был мрачен Едигей. И опять напряженно сошлись брови на хмуром

челе, и опять терзали его вопросы — откуда они, дети их, и почему они стали такими? Разве об этом мечтали они с Казангапом, когда в жару и стужу возили их в кумбельский интернат, чтобы только выучились, вышли в люди, чтобы не остались прозябать на каком-нибудь разъезде в сарозеках, чтобы не кляли потом судьбу: вот, мол, родители не позаботились. А получилось-то все наоборот… Почему, что помешало им стать людьми, от которых не отвращалась бы душа?..

И опять Длинный Эдильбай выручил, чуткость житейскую проявил, чем очень облегчил положение Едигея в тот вечер. Он-то понимал, каково было Едигею. Дети умершего родителя всегда главные лица на похоронах, так уж оно устроено на свете. И никуда их не денешь, никуда не удалишь, какими бы бесстыжими и никчемными они ни оказались. Чтобы как-то сгладить омрачивший всех скандал между братом и сестрой, Эдильбай пригласил всех мужчин к себе в дом. Что, мол, мы будем во дворе звезды на небе считать, пойдемте почаюем, посидим у нас…

В доме у Длинного Эдильбая Едигей попал будто в иной мир. Он и прежде захаживал сюда по-соседски и каждый раз оставался доволен, душа его наполнялась отрадой за эдильбаевскую

семью. Сегодня же ему хотелось подольше побыть здесь, потребность была такая — точно бы он должен был восстановить в этом доме некие утраченные силы.

Длинный Эдильбай был таким же путевым рабочим, как и другие, получал не больше других, жил, как и все, в половине сборно-щитового домика из двух комнат да кухни, но совсем иная жизнь царила здесь — чисто, уютно, светло. Тот же самый чай, что и у других, в эдильбаевских пиалах Едигею казался прозрачным сотовым медом. Жена Эдильбая и собой ладная, и дому хозяйка, и дети как дети… Поживут в сарозеках сколько смогут, полагал Едигей про себя, а там переберутся куда получше. Жаль очень будет, когда уедут они отсюда…

Сбросив свои кирзачи еще на крыльце, сидел Едигей во внутренней комнате, поджав под себя ноги в носках, и первый раз за день почувствовал, что и устал и проголодался. Прислонился спиной к дощатой стене, примолк. А вокруг расположились по краям круглого наземного столика остальные гости, негромко переговариваясь о том о сем…

Настоящий разговор возник потом, странный разговор завязался. Едигей уже и забыл о косми-

ческом корабле, стартовавшем прошлой ночью. А вот знающие люди кое-что сказали такое, что и он призадумался. Не то чтобы он сделал открытие для себя, просто подивился их суждениям и своему неведению на этот счет. Но он при том не испытывал внутреннего укора — для него все эти космические полеты, столь занимающие всех, были очень далеким, почти магическим, чуждым ему делом. Потому и отношение ко всему этому было настороженно-почтительное, как к появлению некой могучей безликой воли, которую в лучшем случае он вправе лишь принять к сведению. И, однако, зрелище уходящего в космос корабля потрясло и захватило его. Об этом и зашла речь в доме Длинного Эдильбая.

Сидели они вначале, пили шубат — кумыс из верблюжьего молока. Отличный был шубат, прохладный, пенистый, слегка хмельной. Приезжие контрольно-ремонтные путейцы, бывало, здорово пили его, называли сарозекским пивом. А к горячей закуске в этом доме оказалась и водка. Когда случалось такое дело, Буранный Едигей вообще-то не отказывался, выпивал за компанию, но в этот раз не стал и тем самым, как полагал он, и другим дал понять, что не советует увлекаться — завтра предстоял тяжелый день, далекий путь.

Беспокоило его то, что другие, особенно Сабитжан, налегали, запивали водку шубатом. Шубат и водка хорошо совмещаются, как пара добрых коней, хорошо идут в одной упряжке — поднимают настроение человека. Сегодня же это было ни к чему. Но как прикажешь взрослым людям не пить? Сами должны знать меру. Успокаивало по крайней мере то, что муж Айзады пока воздерживался от водки, алкоголику сколько надо-то, окосел бы враз, но он пил только шубат, видимо, понимал все-таки, что это уж слишком — валяться в дым пьяным на похоронах тестя. Однако насколько хватит его выдержки, одному богу было ведомо.

Так сидели они в разговорах о всякой всячине, когда Эдильбай, потчуя гостей шубатом — руки у него длиннющие, разгибаются и сгибаются наподобие ковша экскаватора, — вспомнил вдруг, протягивая очередную чашку Едигею с того края стола:

— Едике, вчера ночью, когда я сменил вас на дежурстве, только вы удалились, как что-то стряслось в воздухе, я аж закачался. Глянул, а то ракета с космодрома пошла в небо! Огромная! Как дышло! Вы видели?

— Ну еще бы! Рот разинул! Вот это сила! Вся в

огне полыхает и все вверх, вверх, ни конца ей, ни края! Жутко стало. Сколько живу здесь, никогда такого не видел.

— Да и я впервые своими глазами увидел, — признался Эдильбай.

— Ну, если ты впервые, то такие, как мы, и подавно не могли увидеть, решил подшутить Сабитжан над его ростом.

Длинный Эдильбай на это лишь усмехнулся вскользь.

— Да что я, — отмахнулся он. — Смотрю и сам себе не верю — сплошь огонь гудит в вышине! Ну, думаю, еще кто-то двинулся в космос. Счастливого пути! И давай быстрей крутить транзистор, я его всегда с собой беру. Сейчас, думаю, по радио передают наверняка. Обычно сразу же передача с космодрома. И диктор на радостях как на митинге вроде выступает. Аж мурашки по коже! Очень хотелось мне, Едике, узнать, кто это, кого лично видел я в полете. Но так и не узнал.

— А почему? — опережая всех, подивился Сабитжан, многозначительно и важно приподнимая брови. Он уже начал пьянеть. Распарился, раскраснелся.

— Не знаю. Ничего не сообщили. Я «Маяк» все время на волне держал, ни слова не сказали

даже…

— Не может быть! Тут что-то не так! — вызывающе усомнился Сабитжан, отхлебнув глоток водки и запивая ее шубатом. — Каждый полет в космос — это мировое событие… Понимаешь? Это наш престиж в науке и политике!

— Не знаю почему. И в последних известиях специально слушал, и обзор газет слушал тоже…

— Хм! — покрутил головой Сабитжан. — Будь я на месте, на службе своей, я бы, конечно, знал! Обидно, черт возьми. А возможно, тут что-то не то?

— Кто его знает, что тут то, что не то, а только мне лично обидно, ей-богу, — чистосердечно выкладывал Длинный Эдильбай. — Для меня он вроде свой космонавт. При мне полетел. А может, думаю, кто из наших парней отправился. То-то будет радости. Вдруг где и встретимся, приятно ведь было бы…

Сабитжан торопливо перебил его, возбужденный какой-то догадкой:

— А-а, я понимаю! Это запустили беспилотный корабль. Выходит, для эксперимента.

— Как это? — покосился Эдильбай.

— Ну, экспериментальный вариант. Понимаешь, это проба. Беспилотный транспорт пошел

на стыковку или на выход на орбиту, и пока неизвестно, как и что получится. Если все удачно произойдет, то будет сообщение и по радио и в газетах. А если нет, то могут и не информировать. Просто научный эксперимент.

— А я-то думал, — Эдильбай огорченно поскреб лоб, — что живой человек полетел.

Все примолкли, несколько разочарованные сабитжановским объяснением, и, возможно, разговор на том и заглох бы, да только сам Едигей нечаянно сдвинул его на новый круг:

— Стало быть, как я понял, джигиты, в космос ушла ракета без человека? А кто ей управляет?

— Как кто? — изумленно всплеснул руками Сабитжан и торжествующе глянул на невежественного Едигея. — Там, Едике, все по радио делается. По команде Земли, из Центра управления. Всеми делами по радио управляют. Понимаешь? И если даже космонавт на борту, все равно по радио направляют полет ракеты. А космонавту надо разрешение получить, чтобы самому что-то предпринимать… Это, кокетай[3] дорогой, не на Каранаре ехать по сарозекам, очень там все сложно…

---

[3] Примечания: 3

Кокетай — ласкательно-уменьшительное и в то же время снисходительное обращение.

— Вот оно что, скажи, — невнятно проронил Едигей.

Буранному Едигею непонятен был сам принцип управления по радио. В его представлении радио — это слова, звуки, доносимые по эфиру с далеких расстояний. Но как можно управлять таким способом неодушевленным предметом? Если внутри предмета человек находится, тогда другое дело: он исполняет указания — делай так, делай эдак. Хотел Едигей все это порасспросить, да решил, что не стоит. Душа почему-то противилась. Промолчал. Очень уж снисходительным тоном преподносил Сабитжан свои познания. Вот, мол, вы ничего не знаете, да еще считаете меня никчемным, а зять, алкоголик последний, душить меня даже кинулся, а я больше всех вас понимаю в таких делах. «Ну и бог с тобой, — подумал Едигей. — На то мы тебя учили всю жизнь. Должен же хоть что-то знать больше нас, неучей». И еще подумалось Буранному Едигею: «А что, если такой человек у власти окажется — заест ведь всех, заставит подчиненных прикидываться всезнайками, иных нипочем не потерпит. Он пока на побегушках состоит, и то как хочется ему, чтобы все в рот ему глядели, хотя бы здесь, в сарозеках…»

А Сабитжан и впрямь, должно быть, задался целью окончательно поразить, подавить боранлинцев, возможно, с тем, чтобы таким образом поднять себе цену в их глазах после позорного скандала с сестрой и свояком. Заговорить, отвлечь решил. И стал он рассказывать им о невероятных чудесах, о научных достижениях, и сам при этом то и дело пригублял водку, полглотка да еще полглотка, да все запивал шубатом. От этого он все больше возгорался и стал рассказывать такие невероятные вещи, что бедные боранлинцы не знали уже, чему верить, а чему нет.

— Вот посудите сами, — говорил он, поблескивая очками и обводя всех распаленным, завораживающим взором, — мы, если разобраться, самые счастливые люди в истории человечества. Вот ты, Едике, самый старший теперь среди нас. Ты знаешь, Едике, как было прежде и как теперь. К чему я говорю? Прежде люди верили в богов. В Древней Греции жили они якобы на горе Олимп. Но что это были за боги?! Придурки. Что они могли? Между собой не ладили, тем и прославились, а изменить образ жизни людской они не могли, да и не думали об этом. Их и не было, этих богов. Это все мифы. Сказки. А наши боги — они живут рядом с нами, вот здесь, на космодроме, на нашей

сарозекской земле, чем мы и гордимся перед лицом всего мира. Их никто из нас не видит, никто не знает, и не положено, не полагается каждому встречному Мыркынбаю-Шыйкымбаю руку совать: здорово, мол, как живешь? Но они настоящие боги! Вот ты, Едике, удивляешься, как они управляют по радио космическими кораблями. Это уже чепуха, пройденный этап! То аппаратура, машины действуют по программе. А наступит время, когда с помощью радио будут управлять людьми, как теми автоматами. Вы понимаете — людьми, всеми поголовно, от мала до велика. Есть уже такие научные данные. Наука и этого добилась, исходя из высших интересов.

— Постой, постой, как чуть — сразу высшие интересы! — перебил его Длинный Эдильбай. — Ты вот что скажи, что-то я не очень в толк возьму. Выходит, каждый из нас должен постоянно иметь при себе небольшой радиоприемник наподобие транзистора, чтобы слышать команду? Так это уже повсюду есть!

— Ишь ты какой! Да разве об этом речь? То ерунда, то детские штучки! Никому не надо при себе ничего иметь. Ходи хоть голый. А только незримые радиоволны — так называемые биотоки — будут постоянно воздействовать на тебя, на

твое сознание. И куда ты тогда денешься?

— Вон как?

— А ты думал! Человек будет все делать по программе из центра. Ему кажется, что он живет и действует сам по себе, по своей вольной воле, а на самом деле по указанию свыше. И все по строгому распорядку. Надо, чтобы ты пел, — сигнал — будешь петь. Надо, чтобы ты танцевал, — сигнал — будешь танцевать. Надо, чтобы ты работал, — будешь работать, да еще как! Воровство, хулиганство, преступность — все забудется, только в старых книгах читать об этом придется. Потому что все будет предусмотрено в поведении человека — все поступки, все мысли, все желания. Вот, скажем, в мире сейчас демографический взрыв, то есть людей очень много расплодилось, кормить нечем. Что надо делать? Сокращать рождаемость. С женой будешь иметь дело только тогда, когда сигнал на то дадут, исходя из интересов общества.

— Высших интересов? — не без ехидства уточнил Длинный Эдильбай.

— Вот именно, государственные интересы превыше всего.

— А если я без этих интересов захочу это самое с женой или еще как?

— Эдильбай, дорогой, ничего не получится. Тебе такая мысль в голову не придет. Покажи тебе самую что ни есть раскрасавицу — ты даже глазом не поведешь. Потому что биотоки отрицательные подключат. Так что и с этим делом наведут полный порядок. Будь уверен Или взять военное дело. Все по сигналу будет. Надо в огонь — в огонь прыгнет, надо с парашютом — глазом не мигнет, надо взорваться с атомной миной под танком — пожалуйста, одним моментом. Почему, спросите вы меня? Дан биоток бесстрашия — и все, никаких страхов у человека… Вот как!..

— Ох и врать же горазд! Ну несешь! Чему тебя столько лет учили? — искренне удивлялся Эдильбай.

Сидящие откровенно посмеивались, ерзали, качали головами, вот, мол, заливает парень, но продолжали слушать — чертовщину несет, и все же занимательно, неслыханно, хотя все понимали, что он уже изрядно опьянел, запивая понемногу водку шубатом, какой с него спрос, пусть болтает. Где-то что-то слышал человек, а что тут правда, что ложь, стоит ли голову ломать. Да, но Едигею вдруг стало по-настоящему страшно — неспроста каркает наш болтун, обеспокоился он, ведь он это где-то вычитал или услышал об

этом краем уха, ведь он все узнает с лёта, где что неладно. А что, если и в самом деле существуют такие люди, к тому же большие ученые, которые и вправду жаждут править нами, как боги?..

Сабитжан же выдавал без удержу, благо его еще слушали. Зрачки под вспотевшими очками расширились, как кошачьи глаза в темноте, а он все пригублял то водку, то шубат. Теперь он, размахивая руками, рассказывал байку о каком-то Бермудском треугольнике в океане, где таинственно исчезают корабли и неизвестно куда пропадают пролетающие над этим местом самолеты.

— Вот у нас один в области все добивался за границу съездить. И чего уж там такого, подумаешь! Ну и съездил на свою голову. Других оттер, полетел куда-то через океан, то ли в Уругвай, то ли в Парагвай, — и с концом. Прямо над Бермудским треугольником самолета как не было, исчез. Не стало его, и все! А потому, друзья, к чему кого-то просить, добиваться разрешения, кого-то оттирать в сторону, обойдемся и без Бермудских треугольников, живи на собственной земле, при собственном здоровье. Давайте выпьем за наше здоровье!

«Ну пошло! — ругнулся про себя Едигей. — Сей-

час он свою любимую присказку вспомнит. Эх, наказание! Как только выпьет, нет ему тормозов!» Так оно и вышло.

— Выпьем за наше здоровье! — повторил Сабитжан, оглядывая сидящих мутным, неустойчивым взором, но все еще силясь придать выражению лица своего некую многозначительную важность. — А наше здоровье — это самое большое богатство страны. Стало быть, наше здоровье — государственная ценность. Вот оно как! Не такие уж мы простые, мы государственные люди! И еще я хочу сказать:

Буранный Едигей резко встал с места, не дожидаясь, пока тот закончит произносить свой тост, и вышел из дома. Громыхая в темноте на крыльце — то ли порожнее ведро, то ли еще что-то путалось под ногами, — он с ходу надел свои кирзачи, похолодевшие к тому времени на открытом воздухе, и пошел домой огорченный и обозленный. «Эх, бедный Казангап! — неслышно застонал он, прикусывая ус от обиды. — Что же это — и смерть не смерть, и горе не горе! Сидит, выпивает себе, как на вечеринке, и хоть бы что! Придумал себе эту чертову присказку — государственное здоровье, и вот так каждый раз. Ну, дай-то бог завтра все честь по чести соблюсти, а

как схороним да первые поминки справим, ноги его больше не будет, избавимся, кому он здесь нужен и кто ему нужен?!»

А все-таки порядочно, оказывается, засиделись в доме Длинного Эдильбая. Время к полуночи подошло. Едигей вдыхал полной грудью остудившийся воздух ночных сарозеков. Погода обещала быть назавтра, как обычно, ясной и сухой, довольно жаркой. Всегда так. Днем жарко, а ночью холодина, озноб прошибает. Оттого и засушливые степи кругом — трудно растениям приспособиться. Днем они тянутся к солнцу, расправляются, влаги жаждут, а ночью их холод бьет. Вот и остаются только те, что выживают. Колючки разные, полынь большей частью да на выносах из оврагов разнотравье клоками держится, его можно накосить на сено. Геолог Елизаров, давнишний друг Буранного Едигея, рассказывал, бывало, прямо-таки картину такую расписывал, что когда-то здесь были богатые травянистые места, климат был иной, дождей выпадало в три раза больше. Ну, ясное дело, и жизнь оттого была иная. Стада, табуны, отары бродили по сарозекам. Давно, наверно, это было, возможно, до того еще, как объявились здесь те самые свирепые пришельцы — жуаньжуаны, от

которых и след простыл в веках, один слух остался. А иначе как могло разместиться в сарозеках столько люду. Недаром же Елизаров говорил: сарозеки — позабытая книга степной истории… Он считал, что история Ана-Бейитского кладбища тоже не случайное дело. Иные есть грамотеи, историей признают только то, что написано на бумаге. А если в те времена книги не писались, тогда как быть?.. Прислушиваясь к проходящим через разъезд поездам, Едигей по какой-то странной аналогии вспомнил штормы Аральского моря, на берегу которого родился, вырос и жил до войны. Казангап ведь тоже был аральский казах. Оттого и сблизились они, оказавшись на железной дороге, и часто тосковали в сарозеках о своем море, а незадолго до смерти Казангапа весной съездили вдвоем на Арал, оказывается, старик прощаться ездил с морем. Но лучше бы не ездили. Расстройство одно. Море-то ушло, оказывается. Исчезает, высыхает Арал. Километров десять ехали по прежнему дну, по голому суглинку, пока добрались до края воды. И тут Казангап сказал: «Сколько стоит земля — стояло Аральское море. Теперь и оно усыхает, что уж тут говорить о человеческой жизни». И еще он сказал тогда: «Ты меня схорони на Ана-Бейите, Едигей. А с морем я

вижусь последний раз!»

Буранный Едигей вытер рукавом набежавшую слезу, прокашлялся, чтобы в горле не оставалось жалобной хрипоты, и пошел в казангаповскую мазанку, где сидели, соблюдая траур, Айзада, Укубала и с ними другие женщины. Боранлинские женщины приходили сюда то одна, то другая между делом, чтобы побыть вдвоем да подсобить в чем, если потребуется.

Проходя мимо загона, Едигей приостановился на минуту возле коряги, вкопанной в землю, у которой стоял наготове оседланный и обряженный в попону с кистями Буранный Каранар. При лунном свете верблюд казался огромным, могучим, невозмутимым, как слон. Едигей не удержался, похлопал его по боку.

— Ну и здоров же ты!

Уже у самого порога вспомнил Едигей почему-то, даже сам не понимая отчего, вчерашнюю ночь. Как прибегала к железной дороге степная лисица, как он не посмел, передумал кинуть в нее камнем и как потом, когда пошел домой, стартовал с космодрома вдали огненный корабль в черную бездну…

III

В этот час на Тихом океане, в северных его широтах, было уже утро, восьмой час утра. Ослепительная солнечная погода разлилась нескончаемым светом над необозримо мерцающим великим затишьем. И, кроме воды и неба, в этих пределах не существовало ничего иного. Однако же именно здесь, на борту авианосца «Конвенция», разыгрывалась пока никому за пределами корабля не известная мировая драма в связи с неслыханным случаем в истории освоения космоса, имевшим место на американо-советской орбитальной станции «Паритет».

Авианосец «Конвенция» — научно-стратегический штаб Обцснупра по совместной планетологической программе «Демиург», — немедленно прервавший по той причине всякие сношения с окружающим миром, не изменил своего постоянного местопребывания южнее Алеутских островов в Тихом океане, а, наоборот, еще точнее скоординировался в этом районе на строго одинаковом по воздуху расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско.

На самом научном судне тоже произошли некоторые изменения. По указанию Генеральных соруководителей программы, американского и советского, оба дежурных оператора блока космической связи — один советский, другой американский, — принявших информацию о чрезвычайном происшествии на «Паритете», были временно, но строго изолированы во избежание утечки сведений о случившемся…

Среди персонала «Конвенции» было введено положение повышенной готовности, хотя судно не имело ни военного предназначения, ни тем более никакого вооружения и пользовалось статусом международной неприкосновенности по специальному решению ООН. То был единственный в мире невоенный авианосец.

К одиннадцати часам дня с интервалом в пять минут ожидалось прибытие на «Конвенцию» ответственных комиссий обеих сторон, облеченных безусловным правом принимать экстренные решения и практические меры, которые они сочтут необходимыми в интересах безопасности своих стран и мира.

Итак, авианосец «Конвенция» находился в тот час в открытом океане южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии между Влади-

востоком и Сан-Франциско. Такой выбор места был не случаен. Как никогда прежде, на этот раз со всей очевидностью проявились изначальная прозорливость и предусмотрительность творцов программы «Демиург», ибо даже местонахождение судна, на котором претворялся в жизнь сообща разработанный план планетологических изысканий, отражало принципы полного равноправия, абсолютно паритетных начал этого уникального научно-технического международного сотрудпичества.

Авианосец «Конвенция» со всем оборудованием, оснащением, энергетическими запасами принадлежал на равных долях обеим сторонам и являлся, таким образом, кооперативным судном государств-пайщиков. Он имел прямую и одновременно действующую радио-телефонно-телевизионную связь с Невадским и Сарозекским космодромами. На авианосце базировались восемь, по четыре от каждой стороны, реактивных самолетов, осуществляющих постоянно все транспортные перевозки и передвижения, необходимые Общенупру в его повседневных связях с материками. На «Конвенции» были два паритет-капитана — советский и американский: паритет-капитан 1–2 и паритет-капитан 2–1;

каждый из них был главным в момент несения вахты. Весь корабельный экипаж соответственно дублировался — помощники паритет-капитанов, штурманы, механики, электрики, матросы, стюарды…

По той же системе была построена структура научно-технического персонала Обценупра на «Конвенции». Начиная от Генеральных соруководителей программы от каждой стороны — Главных паритет-планетологов 1–2 и 2–1, все последующие научные работники всех специальностей также соответственно дублировались, представляя в равной степени обе стороны. Потому-то и космическая станция, находящаяся на самой отдаленной когда-либо от земного шара орбите «Трамплин», называлась «Паритет», отражая суть земных взаимоотношений.

Всему этому, разумеется, предшествовала большая, разнообразная подготовительная работа научных, дипломатических, административных учреждений в обеих странах. Потребовалось немало лет, пока обе стороны на бесчисленных встречах и совещаниях пришли к согласованию всех общих и частных вопросов программы «Демиург».

Программа «Демиург» ставила колоссальней-

шую задачу космологических проблем века — изучение планеты Икс с целью использования ее минеральных ресурсов, таящих в себе немыслимые по земным представлениям запасы внутренней энергии. Сотня тонн иксианской породы, почти свободно лежащей на поверхности звездного тела, при соответствующей обработке могла высвободить столько внутренней энергии, сколько потребовалось бы в преобразованном виде в качестве электричества и тепла всей Европе на целый год. Такова оказалась энергетическая природа материи на Иксе, возникшая в особых условиях Галактики под воздействием длительной планетарной эволюции, на протяжении многих миллиардов лет. Об этом свидетельствовали пробы грунта, неоднократно доставлявшиеся космическими аппаратами с поверхности Икса, об этом же говорили результаты экспедиций, совершивших несколько раз кратковременные высадки на эту красную планету нашей Солнечной системы.

Решающим же фактором в пользу проекта освоения Икса оказалось то, чего не было ни на одной другой известной науке планете, включая Луну и Венеру, наличие свободной воды в недрах столь пустынной с виду Иксианской звезды. Бес-

спорное наличие воды на Иксе подтверди-лось буровыми пробами. По расчетам ученых, под поверхностью Икса мог залегать слой воды толщиной в несколько километров, удерживаемый в неизменном состоянии нижерасположенными пластами холодных каменистых пород.

Именно наличие такого огромного количества воды на Иксианской звезде обеспечивало реальность программы «Демиург». Вода в данном случае являлась не только источником влаги, но и исходным материалом синтезирования других элементов, необходимых для поддержания жизни и нормального функционирования человеческого организма в инопланетных условиях, прежде всего воздуха для дыхания. Кроме того, с производственной точки зрения вода играла основную роль в технологии первичной флотации иксианской породы перед загружением ее в транскосмические контейнеры.

Обсуждался вопрос, где следует извлекать иксианскую энергию: на орбитальных станциях в космосе, чтобы затем передавать ее на Землю по геосинхронным орбитам, или же непосредственно на самой Земле. Время еще терпело.

Уже готовилась большая экспедиция по долговременной высадке группы буровиков и

гидрологов, которым предстояло оборудовать постоянный и автоматически управляемый приток воды из недр Икса в систему водопроводов. Орбитальная станция «Паритет» являлась, применяя терминологию альпинистов, главным базовым лагерем на пути к Иксу. На «Паритете» уже были сооружены необходимые конструкции для причаливания, разгрузки и погрузки транспортных «челноков», которые будут курсировать между Иксом и «Паритетом». Со временем, с достройкой блоков, на «Паритете» могли бы разместиться более ста человек в весьма комфортабельных условиях, включая постоянный прием телевизионных передач с Земли.

В этом большом космическом предприятии добыча и анализ иксианской воды были бы первым актом производственной деятельности, когда-либо осуществляемой человеком вне пределов своей планеты…

И этот день близился. И все шло к тому…

На Сарозекском и Невадском космодромах завершались последние приготовления к гидротехнической операции на Иксе. «Паритет», находясь на орбите «Трамплин», был готов к принятию и переброске на Икс первой рабочей группы космических целинников.

По сути дела, современное человечество стояло у истоков начала своей внеземной цивилизации…

И именно в этот момент, накануне осуществления засылки первой группы гидрологов на Икс, два паритет-космонавта, находившихся на орбите «Трамплин» с долгосрочной космической вахтой на «Паритете», бесследно исчезли…

Они вдруг перестали отвечать на какие бы то ни было сигналы — ни в установленное время сеансов связи, ни в прочее время. Впечатление было угнетающее — кроме датчиков, постоянно обозначающих местонахождение станции, и канала коррекции ее движения, все остальные системы радиотелевизионной связи бездействовали.

Время шло. «Паритет» не отзывался ни на какие обращения к нему. Тревога на «Конвенции» возрастала. Строились всякие догадки и предположения. Что с ними, с паритет-космонавтами? В чем причина их молчания? Не заболели ли, не отравились ли какой-нибудь непригодной пищей? И вообще живы ли они?

Наконец было использовано последнее средство — был послан сигнал на включение системы общей пожарной тревоги на станции. Никакой

реакции и на это устрашающее действие.

Над программой «Демиург» нависала серьезная опасность. И тогда Общенупр на «Конвенции» прибег к последней своей возможности для выяснения обстоятельств. К «Паритету» были экстренно запущены на стыковку со станцией два космических корабля с двумя космонавтами — с Невадского и Сарозекского космодромов.

Когда синхронная стыковка осуществилась, что само по себе было делом в высшей степени трудным, первое известие, полученное от проникших на «Паритет» космонавтов-контролеров, было ошеломляющим: обойдя все отсеки, все лаборатории, все этажи, все до последнего закоулки, они заявили, что не обнаружили на борту станции паритет-космонавтов. Их здесь не было — ни живых, ни мертвых…

Такое не могло прийти никому в голову. Никакое воображение не в силах было представить, что произошло, куда вдруг подевались два человека, находившихся свыше трех месяцев на орбитальной станции, до сих пор четко выполняя все возложенные на них функции. Не испарились же они! Не выбрались же в открытый космос!

Сеанс обследования «Паритета» проходил при прямой радиотелевизионной связи с «Конвен-

цией», при непосредственном участии обоих Генеральных соруководителей — Главных паритет-планетологов. Было хорошо видно на множестве экранов Общенупра, как космонавты-контролеры, переговариваясь, обходили, проплывая в невесомости, все блоки и помещения орбитальной станции. Они обследовали станцию шаг за шагом, при этом все время докладывая о своих наблюдениях. Этот разговор был зафиксирован в магнитофонной записи:

«Паритет». Вы наблюдаете? На станции никого нет. Мы никого не обнаруживаем.

«Конвенция». Есть ли следы каких-нибудь разбитых предметов, нарушений, поломок на станции?

«Паритет». Нет. Все выглядит, как и положено, все в порядке. Все на своем месте.

«Конвенция». Не попадались ли вам на глаза следы крови?

«Паритет». Абсолютно нет.

«Конвенция». Где находятся и в каком состоянии личные вещи паритет-космонавтов?

«Паритет». Да, кажется, все на своем месте.

«Конвенция». А все-таки?

«Паритет». Впечатление такое, что они были здесь совсем недавно. Книги, часы, проигрыва-

тель и всякие другие вещи — все на месте.

«Конвенция». Хорошо. Нет ли каких записей где-нибудь на стене или на бумаге?..

«Паритет». Ничего такого на глаза не попадалось. Хотя постойте! Вахтенный журнал раскрыт на какой-то большой записи. Чтобы он не плавал в невесомости, журнал закреплен зажимами и обращен раскрытыми страницами к входящему…

«Конвенция». Читайте, что там написано!

«Паритет». Сейчас попытаемся. Это два текста, расположенных рядом столбцами на английском и русском языках…

«Конвенция». Читайте, что вы медлите!

«Паритет». Заголовок — «Послание землянам». А в скобках — объяснительная записка.

«Конвенция». Стоп. Не читайте. Сеанс связи прерывается. Ждите. Через некоторое время мы снова вызовем вас. Будьте готовы. «Паритет». О'кэй!

В этом месте диалог между орбитальной станцией и Обценупром был приостановлен. Посовещавшись между собой, Генеральные соруководители программы «Демиург» попросили всех, кроме двух дежурных паритет-операторов, покинуть блок космической связи. Только после этого снова был возобновлен сеанс двусторонней

связи. Вот текст, оставленный паритет-космонавтами на орбите «Трамплин»:

«Уважаемые коллеги, поскольку мы покидаем орбитальную станцию „Паритет“ при весьма необычных обстоятельствах на неопределенное время, возможно, на бесконечно долгое, все будет зависеть от целого ряда факторов, связанных с нашим беспрецедентным предприятием, мы считаем своим непременным долгом объяснить мотивы нашего поступка.

Мы прекрасно сознаем, что наш поступок покажется, несомненно, не только неожиданным, но, разумеется, и недопустимым с точки зрения элементарной дисциплины. Однако исключительный факт, с которым мы столкнулись, находясь на орбитальной станции в космосе, факт, равный которому трудно представить во всей истории человеческой культуры, позволяет нам рассчитывать по крайней мере на понимание…

Некоторое время тому назад мы стали улавливать среди бесчисленного множества радиоимпульсов, исходящих из космического окружения и в значительной степени от самой земной ионосферы, насыщенной нескончаемыми шумами и помехами, один направленный радиосигнал в

узкочастотной полосе, который, будучи самым узким и потому легко выделяемым, заявлял о себе регулярно, всегда в одно и то же время и всегда с одинаковыми интервалами. Поначалу мы не обращали на него особого внимания. Но он продолжал настойчиво напоминать о себе, систематически исходя из строго определенной точки Вселенной, строго ориентируясь, судя по всему, на нашу орбитальную станцию. Теперь мы определенно знаем: эти искусственно направленные радиоволны поступали в эфир и прежде, задолго до нашей вахты, третьей по счету, ведь «Паритет» находится на орбите «Трамплин» в дальнем космосе вот уже более полутора лет. Трудно объяснить, почему, должно быть по чистой случайности, мы первыми заинтересовались подачей этого сигнала из Вселенной. Как бы то ни было, мы стали наблюдать, фиксировать, изучать природу этого явления и постепенно, все больше убеждаясь, пришли к выводу об искусственном его происхождении.

Но не так скоро свыклись мы с этой мыслью. Сомнения не покидали нас все это время. Как могли мы утверждать существование внеземной цивилизации, опираясь лишь на один факт искусственного, как мы полагали, радиосигнала,

исходящего из неведомых глубин вселенского мира? Нас удерживало то обстоятельство, что все предыдущие попытки науки, неоднократно предпринимавшиеся с самой минимальной задачей — обнаружения хоть каких-либо признаков жизни, в самой простейшей форме, хотя бы на сопредельных планетах, — как известно, оказались удручающе бесплодными. Поиски внеземного разума считались маловероятным, а позднее попросту нереальным, утопическим занятием, поскольку с каждым новым шагом в исследовании космических пространств этих шансов даже в теоретическом плане становилось все меньше, если не сказать, что они свелись практически к нулю. Мы не отваживались заявлять о своих догадках. Мы не собирались оспаривать повсеместно утвердившуюся идею уникальности, беспрецедентности, единственности как биологического феномена живой жизни лишь на планете Земля. Делиться своими сомнениями на этот счет мы не считали себя обязанными, поскольку в программу наших рабочих обязанностей по орбитальной станции такого рода наблюдения не входили.

А когда еще один случай явился последним доказательством существования во Вселенной

разумной жизни помимо земной, для нас было уже поздно. Мы пережили скачок сознания, переворот, преобразование в своих представлениях о мироустройстве и обнаружили вдруг, что стали мыслить совсем иными категориями, чем до этого. Качественно новое осмысление структуры мироздания, открытие нового обитаемого пространства, существование еще одного мощного очага умственной энергии подвели нас к выводу, что до поры до времени нам необходимо воздержаться оповещать землян о нашем открытии, исходя из новых понятий заботы о Земле. Мы пришли к этому решению в интересах самого современного общества.

Теперь о существе дела. Как это произошло.

Любопытства ради мы решили однажды послать ответный целевой радиосигнал примерно в том же спектре частоты, направив его в ту точку Вселенной, откуда постоянно проистекали загадочные регулярные радиоимпульсы. **Произошло чудо! Наш сигнал был немедленно принят! Он был уловлен и понят!** В ответ на нашей принимающей полосе заработал еще один дубль рядом с прежним, а затем еще один — то было приветственное трио, три синхронных радиосигнала из Вселенной несколько часов кряду, как торже-

ствующий марш, несли с собой ликующую весть о разумных существах вне нашей Галактики, обладающих высочайшей способностью контакта с себе подобными существами на сверхдальних расстояниях. То была революция в наших представлениях о космической биологии, в наших познаниях строения времени, пространства, расстояний… Неужели мы уже не одни на свете, не единственные в своем роде в невообразимо пустынной бесконечности мира, неужели опыт человека на Земле не единственное обретение духа во Вселенной?

Чтобы проверить реальность обнаружения внеземной цивилизации, мы послали направленный радиосигнал формулой массы земного шара, того, на чем изначально возникла и покоится ныне наша жизнь. В ответ мы получили расшифровку — в свою очередь, примерно такую же формулу массы их планеты. Из этого мы сделали вывод, что та обитаемая планета достаточно больших размеров и с вполне приемлемой силой притяжения.

Так мы обменялись первыми знаниями физических законов, так мы впервые вступили в контакт с внеземными носителями разума.

Инопланетяне оказались активными партне-

рами в смысле углубления и сближения наших связей. Их стараниями наши контакты быстро насыщались все новым содержанием. Вскоре нам стало известно, что они обладают летательными аппаратами, скорость движения которых равна скорости света. Все это и другие вещи мы узнавали благодаря тому, что оказались в состоянии обмениваться мыслями поначалу путем математических и химических формул, а затем они дали нам понять, что умеют и разговаривать. Выяснилось, что многие годы, с тех пор как земляне, преодолев земное тяготение, вышли в космос и стали в нем стабильно обитать, они изучают наши языки с помощью мощной аудоастрономической аппаратуры, глубоко прослушивающей Галактику. Улавливая систематическую радиосвязь между космосом и Землей, они умудрились путем сопоставления и анализа расшифровать для себя значение наших слов и фраз. В этом мы убедились сами, когда они попытались объясниться с нами на английском и русском языках. Для нас это было еще одним невероятным, ошеломляющим открытием…

А теперь о самом главном. Мы отважились посетить эту планету внеземной цивилизации. Лесная Грудь — так примерно расшифровали

мы для себя название их планеты. Лесногрудцы сами пригласили нас, это их идея. И мы по зрелом размышлении решились. Они объяснили нам, что их летательный аппарат, имеющий скорость света, достигнет нашей орбитальной станции за двадцать шесть — двадцать семь часов. За такое же время лесногрудцы обязуются доставить нас назад, как только мы того пожелаем. На наш запрос по поводу стыковки они объяснили нам, что это не проблема, ибо лесногрудский летательный аппарат обладает способностью герметического примыкания к любому предмету любой конфигурации и конструкции. Это, должно быть, какое-то свойство электромагнитного примыкания. Мы решили, что самое лучшее будет для нас, если их летательный аппарат примкнет к нашему люку выхода в открытый космос, через который мы могли бы переместиться к ним из орбитальной станции. Таким же способом мы намерены вернуться назад, разумеется, если путешествие в Лесногрудию благополучно завершится…

Итак, мы оставляем на борту «Паритета» свое послание, если угодно, объяснительную записку, открытое письмо, обращение… Не в том суть… Мы достаточно трезво понимаем, на что идем и каково бремя ответственности, которую мы

возложили на себя. Мы осознаем, что судьбе угодно оказалось предоставить именно нам наиуникальнейшую возможность сослужить такую службу человечеству, выше которой мы не представляем себе ничего… И, однако, самым мучительным было для нас преодоление чувства долга, связанности, обязанности, дисциплины, наконец… Того, что воспитано в каждом из нас своими давними традициями, законами, общественными нормами морали. Мы покидаем «Паритет», не ставя в известность вас, руководителей Общенупра, и вообще никого из землян, не согласовывая свои цели и задачи ни с кем и ни в какой форме не потому, что пренебрегаем правилами общественной жизни на Земле. Для нас это было темой самых тяжких размышлений. Мы вынуждены поступить таким образом, ибо нетрудно представить себе, какие настроения, противоречия, страсти разгорятся, как только придут в движение силы, которые даже в каждом лишнем хоккейном голе видят политическую победу и преимущество своей государственной системы. Увы, мы слишком хорошо знаем нашу земную действительность! Кто может поручиться, что возможность контактов с внеземной цивилизацией не станет еще одним поводом для

мировой междоусобицы землян?

На Земле трудно или почти невозможно отстраниться от политической борьбы. Но, находясь продолжительное время — многие дни и недели — в дальнем космосе, откуда земной шар кажется не больше автомобильного колеса, с болью и бессильной досадой мы думаем, что нынешний энергетический кризис, доводящий общество до неистовства, до отчаяния, приближающего иные страны к желанию схватиться за атомную бомбу, — это всего лишь крупная техническая проблема, если бы эти страны в состоянии были договориться, что важнее…

Из опасения растревожить, осложнить и без того чреватое опасностями положение землян мы осмелились взять на себя небывалую ответственность — выступить перед лицом носителей внеземного разума от имени всего человеческого рода, в соответствии со своими убеждениями и совестью. Мы надеемся и чувствуем внутреннюю уверенность, что выполним свою добровольную миссию достойным образом.

Наконец, последнее. В своих раздумьях, сомнениях и колебаниях мы в немалой степени были озабочены тем, чтобы не нанести ущерба программе «Демиург» — этому величайшему

начинанию в геокосмической истории человечества, выстраданному нашими странами в результате долгих лет взаимного недоверия, приливов и отливов сотрудничества. И все-таки разум восторжествовал — и мы добросовестно служили нашему общему делу в меру своих сил и способностей. Но, соизмерив одно с другим и не желая подвергать программу «Демиург» испытаниям ввиду вышеизложенных опасений, мы выбрали свое — мы покидаем временно «Паритет», с тем чтобы по возвращении доложить человечеству о результатах посещения планеты Лесная Грудь. Если же мы исчезнем навсегда или же если руководство сочтет нас недостойными продолжать нашу вахту на «Паритете», то заменить нас будет не так сложно. Всегда найдутся нужные парни, которые будут работать не хуже нас.

Мы уходим в неизвестность. Нас ведет туда жажда знаний и вековечная мечта человека открыть себе подобные разумные существа в иных мирах, с тем чтобы разум объединился с разумом. Однако никому не известно, что таит в себе опыт внеземной цивилизации — благо или зло для человечества? Мы постараемся быть объективными в своих оценках. Если же мы почувствуем,

что наше открытие несет в себе нечто угрожающее, нечто разрушительное для нашей Земли, мы клянемся распорядиться собой таким образом, чтобы не навлечь на Землю никакой беды.

И еще раз последнее. Мы прощаемся. Мы видим через наши иллюминаторы Землю со стороны. Она сияет как лучезарный бриллиант в черном море пространства. Земля прекрасна невероятной, невиданной голубизной и отсюда хрупка, как голова младенца. Нам кажется отсюда, что все люди, которые живут на свете, все они наши сестры и братья, и без них мы не смеем и мыслить себя, хотя, мы знаем, на самой Земле это далеко не так…

Мы прощаемся с земным шаром. Через несколько часов нам предстоит покинуть орбиту «Трамплин», и тогда Земля скроется из виду. Инопланетяне-лесногрудцы уже в пути. Вблизи нашей орбиты. Скоро они прибудут. Через несколько часов. Осталось совсем мало. Ждем.

И еще. Мы оставим письма своим семьям. Очень просим вас всех, кто будет иметь отношение к этому делу, передать наши письма по назначению…

P.S. Справка для тех, кто прибудет на «Паритет» на наше место. В вахтенном журнале мы указали

приемо-передаточный канал и частоту радиоволн, с помощью которых мы вступали в контакт с инопланетянами. При необходимости мы будем связываться с вами по этому каналу и передавать свои сообщения. Насколько мы могли уяснить из имевших место радиообщений с лесногрудцами, самый удобный и единственный способ связи — это бортовые системы орбитальной станции, так как радиосигналы, обращенные из Вселенной непосредственно к Земле, не достигают ее поверхности ввиду непреодолимой преграды — мощной ионизированной сферы в атмосферном окружении Земли.

Вот и все. Прощайте. Нам пора.

Идентичный текст послания составлен на двух языках — на английском и русском.

Паритет-космонавт 1–2.

Паритет-космонавт 2–1.

Борт орбитальной станции «Паритет».

Третья вахта. 94-е сутки».

Ровно в назначенный срок, в одиннадцать часов по дальневосточному времени, на палубу авианосца «Конвенция» один за другим приземлились два реактивных самолета с особоуполномоченными комиссиями на борту — от американской и советской сторон.

Члены комиссий были встречены строго по протоколу. Им сразу объявили, что на обед дается полчаса. Сразу после обеда членам комиссий предстояло собраться в кают-компании на закрытое совещание в связи с чрезвычайным положением на орбитальной станции «Паритет».

Но совещание, едва начавшись, было внезапно прервано. Космонавты-контролеры, находившиеся на «Паритете», передали Обценупру на «Конвенцию» первое сообщение, полученное ими от паритет-космонавтов 1–2 и 2–1 из соседней Галактики, с планеты Лесная Грудь.

IV

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежат великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измеряются применительно к железной дороге, как от Гринвич-ского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

Что ни говори, а до родового найманского кладбища Ана-Бейит все же не рукой подать — тридцать верст, и то если ехать все время на глазок, спрямляя путь по сарозекам.

Буранный Едигей поднялся в тот день рано. Да он и не спал толком. На рассвете только подремал малость. А до этого был занят — готовил покойного Казангапа. Обычно это делают в день захоронения, незадолго до выноса, перед общей молитвой в доме умершего — перед джаназой. А тут пришлось все это совершать ночью накануне похорон, чтобы с утра сразу, не задерживаясь,

двинуться в путь. Сам все сделал, что полагалось, если не считать того, что Длинный Эдильбай воду подтепленную подносил для омовения. Эдильбай немного робел, сторонился покойника. Жутковато, конечно, ему было. Едигей сказал ему на это как бы ненароком:

— Ты, это самое, присматривайся, Эдильбай. Пригодится в жизни. Коли люди рождаются, то и хоронить приходится.

— Да я-то понимаю, — неуверенно отозвался Эдильбай.

— Вот и я об этом же. Скажем к слову, завтра я помру. Так что, и обряжать никого не найдется? Так и затолкаете меня в какую-нибудь яму?

— Ну почему же! — смутился Эдильбай, присвечивая лампой и пытаясь освоиться возле покойника. — Без вас здесь неинтересно будет. Лучше уж живите. А яма подождет.

Часа полтора ушло на обряжение. Но зато Едигей остался доволен. Омыл покойника как полагается, руки-ноги выправил и уложил как полагается, белый саван скроил и обрядил в него Казангапа как полагается, не жался на то полотна. А между делом показал Эдильбаю, как саван надо кроить. А потом и себя привел в порядок. Выбрился начисто, усы подправил. Они у него

были, как и брови, густые, сильные усы. Только вот седина пошла вперемежку. Посивел. Не забыл Едигей медали свои солдатские, ордена да значки ударнические надраил, нацепил на пиджак, приготовил к завтрашнему дню.

Так и ночь проходила. И все дивился Буранный Едигей самому себе — тому, как запросто и спокойно все это проделывал. А скажи ему кто прежде, не поверил бы, что с руки будет и такое прискорбное занятие. Стало быть, на роду предписано так — хоронить Казангапа суждено ему. Судьба.

Вот то-то. Кто бы мог подумать об этом, когда они впервые увиделись на станции Кумбель. Демобилизовали Едигея после контузии, в конце сорок четвертого. Снаружи вроде бы все в порядке — руки-ноги на месте, голова на плечах, да только голова-то была точно не своя. Шум стоял в ушах, как ветер несмолкающий. Пройдет несколько шагов — зашатается, голова кругом, тошнит. А сам весь в поту, то холодным, то горячим потом обливается. И язык временами не подчиняется — слово выговорить тоже большая работа. Крепко тряхнуло его взрывной волной от немецкого снаряда. Убить не убило, но и жить так никакого резона. Совсем приуныл тогда Едигей. Молодой,

здоровый с виду, а вернется домой на Аральское море — что будет делать, на что годится? На счастье, врач попался хороший. Он даже не лечил его, а только осмотрел, прослушал, проверил, как сейчас помнится — здоровенный рыжий мужик в белом халате и колпаке, ясноглазый, носатый, весело похлопал его по плечу, посмеялся.

— Видишь ли, — говорит, — браток, война скоро кончится, а не то бы вернул я тебя в строй немного погодя, повоевал бы ты еще. Да ладно уж. Как-нибудь без тебя дожмем до победы. Только ты не сомневайся — через годик, а то и меньше все будет в порядке, здоров будешь, как бугай. Это я тебе говорю, вспомнишь потом. А пока собирайся, езжай в свои края. И не тужи. Такие, как ты, сто лет проживут…

Дело, оказывается, говорил тот рыжий врач. Так оно и получилось. Правда, это сказать просто — годик. А как вышел из госпиталя — в мятой шинельке, с котомкой за спиной, с костылем на всякий случай — да двинулся по городу, точно в лес дремучий попал. В голове шум, в ногах дрожь, в глазах темно. И кому какое дело на вокзалах, в поездах — народу тьма, кто силен, тот и лезет, а тебя в сторону. И все-таки добрался, дотащился. Почитай, через месяц скитаний ночью

остановился поезд на станции Аральск. «Пятьсот седьмой веселый» прозывался тот «славный» поезд, никогда и никому не доведется, дай бог, ездить на таких поездах…

А тогда и тому был рад. Слез впотьмах с вагона как с горы, остановился растерянно, а вокруг ни зги, лишь кое-где станционные огоньки присвечивали. Ветрено было. И вот этот ветер-то его и встретил. Свой, родной, аральский ветер! Морем ударило в лицо. В те дни оно было рядом, плескалось под самой железной дорогой. А теперь и в бинокль не разглядишь…

Дыхание перехватило — со степи тянуло едва уловимой полынной прелью, духом вновь пробуждающейся весны на зааральских просторах. Вот и снова родные края!

Едигей хорошо знал станцию, пристанционный поселок на берегу моря с его кривыми улочками. Грязь налипала на сапоги. Он шел к знакомым, чтобы переночевать там и утром двинуться в свой рыбацкий аул Жангельди, расстояние до которого было изрядное. И сам, не заметил, как улочка вывела его на окраину, к самому берегу. И тут Едигей не утерпел, подошел к морю. Остановился у хлюпающей полосы на песке. Скрытое тьмой, море угадывалось по неясным бликам, по

гребням волн, возникающим шумным росчерком и тут же исчезающим. Луна была уже предрассветная — белела одиноким пятном за облаком в вышине.

Вот и свиделись, выходит.

— Здравствуй, Арал, — прошептал Едигей.

А потом присел на камень, закурил, хотя доктора очень не советовали курить при его контузии. Позже он бросил это дурное дело. А тогда разволновался — что там дым табачный, тут неясно, как жить дальше. В море выходить — надо крепкие руки иметь, крепкую поясницу и, самое главное, крепкую голову, чтобы не закачало в шаланде. Был промысловым рыбаком до фронта, а теперь кто он? Инвалид не инвалид, а вообще никуда не годится. И прежде всего голова для рыбацкого дела не годна, это было ясно.

Едигей собирался уже встать с места, когда на побережье появилась откуда-то белая собака. Она бежала трусцой по краю воды. Иногда приостанавливалась, деловито обнюхивая мокрый песок. Едигей приманил ее. Собака доверчиво подошла, остановилась рядом, помахивая хвостом. Едигей потрепал ее по лохматой шее.

— Ты откуда, а? Откуда бежишь? А как звать

тебя? Арстан? Жолбарс? Борибасар?[4] А-а, я понимаю, ты ищешь рыбу на берегу. Ну молодец, молодец! Только не всегда море выбрасывает к ногам снулую рыбку. Ну что ж делать! Приходится бегать. Потому и тощий такой. А я, дружок, домой возвращаюсь. Из-под Кенигсберга. Не дошел немного до этого города, так шарахнуло напоследок снарядом, что едва жив остался. А теперь вот думаю-гадаю, как быть. Что ты так смотришь? Ничего-то у меня нет для тебя. Ордена да медали… Война, друг, голодуха кругом. А то бы жалко, что ли… Постой, тут вот леденцы есть, для сынишки везу, он у меня бегает уже, должно быть…

Едигей не поленился, развязал полупустой вещмешок, в котором вез пригоршню леденцов, завернутых в обрывок газеты, косынку для жены, купленную с рук на проезжей станции, да пару кусков мыла, тоже купленных у спекулянтов. И были еще в вещмешке пара солдатского белья, ремень, пилотка, запасная гимнастерка, брюки — вот и весь багаж.

Пес слизнул с ладони леденец, захрустел, повиливая хвостом и внимательно, преданно глядя

---

[4] Примечания: 4

Арстан, жолбарс, борибасар — лев, тигр, волкодав.

обнадеженно засветившимися глазами.

— Ну а теперь прощай.

Едигей встал и пошел вдоль берега. Решил уж не беспокоить людей на станции, близился рассвет, надо было не задерживаясь пробираться в свой аул Жангельди.

Только к полудню того дня добрался в Жангельди, все время идя берегом моря. А до контузии часа за два пробегал это расстояние. И тут его сразила страшная весть — сыночка-то, оказывается, давно уже нет в живых. Когда Едигея мобилизовали, малышу было полгода. И вот не судьба — умерло дитя одиннадцати месяцев от роду. Заболел краснухой-корью и не вынес жара внутреннего, сгорел, оборвался. Писать отцу на фронт об этом не стали. Куда писать и зачем писать? На войне и без того хватает горького хлёбова. Вернется живой — узнает по приезде, погорюет, переживет, рассудили по-своему родственники и Укубале рассоветовали сообщать об этом. Молодые, мол, вот война кончится, народите еще детей, бог даст. «Ветка обломалась — не беда, главное, чтобы ствол чинары остался цел». И еще соображения были, вслух не высказанные, но всеми понимаемые: если что, война есть война, если пуля сразит, то пусть хоть с надеждой простится

в последнее мгновение с белым светом — мол, остался дома отпрыск, род на том не пресекся…

А Укубала за все казнила только себя. Плачем исходила, обнимая вернувшегося мужа. Ведь она ждала этого дня с надеждой и с болью неиссякшей, изводясь в мучительном повинном ожидании. Рассказывала она вся в слезах, что старухи ее сразу предупредили: мол, у ребенка краснуха, штука это коварная, надо дите потеплее завернуть в одеяла, стеганные из верблюжьей шерсти, да держать в полной темноте, да поить все время водицей остуженной, а там как бог даст, если выдержит жар, то выживет. А она, невезучая бейбак[5], не послушалась аульных старушек. Попросила у соседей телегу да повезла больного ребенка на станцию к докторше. А когда добралась до Аральска на телеге той трясучей, то было уже поздно. Сгорел мальчонка в пути. Докторша ругала ее на чем свет стоит. Надо, говорит, тебе было послушать старушек…

Вот такие известия ожидали Едигея дома, как только он переступил порог. Закаменел, почернел от горя с того часа. Не предполагал он прежде никогда, что затоскует с такой силой по малому

---

[5] Примечания: 5
Бейбак — несчастливица.

дитю, по первенцу своему, которого толком и не понянчил. И от этого еще больнее было сознавать утрату. Никак не мог он забыть той улыбки дитячьей, беззубой, доверчивой, светлой, при воспоминании о которой сердце долго ныло.

С того и началось. Опостылел Едигею аул. Некогда здесь, на суглинистом взгорье прибрежном, было с полсотни дворов. Рыбой аральской промышляли. Артель стояла. Тем и жили. А теперь остался всего десяток мазанок под обрывом. Мужчин никого — всех подчистую война замела. Старые да малые и те наперечет. Многие из них поразъехались по аулам колхозным, скотоводческим, чтобы с голоду не помереть. Распалась артель. Некому стало выходить в море.

Укубала тоже могла уехать к своим, родом она была из степных племен. За ней тоже приезжали родные, хотели забрать к себе. Переждешь, мол, у нас лихолетье, а вернется Едигей с фронта — никто тебя задерживать не станет, возвратишься сразу на свое рыбацкое поселение Жангельди. Но Укубала наотрез отказалась: «Буду ждать мужа. Сыночка потеряла. Если вернется сам живой, то пусть хотя бы жену застанет на месте. Я не одна тут, старые да малые есть, помогать им буду, продержимся сообща».

Правильно она поступила. Да только Едигей с первых дней стал говорить, что невмоготу ему теперь без дела оставаться здесь, у моря. В этом и он был прав. Родственники Укубалы, прибывшие повидаться с Едигеем, предлагали перебраться к ним. Поживешь, мол, у нас при отарах в степи. А там, здоровье пойдет на поправку, займешься делом каким-нибудь, скот пасти сумеешь… Едигей благодарил, но не соглашался. Понимал он, что в тягость будет. День-два погостить у близких жениных родственников куда ни шло. А потом, если ты не работяга, кому ты нужен станешь.

И тогда решили они с Укубалой рискнуть. Решили на железную дорогу податься. Думали, подыщется какая подходящая работа для Едигея — охранником, сторожем или где на переезде шлагбаум открывать да закрывать. Должны же пойти навстречу инвалиду-фронтовику.

С тем и ушли весной. Молодые были, пока ничем не связанные. На первых порах на станциях разных ночевали. Но работы подходящей так и не удавалось подыскать. А с жильем обстояло и того хуже. Жили где придется, перебивались разной случайной работой на железной дороге. Укубала тогда выручала — здоровая и молодая, она и работала большей частью. Едигей как мужчина с

виду вроде здоровый подряжался на разгрузку и погрузку разную, а Укубала дело делала.

Таким образом очутились они однажды, уже в середине весны, на большой узловой станции Кумбель. Уголь разгружали. Вагоны с углем подавались по запасным путям прямо на задние дворы деповского хозяйства. Здесь уголь скидывали вначале на землю, чтобы побыстрей освободить платформы, а потом на тачках перевозили на-гора, ссыпали в бурты, огромные как дома. Запас на целый год. Непомерно тяжелая, пыльная, грязная была работа. Но и жить надо. Едигей накидывал грабаркой тот уголь на тачку, а Укубала отвозила тачку вверх по настилу, там опрокидывала ее и снова возвращалась вниз. Снова накладывал Едигей тачку угля, и снова Укубала, как ломовая лошадь, катила на-гора из последней мочи тяжелый, не по бабьим силам груз. К тому же день пригревал все больше, жарко становилось, и от этой жары и летучей угольной пыли мутило, подташнивало Едигея. Сам чувствовал, как убывали в нем силы. Так и хотелось повалиться на землю прямо в кучу угля и уж никогда не вставать. Но больше всего убивало его то, что жене приходилось, задыхаясь в черной пылище, делать вместо него то, что полагалось делать ему. Тяжко было

ему смотреть на нее. С головы до пят вся в черном налете угля, только белки глаз да зубы светятся. А сама вся мокрая от пота. Грязными потеками струился угольно-черный пот на шею, на грудь, на спину. Будь он в силе прежней, разве допустил бы он такое! Сам один перекидал бы десяток вагонов этого проклятого угля, только бы не видеть мучений жены.

Когда они покидали свой опустевший рыбацкий аул Жангельди, надеясь, что Едигею как раненому фронтовику подыщется какая-нибудь работа подходящая, одного не учли они: что таких фронтовиков везде и всюду было полным-полно. И всем им предстояло приспосабливаться заново к жизни. Хорошо еще, у Едигея уцелели руки и ноги. А сколько увечных — безногих, безруких, на костылях и протезах — слонялось тогда по железным дорогам. Долгими ночами, когда, устроившись где-нибудь в углу в переполненном, смрадном станционном помещении, они пережидали ночь, Укубала, заранее испросив прощение, обращала свои безмолвные благодарности богу за то, что муж находится рядом, не покалеченный войной настолько, чтобы это было страшно и безысходно. Ибо то, что она видела на станциях, повергало ее в ужас и страдания.

Безногие, безрукие, битые-перебитые люди в донашиваемых шинелях и разной рвани, на колясках, на костылях, с поводырями, бездомные и неприкаянные кочевали по поездам и станциям, ломясь в столовые буфеты, содрогая душу пьяным ором и плачами… Что ждало впереди каждого из них, чем было возместить не возмещаемое ничем? И лишь за одно то, что такая беда обошла ее стороной, а ведь могла и не обойти, за то, что муж вернулся пусть и контуженный, но не изувеченный, Укубала готова была отработать всему свету самым тяжким трудом. И потому она не роптала, не сдавалась, не подавала виду, даже когда становилось не под силу тянуть ноги, когда, казалось, всякому терпению приходил конец.

Но Едигею от этого было не легче. Следовало что-то предпринимать, как-то тверже определиться в жизни. Не век же скитаться. И все чаще приходили в голову мысли: а что, если сказать себе «таубакель»[6] и податься куда в город, а там как повезет? Только бы здоровье вернулось, только бы оклематься от этой проклятой контузии. Тогда еще можно было бы и побороться, постоять за себя… По-всякому могло, конечно, обернуться

---

[6] Примечания: 6
Таубакель — была не была.

и в городе, возможно, и приспособились бы со временем и стали бы они горожанами, как многие другие, но судьбе угодно было распорядиться иначе. Да, то пришла судьба, а как по-другому назовешь тот случай…

В те дни, когда они мыкались на станции Кумбель, подрядившись на буртовку вагона угля, на деповском угольном задворье появился однажды какой-то верховой казах на верблюде, прибывший, должно быть, из степи по своим делам. Так, по крайней мере, казалось с виду. Прибывший стреножил верблюда попастись на пустыре поблизости, а сам, озабоченно оглядываясь, пошел с порожним мешком под мышкой.

— Эй, браток, — обратился он к Едигею, проходя мимо, — будь добр, присмотри, чтобы детвора не озоровала. Привычка у них дурная — дразнят, бьют скотину. А то и распутать могут для потехи. А я сейчас, ненадолго отлучусь.

— Иди, иди, присмотрю, — пообещал Едигей, орудуя грабаркой и обтираясь черной, потяжелевшей от пота тряпкой.

Пот лил с лица беспрерывно. Едигей так и так топтался возле угольной кучи, нагружая тачку, что стоило приглядеть между делом, чтобы станционные сорванцы не докучали верблюду.

Как-то он уже видел их проделки — до того довели животное, что оно тоже стало злобно орать в ответ, плеваться да гоняться за ними. А им удовольствие только от этого, и, как первобытные охотники, с диким криком окружившие зверя, они били его камнями и палками. Досталось бедному верблюду, пока не появился хозяин…

И в этот раз, как назло, откуда ни возьмись шумная ватага оборванцев примчалась гонять в футбол. И стали они этот футбол пинать со всей силы по верблюду стреноженному. Верблюд от них, а они мячом по бокам бухают кто сильней да кто ловчей. Кто попадет — ликует, точно гол забил…

— Эй, вы, а ну прочь отсюда, не приставайте! — помахал им грабаркой Едигей. — А то я вам сейчас!

Ребята отхлынули, посчитали, что хозяин, наверно, или слишком устрашающим был вид угольного грузчика, а вдруг он к тому же пьяный, тогда несдобровать, и побежали дальше, пиная мяч. Невдомек им было, что они могли безнаказанно изводить верблюда сколько душе угодно, Едигей только для виду пригрозил грабаркой, на самом деле в том состоянии, в котором он тогда находился, ему никогда бы за ними не угнаться.

Каждая лопата угля, брошенная в тачку, стоила ему больших усилий. Никогда не думал, что так скверно, так унизительно быть маломощным, больным, никудышным. Голова все время кружилась И пот замучил. Истекал, изнемогал Едигей, и от пыли угольной тяжело дышалось, и грудь давила черная жесткая мокрота. Укубала то и дело порывалась принять на себя большую часть работы, чтобы он отдохнул немного, посидел в стороне, а тем временем сама нагружала тачку и катила ее на верх бурта Не мог, однако, Едигей спокойно видеть, как она изводилась, снова вставал, пошатываясь, брался за дело…

Тот человек, который попросил присмотреть за верблюдом, вскоре вернулся с ношей на спине. Устроив поклажу и уже собираясь отправляться в путь, он подошел к Едигею перекинуться словцом. Как-то сразу разговорились. Это и был Казангап с разъезда Боранлы-Буранный:

Они оказались земляками. Казангап рассказал, что он тоже родом из прибрежных аральских аулов. Это быстро сблизило их.

Тогда еще ни у кого не возникло и мысли, что эта встреча предопределит всю последующую жизнь Едигея и Укубалы. Просто Казангап убедил их отправиться вместе с ним на разъезд Боран-

лы-Буранный, жить и работать там. Бывает такой тип людей, который располагает к себе с первого же знакомства. Ничего особенного в Казангапе не было, напротив, сама простота обозначала в нем человека, умудренность которого добыта тяжким уроком. С виду он был самый обычный казах в повыгоревшей, долго ношенной одежде, принявшей удобные для него формы. Штаны из дубленой козьей шкуры тоже были на нем неспроста — удобные для верховой езды на верблюде. Но он знал и цену вещам — относительно новая, сбереженная для выездов форменная железнодорожная фуражка украшала его большую голову, и сапоги хромовые, ношенные много лет, были тщательно подлатаны и прошиты дратвой во многих местах. Что он коренной степняк, работяга, можно было заметить по его задубелому от жгучего солнца и постоянного ветра коричневому лицу и жестким, жилистым рукам. Ссутулившиеся преждевременно от трудов, плечи его могуче обвисли, и оттого шея казалась длинной, вытянувшейся, как у гусака, хотя роста он был среднего. Удивительные у него были глаза — карие, всепонимающие, внимательные, улыбчивые, с лучами разбегающихся морщин от прищура.

Казангапу тогда уже было лет под сорок. А вполне возможно, так казалось оттого, что и усы, коротко подстриженные щеточкой, и небольшая бурая бородка придавали ему черты жизненной зрелости. Но больше всего доверие он внушал рассудительностью речи. Укубала сразу прониклась уважением к этому человеку. И все, что он говорил, было к месту. А говорил он разумные вещи. Раз, говорит, такая беда — контузия — еще в теле сидит, то к чему здоровью вредить. Я, говорит, сразу приметил, Едигей, через силу дается тебе эта работа. Не окреп ты еще для таких дел. Ноги едва таскаешь. Сейчас бы тебе побыть где полегче, на свежем воздухе, молока цельного попить вволю. Вот, скажем, у нас на разъезде люди позарез нужны на путевых работах. Новый начальник разъезда всякий раз речь заводит: ты, мол, старожил здешний, зазови к нам подходящих людей. А где они, такие люди? Все на войне. А кто отвоевал, так тем и в других местах работы хватает. Конечно, и у нас житье не рай. В тяжком месте пребываем — кругом сарозеки, безлюдье да безводье. Воду привозят в цистерне на неделю. И тоже перебои в привозе воды случаются. Бывает и такое. Тогда приходится ездить к дальним колодцам в степи, в бурдюках ее привозить, утром

уедешь, к вечеру только вернешься. А все равно, говорил Казангап, лучше в сарозеках быть на своем отшибе, чем так мытариться по разным местам. Крыша над головой будет, постоянная работа будет, покажем, научим, что надо делать, да свое хозяйство можно завести. Это как руки приложишь. Вдвоем-то, говорит, вы вполне заработаете на жизнь. А там здоровье вернется, время покажет, заскучаете — подадитесь куда получше…

Вот такие речи он высказал. Едигей подумал-подумал и согласился. И в тот же день двинулись они вместе с Казангапом в сарозеки, на разъезд Боранлы-Буранный, благо сборы у Едигея и Укубалы даже по тем временам были недолги. Собрали вещички — и в путь-дорогу. Что им стоило тогда — решили попытать и такое счастье. А как потом оказалось, то была их судьба.

На всю жизнь запомнился Едигею тот путь по сарозекам от Кумбеля до Боранлы-Буранного. Сперва они двигались вдоль железной дороги, но постепенно отклонились и ушли по увалам в сторону. Как объяснил Казангап, они срезали наискосок километров десять, так как железная дорога делала здесь большую дугу, обходя дно великого такыра — иссохшего, существовавшего

некогда соленого озера. Соль да мокрота болотистая выступают из недр такыра и по сей день. Каждую весну соленая равнина эта просыпалась — заболачивалась, размякала, становясь труднопроходимой, а к лету покрывалась белым жестким налетом соли и затвердевала, как камень, до следующей весны. О том, что некогда существовало здесь обширное соленое озеро, Казангап рассказывал со слов геолога по сарозекам Елизарова, с которым впоследствии Буранный Едигей крепко сдружился. Умный был человек.

А Едигей, тогда еще не Буранный Едигей, а просто случайно встретившийся местному путейцу аральский казах, раненый фронтовик с неустроенной жизнью, доверившись Казангапу, направлялся с женой в поисках работы и пристанища на неведомый разъезд Боранлы-Буранный, не предполагая, что останется там на всю жизнь.

Великие, безбрежные пространства недолговременно зеленеющих по весне сарозеков оглушили Едигея. Вокруг Аральского моря тоже много степей и равнин, чего стоит одно Усть-Уртское плато, но такое пустынное раздолье видеть доводилось впервые. И как потом понял Едигей, только тот мог остаться один на один с безмолвием сарозеков, кто способен был соразмерить

величие пустыни с собственным духом. Да, сарозеки велики, но живая мысль человека объемлет и это. Мудр был Елизаров, умел объяснить то, что подспудно вызревало в смутных догадках.

Кто знает, как почувствовали бы себя Едигей и Укубала по мере углубления в сарозеки, если бы не Казангап, уверенно шагавший впереди, ведя на поводу верблюда. Едигей же ехал верхом среди разной поклажи. Конечно, Укубале полагалось ехать верхом, а не ему. Но Казангап и особенно сама Укубала упросили, почти заставили Едигея взгромоздиться на верблюда: «Мы здоровые люди, а тебе надо пока силы поберечь, не спорь, не задерживай, путь далек впереди...» Верблюд был молодой, еще слабоватый для больших нагрузок, поэтому двое шагали рядом, а третий ехал верхом. Это на нынешнем едигеевском Каранаре спокойно устроились бы все трое и гораздо быстрее, за три с половиной — четыре часа резвого трота, прибыли бы на место. А они добрались тогда до Боранлы-Буранного лишь поздно ночью.

Но путь тот в разговорах да в разглядывании незнакомых мест прошел незаметно. Казангап рассказывал по дороге о здешнем житье-бытье — рассказывал о том, как попал сюда, в сарозекские края, на железную дорогу. Лет-то ему было не

так много, оказывается, тридцать шестой пошел в том году, перед окончанием войны. Родом он был из приаральских казахов. Его аул Бешагач отстоял от Жангельди в тридцати километрах по побережью. И хотя давно уже Казангап уехал оттуда, с тех пор прошло много лет, он ни разу не наведался в свой Бешагач. Были на то причины. Отца его, оказывается, выслали по ликвидации кулачества как класса, и тот вскоре умер в пути, возвращаясь из ссылки, когда выяснилось, что никакой он не кулак, что попал он под перегиб и что напрасно, а точнее говоря, ошибочно обошлись столь круто с такими середняками-хозяевами, как он. Дали отбой, но было уже поздно. Семья — братья, сестры — разбрелись тем временем кто куда, лишь бы с глаз подальше. И с тех пор как в воду канули. Казангапа, тогда молодого парня, особо ретивые активисты все принуждали выступать на собрании с осуждением отца, чтобы он сказал принародно, что горячо поддерживает линию, что отец его был правильно осужден как чуждый элемент, что он отрекается от такого отца и что таким, как его отец, классовым врагам нет места на земле и повсюду им должна быть непременная гибель.

Пришлось Казангапу податься в очень дальние

края, чтобы избежать того позора. Целых шесть лет проработал он в Бетпак-Дале — в Голодной степи под Самаркандом. Землю ту, веками нетронутую, начинали тогда осваивать под хлопковые плантации. Люди нужны были позарез. Жили в бараках, рыли канавы. Землекопом был, трактористом был, бригадиром был, грамоту почетную получил Казангап за ударный труд. Там и женился. В Голодную степь тянулись тогда на заработки люди со всех сторон. Из-под Хивы прибыла каракалпачка Букей вместе с семьей брата на бетпак-далинские работы. А получилось, что суждено им было встретиться. Поженились в Бетпак-Дале и решили вернуться на родину Казангапа, на Аральское море, к своим людям, на свою землю. Но только не продумали все до конца. Ехали долго, с пересадками, на «максимах»[7], а когда еще одну пересадку стали делать, на Кумбеле, встретил Казангап случайно своих аральских земляков и понял из разговоров, что не следует ему возвращаться в Бешагач. Оказывается, делами там заправляли все те же перегибщики. А раз так, раздумал Казангап возвращаться в свой аул. Не потому, что чего-то опасался, теперь у него

[7] Примечания: 7

«Максимы» — так назывались эшелоны, предназначенные для перевозки людей.

была грамота самого Узбекистана. Не хотелось видеть людей, торжествовавших в злоглумлении над ним. Им пока все сошло с рук, и как было после всего этого спокойно здороваться, делать вид, что ничего не произошло!

Казангап не любил об этом вспоминать и не понимал, что, кроме него, об этом все уже давно думать забыли. За долгие-долгие годы, последовавшие после приезда в сарозеки, лишь дважды дал он почувствовать, что для него нет забытого. Однажды сын крепко раздосадовал его, в другой раз Едигей неловко пошутил.

В один из приездов Сабитжана сидели они все за чаем, беседы вели, новости городские слушали. Рассказывал среди прочего Сабитжан, посмеиваясь, что те казахи да киргизы, которые в годы коллективизации ушли в Синьцзян, теперь снова возвращаются. Там их Китай так прижал в коммунах — есть запретили людям дома, только из общего бака три раза в день, и большим и малым в очереди с мисками. Китайцы им такого показали, что бегут они оттуда как ошпаренные, побросав все имущество. В ноги кланяются, только пустите назад.

— Что тут хорошего? — помрачнел Казангап, и губы его задрожали от гнева. С ним такое слу-

чалось крайне редко, и так же редко, если не сказать — почти никогда, не говорил он таким тоном с сыном, которого обожал, учил, ни в чем не отказывал, веря, что тот выйдет в большие люди. — Зачем ты смеешься над этим? — добавил он глухо, все больше напрягаясь от прилившей в голову крови. — Это же беда людская.

— А как же мне говорить? Вот странно! — возразил Сабитжан. — Как есть, так и говорю.

Отец ничего не ответил, отстранив от себя пиалу с чаем. Его молчание становилось невыносимым.

— И вообще, на кого обижаться? — удивленно пожимая плечами, заговорил Сабитжан. — Не понимаю. Еще раз повторяю — на кого обижаться? На время — оно неуловимо. На власть — не имеешь права.

— Знаешь, Сабитжан, мое дело — по мне, то, что мне по плечу. В другие дела я не вмешиваюсь. Но запомни, сын, я думал, ты своим умом уже дошел, так вот запомни. Только на бога не может быть обиды — если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался, — а за все остальное на земле есть и должен быть спрос! — Казангап встал с места и, не глядя ни на кого, сердито, молча вышел из дома, ушел куда-то…

А в другой раз, уже много лет спустя после кумбельского исхода, когда обосновались, обжились в Боранлы-Буранном, когда народились и выросли дети, загоняя под вечер скотину в загон, дело было весной, Едигей пошутил, глядя на умножившихся с ягнятами овец:

— Разбогатели мы с тобой, Казаке, впору хоть раскулачивать нас заново!

Казангап метнул на него резкий взгляд, и усы даже ощетинились.

— Ты говори, да не заговаривайся!

— Да ты что, шуток не понимаешь, что ли?

— Этим не шутят.

— Да брось ты, Казаке. Сто лет прошло…

— В том-то и дело. Добро отберут у тебя — не пропадешь, выживешь. А душа останется потоптанной, этого ничем не загладишь…

Но в тот день, когда они держали путь по сарозекам из Кумбеля в Боранлы-Буранный, до этих разговоров было еще очень далеко. И еще никто не знал, как и чем кончится прибытие их на разъезд Боранлы-Буранный, много ли там сумеют они продержаться, приживутся ли или пойдут дальше по свету. Попросту речь шла о житье-бытье, и в разговоре Едигей поинтересовался, как получилось, что Казангап на фронт не попал, или

болезнь какая нашлась?

— Нет, слава богу, здоровый я, — отвечал Казангап, — никаких болезней у меня не было, и воевал бы я, думаю, не хуже других. Тут вышло все по-другому…

После того как не решился Казангап возвращаться в Бешагач, застряли они на станции Кумбель, деваться было некуда. Снова в Голодную степь — далеко слишком, да и с какой стати, не стоило тогда уезжать оттуда. На Арал опять же раздумали. А начальник станции, добрая душа, приметил их, сердечных, и, расспросив, откуда они и чем собираются заниматься, посадил Казангапа и Букей на проходящий товарняк до разъезда Боранлы-Буранный. Там, сказал он, нужны люди, вот вы как раз подходящая пара. Записку написал начальнику разъезда. И не ошибся. Как ни тягостно оказалось даже по сравнению с Голодной степью — там народу было полно, работа кипела, — как ни страшно было в безводных сарозеках, но понемногу свыклись, приспособились и зажили. Худо-бедно, но сами по себе. Оба числились путевыми рабочими на перегонах, хотя делать приходилось все, что требовалось по разъезду. Вот так, собственно, и началась их совместная жизнь, Казангапа и его

молодой жены Букей, на безлюдном сарозекском разъезде Боранлы-Буранный. Правда, раза два в те годы хотели было они, поднакопив денег, перебраться куда-нибудь в другое место, поближе к станции или к городу, но пока они собирались, тут и война началась.

И пошли эшелоны через Боранлы-Буранный на запад с солдатами, на восток с эвакуированными, на запад с хлебом, на восток с ранеными. Даже на таком глухом полустанке, как Боранлы-Буранный, сразу стало ощутимо, как резко переиначилась жизнь…

Один вслед за другим ревели паровозы, требуя открытия семафоров, а навстречу столько же гудков… Шпалы не выдерживали нагрузки, корежились, преждевременно изнашивались рельсы, деформируясь от тяжести переполненных вагонов. Едва успевали заменить полотно в одном месте, как срочно требовался ремонт дороги в другом…

И ни конца, ни края — откуда только черпали эту неисчислимую людскую рать, эшелон за эшелоном проносились на фронт днем и ночью, неделями, месяцами, а потом годами и годами. И все на запад — туда, где схватились миры не на жизнь, а на смерть…

Спустя немного сроку пришел черед и Казангапа. Потребовали на войну. С Кумбеля передали повестку — явиться на сборный пункт. Начальник разъезда схватился за голову, застонал — забирали лучшего путейщика, их и так-то было на Боранлы-Буранном полтора человека. Но что он мог, кто бы его слушать стал, что пропускная способность разъезда не резина… Паровозы ревут у семафоров… Засмеют, если сказать, что срочно нужна еще одна запасная линия. Кому сейчас до этого — враг под Москвой…

И уже вступала на порог первая военная зима, ранняя, поспешающая сумерками, мглистая, пробирающая холодом. А накануне того утра выпал снег. Ночью пошел. Сперва редкой порошей, а потом повалил густо и усердно. И среди великого безмолвия сарозеков, бесконечно простираясь по равнинам, по увалам, по логам, упала сплошным покровом чистая небесная белизна. И сразу зашевелились, легко играючи еще не слежавшимся настом, сарозекские ветры. То были пока начальные, пробные ветры, потом завихрятся, завьюжат, поднимут большие метели. И что тогда будет с тоненькой ниточкой железной дороги, перерезавшей из края в край Серединные земли великих желтых степей, как жилка на виске?

Билась жилка — двигались, двигались поезда в ту и другую сторону…

Тем утром уезжал Казангап на фронт. Уезжал один, без всяких проводов. Когда они вышли из дому, Букей остановилась, сказала, что у нее от снега закружилась голова. Казапгап подхватил укутанного ребенка из ее рук. К тому времени Айзада уже народилась. И они пошли, возможно последний раз оставляя рядом следы на снегу. Но не жена провожала Казангапа, а он напоследок довел ее до стрелочной будки, перед тем как сесть на попутный товарняк до Кумбеля. Теперь Букей оставалась стрелочницей вместо мужа. Здесь они попрощались. Все, что надо было сказать, было сказано и выплакано еще ночью. Паровоз стоял уже под парами. Машинист торопил, звал Казангапа к себе. И как только Казангап взобрался к нему, паровоз дал длинный гудок и, набирая скорость, проследовал, перепадая колесами на стыке, через стрелку, где, открыв им путь, стояла Букей, туго повязанная платком, перепоясанная, в мужниных сапогах, с флажком в одной руке, с ребенком в другой. Последний раз помахали друг другу… Промелькнули — лицо, взгляд, рука, семафор…

А поезд тем временем уже мчался, оглашая

громыханием молочное заснежье сарозеков, молча наплывающих и молча проносящихся по сторонам как белый сон. Ветер задувал в паровоз, привнося к неистребимому запаху выгоревшего шлака в топке запах свежего, первозданного степного снега… Казангап старался подольше задержать в легких этот зимний дух сарозекских просторов и понял, что ему отныне эта земля не безразлична:

На Кумбеле шла отправка мобилизованных. Строили всех в ряды, делали перекличку и распределяли по вагонам. И вот тут-то случилась странная история. Когда Казангап пошел со своей колонной на погрузку, кто-то из работников военкомата догнал его на ходу.

— Асанбаев Казангап! Кто тут Асанбаев? Выйти из строя! Иди за мной!

Как сказано, так и поступил Казангап.

— Я Асанбаев!

— Документы!.. Правильно. Он самый. А теперь за мной.

И они пошли назад на станцию, где размещался пункт сбора, тот человек сказал ему:

— Вот что, Асанбаев, ты давай возвращайся домой. Езжай к себе. Понял?

— Понял, — ответил Казангап, хотя ничего не

понял.

— В таком разе топай, не толкайся тут. Ты свободен.

Казангап остался в гудящей толпе провожающих и отъезжающих в полной растерянности. Поначалу он даже обрадовался такому повороту дела, а потом вдруг нестерпимо жарко стало ему от догадки, мелькнувшей в глубине сознания. Ах вот оно что! И он стал пробиваться через пробку людей к дверям начальника сбора.

— Куда ты, куда лезешь? — закричали те, что тоже хотели попасть к начальнику.

— У меня срочное дело! Эшелон уходит, срочное дело! — И пробился.

В накуренной до сизой мглы комнате, среди телефонов, бумаг и обступивших людей полуседой, охрипший человек поднял перекошенное лицо от стола, когда Казангап сунулся к нему.

— Ты чего, по какому вопросу?

— Я не согласен.

— С чем не согласен?

— Отец мой был оправдан как попавший под перегиб. Он не кулак! Проверьте у себя все бумаги! Он оправдан как середняк.

— Постой-постой! Чего тебе надо-то?

— Если меня не берете по этой причине, то это

неправильно.

— Слушай, не пори хреновину. Кулак, середняк — кому теперь дело до этого! Ты откуда свалился? Кто ты такой?

— Асанбаев с разъезда Боранлы-Буранный.

Начальник стал заглядывать в списки.

— Так бы и сказал. Морочишь тут голову. Середняк, бедняк, кулак! На тебя бронь! По ошибке вызвали. Есть приказ самого товарища Сталина — железнодорожников не трогать, все остаются на местах. Давай не мешай тут, гони на свой разъезд и дело давай…

Закат застал их где-то в пути, неподалеку от Боранлы-Буранного. Теперь они снова приближались к железнодорожной линии, и уже слышны были гудки пробегающих в ту и другую сторону поездов, и можно было различить составы вагонов. Издали среди сарозеков они выглядели игрушечными. Солнце медленно угасало позади, высвечивая и одновременно затеняя чистые лога и холмы вокруг, и вместе с тем незримо зарождались над землей сумерки, постепенно затемняя, насыщая воздух синевой и остывающим духом весенней земли, еще сохранявшей остатки зимней влаги.

— Вот наш Боранлы! — указал рукой Казан-

гап, оборачиваясь к Едигею на верблюде и к поспешавшей рядом Укубале. — Теперь немного осталось, скоро доберемся, бог даст. Отдохнете.

Впереди, там, где железная дорога делала чуть заметный изгиб, на пустынной плоскости стояло несколько домиков, а на запасном пути дожидался открытия семафора проходящий состав. И дальше и по сторонам чистое поле, пологие увалы — немое, немереное пространство, степь да степь…

Сердце Едигея упало — сам приморский степняк, привыкший к аральским пустыням, он не ожидал такого. От синего, вечно меняющегося моря, на берегу которого вырос, к мертвенному безморью! Как тут жить-то?!

Укубала, идя рядом, дотянулась рукой до ноги Едигея и прошла несколько шагов, не убирая руки. Он понял. «Ничего, — говорила она, — главное, чтобы здоровье твое вернулось. А там поживем — увидим…»

Так приближались они к месту, где предстояло им, как оказалось потом, провести долгие годы — всю остальную жизнь.

Вскоре солнце угасло, и уже в темноте, когда ясно и четко обозначилось в сарозекском небе множество звезд, они добрались до Боранлы-Бу-

ранного.

Несколько дней жили у Казангапа. А потом отделились. Дали им комнату в тогдашнем бараке для путевых рабочих, и с того началась их жизнь на новом месте.

При всех невзгодах и тягостном, особенно на первых порах, безлюдье сарозеков полезными для Едигея оказались две вещи — воздух и верблюжье молоко. Воздух был первозданной чистоты, другой такой девственный мир найти было бы трудно, а молоко Казангап устроил, дал им на подои одну из двух верблюдиц.

— Мы тут с женой посоветовались, что к чему, — сказал он, — нам своего молока хватает, а вы берите себе на подои нашу Белоголовую. Она верблюдица молодая, удойная, вторым окотом идет. Сами ухаживайте и сами пользуйтесь. Только глядите, чтобы сосунка не заморить. Он ваш, мы с женой так порешили — это тебе, Едигей, от меня на развод, для начала. Сбережешь — стадо вокруг него завяжется. Надумаете вдруг уезжать — продашь, деньги будут.

Детеныш у Белоголовой — черноголовый, крошечный, с малюсенькими темными горбиками — народился всего полторы недели назад. И такой трогательно глазастый — огромные, выпуклые,

влажные глаза его светились детской лаской и любопытством. Иногда он начинал забавно бегать, подпрыгивать, резвиться возле матери и звать ее, когда оставался в загончике, почти человеческим, жалобным голоском. Кто мог бы подумать — это и был будущий Буранный Каранар. Тот самый неутомимый и могучий, который станет со временем знаменитостью округи. С ним окажутся связанными многие события в жизни Буранного Едигея. А тогда сосунок нуждался в постоянном присмотре. Крепко привязался к нему Едигей. Возился с ним все свободное время. К зиме маленький Каранар заметно подрос, и тогда с наступлением холодов сшили ему теплую попонку, застегивающуюся на подбрюшье. В этой попонке он был совсем смешной — только голова, шея, ноги да два горбика были снаружи. В том одеянии он ходил всю зиму и начало весны — круглые сутки в степи под открытым небом.

К зиме того года Едигей почувствовал, как постепенно возвращались к нему силы. Даже не заметил, когда перестала голова кружиться. Мало-помалу исчез постоянный гул в ушах, перестал обливаться потом при работе. А в середине зимы при больших заносах на дороге он уже мог наравне со всеми выходить на аврал. А потом

настолько окреп, молодой ведь был, да и сам от природы напористый, забыл даже, как худо да туго было совсем недавно, как едва ноги таскал. Сбылись слова рыжебородого доктора.

В минуты благодушия Едигей, бывало, шутил, обращаясь к верблюжонку, лаская его, обнимая за шею:

— Мы с тобой вроде как молочные братья. Ты вон как подрос на молоке Белоголовой, а я от контузийной немощи избавился, кажется. Дай бог, чтоб навсегда. Разница лишь в том, что ты сосал вымя, а я выдаивал да шубат делал…

Много лет спустя, когда Буранный Каранар достиг такой славы в сарозеках, что приехали какие-то люди специально фотографировать его, а это было, уже когда война забылась, дети учились, когда на разъезде появилась собственная водокачка и проблема воды таким образом была окончательно решена, а Едигей уже дом поставил под железной крышей, — словом, когда жизнь после стольких лишений и мытарств вошла наконец в свое достойное, нормальное для человеческой жизни русло, тогда и вышел один разговор, который Едигей долго помнил потом.

Приезд фотокорреспондентов, так они сами отрекомендовались, конечно же был редким, если

не единственным случаем в истории Боранлы-Буранного. Шустрые, словоохотливые фотокоры, их было трое, не поскупились на посулы — с тем, мол, мы и прибыли, чтобы пропечатать во всех газетах и журналах Буранного Каранара и его хозяев. Шум и суета вокруг Каранару не очень нравились — он раздраженно покрикивал, скрипел зубатой пастью и недоступно задирал голову, чтобы его оставили в покое. Приезжим приходилось все время просить Едигея, чтобы он усмирял верблюда, поворачивал его то так, то эдак. А Едигей, в свою очередь, всякий раз звал детей, женщин и самого Казангапа, чтобы, стало быть, не один он, а все вместе были засняты, полагал, что так будет лучше. Фотокоры охотно мирились с этим, щелкали разными аппаратами. Самый коронный номер был, когда на Буранного Каранара насели все ребята, двое на шею, а еще человек пять на спину, а посередине сам Едигей, — вот, мол, какой силы верблюдище! То-то было шума и веселья! Но потом фотокорреспонденты признались, что для них важно заснять атана самого по себе, без людей. Пожалуйста, какой разговор!

И тогда фотографы стали снимать Буранного Каранара, прицеливаясь сбоку, спереди, вблизи, издали, как могли и умели, а потом с помощью

Едигея и Казангапа стали делать обмеры — замерили высоту в холке, обхват груди, обхват запястья, длину корпуса и все записывали, восхищаясь:

— Великолепный бактериан! Вот где гены отлично сработали! Классический тип бактериана! Какая мощная грудь, отличный экстерьер!

Лестно было, конечно, Едигею слышать такие отзывы, но пришлось спросить, что означали эти непонятные для него слова, «бактериан» например. Оказалось, так называется в науке древняя порода двугорбых верблюдов.

— Значит, он бактериан?

— Редкой чистоты. Алмаз.

— А зачем вам все эти обмеры?

— Для научных данных.

Насчет газет и журналов приезжие, конечно, пыль пустили в глаза боранлинцам для пущей важности, но через полгода прислали бандеролью учебник, предназначенный для зоотехнических факультетов по верблюдоводству, на обложке которого красовался классический бактериан — Буранный Каранар. И фотоснимков прислали целую кучу, среди них и цветные. Даже по фотографиям можно судить — счастливое, отрадное было время. Невзгоды послевоенных

лет оставались позади, дети еще не вышли из детскости, взрослые все живы-здоровы, и старость еще крылась за горами.

В тот день в честь гостей Едигей заколол барашка и устроил славное пиршество для всех боранлинцев. Шубата, водки и всякой снеди было полно. Тогда заезжал на разъезд передвижной вагон-магазин орса, в котором привозили все, что душе угодно. Лишь бы деньги были. Всякие там крабы, черная и красная икра, рыбы разных сортов, коньяки, колбасы, конфеты и прочее и прочее. И надо же, когда все есть, то не очень-то покупали. Зачем лишнее? Теперь магазин этот передвижной давно уже исчез с путей…

А тогда славно посидели, пили даже за Буранного Каранара. И в разговоре выяснилось, что гости прослышали о Каранаре от Елизарова. Это Елизаров рассказал им, что в сарозеках живет его друг Буранный Едигей и что он хозяин самого красивого верблюда на свете — Буранного Каранара! Елизаров, Елизаров! Отличный человек, знаток сарозеков, ученый… Когда Елизаров приезжал в Боранлы-Буранный, собирались они втроем с Казангапом, сколько разговоров бывало ночами напролет…

Поведали они гостям, то Казангап, то Едигей,

продолжая и дополняя друг друга, сарозекское предание об истории прародительницы здешней породы верблюдов, о знаменитой белоголовой верблюдице Акмае и ее не менее знаменитой хозяйке Найман-Ане, покоящейся на кладбище Ана-Бейит. Вот ведь откуда вел свой род Буранный Каранар! Боранлинцы надеялись, что, может быть, в газете какой напечатают об этой старинной истории. Гости с интересом выслушали, но посчитали, должно быть, что это какая-то местная легенда, бытующая из поколения в поколение. А вот Елизаров был другого мнения. Он считал, что легенда об Акмае вполне может отражать то, что было, как он говорил, в ту историческую действительность. Он любил слушать такие вещи, он и сам знал немало степных преданий из прошлого…

Выпроводили гостей уже к вечеру. Довольный, гордый был Едигей. Оттого и сказал не подумав. Выпил ведь все-таки с гостями. Но что сказано, то сказано.

— А что, Казаке, признайся, — сказал он Казангапу, — не жалеешь ли, грешным делом, что подарил мне сосунком Каранара?

Казангап глянул на него с усмешкой. Видимо, не ожидал такого. И, помолчав, ответил:

— Все мы люди, конечно. Но знаешь, есть такой закон, дедами еще сказанный: *мал неси кудай-дап*[8]. Это дело от бога. Так суждено. Именно твоим должен быть Каранар, и именно ты его хозяином. А попади он, скажем, в другие руки, неизвестно, каким бы он был, а может, и не выжил бы, околел и мало того что еще могло приключиться. Свалился бы с обрыва. Тебе он должен был принадлежать. У меня ведь и прежде бывали верблюды, и неплохие. И от этой же матки, от Белоголовой, от которой Каранар. А у тебя он был один-единственный, дареный… Дай бог, чтоб сто лет тебе он служил. Только напрасно ты так думаешь…

— Ну извини, извини, Казаке, — застыдился Едигей, сожалея, что ляпнул такое.

И в продолжение их разговора поделился Казангап своим наблюдением. По преданию, золотая матка Акмая принесла семерых детенышей — четырех маток, трех самцов. И вот с тех пор все матки рождаются светлые, белоголовые, все самцы, наоборот, черноголовые, а сами каштановой масти. Оттого Каранар и уродился таким. От белоголовой матки черный верблюд. Это первый

---

[8] Примечания: 8
Хозяин скотины от бога.

признак его происхождения от Акмаи, и с тех пор кто его знает, сколько лет прошло, двести, триста, пятьсот или больше, но в сарозеках род Акмаи не переводится. И нет-нет да появится такой верблюд-сырттан[9], как Буранный Каранар. А Едигею просто-напросто повезло. На его мужицкое счастье, народился Каранар и попал в его руки…

А когда пришло время что-то делать с Каранаром — или кастрировать, или держать его в оковах, потому что стал он буянить страшно, не допуская к себе людей, убегал, пропадал где-то по нескольку суток, — Казангап прямо сказал Едигею, когда тот стал советоваться с ним:

— Это дело твое. Хочешь спокойной жизни — оскопи. Хочешь славы — не тронь. Но тогда бери на себя весь ответ, если что. Хватит сил и терпения — подожди, перебунтует года три и будет потом за тобой ходить.

Не тронул Едигей Буранного Каранара. Нет, не посмел, рука не поднялась. Оставил его атаном. Но были моменты — умывался кровавыми слезами…

---

[9] Примечания: 9

Сырттан — сверхсущество, например, сверхсобака, сверхволк..

V

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

Рано утром все было готово. Наглухо запеленатое в плотную кошму и перевязанное снаружи шерстяной тесьмой тело Казангапа с закутанной головой уложили в прицепную тракторную тележку, предварительно подостлав на дно опилок, стружек и слой чистого сена. Надо было не очень-то задерживаться с выездом, чтобы к вечеру, не позднее пяти-шести часов, успеть вернуться с кладбища. Тридцать километров в один конец, да столько же в другой, да захоронение — вот и получается, что поминки справлять придется где-то только около шести вечера. С тем и отправлялись

в путь, чтобы поспеть к поминкам. И все было уже готово. Держа на поводу оседланного и обряженного еще со вчерашнего вечера Каранара, Буранный Едигей поторапливал людей. И вечно они возятся. Сам он, хотя и не спал всю ночь, выглядел подтянутым, сосредоточенным, хотя и осунулся. Чисто выбритый, сивоусый и сивобровый Едигей был в лучшем наряде — хромовых сапогах, в вельветовых мешковатых галифе, в черном пиджаке поверх белой рубашки, и на голове выходная железнодорожная фуражка. На груди его поблескивали все боевые ордена, медали и даже значки ударника пятилеток. Все это ему шло и придавало внушительность. Таким, пожалуй, и должен был бы быть Буранный Едигей на похоронах Казангапа.

На проводы собрались все боранлинцы от мала до велика. Толпились возле прицепа, ждали выезда. Женщины не переставая плакали. Как-то само собой вышло, Буранный Едигей сказал собравшимся:

— Мы сейчас отправляемся на Ана-Бейит, на самое почитаемое старинное кладбище в сарозеках. Покойный Казангап-ата заслужил это. Он сам завещал похоронить его там. — Едигей задумался, что сказать еще, и продолжил: — Стало

быть, кончились вода и соль, предназначенные ему на роду. Этот человек проработал на нашем разъезде ровно сорок четыре года. Можно сказать — всю жизнь. Когда он здесь начинал, не было даже водокачки. Воду привозили в цистерне на целую неделю. Тогда не было снегоочистителей и других машин, которые теперь есть. Не было даже такого трактора, на котором теперь мы везем его хоронить. Но все равно поезда шли, и путь им был всегда готов. Казангап честно отслужил свой век на Боранлы-Буранном. Он был хорошим человеком. Вы все знаете. А теперь мы двинемся. Всем туда не на чем и незачем ехать. Да и линию не имеем права оставлять. Мы поедем туда вшестером. И мы все сделаем как подобает. А вы ждите нас и готовьтесь, по возвращении все собирайтесь на поминки, зову от имени его детей, вот они — сын и дочь его…

Хотя Едигей и не думал, получился вроде как бы маленький траурный митинг. С тем они тронулись. Боранлинцы пошли немного за прицепом и остались кучкой за домами. Некоторое время слышался еще громкий плач — то голосили вслед Айзада и Укубала…

И когда смолкли позади выкрики и они вшестером, все дальше уходя от железной дороги,

углубились в сарозеки, Буранный Едигей облегченно вздохнул. Теперь они были сами по себе, и он знал, что надо делать.

Солнце уже поднималось над землей, щедро и отрадно заливая светом сарозекские просторы. Пока еще было прохладно в степи и ничто внешне не отягощало их движения. В целом мире привычно и недоступно парили в выси только два коршуна да иногда выпархивали из-под ног жаворонки, смущенно щебеча и трепыхая крылышками. «Скоро и они улетят. С первым снегом соберутся в стаи и улетят», — отметил про себя Едигей, представив на мгновение падающий снег и улетающих в той снежной пелене пташек. И опять вспомнилась ему почему-то та лисица в ночи, прибегавшая к железной дороге. Он даже огляделся украдкой по сторонам — не идет ли где следом. И опять подумалось об огненной ракете, поднимавшейся той ночью над сарозеками в космос. Удивляясь странным мыслям своим, он все же заставил себя забыть об этом. Не о том пристало думать в такой час, хоть путь был далек…

Восседая на своем Каранаре, Буранный Едигей ехал впереди, указывая направление на Ана-Бейит. Широким, размашистым тротом шел под ним Каранар, все больше втягиваясь в дорожный

ритм движения. Для понимающего человека Каранар был особенно красив на ходу. Голова верблюда на гордо изогнутой шее как бы плыла над волнами, оставаясь почти в неподвижности, а ноги, длиннющие и сухожильные, стригли воздух, неутомимо отмеряя шаги по земле. Едигей сидел между горбами прочно, удобно, уверенно. Он был доволен, что Каранар не требовал понуканий, шел, легко и чутко улавливая указания хозяина. Ордена и медали на груди Едигея слегка позванивали на ходу и отсвечивали в лучах солнца. Но это ему не мешало.

Следом за ним катился трактор «Беларусь» с прицепом. В кабине возле молодого тракториста Калибека сидел Сабитжан. Вчера он все же порядочно выпил, занимая боранлинцев всякими байками о радиоуправляемых людях и всякой другой болтовней, а теперь был подавлен и молчалив. Голова Сабитжана болталась из стороны в сторону. Едигей опасался, как бы не разбились его очки. В прицепной тележке рядом с телом Казангапа сидел, пригорюнившись, муж Айзады. Он щурился на солнце и изредка оглядывался по сторонам. Этот никчемный алкоголик на сей раз проявил себя с лучшей стороны. Ни капли не взял в рот. Старался во всем помогать, во всех делах и

при выносе покойника особенно усердствовал, подставлял плечо. Когда Едигей предложил ему примоститься с ним сзади на верблюде, тот отказался. «Нет, — сказал он, — я буду сидеть рядом с тестем, сопровождать его буду от начала до конца». Это и Едигей одобрил, и все боранлинцы. И когда выезжали они с места, то больше всех и громче всех плакал именно он, сидя в прицепной тележке, придерживая войлочный сверток с телом умершего. «А что, вдруг человек возьмется за ум да бросит пить? Какое счастье было бы для Айзады и детей», — обнадежился даже Едигей.

Эту маленькую и странную процессию в безлюдной степи, возглавляемую верховым на верблюде в попоне с кистями, замыкал колесный экскаватор «Беларусь». В его кабине ехали Эдильбай и Жумагали. Черный, как негр, приземистый Жумагали сидел за рулем. Обычно он управлял этой машиной на разных путевых работах. На Боранлы-Буранном он появился сравнительно недавно, и еще трудно было сказать, надолго ли задержится здесь. Рядом с ним, возвышаясь на целую голову, ехал Длинный Эдильбай. Всю дорогу они о чем-то оживленно разговаривали.

Надо отдать должное начальнику разъезда Оспану. Это он выделил на похороны всю наличную

технику, которой располагал разъезд. Правильно рассудил молодой начальник разъезда — если ехать в такую даль да еще вручную копать могилу, вряд ли они успеют обернуться к вечеру, ведь яму нужно вырыть очень глубокую и с подкопом — с боковой нишей по мусульманскому обычаю.

Поначалу Буранного Едигея это предложение несколько озадачило. Ему и в голову не приходило, чтобы вздумалось кому могилу копать не собственными руками, а с помощью экскаватора. Сидел он при этом разговоре перед Оспаном, хмуря лоб в раздумье, полный сомнений. Но Оспан нашел выход, убедил старика:

— Едике, я вам дело говорю. Чтобы вас ничего не смущало, начните вначале копать вручную. Ну, скажем, первые лопаты. А потом экскаватором в два счета. Грунт в сарозеках ссохшийся, как камень, сами знаете. Экскаватором углубитесь сколько надо, а под конец опять вручную возьметесь, отделку, так сказать, завершите. И время сэкономите, и соблюдете все правила…

И вот теперь по мере удаления в сарозеки Едигей находил совет Оспана вполне разумным и приемлемым. И даже удивлялся, как это он сам не додумался. Да, так они и поступят, бог даст, достигнув Ана-Бейита. Так и следует — выберут

на кладбище удобное место, чтобы устроить покойника головой в сторону вечной Каабы, начнут для затравки заступом да лопатами, которые они везут с собой в прицепе, а когда чуть углубятся, пустят экскаватор выбрать яму до дна, а нишу сбоку — казанак — и ложе завершат вручную. Так оно будет и быстрей и верней.

С этой целью они следовали в тот час по сарозекам, то появляясь цепочкой на гребне всхолмлений, то скрываясь в широких логах, то снова отчетливо вырисовываясь на удалении равнин, — впереди Буранный Едигей на верблюде, за ним колесный трактор с прицепом, за прицепом, как некий жук, угластый и рукастый экскаватор «Беларусь» со скрепом бульдозерным впереди и отвернувшимся рабочим ковшом позади.

Оглядываясь последний раз на скрывшийся позади разъезд, Едигей, к своему великому изумлению, только сейчас заметил рыжего пса Жолбарса, деловито трусившего сбоку. Это когда же он успел увязаться? Вот те на! При выезде из Боранлы-Буранного его вроде бы не было. Знал бы, что он выкинет такую штуку, посадил бы на привязь. Экий хитрец! Как приметит, что Едигей на Каранаре отправляется куда-то, уж он выберет момент, примкнет в попутчики. Вот и в этот раз

возник как из-под земли. Бог с ним, решил Едигей. Гнать его назад было уже поздно да и не стоило терять время из-за собаки. Пусть себе бежит. И словно бы отгадав мысли хозяина, Жолбарс обогнал трактор и пристроился чуть спереди и сбоку Каранара. Едигей пригрозил ему кнутовищем. Но тот и ухом не повел. Поздно, мол, грозиться. Да и чем он был плох, чтобы не допускать его к такому делу. Грудастый, с лохматой могучей шеей, с обрубленными ушами и умными, спокойными глазами, рыжий пес Жолбарс по-своему был красив и примечателен.

Между тем разные мысли навещали Едигея по пути на Ана-Бейит. Поглядывая, как солнце поднималось над горизонтом, отмеряя времени течение, вспоминал он все о том же, о житье-бытье былом. Вспоминал те дни, когда они с Казангапом были молоды и в силе и являлись, если на то пошло, главными постоянными рабочими на разъезде, другие-то не очень задерживались на Боранлы-Буранном, как приходили, так и уходили. Им с Казангапом времени не хватало передохнуть, потому что, хочешь не хочешь, приходилось, ни с чем не считаясь, делать на разъезде всю работу, в какой только возникала необходимость. Теперь вслух вспоминать об этом

неловко — молодые смеются: старые дураки, жизнь свою гробили. А ради чего? Да, действительно, ради чего? Значит, было ради чего.

Однажды на заносах двое суток не покладая рук бились, расчищая пути от снега. На ночь паровоз подвели с фарами, чтобы освещать местность. А снег все идет и ветер крутит. С одной стороны счищаешь, а с другой уже сугроб намело. И холодно — не то слово: лицо, руки повспухали. Залезешь в паровоз на пять минут погреться — и опять за это гиблое сарозекское дело. И самый паровоз-то уже замело по колеса с верхом. Трое из новоприбывших рабочих на вторые сутки ушли. Обматерили сарозекскую жизнь на чем свет стоит. Мы, говорят, не арестанты, в тюрьмах и то дают время выспаться. И с тем подались, а наутро, когда пошли поезда, свистнули на прощание:

— Эй, дуроломы, хрен вам в зубы!

Но не потому, что эти заезжие молодцы облаяли их, а так случилось, подрались они на том заносе с Казангапом. Да, было такое. Ночью стало невмоготу работать. Снег порошил, ветер со всех сторон, как злая собака, цепляется. Деться некуда от ветра. Паровоз пары пускает, а от этого только туман. И фары едва-едва тьму просвечивали. Когда те трое ушли, они с Казангапом оставались

вывозить снег верблюжьей волокушей. Пара верблюдов была запряжена. Не идут, твари, им тоже холодно и тошно в этой круговерти. Снег на обочинах по грудь. Казангап тягал верблюдов за губы, чтобы они шли за ним, а Едигей на волокуше погонял сзади бичом. Так бились они до полуночи. А верблюды потом упали в снег, хоть убей, вконец выбились из сил. Что делать? Бросать придется дело, пока погода не утихнет. Стояли они возле паровоза, заслоняясь от ветра.

— Хватит, Казаке, полезем в паровоз, а там видно будет, как погода, проговорил Едигей, хлопая одна о другую смерзшимися рукавицами.

— Погода какая была, такой и будет. Все равно наша работа — расчищать путь. Давай лопатами, не имеем права стоять.

— Да что мы, не люди?

— Не люди — волки да разное зверье — по норам сейчас попрятались.

— Ах ты гад! — взъярился Едигей. — Да тебе хоть подохни, и ты сам здесь подохнешь! — И двинул его по скуле.

Ну и схватились, поразбивали губы друг другу. Хорошо еще, кочегар выпрыгнул из паровоза, разнял вовремя.

Вот такой он был, Казангап. Теперь таких не

сыщешь. Нет теперь Казангапов. Последнего везут хоронить. Осталось упрятать покойника под землю с прощальными словами над ним — и на том аминь!

Думая об этом, Буранный Едигей повторял про себя полузабытые молитвы, чтобы выверить заведенный порядок слов, восстановить точнее в памяти последовательность мыслей, обращенных к богу, ибо только он один, неведомый и незримый, мог примирить в сознании человеческом непримиримость начала и конца, жизни и смерти. Для того, наверно, и сочинялись молитвы. Ведь до бога не докричишься, не спросишь его, зачем, мол, ты так устроил, чтобы рождаться и умирать. С тем и живет человек с тех пор, как мир стоит, — не соглашаясь, примиряется. И молитвы эти неизменны от тех дней, и говорится в них все то же — чтобы не роптал понапрасну, чтобы утешился человек. Но слова эти, отшлифованные тысячелетиями, как слитки золота, — последние из последних слов, которые обязан произнести живой над мертвым. Таков обряд.

И думалось ему еще о том, что независимо от того, есть ли бог на свете или его вовсе нет, однако вспоминает человек о нем большей частью, когда приспичит, хотя и негоже так поступать.

Оттого, наверное, и сказано — неверующий не вспомнит о боге, пока голова не заболит. Так оно или не так, но молитвы все-таки знать надо.

Глядя на своих молодых попутчиков на тракторах, Буранный Едигей искренне сокрушался и сожалел — никто из них не знал никаких молитв. Как же они будут хоронить друг друга? Какими словами заключат они уход человека в небытие? «Прощай, товарищ, будем помнить»? Или еще какую-нибудь ерунду?

Как-то раз довелось ему присутствовать на похоронах в областном городе. Диву дался Буранный Едигей — на кладбище все равно что на собрании каком: перед покойником в гробу выступали по бумагам ораторы и говорили все об одном и том же — кем он работал, на каких должностях и как работал, кому служил и как служил, а потом сыграли музыку и могилу завалили цветами. И ни один из них не удосужился сказать нечто о смерти, как сказано то в молитвах, венчающих познания людей от века в той череде бытия и небытия, как будто бы до этого никто не умирал на свете и после того как будто никто не должен был умереть. Несчастные, они были бессмертны! Так и заявляли вопреки очевидному: «Он ушел в бессмертие!»

Едигей хорошо знал местность. К тому же с высоты Буранного Каранара ему, седоку, все было видно впереди на далекое расстояние. Он старался держать путь по сарозекам на Ана-Бейит как можно прямее, допуская отклонения лишь с тем, чтобы тракторам удобнее было миновать рытвины.

И все шло, как было задумано. Ни скоро, ни тихо, но они преодолели уже треть пути… Буранный Каранар рысил неутомимым тротом, чутко улавливая повеления хозяина. За ним следовал, тарахтя, трактор с прицепом, и за прицепом шел колесный экскаватор «Беларусь».

И, однако же, впереди их ждали непредвиденные обстоятельства, которые, как бы невероятно то ни звучало, имели некую внутреннюю связь с делами, происходящими на космодроме Сары-Озек…

Авианосец «Конвенция» находился в тот час на своем месте, в том же районе Тихого океана, южнее Алеутов, на строго одинаковом по воздуху расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско.

Погода на океане не изменилась. В течение первой половины дня все так же ослепительно сияло солнце над бесконечно мерцающим простором воды. Ничто на горизонте не предвещало

каких-либо атмосферных изменений.

На самом же авианосце все службы находились в напряжении — в полной рабочей готовности, включая авиакрыло и группу внутренней безопасности, хотя никаких конкретных причин для этого в реальном окружении не было. Причины были за пределами космоса.

Поступившие на борт «Конвенции» через орбиту «Трамплин» сообщения от паритет-космонавтов с планеты Лесная Грудь привели руководителей Общспупра и членов особоуполномоченных комиссий в полное смятение. Замешательство было настолько сильным, что обе стороны решили вначале провести раздельные совещания, чтобы обсудить создавшееся положение, прежде всего исходя из собственных интересов и позиций, и лишь затем только собраться для общих суждений.

Мир еще не знал о беспрецедентном в истории человечества открытии — о существовании внеземной цивилизации на планете Лесная Грудь. Даже правительства сторон, поставленные в известность в строго секретном порядке о самом происшествии, не имели пока сведений о дальнейшем развитии событий. Ждали согласованную точку зрения компетентных комиссий.

На всей территории авианосца был установлен строгий режим — никто, включая авиакрыло, не имел права покидать свое место. Никто ни под каким предлогом не имел права покидать судно, и ни одно другое судно не могло приблизиться к «Конвенции» в радиусе пятидесяти километров. Самолеты, пролетавшие в этом районе, изменяли курс, чтобы не подойти ближе чем на триста километров к месту нахождения авианосца.

Итак, общее заседание сторон было прервано, и каждая комиссия совместно со своими соруководителями программы «Демиург» обсуждала донесения паритет-космонавтов 1–2 и 2–1, переданные ими с неизвестной науке планеты Лесная Грудь.

Слова их прибыли из немыслимой астрономической дали:

«Слушайте, слушайте!

Мы ведем трансгалактическую передачу для Земли!

Невозможно объяснить все то, что не имеет земного названия. Однако много общего.

Они человекоподобные существа, такие же люди, как мы! Ура мировой эволюции! И здесь эволюция отработала модель гоминида по универсальному принципу! Это прекрасные типы

гоминидов-инопланетян! Смуглая кожа, голубоволосые, сиренево- и зеленоглазые, с белыми пушистыми ресницами.

Мы увидели их в абсолютно прозрачных скафандрах, когда они примкнули к нашей орбитальной станции. Они улыбались с кормы корабля, приглашая нас к себе.

И мы перешагнули из одной цивилизации в другую.

Винтовой летательный аппарат отчалил, и со скоростью света, которая фактически никак не ощущалась внутри корабля, мы двинулись, преодолевая поток времени, во Вселенную. Первое, на что мы обратили внимание и что принесло нам неожиданное облегчение, это отсутствие состояния невесомости. Каким образом это достигнуто, мы пока не можем объяснить. Мешая русские и английские слова, они произнесли первую фразу: «Вел ком наш Звезда!» И тогда мы поняли, что при проявлении известной чуткости сможем обмениваться мыслями. Эти голубоволосые существа высокого роста, около двух метров, — их было пятеро: четверо мужчин и женщина. Женщина отличалась не ростом, а чисто женскими формами и более светлой кожей. Все голубоволосые лесногрудцы достаточно смуг-

лы, наподобие наших северных арабов. С первых минут мы почувствовали к ним доверие.

Трое из них — пилоты летательного аппарата, а один мужчина и женщина — знатоки земных языков. Это они впервые изучили и систематизировали путем радиоперехвата в космосе английские и русские слова и составили земной словник. К моменту нашей встречи они освоили значение свыше двух с половиной тысяч слов и терминов. С помощью этого лингвистического запаса и началось наше общение. Сами они говорят на языке, разумеется, для нас совершенно непонятном, но по звучанию напоминающем испанский.

Через одиннадцать часов после отлета от «Паритета» мы вышли за пределы Солнечной системы.

Этот переход из нашей звездной системы в другую совершился неприметно, ничем особенным не отличаясь. Материя Вселенной всюду одинакова. Но впереди по курсу (видимо, таково было в тот момент расположение и состояние иносистемных тел) постепенно высветлялось алеющее зарево. Это зарево разрасталось, раздвигалось вдали в безграничное световое пространство. Тем временем мы миновали по пути несколько

планет, затемненных в тот час с одной стороны и освещенных с другой. Множество солнц и лун проносилось в обозримых пространствах.

Мы как бы выносились из ночи в день. И вдруг — влетели в ослепительно чистый и безбрежный свет, исходящий от великого и могучего Солнца в неведомом доселе небе.

— Мы в нашей Галактике! Вот светит наш Держатель! Скоро покажется наша Лесная Грудь! — объявила женщина-лингвист.

И действительно, в неизмеримой высоте нового космического пространства мы увидели новое для нас Солнце, именуемое Держателем. По интенсивности излучения и величине своей Держатель превосходил наше Солнце. Кстати, именно этим свойством здешнего светила и тем, что сутки на планете Лесная Грудь составляют двадцать восемь часов, мы склонны объяснить целый ряд геобиологических отличий здешнего мира от нашего.

Но обо всем этом мы попытаемся сообщить в следующий раз или по возвращении на «Паритет», а сейчас лишь мимоходом несколько важных сведений. Планета Лесная Грудь с высоты напоминает нашу Землю, окружена такими же атмосферными облаками. Но вблизи, на расстоя-

нии пяти-шести тысяч метров от поверхности, — лесногрудцы совершили для нас специальный обзорный полет — это зрелище невиданной красоты: горы, хребты, холмы сплошь в ярко-зеленом покрове, между ними реки, моря и озера, а в некоторых частях планеты, больше в окраинных, полюсных, — огромные пятна безжизненных пустынь, там стоят пыльные бури. Но самое большое впечатление произвели на нас города и поселения. Эти острова конструкторских сооружений среди лесногрудского ландшафта свидетельствуют об исключительно высоком уровне урбанизации. Даже Манхэттен не может идти ни в какое сравнение с тем, что являет собой градостроительство голубоволосых обитателей этой планеты.

Сами лесногрудцы, на наш взгляд, представляют собой особый феномен разумных существ во Вселенной. Период беременности — одиннадцать лесногрудских месяцев. Продолжительность жизни велика, хотя сами они считают главнейшей проблемой общества и смыслом существования удлинение жизни. Они живут в среднем сто тридцать — сто пятьдесят лет, а кое-кто доживает и до двухсот лет. Население планеты — свыше десяти миллиардов жителей.

Мы сейчас не в состоянии сколько-нибудь систематизированно изложить все, что касается образа жизни голубоволосых и достижений данной цивилизации. Поэтому фрагментарно сообщаем о том, что больше всего поразило нас в этом мире.

Они умеют добывать энергию — солнечную, или, вернее, держательную, преобразуя ее в тепловую и электрическую с высоким коэффициентом полезного действия, превышающим наши гидротехнические способы, а также, что исключительно важно, они синтезируют энергию из разности дневных и ночных температур воздуха.

Они научились управлять климатом. Когда мы совершали обзорный полет над планетой, летательный аппарат путем излучений рассеивал мгновенно облака и туман в местах их скопления. Нам стало известно, что они способны влиять на движение воздушных масс и водных течений в морях и океанах. Тем самым они регулируют процесс увлажнения и температурный режим на поверхности планеты, более того — они научились управлять гравитацией, и это помогает в межзвездных полетах.

Однако перед ними стоит колоссальная проблема, с которой, насколько нам известно, мы еще не

сталкивались на Земле. Они не страдают от засухи, ибо способны управлять климатом. Они пока не знают дефицита в производстве продуктов питания. Это при таком-то огромном количестве населения, в два с лишним раза превышающем людской род на Земле. Но значительная часть планеты постепенно становится непригодной для жизни. В таких местах вымирает все живое. Это явление так называемого внутреннего высыхания. При нашем обзорном полете мы видели пыльные бури в юго-восточной части Лесногрудии. В результате каких-то грозных реакций в недрах планеты — возможно, это сродни нашим вулканическим процессам, но только это, пожалуй, какая-то форма медленного рассеянного лучевого извержения, — поверхностный грунт разрушается, теряет свою структуру, в нем выгорают все почвообразующие вещества. В этой части Лесногрудии пустыня величиной с Сахару с каждым годом шаг за шагом наступает на жизненное пространство голубоволосых инопланетян. Для них это самое большое бедствие. Они еще не научились управлять процессами, происходящими в глубинах планеты. На борьбу с этим грозным явлением внутреннего иссыхания брошены лучшие силы, огромные научные

и материальные средства. У них нет Луны в их звездной системе, но они знают о нашей Луне и уже посещали ее. Они предполагают, что наша Луна претерпела, возможно, нечто подобное. Узнав об этом, мы несколько призадумались — от Луны ведь не так далеко до Земли. Готовы ли мы к этой встрече? И каковы могут быть последствия как внешнего, так и внутреннего характера? Не подумают ли люди, что они многое потеряли в своем интеллектуальном развитии из-за вечных неувязок на Земле?

В настоящее время в научных кругах Лесногрудии ведется общепланетная дискуссия — следует ли наращивать усилия в попытках разгадать тайну внутреннего иссыхания и искать способы приостановки этой потенциальной катастрофы или же следует заблаговременно найти во Вселенной новую планету, отвечающую их жизненным потребностям, и начать со временем массовое переселение на новое местообитание с целью перенесения и возрождения лесногрудской цивилизации. Пока еще не ясно, куда, к какой новой планете устремлены их взоры. Во всяком случае, на нынешней планете им еще жить да жить миллионы и миллионы лет, однако поразительно, что они уже теперь думают

о столь далеко отстоящем будущем и охвачены таким пылом и деятельностью, точно эта проблема непосредственно касается ныне живущего народонаселения. Неужто ни в одной голове не мелькнула подленькая мысль: «А после нас хоть трава не расти»?! Нам стало стыдно, что мы сами подумали об этом нечто подобное, когда узнали, что значительная часть общепланетного валового продукта идет на программу предотвращения внутреннего иссыхания недр. Они пытаются установить барьер на протяжении многих тысяч километров — по всей границе тихо наползающей пустыни — путем бурения сверхглубинных скважин, вгоняют в недра такие нейтрализующие долговременные вещества, которые, как полагают они, будут иметь нужное влияние на внутриядерные реакции планеты.

Разумеется, у них есть и должны быть проблемы общественного бытия, то, чем извечно мучается разум, неся свой тяжкий крест, — проблемы нравственного, морального, интеллектуального порядка. Вполне очевидно, не так просто протекает общежитие десяти с лишним миллиардов жителей, какого бы благоденствия они ни достигли. Но что самое удивительное при этом — они не знают государства как такового, не знают ору-

жия, не знают, что такое война. Мы затрудняемся сказать — возможно, в историческом прошлом были у них и войны, и государства, и деньги, и все сопутствующие тому категории общественных отношений, однако на данном этапе они не имеют представления о таких институтах насилия, как государство, и таких форм борьбы, как война. Если придется объяснять суть наших бесконечных на Земле войн, не покажется ли им это бессмысленным или, более того, варварским способом решения вопросов?

Вся их жизнь организована на совершенно иных началах, не совсем понятных и не совсем доступных нам в силу нашего земного стереотипа мышления.

Они достигли такого уровня коллективного планетарного сознания, категорически исключающего войну в качестве способа борьбы, что остается только предполагать, что, по всей вероятности, эта форма цивилизации есть наиболее передовая в пределах всего мыслимого пространства во вселенской среде. Возможно, они достигли той степени научного развития, когда гуманизация времени и пространства становится главным смыслом жизнедеятельности разумных существ и тем самым продолжением эволюции

мира в ее новой, высшей, бесконечной фазе.

Мы не собираемся сопоставлять несопоставимые вещи. Со временем и на нашей Земле люди придут к столь великому прогрессу, и нам есть чем гордиться уже и сейчас, и все-таки нас не покидает угнетающая мысль: а что, если человечество на Земле пребывает в трагическом заблуждении, уверяя себя, что якобы история — это есть история войн? А что, если этот путь развития был изначально ошибочным, тупиковым? В таком случае куда мы идем и к чему это приведет нас? И если это так, то успеет ли человечество найти в себе мужество признаться в этом и избежать тотального катаклизма? Оказавшись волею судеб первыми свидетелями внеземной общественной жизни, мы испытываем сложные чувства — страх за будущность землян и надежду, поскольку есть в мире пример великого общежития, поступательное движение которого лежит вне тех форм противоречий, которые разрешаются войнами…

Лесногрудцы знают о существовании Земли в сверхдалеких для них пределах мироздания. Они полны желания вступить в контакт с землянами не только из естественной любознательности, но, как полагают они, прежде всего ради торжества

самого феномена разума, ради обмена опытом цивилизации, ради новой эры в развитии мысли и духа вселенских носителей интеллекта.

Во всем этом они предвидят гораздо большее, чем можно бы подумать. Их интерес к землянам продиктован еще и тем, что в объединении общих усилий этих двух ветвей мирового разума они видят основной путь обеспечения беспредельной продолжительности жизни в природе, имея в виду то, что всякая энергия неминуемо деградирует и любая планета со временем обречена на гибель… Они озабочены проблемой «конца света» на миллиарды лет вперед и уже сейчас разрабатывают космологические проекты организации новой базы обитания для всего живого во Вселенной…

Располагая летательными аппаратами со световой скоростью, они могли бы уже сейчас посетить нашу Землю. Но они не желают делать этого без согласия и приглашения самих землян. Они не желают вторгаться на Землю незванными гостями. При этом они дали понять, что давно искали повод для знакомства. С тех пор как наши космические станции превратились в долговременно пребывающие объекты на орбитах, им стало ясно, что приближается пора встречи и

что им следует проявить инициативу. Они тщательно готовились, ждали удобного случая. Этот случай выпал на нашу долю, поскольку мы оказались в промежуточной среде — на орбитальной станции…

Наше пребывание на их планете произвело, вполне понятно, невероятную сенсацию. В связи с этим была включена в эфир система глобального телеконтактирования, применяемая лишь по великим праздникам. В светящемся вокруг нас воздухе мы как наяву видели рядом с собой лица и предметы, находящиеся на расстоянии тысяч и тысяч километров, и одновременно мы могли взаимообщаться — смотреть друг другу в лицо, улыбаться, пожимать руки, разговаривать, радостно, бурно восклицая и смеясь, точно бы это происходило в непосредственном контакте. Какие они красивые, лесногрудцы, и какие все разные, даже цвет голубых волос варьируется от темно-синего до ультрамаринового, а старики седеют, оказывается, так же, как и наши. И типы антропологические тоже разные, ибо они представляют разные этнические группы.

Обо всем этом и о многом другом не менее поразительном мы расскажем по возвращении на «Паритет» или на Землю. А сейчас о самом

главном. Лесногрудцы просят нас передать через систему связи «Паритета» их желание посетить нашу планету тогда, когда это будет удобно землянам. А до этого они предлагают согласовать программу устройства промежуточной межзвездной станции, которая вначале послужила бы местом первых предварительных встреч, а в дальнейшем стала бы постоянной базой на пути взаимных следований. Мы обещали довести до сведения своих сопланетян эти предложения. Однако нас больше волнует в этой связи другое.

Готовы ли мы, земляне, к подобного рода межпланетным встречам, достаточно ли мы зрелы для этого как мыслящие существа? Сможем ли мы при нашей разобщенности и существующих противоречиях выступить в единстве нашем, как бы уполномочивая самих себя от имени всего человеческого рода, от имени всей Земли? Мы умоляем вас во избежание новой вспышки соперничества, борьбы за ложный приоритет передать решение этого вопроса только в ООН. Мы просим при этом не злоупотреблять правом вето, а возможно, на сей раз, как исключение, аннулировать такое право. Нам горько и тяжело думать о таких вещах, находясь в запредельной космической дали, но мы земляне, и мы доста-

точно хорошо знаем нравы обитателей нашей планеты Земля.

Наконец, о себе, еще раз о нашем поступке. Мы сознаем, какое недоумение и какие вслед за этим экстренные меры породило наше исчезновение с орбитальной станции. Мы глубоко сожалеем, что причинили столько тревог. Однако это был тот уникальный случай в мировой практике, когда мы не могли, не имели права отказаться от самого великого дела своей жизни. Будучи людьми строгого регламента, мы обязаны были ради такой цели поступить вопреки регламенту.

Пусть это будет на нашей совести, и пусть мы понесем должное наказание. Но забудьте пока об этом. Внемлите! Мы передали сигнал из Вселенной. Мы подаем вам знак из неизвестной доселе галактической системы — светила Держателя. Голубоволосые лесногрудцы — творцы высочайшей современной цивилизации. Встреча с ними может явить глобальную перемену во всей нашей жизни, в судьбах всего человеческого рода. Отважимся ли мы на это, соблюдая прежде всего, естественно, интересы Земли?..

Инопланетяне нам ничем не угрожают. По крайней мере, так нам кажется. Но, переняв их опыт, мы могли бы произвести переворот в на-

шем бытии, начиная со способа добычи энергии из материального окружения мира и до умения жить без оружия, без насилия, без войн. Последнее покажется вам дикостью даже на слух, но мы торжественно удостоверяем, что именно так устроена жизнь разумных существ на Лесногрудской планете, что именно такого сокровенного совершенства достигли они, населяя такую же по массе геобиологическую обитель, как и Земля. Будучи носителями вселенского, высокоцивилизованного образа мышления, они готовы на открытые контакты со своими собратьями по разуму, с землянами, в таких формах, как это будет отвечать потребностям и достоинству обеих сторон.

Увлеченные, потрясенные открытием внеземной цивилизации, мы, однако, жаждем поскорее вернуться, чтобы поведать людям обо всем том, чему мы явились свидетелями, оказавшись в запредельной Галактике, на одной из планет системы светила Держатель.

Мы намерены через двадцать восемь часов, то есть ровно через сутки после данного сеанса радиосвязи, вылететь в обратный путь на наш «Паритет». Прибыв на «Паритет», мы предоставим себя в полное распоряжение Обценупра.

А пока до свидания. Перед вылетом к Солнечной системе мы известим о времени нашего прибытия на «Паритет».

На этом заканчиваем свое первое сообщение с планеты Лесная Грудь. До скорой встречи. Очень просим передать нашим семьям, чтобы они не волновались…

Паритет-космонавт 1–2. Паритет-космонавт 2–1».

Раздельное заседание особоуполномоченных комиссий на борту авианосца «Конвенция» по расследованию чрезвычайного происшествия на орбитальной станции «Паритет» закончилось тем, что обе комиссии в полных составах вылетели на консультации с вышестоящими инстанциями. Один самолет, взлетев с палубы авианосца, взял курс на Сан-Франциско, другой через несколько минут в противоположную сторону — на Владивосток.

Авианосец «Конвенция» находился все там же, в районе своего постоянного местопребывания — в Тихом океане, южнее Алеутов… На авианосце царил строгий порядок. Каждый был при своем деле, каждый начеку… И все хранили молчание…

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с

запада на восток…

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

Уже пройдена треть пути на Ана-Бейит. Солнце, быстро поднявшись вначале над землей, теперь вроде застыло на одной точке над сарозеками. Значит, день стал днем. Стало по-дневному припекать.

Поглядывая то на часы, то на солнце, то на лежащие впереди открытые степные долы, Буранный Едигей полагал, что пока все идет как надо. Он все так же трусил впереди на верблюде, за ним шел трактор с прицепом и за прицепом колесный экскаватор «Беларусь», а рыжий пес Жолбарс бежал чуть сбоку.

«Оказывается, голова человека ни секунды не может не думать. Вот ведь как устроена эта дурацкая штука — хочешь ты или не хочешь, а все равно мысль появляется из мысли, и так без конца, наверное, пока не помрешь!» Это насмешливое открытие Едигей сделал, поймав себя на том, что все время, беспрестанно о чем-то думает в пути. Думы следовали за думами, как волна за волной в море. В детстве он часами наблюдал, как на Аральском море в ветреную погоду возникали

вдали белые бегущие буруны и как они приближались вскипающими гривами, рождая волну из волны. В том движении происходило одновременно рождение, разрушение и снова рождение и угасание живой плоти моря. И тогда хотелось ему, мальчишке, превратиться в чайку и летать над волнами, над сверкающими брызгами, чтобы видеть сверху, как живет великая вода.

Предосенние сарозеки с их пронзительной, грустной открытостью, мерный топот рысящего верблюда настраивали Буранного Едигея на дорожные раздумья, и он предавался им не противясь, благо впереди путь был длинный и ничто не нарушало их продвижения. Каранар, как всегда на больших расстояниях, разогревался при ходьбе, и от него начал исходить крепкий мускусный дух. Дух этот шибал в нос от верблюжьего загривка и шеи. «Ну-ну, — удовлетворенно усмехался про себя Едигей, — значит, ты уже весь в мыле! И промеж ног в мыле! Ух ты зверюга, жеребчина эдакий! Дурной ты, дурной!»

Думалось Едигею и о прошлых днях, о делах и событиях, когда Казангап был еще в силе и здравии, и в той цепи воспоминаний нагрянула на него некстати давнишняя горькая тоска. И молитвы не помогли. Он нашептывал их вслух снова и

снова, повторяя, чтобы отогнать, отвлечь, упрятать вернувшуюся боль. Но душа не унималась. Помрачнел Буранный Едигей, без надобности приударяя то и дело по бокам усердно трусившего верблюда, козырек надвинул на глаза и уже не оборачивался к следующим за ним тракторам. Пусть едут следом, не отстают, какое дело им, молодым, зеленым, до той давней истории, о которой даже с женой они не обмолвились ни словом, но которую рассудил Казангап, как всегда, мудро и честно. Только он и мог рассудить, а не то бы давно уже Едигей бросил этот разъезд Боранлы-Буранный…

В году том, пятьдесят первом, уже в самом конце, зимой, прибыла на разъезд семья. Муж, жена и двое детей — мальчуганы. Старшему, Даулу, лет пять, а младшему три года. Младшего звали Эрмек. А сам Абуталип Куттыбаев был ровесник Едигею. Он еще до войны, молодым парнем, год учительствовал в аульной школе, а летом в сорок первом в первые же дни его мобилизовали на фронт. С Зарипой они поженились, выходит, уже в конце войны или сразу после этого. Она тоже до их переезда была учительницей младших классов. А вот судьба принудила, притолкала их в сарозеки, на Боранлы-Буранный.

То, что они не от хорошей жизни очутились в сарозекской глухомани, стало ясно сразу. Абуталип и Зарипа могли бы вполне устроиться на работу и в других местах. Но, как видно, обстоятельства сложились так, что другого выхода у них не было. Поначалу боранлинцы думали, что долго они тут не задержатся, не выдержат, сбегут куда глаза глядят. Не такие прибывали и убывали из Боранлы-Буранного. Этого мнения придерживались и он, Едигей, и Казангап. Однако отношение к семье Абуталипа установилось тем не менее сразу уважительное. Порядочные, культурные люди. Бедствующие. Работали как и все — и муж и жена. И шпалы таскали на горбу, и на заносах стыли. В общем, что положено путевым рабочим, то и делали. И, надо сказать, хорошая, ладная, дружная семья была, хотя и несчастная по причине того, что Абуталип, оказывается, был в плену у немцев. К тому времени схлынули вроде уже страсти военных лет. К бывшим военнопленным уже не относились как к предателям и врагам. Что до боранлинцев, то они не стали себе голову ломать. Ну был человек в плену так был, война закончилась победой, и чего только людям не приходилось хлебнуть в этой страшной мировой переделке. Иные вон по сей день мыкаются

по свету как неприкаянные. Призрак войны все еще шастает по пятам... И потому боранлинцы расспросами по такому поводу особенно не донимали приезжих, зачем душу людям травить, и без того хлебнули, должно быть, горя через край.

А со временем получилось так, что как-то незаметно сдружились они с Абуталипом. Умный он был человек. Едигея привлекало в нем то, что Абуталип в своем плачевном положении не был жалок. Держался достойно и понапрасну не сетовал на судьбу. Он не мог не считаться с тем, что есть на свете. Понял, очевидно, человек, что это судьба, выпавшая ему на долю. Жена его Зарипа, должно быть, тоже прониклась этим сознанием. Примирившись внутренне с неизбежностью расплаты, они находили смысл жизни в какой-то необычной чуткости, близости друг другу. Как понял потом Едигей, этим они жили, этим они защищались, взаимно заслоняя друг друга и детей от свирепых ветров времени. Особенно Абуталип. Он и дня не мог прожить вне своей семьи. Дети, сыновья, — для него это было все. Каждую свободную минуту Абуталип занимался с ними. Он учил их грамоте, сочинял разные сказки, загадки, устраивал какие-то придуманные им игры. Когда они с женой уходили на работу, детишек пона-

чалу оставляли одних в бараке. Но Укубала не смогла на это спокойно смотреть, стала уводить мальчиков к себе. В доме у них было теплее, и быт у них к тому времени сложился гораздо удобней, чем у новоприезжих. Это-то и сблизило их семьи. Ведь у Едигея в те годы тоже подрастали дети, две девчушки, как раз одногодки с абуталиповскими ребятами.

Зайдя как-то за своими малышами после работы на перегоне, Абуталип предложил:

— Вот что, Едигей, давай я заодно и твоих девочек буду учить. Я ведь не от нечего делать вожусь с ребятами с этих пор. Они сдружились, вместе играют. Днем у вас, а по вечерам пусть у нас. А почему я говорю так? Жизнь здесь, на отшибе, конечно, скудная, так тем более надо заниматься с ними. Времена наступают такие, что знания потребуются сызмальства. Теперешний вот такой человечек с ноготок должен знать столько, сколько прежде здоровенный парень. А иначе к образованию и не пробьешься.

И опять же смысл тех стараний Абуталипа Буранный Едигей постиг позднее, когда случилась беда. Тогда он понял, что в положении Абуталипа это было единственное, что он мог предпринять собственными усилиями для своих детей в боран-

линских условиях. Он как знал, он спешил дать им от себя как можно больше, он как бы хотел таким образом запечатлеться в их памяти, жить заново в своих детях. Вечерами, когда Абуталип приходил с работы, он и Зарипа устраивали нечто вроде школы-детсада для своих и Едигеевых детей. Дети учились буквам, слогам, играли, рисовали, соревнуясь, у кого лучше получится, слушали книги, которые читали им родители и даже все вместе разучивали разные песенки. Это оказалось настолько интересным занятием, что и сам Едигей стал захаживать и наблюдать, как все это у них здорово выходило. И Укубала забегала частенько вроде как по делу, а в действительности чтобы взглянуть на своих девочек. Умилялся Буранный Едигей. Душа его умилялась. Вот что значит образованные люди, учителя! Любо смотреть, как они умеют обращаться с детьми, как они сами умеют быть детьми, оставаясь взрослыми. В такие вечера Едигей старался не мешать, тихо сидел в сторонке. А когда приходил, то с порога снимал шапку:

— Добрый вечер! Вот и пятый ученик ваш заявился в детсад.

И дети привыкли к его посещениям. Дочурки его были счастливы. При отце они очень стара-

лись. Едигей с Укубалой поочередно топили им печь, чтобы по вечерам в бараке было теплей и уютней для детворы.

Вот такая семья приютилась в том году на Боранлы-Буранном. Но что странно — таким людям обычно не везет.

Беда Абуталипа Куттыбаева заключалась в том, что он побывал не только в немецком плену, но, на счастье или несчастье свое, совершив побег вместе с группой военнопленных из концлагеря в Южной Баварии, оказался в сорок третьем году в рядах югославских партизан. В югославской освободительной армии Абуталип провоевал до конца войны. Там его ранили, там вылечили. Был награжден югославскими боевыми орденами. Писали о нем в партизанских газетах, помещали фотографии. Это очень помогло, когда стали разбираться с его делом в проверочно-фильтрационной комиссии по возвращении на Родину в сорок пятом году. В живых их осталось из тех, что бежали из концлагеря, четверо, а было двенадцать. Всем четверым повезло еще в том смысле, что советская проверочная комиссия прибыла непосредственно в расположение подразделений освободительной армии Югославии и югославские командиры дали письменные

отзывы о боевых и моральных качествах бывших советских военнопленных, об участии их в партизанской борьбе с фашистами.

В общем, месяца через два после многочисленных проверок, опросов, очных ставок, ожиданий, надежд и отчаяния Абуталип Куттыбаев вернулся в свой Казахстан без поражения прав, но и без тех привилегий, какие полагались демобилизованным. Абуталип Куттыбаев не был в обиде. Будучи до войны учителем географии, он снова вернулся к своей работе. И здесь в одной райцентровской школе встретил молодую учительницу начальных классов Зарипу. Бывают такие случаи обоюдного счастья, редко, но бывают. Не без этого в жизни.

А тем временем отшумели в мире первые победные годы. Вслед за триумфом и ликованиями в воздухе замелькали первые снежинки «холодной войны». А потом покрепчало. И сжались пружины послевоенного сознания в разных частях света, в разных болевых точках…

На одном из уроков географии эта пружина сработала. Рано или поздно, так или иначе, здесь или в другом месте, но это должно было случиться. Не с ним, так с кем-то другим, ему подобным.

Рассказывая ученикам восьмого класса о ев-

ропейской части света, Абуталип Куттыбаев упомянул о том, как однажды вывезли их из концлагеря в Южно-Баварские Альпы на каменоломни и как оттуда им удалось, разоружив охрану, бежать к югославским партизанам, рассказал, что он прошел пол-Европы во время войны, бывал на берегах Адриатического и Средиземного морей, хорошо знаком с той природой, с жизнью местного населения и что все это в учебнике невозможно описать. Учитель считал, что тем самым обогащает предмет живыми наблюдениями очевидца.

Его указка ходила по сине-зелено-коричневой географической карте Европы, вывешенной на школьной доске, его указка прослеживала возвышенности, равнины, реки, касаясь то и дело тех мест, которые снились ему и поныне ночами, где шли бои изо дня в день, многие лета и зимы, и, возможно, указка коснулась той неразличимой точки, где пролилась его кровь, когда сбоку полоснула неожиданно очередь вражеского автомата, и он медленно покатился по склону, обагряя кровью траву и камни, та алая кровь могла бы залить всю учебную карту, и ему даже примерещилось на мгновение, как растекается по карте та алая кровь, как закружилась тогда голова и по-

темнело, поплыло в глазах, как, опрокидываясь, падали горы и он закричал, призывая на помощь друга-поляка, вместе бежавшего прошлым летом из баварских каменоломен: «Казимир! Казимир!» Но тот его не слышал, потому что ему только казалось, что он кричит изо всех сил, а на самом деле он не проронил ни звука и пришел в себя лишь в партизанском госпитале после переливания крови.

Рассказывая ученикам о европейской части света, Абуталип Куттыбаев удивлялся себе, тому, что может после всего пережитого так деловито, так отстраненно говорить лишь о том, что имеет отношение к элементарной школьной географии.

И тут резко поднятая рука на передней парте прервала его речь:

— Агай[10], значит, вы были в плену?

На него смотрели с холодной ясностью жесткие глаза. Лицо подростка было слегка запрокинуто, он стоял по стойке «смирно», и на всю жизнь запомнились почему-то его зубы, у него был обратный прикус — нижний ряд зубов перекрывал, выступая, верхний ряд.

---

[10] Примечания: 10
Агай — учитель..

— Да, а что?

— А почему вы не застрелились?

— А почему нужно было убить себя? Я и так был ранен.

— А потому, что недопустимо сдаваться во вражеский плен, есть такой приказ!

— Чей приказ?

— Приказ свыше.

— Откуда это тебе известно?

— Я все знаю. У нас бывают люди из Алма-Аты, из Москвы даже приезжали. Значит, вы не выполнили приказ свыше?

— А твой отец был на войне?

— Нет, он занимался мобилизацией.

— Тогда нам с тобой трудно объясняться. Могу лишь сказать, что другого выхода у меня не было.

— Все равно вы должны были выполнить приказ.

— А ты чего придираешься? — С места поднялся другой ученик. — Наш учитель сражался вместе с югославскими партизанами. Чего тебе надо? — Все равно он должен был выполнить приказ свыше! — категорически утверждал тот.

И тут класс загудел, лопнула гробовая тишина: «Должен был!», «Не должен!», «Мог!», «Не мог!»,

«Правильно!», «Неправильно!». Учитель грохнул кулаком о стол:

— Прекратите разговоры! Идет урок географии! Как я воевал и что со мной было, это знают кому положено и где нужно. А сейчас вернемся к нашей карте!

И опять никто из класса не увидел ту трудноразличимую точку на карте, откуда снова полоснула сбоку автоматная очередь, и стоящий с указкой у доски учитель медленно покатился по склону, заливая своей кровью сине-зелено-коричневую карту Европы…

Через несколько дней его вызвали в районо. Там Куттыбаеву без лишних слов предложили подать заявление об увольнении с работы по собственному желанию: бывший военнопленный не имел морального права учить подрастающее поколение.

Пришлось Абуталипу Куттыбаеву с Зарипой и с первенцем Даулом перебираться в другой район, подальше от областного центра. Устроились в аульной школе. Вроде прижились, с жильем уладилось. Зарипа, молодая способная учительница, стала завучем. Но тут разразились события сорок восьмого года, связанные с Югославией. Теперь на Абуталипа Куттыбаева смотрели не только как

на бывшего военнопленного, но и как на сомнительную личность, долгое время пребывавшую за границей. И хотя он доказывал, что только партизанил с югославскими товарищами, это не принималось во внимание. Все понимали и даже сочувствовали, но никто не смел брать на себя какую-либо в этом смысле ответственность. Снова вызвали в районо, и опять повторялась история с заявлением об увольнении по собственному желанию…

Переезжая еще много раз с места на место, семья Абуталипа Куттыбаева в конце пятьдесят первого года, среди зимы очутилась в сарозеках, на разъезде Боранлы-Буранный.

В пятьдесят втором году лето выдалось знойное сверх обычного. Земля иссохла, прокалилась до такой степени, что сарозекские ящерицы и те не знали, куда себя деть, прибегали, не боясь людей, на порог с отчаянно колотящимися глотками и с широко раскрытыми ртами — лишь бы куда-нибудь скрыться от солнца. А коршуны в поисках прохлады забирались невесть в какую высь — их невозможно было разглядеть простым глазом. Лишь, время от времени они давали знать о себе резкими одинокими выкликами и надолго умолкали затем в горячем, зыбящемся мареве.

Но служба оставалась службой. Поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Сколько поездов разминулось на Боранлы-Буранном. Никакая жара не могла повлиять на движение транспорта по великой государственной магистрали.

И все шло своим чередом. Работать на путях приходилось в рукавицах, голыми руками не притронуться было ни к камню, ни тем паче к железу. Солнце стояло над головой жаровней. Воду, как всегда, доставляли в цистерне, и пока она прибывала на разъезд, становилась почти кипяченой. Одежда сгорала на плечах за пару дней. Зимой в самые лютые морозы человеку в сарозеках было, пожалуй, легче, чем в такую жару.

Буранный Едигей старался в те дни приободрить Абуталипа.

— Не всегда у нас такое лето. Просто год такой нынешний, — оправдывался он, точно бы сам был в том повинен. — Еще дней пятнадцать, двадцать от силы, — и полегчает, спадет жара. Будь она проклята, замучила всех. А бывает у нас тут, в сарозеках, к концу лета перелом, враз меняется погода. И тогда всю осень вплоть до самой зимы благодать — прохлада стоит, скот тело набирает. Сдается мне — на то приметы есть, — в этом году

будет такой оборот. Так что потерпите, осень будет хорошая.

— Значит, гарантируешь? — понимающе улыбался Абуталип.

— Можно сказать, почти.

— И на том спасибо. Вот я сижу сейчас как в бане. Но душа у меня не по себе болит. Мы с Зарипой выдержим. Не такое приходилось терпеть. Детей жалко… Смотреть не могу…

Дети боранлинцев изнывали, томились, с лица спали, и некуда их было упрятать от духоты и изнуряющего зноя. И ни единого деревца вокруг, ни ручейка, так потребных детскому миру. Весной, когда сарозеки ожили и ненадолго зазеленели окрест лога и привалки, то-то было раздолье детворе. Играли в мяч, в прятки, убегали в степь, гонялись за сусликами. Любо было слышать их далеко разносящиеся голоса.

Лето сокрушило все. И ребят непоседливых сморила непомерная жара. От нее они прятались в тени под стенами домов, выглядывая оттуда, только когда проходили поезда. Это было их развлечением — подсчитывали, сколько поездов прошло в одну сторону и сколько в другую, сколько из них пассажирских вагонов и сколько товарных. А когда пассажирские составы, прохо-

дя через разъезд, сбавляли ход, детям казалось, что уж этот-то поезд остановится, и они бежали вдогонку, запыхавшись, заслоняясь ручонками от солнца, возможно, в наивной надежде укатить из этого пекла, и тяжко было смотреть, с какой завистью и недетской печалью малыши-боранлинцы глядели вслед уходящим вагонам. Пассажиры в тех настежь распахнутых вагонах с открытыми до отказа окнами и дверями тоже сходили с ума от духоты, смрада и мух, но у них была хотя бы уверенность, что через пару суток они очутятся там, где прохладные реки и зеленые леса.

За детей они все переживали тем летом, все взрослые, отцы и матери, но то, чего это стоило Абуталипу, понимал кроме Зарипы, пожалуй, один он, Едигей. С Зарипой как раз и случился у них первый разговор об этом. В том разговоре приоткрылось еще кое-что в судьбах этих двоих.

Работали они в тот день на линии, гравий подновляли на полотне. Разбрасывали щебень, подсовывали его в люфты под шпалы и рельсы и тем самым укрепляли оползающую от вибрации насыпь. Делать это надо было урывками, в промежутках между проходящими поездами. Долгая, изматывающая в такую жару работа. Ближе к полудню Абуталип взял опустевший бидон и по-

шел, как он сказал, за горячей водой к цистерне в тупике и заодно глянуть, как там ребята.

Он пошел по шпалам быстро, несмотря на то что палило. Спешил побыстрей к детишкам, ему было не до себя. Вылинявшая майка неопределенного грязного цвета висела, обтянув костлявые плечи, на голове пожухлая соломенная шляпа, штаны болтались на исхудавшем теле, на ногах разбитые рабочие ботинки без шнурков. Он шел, шлепая подошвами по шпалам, ни на что не обращая внимания. Когда сзади появился поезд, то даже не оглянулся.

— Эй, Абуталип, сойди с линии! Ты что, оглох?! — крикнул Едигей.

Но тот не расслышал. И только когда паровоз дал гудок, спустился по откосу вниз, но и тогда не взглянул на проносящийся мимо состав. И не видел, как грозил ему кулаком машинист.

На войне, в плену, человек не поседел, помоложе, конечно, был, на фронт уходил девятнадцати лет, младшим лейтенантом. А тем летом седина пошла. Сарозекская. Причем быстро замелькала непрошенной белизной то там, то тут в плотной, густой, гривастой шевелюре и на висках стала преобладать, поседели виски. В добрые времена быть бы ему красивым, представительным

мужчиной. Широколобый, с орлиным носом, кадыкастый, с крепким ртом и продолговатыми, удлиненными глазами, был он ладный, хорошего роста. Зарипа горько подшучивала: «Не повезло тебе, Абу, ты должен был Отелло играть на сцене». Абуталип усмехался: «Тогда бы я тебя придушил как последний идиот, зачем это тебе надо!»

Замедленная реакция Абуталипа на догонявший сзади поезд встревожила Едигея не на шутку.

— Ты бы сказала ему, что ж он так, — полуупрекая, сказал он Зарипе. Машинист отвечать не будет, не положено ходить по путям. Да дело не в этом. К чему так рисковать?

Зарипа тяжело вздохнула, обтирая рукавом пот с разгоряченного почерневшего лица.

— Боюсь я за него.

— А что?

— Боюсь, Едике. Что нам скрывать от тебя. Казнится он и за детей и за меня. Ведь когда я выходила замуж, не послушалась родных. Старший брат мой, тот из себя выходил, кричал: «Век будешь каяться, дура! Ты не замуж выходишь, а на несчастье идешь, и дети твои и дети детей, еще не родившись, уже обречены быть несчастными. А твой возлюбленный, если у него есть

голова на плечах, не семью должен заводить, а повеситься. Это самый лучший выход для него!» А мы поступили по-своему. Надеялись: раз кончилась война, какие счеты у живых и мертвых? Мы от всех держались подальше, и от его и от моих родственников. А в последний раз, ты представляешь, брат сам написал заявление, что он предупреждал меня, возражал против нашего брака. И что он ничего общего не имеет со мной и тем более с такой личностью, пребывавшей долгое время за границей, как Абуталип Куттыбаев. Ну, после этого опять началось. Куда ни ткнемся, всюду нам от ворот поворот, а вот теперь мы здесь, дальше некуда.

Она замолчала, ожесточенно подгребая битый гравий под шпалы. Впереди снова показался идущий состав. Они сошли с линии, унося с собой лопаты и носилки.

Едигей чувствовал, что должен чем-то помочь, когда люди в таком положении. Но он не мог ничего изменить, беда была далеко за пределами его сарозеков.

— Мы тут живем уже много лет. И вы привыкнете, приспособитесь. А жить надо, — подчеркнул он, глядя ей в лицо, и подумал: «Да-а, горек сарозекский хлеб. Когда приехали зимой, белолицая

была еще, а теперь лицо как земля, отмечал он, сожалея о ее меркнущей на глазах красоте. — Волосы какие были — повыгорели, ресницы и те опалило солнцем. Губы полопались. Совсем худо ей. Непривычная к такой жизни. Однако держится, не отступается. А куда теперь отступать — двое детей. Все равно молодец…»

Тем временем, взвихривая жгучее стояние воздуха, протарахтел по пути, как жаркая автоматная очередь, очередной состав. Они снова поднялись с инструментом на полотно — продолжить работу.

— Слушай, Зарипа, — сказал Едигей, пытаясь как-то укрепить ее дух, примирить с реальностью. — Для детей тут, конечно, тяжко, не спорю. У самого, как посмотрю на ребятишек наших, сердце болит. Но ведь не век жара будет колом стоять. Схлынет. А потом, если подумать, вы здесь не одни, в сарозеках, люди есть вокруг, мы есть, на худой конец. Что ж теперь убиваться, раз так случилось в жизни.

— Вот и я об этом говорю ему, Едике. Я ведь стараюсь не проронить ни слова ненужного. Я же понимаю, каково ему.

— И правильно делаешь. Я об этом и хотел сказать тебе, Зарипа. Случая ждал. Да ты сама все

знаешь. Просто к слову пришлось. Извини.

— Бывает, конечно, невмоготу. И себя жалко, и его жалко, а детей еще больше. Хотя он ни в чем не виноват, а чувствует себя повинным, что завез нас сюда. И изменить ничего не может. Что и говорить, в наших краях, среди алатауских гор и рек, совсем другая жизнь и климат совсем другой. Детей хотя бы на лето могли бы отправить туда. Но к кому? Стариков у нас нет, рано поумирали. Братья, сестры, родственники… Их тоже трудно судить, им это совсем ни к чему. И прежде избегали нас, а теперь и вовсе. Зачем им наши дети? Вот и мучаемся, боимся, что на всю жизнь застрянем здесь, хотя вслух об этом не говорим. Но я вижу, каково ему… Что нас ждет впереди, одному богу известно…

Они тяжело замолчали. И потом уже не возвращались к этому разговору. Работали, пропускали поезда по линии и снова брались за дело. А что оставалось? Как еще было утешить, как помочь им в их беде? «Конечно, по миру не пойдешь, — думал Едигей, — жить им будет на что, вдвоем работают. Насильно их вроде никто не заточал, а выхода им отсюда нет никакого. Ни завтра, ни послезавтра».

И еще удивлялся Едигей самому себе, своей

обиде и горечи за эту семью, будто бы их история касалась лично его. Кто они ему? Мог же он сказать себе — дело это не его ума, ему-то, собственно, что? Да и кто он есть такой, чтобы судить да рядить о неположенных ему вещах? Работяга, степняк, каким несть числа на свете, ему ли негодовать, ему ли возмущаться, тревожить свою совесть вопросами, что справедливо и что несправедливо в жизни. Ведь наверняка там, откуда все это происходит, знают в тысячу раз больше, чем он, Буранный Едигей. Там виднее, чем ему здесь, в сарозеках. Его ли то заботы? И все равно не мог успокоиться. И почему-то больше болел он душой за нее, Зарипу. Удивляли и покоряли его ее преданность, выдержка, ее отчаянная схватка с невзгодами. Она походила на птицу, которая пыталась крыльями заслонить гнездо от бури. Ведь другая поплакала бы, поплакала да покорилась бы, поклонилась родне. А она расплачивалась на равных с мужем за прошлое войны. И именно это обстоятельство больше всего и вопреки всему причиняло беспокойство Едигею, ведь сам он ничем не мог защитить ни ее детей, ни ее мужа… Бывали потом минуты, когда он горько сожалел, что судьбе угодно было поселить эту семью на Боранлы-Буранном. Зачем ему эти

переживания? Не знал бы, не ведал ничего такого и жил спокойно, как прежде…

VI

Ко второй половине дня на Тихом океане южнее Алеутов зашевелились волны. Юго-восточный ветер, возникший с низовий Американского материка, постепенно набирал силу и постепенно уточнял, укреплял свое направление. И вода пришла в движение на огромном открытом просторе, тяжело покачиваясь, всплескиваясь и все чаще укладывая волны рядом, грядами одну к другой. Это предвещало если не шторм, то долговременное волнение.

Для авианосца «Конвенция» такие волны в открытом океане не представляли опасности. В другой раз он и не подумал бы изменить свое положение. Но поскольку с минуты на минуту ожидалась посадка на палубу спешно возвращавшихся самолетов особоуполномоченных комиссий после консультаций с вышестоящими инстанциями, авианосец предпочел развернуться против ветра, чтобы уменьшить боковую качку. Все сошло нормально. Вначале сел сан-францисский, а затем владивостокский лайнер.

Комиссии вернулись в полном составе, оди-

наково молчаливые и озабоченные. Через пятнадцать минут они уже сидели за столом закрытого совещания. Через пять минут после начала работы комиссий в космос на борт орбитальной станции «Паритет» была отправлена для передачи паритет-космонавтам 1–2 и 2–1 в Галактику Держателя срочная шифрованная радиограмма: «Космонавтам-контролерам 1–2 и 2–1 орбитальной станции „Паритет“. Предупредить паритет-космонавтов 1–2 и 2–1, находящихся за пределами Солнечной системы, не предпринимать никаких действий. Оставаться на месте до особого указания Общенупра».

После этого, не теряя ни минуты, особоуполномоченные комиссии приступили к изложению своих позиций и предложений сторон по разрешению космического кризиса…

Авианосец «Конвенция» стоял против ветра среди бесконечно набегающих тихоокеанских волн. Никто в мире не знал, что на его борту в это время решалась глобальная судьба планеты…

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана…

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

Оставалось еще часа два пути до кладбища Ана-Бейит. Похоронная процессия двигалась по сарозекам тем же манером. Указуя направление, впереди восседал на верблюде Буранный Едигей. Его Каранар все так же шел в голове размашистым неутомимым ходом, следом поспевали по целине трактор с прицепом, в котором рядом с покойным Казангапом одиноко и терпеливо сидел его зять, муж Айзады, и за ними — экскаватор «Беларусь». А сбоку, то забегая вперед, то отставая, то приостанавливаясь по какой-то важной причине, бежал все так же деловито и уверенно рыжий грудастый пес Жолбарс.

Солнце припекало, поднимаясь к зениту. Позади оставалась большая часть расстояния, а великие сарозеки являли взору за каждой грядой все новые и новые пустынные земли, простирающиеся всякий раз до самой черты горизонта. Велико было степное раздолье. Когда-то в этих местах обитали недоброй памяти жуаньжуаны, пришельцы, захватившие на долгое время почти

всю сарозекскую округу. Жили в этих местах и другие кочевые народы, и между ними происходили постоянные войны за выпасы и колодцы. То одни брали верх, то другие. Но и победители и побежденные все равно оставались в этих же пределах, одни стеснившись, другие расширив свои территории. Елизаров говорил, что сарозеки как жизненные пространства стоили этой борьбы. Тогда здесь выпадало гораздо больше дождей и весной и осенью. Трав хватало на многие стада крупного и мелкого скота. Тогда здесь проходили купцы и шли торги. Но потом климат якобы резко изменился — перестали выпадать дожди, пересохли колодцы, иссяк подножный корм. И разошлись пришлые на сарозеки народы и племена кто куда, а жуаньжуаны вовсе исчезли. Двинулись к Эдилю — так называлась тогда Волга — и канули в приэдильской стороне в неизвестность. Никто не знал, откуда они пришли, и никто не узнал, куда они делись. Поговаривали, что настигло их проклятье, — когда переходили они скопом Эдиль зимой, лед на реке вдруг раздвинулся и все они вместе с табунами и стадами ушли под лед…

Коренные сарозекцы — казахские номады — и в те времена не покинули свой край, держались

в тех местах, где удавалось добыть воду в заново прорытых колодцах. Но самое оживленное для сарозеков время совпало с послевоенными годами. Появились автомашины — водовозы. Один водовоз, если водитель хорошо знал местность, мог обслужить три-четыре отгонных стойбища. Арендаторы пастбищ в сарозеках — колхозы и совхозы прилегающих областей — подумывали уже об устройстве постоянных сарозекских баз для отгонного животноводства. Прикидывали, примерялись, как и во что обойдутся хозяйствам такие строения. И хорошо, что не поторопились. Незаметно да неприметно возник в окрестностях Ана-Бейита город без названия — Почтовый ящик. Так и говорили — поехал в Почтовый ящик, был в Почтовом ящике, купили в Почтовом ящике, видел в Почтовом ящике… Почтовый ящик разрастался, отстраивался, закрывался для посторонних. Асфальтированная дорога связывала его с одной стороны с космодромом, с другой — с железнодорожной станцией. С того и началось новое, индустриальное заселение сарозеков. От всего прошлого в той стороне только и осталось кладбище Ана-Бейит на двух соприкасающихся, как верблюжьи горбы, пригорках-близнецах — Эгиз-Тюбе, самое почитаемое место захоронения

во всей сарозекской округе. В старые времена хоронить сюда привозили порой из таких дальних уголков, что приходилось людям ночевать в степи. Но зато потомки погребенных на Ана-Бейите законно гордились тем, что оказали памяти предков особую почесть. Здесь хоронили самых уважаемых и известных в народе людей, долго живших, много знавших, заслуживших добрую славу и словом и делом. Елизаров, тот все знал, он называл это место сарозекским пантеоном.

Сюда и приближалась в тот день странная, сопровождаемая собакой верблюдо-тракторная похоронная процессия с железнодорожного разъезда Боранлы-Буранный…

У кладбища Ана-Бейит была своя история. Предание начиналось с того, что жуаньжуаны, захватившие сарозеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами. При случае они продавали их в рабство в соседние края, и это считалось счастливым исходом для пленного, ибо проданный раб рано или поздно мог бежать на родину. Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. Они уничтожали память раба страшной пыткой — надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта участь постигала молодых

парней, захваченных в боях. Сначала им начисто обривали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные убойщики-жуаньжуаны забивали поблизости матерого верблюда. Освежевывая верблюжью шкуру, первым долгом отделяли ее наиболее тяжелую, плотную выйную часть. Поделив выю на куски, ее тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями — наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта — раба, не помнящего своего прошлого. Выйной шкуры одного верблюда хватало на пять-шесть шири. После надевания шири каждого обреченного заковывали деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле. В этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы не доносились понапрасну их душераздирающие крики, и бросали там в открытом поле, со связанными руками и ногами, на солнцепеке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток. Лишь усиленные дозоры

стерегли в определенных местах подходы на тот случай, если соплеменники плененных попытались бы выручить их, пока они живы. Но такие попытки предпринимались крайне редко, ибо в открытой степи всегда заметны любые передвижения. И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращен жуаньжуанами в манкурта, то даже самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, ибо это значило вернуть себе чучело прежнего человека. И лишь одна мать найманская, оставшаяся в предании под именем Найман-Ана, не примирилась с подобной участью сына. Об этом рассказывает сарозекская легенда. И отсюда название кладбища Ана-Бейит — Материнский упокой.

Брошенные в поле на мучительную пытку в большинстве своем погибали под сарозекским солнцем. В живых оставались один или два манкурта из пяти-шести. Погибали они не от голода и даже не от жажды, а от невыносимых, нечеловеческих мук, причиняемых усыхающей, сжимающейся на голове сыромятной верблюжьей кожей. Неумолимо сокращаясь под лучами палящего солнца, шири стискивало, сжимало бритую голову раба подобно железному обручу. Уже на вторые сутки начинали прорастать обри-

тые волосы мучеников. Жесткие и прямые азиатские волосы иной раз врастали в сыромятную кожу, в большинстве случаев, не находя выхода, волосы загибались и снова уходили концами в кожу головы, причиняя еще большие страдания. Последние испытания сопрово-ждались полным помутнением рассудка. Лишь на пятые сутки жуаньжуаны приходили проверить, выжил ли кто из пленных. Если заставали в живых хотя бы одного из замученных, то считалось, что цель достигнута. Такого поили водой, освобождали от оков и со временем возвращали ему силу, поднимали на ноги. Это и был раб-манкурт, насильно лишенный памяти и потому весьма ценный, стоивший десяти здоровых невольников. Существовало даже правило — в случае убийства раба-манкурта в междоусобных столкновениях выкуп за такой ущерб устанавливался в три раза выше, чем за жизнь свободного соплеменника.

Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери — одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишенный понимания собственного «я», манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ. Он был равнозначен бессловесной

твари и потому абсолютно покорен и безопасен. Он никогда не помышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое страшное — восстание раба. Каждый раб потенциально мятежник. Манкурт был единственным в своем роде исключением — ему в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И поэтому не было необходимости стеречь его, держать охрану и тем более подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев. С другими он не вступал в общение. Все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал. Зато порученное дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли делать наиболее грязную, тяжкую работу или же приставляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения. Только манкурт мог выдерживать в одиночестве бесконечную глушь и безлюдье сарозеков, находясь неотлучно при отгонном верблюжьем стаде. Он один на таком удалении заменял множество работников. Надо было всего-то снабжать его пищей — и тогда он бессменно пребывал при деле зимой и летом, не тяготясь одичанием и не сетуя на лишения. Повеление хозяина для манкурта было превыше всего. Для

себя же, кроме еды и обносков, чтобы только не замерзнуть в степи, он ничего не требовал…

Куда легче снять пленному голову или причинить любой другой вред для устрашения духа, нежели отбить человеку память, разрушить в нем разум, вырвать корни того, что пребывает с человеком до последнего вздоха, оставаясь его единственным обретением, уходящим вместе с ним и недоступным для других. Но кочевые жуаньжуаны, вынесшие из своей кромешной истории самый жестокий вид варварства, посягнули и на эту сокровенную суть человека. Они нашли способ отнимать у рабов их живую память, нанося тем самым человеческой натуре самое тяжкое из всех мыслимых и немыслимых злодеяний. Не случайно ведь, причитая по сыну, превращенному в манкурта, Найман-Ана сказала в исступленном горе и отчаянии:

«Когда память твою отторгли, когда голову твою, дитя мое, ужимали, как орех клещами, стягивая череп медленным воротом усыхающей кожи верблюжьей, когда обруч невидимый на голову насадили так, что глаза твои из глазниц выпирали, налитые сукровицей страха, когда на бездымном костре сарозеков предсмертная жажда тебя истязала и не было капли, чтобы с неба

на губы упала, — стало ли солнце, всем дарующее жизнь, для тебя ненавистным, ослепшим светилом, самым черным среди всех светил в мире?

Когда, раздираемый болью, твой вопль истошно стоял средь пустыни, когда ты орал и метался, взывая к богу днями, ночами, когда ты помощи ждал от напрасного неба, когда, задыхаясь в блевотине, исторгаемой муками плоти, и корчась в мерзком дерьме, истекавшем из тела, перекрученного в судорогах, когда угасал ты в зловонии том, теряя рассудок, съедаемый тучей мушиной, проклял ли ты из последних сил бога, что сотворил всех нас в покинутом им самим мире?

Когда сумрак затмения застилал навсегда изувеченный пытками разум, когда память твоя, разъятая силой, неотвратимо теряла сцепления прошлого, когда забывал ты в диких метаниях взгляд матери, шум речки подле горы, где играл ты летними днями, когда имя свое и имя отца ты утратил в сокрушенном сознании, когда лики людей, среди которых ты вырос, померкли и имя девицы померкло, что тебе улыбалась стыдливо, — разве не проклял ты, падая в бездну беспамятства, мать свою страшным проклятьем за то, что посмела зачать тебя в чреве и родить на свет божий для этого дня?..»

История эта относилась к тем временам, когда, вытесненные из южных пределов кочевой Азии, жуаньжуаны хлынули на север и, надолго завладев сарозеками, вели непрерывные войны с целью расширения владений и захвата рабов. На первых порах, пользуясь внезапностью нашествия, в прилегающих к сарозекам землях они взяли много пленных, в том числе женщин и детей. Всех их погнали в рабство. Но сопротивление чужеземному нашествию возросло. Начались ожесточенные столкновения. Жуаньжуаны не собирались уходить из сарозеков, а, напротив, стремились прочно утвердиться в этих обширных для степного скотоводства краях. Местные же племена не примирялись с такой утратой и считали своим правом и долгом рано или поздно изгнать захватчиков. Как бы то ни было, большие и малые сражения шли с переменным успехом. Но и в этих изнурительных войнах были моменты затишья.

В одно из таких затиший купцы, пришедшие с караваном товаров в найманские земли, рассказывали, сидя за чаем, как минули они сарозекские степи без особых помех у колодцев со стороны жуаньжуанов, и упомянули о том, что встретили в сарозеках одного молодого пастуха

при большом верблюжьем стаде. Купцы стали с ним разговор вести, а он оказался манкуртом. С виду здоровый, и не подумаешь никак, что такое с ним сотворено. Наверно, не хуже других был когда-то и речист и понятлив, и сам совсем молодой еще, только-только усы пробиваются, и обличьем недурен, а обмолвишься словом — вроде как вчера народился на свет, не помнит, бедняга, не знает имени своего, ни отца, ни матери, ни того, что с ним сделали жуаньжуаны, откуда сам родом, тоже не знает. О чем ни спросишь, молчит, ответит только «да», «нет», и все время за шапку держится, плотно надетую на голову. Хотя и грешно, но и над увечьем люди смеются. При этих словах посмеялись над тем, что, оказывается, бывают такие манкурты, у которых верблюжья кожа местами навсегда прирастает к голове. Для такого манкурта хуже любой казни, если припугнуть: давай, мол, отпарим твою голову. Будет биться, как дикая лошадь, но к голове не даст притронуться. Такие шапку не снимают ни днем, ни ночью, в шапке спят… И, однако, продолжали гости, дурак дураком, но дело свое манкурт соблюдал — зорко следил, пока караванщики не удалились достаточно от того места, где бродило его стадо верблюдов. А один погонщик

решил разыграть на прощание того манкурта:

— Путь далекий у нас впереди. Кому привет передать, какой красавице, в какой стороне? Говори, не скрывай. Слышишь? Может, платок передать от тебя?

Манкурт долго молчал, глядя на погонщика, а потом проронил:

— Я каждый день смотрю на луну, а она на меня. Но мы не слышим друг друга… Там кто-то сидит…

При том разговоре присутствовала в юрте женщина, разливавшая чай купцам. То была Найман-Ана. Под этим именем осталась она в сарозекской легенде.

Найман-Ана виду не подала при заезжих гостях. Никто не заметил, как странно поразила ее вдруг эта весть, как изменилась она в лице. Ей хотелось поподробней порасспросить купцов о том молодом манкурте, но именно этого она испугалась — узнать больше, чем было сказано. И сумела промолчать, задавила в себе возникшую тревогу, как вскрикнувшую раненую птицу… Тем временем разговор в кругу зашел о чем-то другом, никому уже дела не было до несчастного манкурта, мало ли какие случаи бывают в жизни, а Найман-Ана все пыталась сладить со страхом,

охватившим ее, унять дрожь в руках, словно бы она действительно придушила ту вскрикнувшую птицу в себе, и только пониже опустила на лицо черный траурный платок, давно уже ставший привычным на ее поседевшей голове.

Караван торговцев вскоре ушел своей дорогой. И в ту бессонную ночь Найман-Ана поняла, что не будет ей покоя, пока не разыщет в сарозеках того пастуха-манкурта и не убедится, что то не ее сын. Тягостная, страшная мысль эта вновь оживила в материнском сердце давно уже затаившееся в смутном предчувствии сомнение, что сын лег на поле брани… И лучше, конечно, было дважды похоронить его, чем так терзаться, испытывая неотступный страх, неотступную боль, неотступное сомнение.

Ее сын был убит в одном из сражений с жуаньжуанами в сарозекской стороне. Муж погиб годом раньше. Известный, прославленный был человек среди найманов. Потом сын отправился с первым походом, чтобы отомстить за отца. Убитых не полагалось оставлять на поле боя. Сородичи обязаны были привезти его тело. Но сделать это оказалось невозможно. Многие в той большой схватке видели, когда сошлись с врагом вплотную, как он упал, сын ее, на гриву коня

и конь, горячий и напуганный шумом битвы, понес его прочь. И тогда он свалился с седла, но нога застряла в стремени, и он повис замертво сбоку коня, а конь, обезумевшим от этого еще больше, поволок на всем скаку его бездыханное тело в степь. Как назло, лошадь пустилась бежать во вражескую сторону. Несмотря на жаркий, кровопролитный бой, где каждый должен был быть в сражении, двое соплеменников кинулись вдогонку, чтобы вовремя перехватить понесшего коня и подобрать тело погибшего. Однако из отряда жуаньжуанов, находившегося в засаде в овраге, несколько верховых косоплетов с криками кинулись наперерез. Один из найманов был убит с ходу стрелой, а другой, тяжело раненный, повернул назад и, едва успел прискакать в свои ряды, здесь рухнул наземь. Случай этот помог найманам вовремя обнаружить в засаде отряд жуаньжуанов, который готовился нанести удар с фланга в самый решающий момент. Найманы спешно отступили, чтобы перегруппироваться и снова ринуться в бой. И, конечно, никому уже ме было дела до того, что сталось с их молодым ратиком, с сыном Найман-Аны… Раненый найман, тот, что успел прискакать к своим, рассказывал потом, что, когда они ринулись за ним вослед,

конь, поволочивший ее сына, быстро скрылся из виду и неизвестном направлении…

Несколько дней подряд выезжали найманы на поиски тела. Но ни самого погибшего, ни его лошади, ни его оружия, никаких иных следов обнаружить не смогли. В том, что он погиб, ни у кого не оставалось сомнений. Даже будучи раненным, за эти дни он умер бы в степи от жажды или истек бы кровью. Погоревали, попричитали, что их молодой сородич остался непогребенным в безлюдных сарозеках. То был позор для всех. Женщины, голосившие в юрте Найман-Аны, упрекали своих мужей и братьев, причитая:

— Расклевали его стервятники, растащили его шакалы. Как же смеете вы после этого ходить в мужских шапках на головах!..

И потянулись для Найман-Аны пустые дни на опустевшей земле. Она понимала, на войне люди гибнут, но мысли о том, что сын остался брошенным на поле брани, что тело его не предано земле, не давали ей мира и покоя. Терзалась мать горькими, неиссякающими думами. И некому было их высказать, чтобы облегчить горе, и не к кому было обратиться, кроме как к самому богу…

Чтобы запретить себе думать об этом, она должна была убедиться собственными глазами в том,

что сын был мертв. Кто тогда стал бы оспаривать волю судьбы? Больше всего смущало ее, что пропал бесследно конь сына. Конь не был сражен, конь в испуге бежал. Как всякая табунная лошадь, рано или поздно конь должен был вернуться к родным местам и притащить за собой труп всадника на стремени. И тогда, как ни страшно то было бы, искричалась, исплакалась, навылась бы она над останками и, раздирая лицо ногтями, все сказала бы о себе, горемычной и распроклятой, так, чтобы тошно стало богу на небе, если только понятлив он к иносказаниям. Но зато никаких сомнений не держала бы в душе и к смерти готовилась бы с холодным рассудком, ожидая ее в любой час, не цепляясь, не задерживаясь даже мысленно, чтобы продлить свою жизнь. Но тело сына так и не нашли, а лошадь не вернулась. Сомнения мучили мать, хотя соплеменники начали постепенно забывать об этом, ибо все утраты со временем притупляются и подлежат забвению… И только она, мать, не могла успокоиться и забыть. Мысли ее кружились все по тому же кругу. Что приключилось с лошадью, где остались сбруя, оружие — по ним хотя бы косвенно можно было бы установить, что сталось с сыном. Ведь могло случиться и так, что коня перехватили

жуаньжуаны где-нибудь в сарозеках, когда он уже выбился из сил и дал себя поймать. Лишняя лошадь с доброй сбруей тоже добыча. Как же они поступили тогда с ее сыном, волочившимся на стремени, — зарыли в землю или бросили на растерзание степному зверью? А что, если вдруг он был жив, еще жив каким-то чудом? Добили ли они его и тем оборвали его муки, или бросили издыхать в чистом поле, или же?.. А вдруг?..

Конца не было сомнениям. И когда заезжие купцы обмолвились за чаепитием о молодом манкурте, повстречавшемся им в сарозеках, не подозревали они, что тем самым бросили искорку в изболевшую душу Найман-Аны. Сердце ее захолонуло в тревожном предчувствии. И мысль, что то мог оказаться ее пропавший сын, все больше, все настойчивей, все сильней завладевала ее умом и сердцем. Мать поняла, что не успокоится, пока, разыскав и увидев того манкурта, не убедится, что то не сын ее.

В тех полустепных предгорьях на летних стоянках найманов протекали небольшие каменистые речки. Всю ночь прислушивалась Найман-Ана к журчанию проточной воды. О чем говорила ей вода, так мало созвучная ее смятенному духу? Успокоения хотелось. Наслушаться, насытиться

звуками бегущем влаги, перед тем как двинуться в глухое безмолвие сарозеков. Мать знала, как опасно и рискованно отправляться в сарозеки в одиночку, но не желала посвящать кого бы то ни было в задуманное дело. Никто бы этого не понял. Даже самые близкие не одобрили бы ее намерений. Как можно пуститься на поиски давно убитого сына? И если по какой-то случайности он остался жив и обращен в манкурта, то тем более бессмысленно разыскивать его, понапрасну надрывать сердце, ибо манкурт всего лишь внешняя оболочка, чучело прежнего человека…

Той ночью накануне выезда несколько раз выходила она из юрты. Долго всматривалась, вслушивалась, старалась сосредоточиться, собраться с мыслями. Полуночная луна стояла высоко над головой в безоблачном небе, обливая землю ровным молочно-бледным светом. Множество белых юрт, раскиданных в разных местах по подножиям увалов, были похожи на стаи крупных птиц, заночевавших здесь, у берегов шумливых речушек. Рядом с аулом, там, где располагались овечьи загоны, и дальше, в логах, где паслись табуны лошадей, слышались собачий лай и невнятные голоса людей. Но больше всего трогали Найман-Ану переклички поющих

девушек, бодрствующих у загонов с ближнего края аула. Сама когда-то пела эти ночные песни… В этих местах стояли они каждое лето, сколько помнит, как привезли ее сюда невестой. Вся жизнь протекла в этих местах: и когда людно было в семье, когда ставили они здесь сразу четыре юрты — одну кухонную, одну гостиную и две жилых, — и потом, после нашествия жуаньжуанов, когда осталась одна…

Теперь и она покидала свою одинокую юрту… Еще с вечера снарядилась в путь. Запаслась едой и водой. Воды брала побольше. В двух бурдюках везла воду на случай, если не сразу удастся отыскать колодцы в сарозекских местах… Еще с вечера стояла на приколе поблизости от юрт верблюдица Акмая. Надежда и спутница ее. Могла ли она отважиться двинуться в сарозекскую глухомань, если бы не полагалась на силу и быстроту Акмаи! В том году Акмая оставалась яловой, отдыхала после двух родов и была в отличной верховой форме. Сухопарая, с крепкими длинными ногами, с упругими подошвами, еще не расшлепанными от непомерных тяжестей и старости, с прочной парой горбов и красиво посаженной на мускулистой шее сухой, ладной головой, с подвижными, как крылья бабочки,

легкими ноздрями, ухватисто забирающими воздух на ходу, белая верблюдица Акмая стоила целого стада. За такую скороходку в цвете сил давали десятки голов гулевого молодняка, чтобы потомство от нее получилось. То было последнее сокровище, золотая матка в руках Найман-Аны, последняя память ее прежнего богатства. Остальное разошлось, как пыль, смытая с рук. Долги, сорокадневные и годовые аши — поминки по погибшим… По сыну, на поиски которого собралась она из предчувствия, от непомерной тоски и горя, тоже уже были справлены недавно последние поминовения при большом стечении народа, всех найманов ближайшей округи.

На рассвете Найман-Ана вышла из юрты, уже готовая в путь. Выйдя, остановилась, перешагнув порог, прислонилась к двери, задумалась, окидывая взглядом спящий аул, перед тем как покинуть его. Еще стройная, еще сохранившая былую красоту Найман-Ана была подпоясана, как и полагалось в дальнюю дорогу. На ней были сапоги, шаровары, камзол без рукавов поверх платья, на плечах свободно свисающий плащ. Голову она повязала белым платком, стянув концы на затылке. Так решила в своих ночных раздумьях — уж коли надеется увидеть сына в живых, то к чему

траур. А если не сбудется надежда, то и потом успеет обернуть голову вечным черным платком. Сумеречное утро скрадывало в тот час поседевшие волосы и печать глубоких горестей на лице матери — морщины, глубоко избороздившие печальное чело. Ее глаза повлажнели в тот миг, и она тяжело вздохнула. Думала ли, гадала ли, что и такое придется пережить. Но затем собралась с духом. «Ашвадан ля илла хиль алла», — прошептала она первую строку молитвы (нет бога кроме бога) и с тем решительно направилась к верблюдице, осадила ее на подогнутые колени. Огрызаясь привычно для острастки, негромко покрикивая, Акмая неторопливо опустилась грудью на землю. Быстро перекинув переметные сумки через седло, Найман-Ана взобралась верхом на верблюдицу, понукнула ее, и та встала, выпрямляя ноги и вознося сразу хозяйку высоко над землей. Теперь Акмая поняла — ей предстоит дорога…

Никто в ауле не знал о выезде Найман-Аны и, кроме заспанной свояченицы-прислуги, то и дело широко зевавшей, никто не провожал ее в тот час. Ей она еще с вечера сказала, что поедет к своим торкунам — родственникам по девичеству — погостить и что оттуда, если будут паломники,

отправится вместе с ними в кипчакские земли, поклониться храму святого Яссави…

Она выехала пораньше, чтобы никто не докучал расспросами. Удалившись от аула, Найман-Ана повернула в сторону сарозеков, смутная даль которых едва угадывалась в неподвижной пустоте впереди…

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки. Серединные земли желтых степей…

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

С борта авианосца «Конвенция» пошла еще одна шифрованная радиограмма космонавтам-контролерам на орбитальную станцию «Паритет». В этой радиограмме в том же категорически-предупредительном тоне предлагалось не вступать с паритет-космонавтами 1–2 и 2–1, пребывающими вне Солнечной Галактики, в радиосвязь с целью обсуждения времени и возможности их возвра-

щения на орбитальную станцию, впредь ждать указаний Общенупра.

На океане штормило вполсилы. Авианосец заметно покачивало на волнах. Бурунила, играла тихоокеанская вода вдоль кормы гигантского судна. А солнце все так же сияло над морским простором, охваченным бесконечно вскипающим белопенистым движением волн. Ветер струился ровным дыханием.

Все службы на авианосце «Конвенция», включая авиакрыло и группы безопасности государственных интересов, были начеку — в полной готовности…

Уже не первый день, монотонно подвывая на ходу и едва слышно пришаркивая, трусила рысцой белая верблюдица Акмая по логам и равнинам великой сарозекской степи, а хозяйка все погоняла и понукала ее по горячим пустынным землям. Лишь на ночь останавливались они у редкого колодца. А с утра снова поднимались на поиски большого верблюжьего стада, затерявшегося в бесчисленных складках сарозеков. Именно в этой части Серединных земель, неподалеку от протянувшегося на многие километры красно-песчаного обрыва Малакумдычап, повстречали недавно проезжие купцы того пастуха-манкурта,

которого теперь разыскивала Найман-Ана. Вот уже второй день кружила она вокруг да около Малакумдычапа, боясь наткнуться на жуаньжуанов, но сколько она ни вглядывалась, сколько ни рыскала, всюду была степь да степь, обманчивые миражи. Однажды уже поддавшись такому видению, проделала большой извилистый путь к воздушному городу с мечетями и крепостными стенами. Может быть, там ее сын, на невольничьем рынке? И тогда она могла бы усадить его на Акмаю позади себя, и пусть попробовали бы их догнать… Тягостно было в пустыне, оттого и примерещилось такое.

Конечно, найти человека в сарозеках дело трудное, человек здесь песчинка, но если при нем большое стадо, занимающее на выпасе обширное пространство, то рано или поздно заметишь с краю животное, а потом найдешь других, а при стаде пастуха. На то и рассчитывала Найман-Ана.

Однако пока нигде ничего не обнаружила. И уже начала опасаться, а не перегнали ли то стадо в другое место или более того — не отправили ли жуаньжуаны этих верблюдов всем гуртом на продажу в Хиву или Бухару. Вернется ли тогда тот пастух из столь далеких краев?.. Когда мать вы-

езжала из аула, томимая тоской и сомнениями, об одном только и мечтала — лишь бы увидеть в живых сына, пусть будет он манкурт, кто угодно, пусть не помнит ничего и не соображает, но пусть будет то ее сын, живой, просто живой… Разве этого мало! Но, углубляясь в сарозеки, приближаясь к месту, где мог оказаться тот пастух, которого встретили недавно проходившие здесь караваном торговцы, все больше боялась увидеть в сыне умственно изувеченное существо, страх тяготил и угнетал ее. И тогда она молила бога, чтобы то был не он, не ее сын, а другой несчастный, и готова была беспрекословно примириться с тем, что сына нет и не может быть в живых. А едет она лишь для того, чтобы взглянуть на манкурта и убедиться, что сомнения ее напрасны, и, убедившись, вернется, и перестанет терзаться, и будет доживать свой век, как угодно будет судьбе… Но потом снова поддавалась тоске и желанию отыскать в сарозеках не кого-нибудь, а именно своего сына, что бы то ни значило…

В этом противоборстве чувств она вдруг увидела, перевалив через пологую гряду, многочисленное стадо верблюдов, вольно выпасавшихся по широкому долу. Бурые нагульные верблюды бродили по мелкому кустарнику и зарослям

колючек, обгрызая их верхушки. Найман-Ана приударила свою Акмаю, пустилась со всех ног и вначале прямо-таки захлебнулась от радости, что наконец-то отыскала стадо, потом испугалась, озноб прошиб, до того страшно стало, что увидит сейчас сына, превращенного в манкурта. Потом снова обрадовалась и уже не понимала толком, что с ней происходит.

Вот оно пасется, стадо, но где же пастух? Должен быть где-то здесь. И увидела на другом краю дола человека. Издали не различить было, кто он. Пастух стоял с длинным посохом, держа на поводу позади себя верхового верблюда с поклажей, и спокойно смотрел из-под нахлобученной шапки на ее приближение.

И когда приблизилась, когда узнала сына, не помнила Найман-Ана, как скатилась со спины верблюдицы. Показалось ей, что она упала, но до того ли было!

— Сын мой, родной! А я ищу тебя кругом! — Она бросилась к нему как через чащобу, разделявшую их. — Я твоя мать!

И сразу все поняла и зарыдала, топча землю ногами, горько и страшно, кривя судорожно прыгающие губы, пытаясь остановиться и не в силах справиться с собой. Чтобы устоять на ногах, цеп-

ко схватилась за плечо безучастного сына и все плакала и плакала, оглушенная горем, которое давно нависло и теперь обрушилось, подминая и погребая ее. И, плача, всматривалась сквозь слезы, сквозь налипшие пряди седых мокрых волос, сквозь трясущиеся пальцы, которыми размазывала дорожную грязь по лицу, в знакомые черты сына и все пыталась поймать его взгляд, все еще ожидая, надеясь, что он узнает ее, ведь это же так просто — узнать собственную мать!

Но ее появление не произвело на него никакого действия, точно бы она пребывала здесь постоянно и каждый день навещала его в степи. Он даже не спросил, кто она и почему плачет. В какой-то момент пастух снял с плеча ее руку и пошел, таща за собой неразлучного верхового верблюда с поклажей, на другой край стада, чтобы взглянуть, не слишком ли далеко убежали затеявшие игру молодые животные.

Найман-Ана осталась на месте, присела на корточки, всхлипывая, зажимая лицо руками, и так сидела, не поднимая головы. Потом собралась с силами, пошла к сыну, стараясь сохранить спокойствие. Сын-манкурт как ни в чем не бывало бессмысленно и равнодушно посмотрел на нее из-под плотно нахлобученной шапки, и что-то

вроде слабой улыбки скользнуло по его изможденному, начерно обветренному, огрубевшему лицу. Но глаза, выражая дремучее отсутствие интереса к чему бы то ни было на свете, остались по-прежнему отрешенными.

— Садись, поговорим, — с тяжелым вздохом сказала Найман-Ана.

И они сели на землю.

— Ты узнаешь меня? — спросила мать.

Манкурт отрицательно покачал головой.

— А как тебя звать?

— Манкурт, — ответил он.

— Это тебя теперь так зовут. А прежнее имя свое помнишь? Вспомни свое настоящее имя.

Манкурт молчал. Мать видела, что он пытался вспомнить, на переносице от напряжения выступили крупные капли пота и глаза заволоклись дрожащим туманом. Но перед ним возникла, должно, глухая непроницаемая стена, и он не мог ее преодолеть.

— А как звали твоего отца? А сам ты кто, откуда родом? Где ты родился, хоть знаешь?

Нет, он ничего не помнил и ничего не знал.

— Что они сделали с тобой! — прошептала мать, и опять губы ее запрыгали помимо воли, и, задыхаясь от обиды, гнева и горя, она снова

стала всхлипывать, тщетно пытаясь унять себя. Горести матери никак не трогали манкурта.

— Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, проговорила она вслух, — но кто придумал, кто смеет покушаться на память человека?! О господи, если ты есть, как внушил ты такое людям? Разве мало зла на земле и без этого?

И тогда сказала она, глядя на сына-манкурта, свое знаменитое прискорбное слово о солнце, о боге, о себе, которое пересказывают знающие люди и поныне, когда речь заходит о сарозекской истории…

И тогда начала свой плач, который и поныне вспоминают знающие люди:

— Мен ботасы олген боз мая,
Тулыбын келип искеген…[11]

И тогда вырвались из души ее причитания, долгие безутешные вопли среди безмолвных бескрайних сарозеков…

Но ничто не трогало сына ее, манкурта.

И тогда решила Найман-Ана не расспросами, а внушением попытаться дать ему узнать, кто

---

[11] Примечания: 11

Я сирая верблюдица, пришедшая вдохнуть запах шкуры верблюжонка, набитого соломой.

он есть.

— Твое имя Жоламан. Ты слышишь? Ты — Жоламан. А отца твоего звали Доненбай. Разве ты не помнишь отца? Ведь он тебя с детства учил стрелять из лука. А я твоя мать. А ты мой сын. Ты из племени найманов, понял? Ты найман…

Все, что она говорила ему, он выслушал с полным отсутствием интереса к ее словам, как будто бы речь шла ни о чем. Так же он слушал, наверно, стрекот кузнечика в траве.

И тогда Найман-Ана спросила сына-манкурта:

— А что было до того, как ты пришел сюда?

— Ничего не было, — сказал он.

— Ночь была или день?

— Ничего не было, — сказал он.

— С кем ты хотел бы разговаривать?

— С луной. Но мы не слышим друг друга. Там кто-то сидит.

— А что ты еще хотел бы?

— Косу на голове, как у хозяина.

— Дай я посмотрю, что они сделали с твоей головой, — потянулась Найман-Ана.

Манкурт резко отпрянул, отодвинулся, схватился рукой за шапку и больше не смотрел на мать. Она поняла, что поминать о его голове никогда не следует.

В это время вдали завиднелся человек, едущий на верблюде. Он направлялся к ним.

— Кто это? — спросила Найман-Ана.

— Он везет мне еду, — ответил сын.

Найман-Ана забеспокоилась. Надо было поскорее скрыться, пока объявившийся некстати жуаньжуан не увидел ее. Она осадила свою верблюдицу на землю и взобралась в седло.

— Ты ничего не говори. Я скоро приеду, — сказала Найман-Ана.

Сын не ответил. Ему было все равно.

Найман-Ана поняла, что совершила ошибку, удаляясь верхом через пасущееся стадо. Но было уже поздно. Жуаньжуан, едущий к стаду, конечно, мог заметить ее, восседающую на белой верблюдице. Надо было уходить пешком, прячась между пасущимися животными.

Удалившись изрядно от выпаса, Найман-Ана заехала в глубокий овраг, поросший по краям полынью. Здесь она спешилась, уложив Акмаю на дно оврага. И отсюда стала наблюдать. Да, так оно и оказалось. Углядел-таки. Через некоторое время, погоняя верблюда рысью, показался тот жуаньжуан. Он был вооружен пикой и стрелами. Жуаньжуан был явно озадачен, недоумевал, оглядываясь по сторонам, — куда же девался верховой

на белом верблюде, замеченный им издали? Он не знал толком, в каком направлении двинуться. Проскочил в одну сторону, потом в другую. И в последний раз проехал совсем близко от оврага. Хорошо, что Найман-Ана догадалась затянуть платком пасть Акмаи. Не ровен час верблюдица подаст голос. Скрываясь за полынью на краю обрыва, Найман-Ана разглядела жуаньжуана довольно ясно. Он сидел на мохнатом верблюде, озираясь по сторонам, лицо было одутловатое, напряженное, на голове черная шляпа, как лодка, с концами, загнутыми вверх, а сзади болталась, поблескивая, черная, сухая коса, плетенная в два зуба. Жуаньжуан привстал на стременах, держа наготове пику, оглядывался, крутил головой, и глаза его поблескивали. Это был один из врагов, захвативших сарозеки, угнавших немало народа в рабство и причинивших столько несчастий ее семье. Но что могла она, невооруженная женщина, против свирепого воина-жуаньжуана? Но думалось ей о том, какая жизнь, какие события привели этих людей к такой жестокости, дикости — вытравить память раба…

Порыскав взад-вперед, жуаньжуан вскоре удалился назад к стаду.

Был уже вечер. Солнце закатилось, но зарево

еще долго держалось над степью. Потом разом смерклось. И наступила глухая ночь.

В полном одиночестве Найман-Ана провела ту ночь в степи где-то недалеко от своего горемычного сына-манкурта. Вернуться к нему побоялась. Давешний жуаньжуан мог остаться на ночь при стаде.

И к ней пришло решение не оставлять сына в рабстве, попытаться увезти его с собой. Пусть он манкурт, пусть не понимает что к чему, но лучше пусть он будет у себя дома, среди своих, чем в пастухах у жуаньжуаней в безлюдных сарозеках. Так подсказывала ей материнская душа. Примириться с тем, с чем примирялись другие, она не могла. Не могла она оставить кровь свою в рабстве. А вдруг в родных местах вернется к нему рассудок, вспомнит вдруг детство…

Наутро Найман-Ана снова села верхом на Акмаю. Дальними, кружными путями долго подбиралась она к стаду, продвинувшемуся за ночь довольно далеко. Обнаружив стадо, долго всматривалась, нет ли кого из жуаньжуаней. И лишь убедившись, что никого нет, они окликнула сына по имени:

— Жоламан! Жоламан! Здравствуй!

Сын оглянулся, мать вскрикнула от радости, но

тут же поняла, что он отозвался просто на голос.

Снова пыталась Найман-Ана пробудить в сыне отнятую память.

— Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое имя! — умоляла и убеждала она. — Твой отец Доненбай, ты разве не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Жоламан[12]. Мы назвали тебя так потому, что ты родился в пути при большом кочевье найманов. И когда ты родился, мы сделали там стоянку на три дня. Три дня был пир.

И хотя все это на сына-манкурта не произвело никакого впечатления, мать продолжала рассказывать, тщетно надеясь — вдруг что-то мелькнет в его померкшем сознании. Но она билась в наглухо закрытую дверь. И все-таки продолжала твердить свое:

— Вспомни, как твое имя? Твой отец Доненбай!

Потом она накормила, напоила его из своих припасов и стала напевать ему колыбельные песни.

Песенки ему очень понравились. Ему приятно было слушать их, и нечто живое, какое-то потепление появилось на его застывшем, задубелом до черноты лице. И тогда мать стала убеждать

---

[12] Примечания: 12

Жоламан — имя, образованное от двух слов: «жол» — путь, «аман» — здоровье; по смыслу — будь здоров в пути.

его покинуть это место, покинуть жуаньжуаней и уехать с ней к своим родным местам. Манкурт не представлял себе, как можно встать и уехать куда-то, — а как же стадо? Нет, хозяин велел все время быть при стаде. Так сказал хозяин. И он никуда не отлучится от стада…

И снова в который раз пыталась Найман-Ана пробиться в глухую дверь сокрушенной памяти и все твердила:

— Вспомни, ты чей? Как твое имя? Твой отец Доненбай!

Не заметила мать в напрасном тщании, сколько времени прошло, только спохватилась, когда на краю стада опять появился жуаньжуан на верблюде. В этот раз он оказался гораздо ближе и ехал спешно, погоняя все быстрее. Найман-Ана не мешкая села на Акмаю. И пустилась прочь. Но с другого края наперерез показался еще один жуаньжуан на верблюде. Тогда Найман-Ана, разгоняя Акмаю, пошла между ними. Быстроногая белая Акмая вовремя вынесла ее вперед, а жуаньжуаны преследовали сзади, крича и потрясая пиками. Куда им было до Акмаи. Они все больше отставали, трюхая на своих мохнатых верблюдах, а Акмая, набирая дыхание, неслась по сарозекам с недосягаемой быстротой, унося Найман-Ану от

смертельной погони.

Не знала она, однако, что, вернувшись, озлобленные жуаньжуаны стали избивать манкурта. Но какой с него спрос. Только и отвечал:

— Она говорила, что она моя мать.

— Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери! Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? Она хочет содрать твою шапку и отпарить твою голову! — запугивали они несчастного манкурта.

При этих словах манкурт побледнел, серым-серым стало его черное лицо. Он втянул шею в плечи и, схватившись за шапку, стал озираться вокруг, как зверь.

— Да ты не бойся! На-ка, держи! — Старший жуаньжуан вложил ему в руки лук со стрелами.

— А ну цельсь! — Младший жуаньжуан подкинул свою шляпу высоко в воздух. Стрела пробила шляпу. — Смотри! — удивился владелец шляпы. — В руке память осталась!

Как птица, вспугнутая с гнезда, кружила Найман-Ана по сарозскскнм окрестностям. И не знала, как быть, чего ожидать. Угонят ли теперь жуаньжуаны весь гурт и с ним ее сына-манкурта в другое место, недоступное для нее, поближе к своей большой орде, или будут подстерегать ее, чтобы схватить? Теряясь в догадках, она про-

двигалась объездами по скрытным местам и высмотрела, очень обрадовалась, когда увидела, что те двое жуаньжуаней покинули стадо. Поехали прочь рядком, не оглядываясь. Найман-Ана долго не спускала с них глаз и, когда они скрылись вдали, решила вернуться к сыну. Теперь она во что бы то ни стало хотела увезти его с собой. Какой он ни есть — не его вина, что судьба так обернулась, что изглумились над ним враги, но в рабстве мать его не оставит. И пусть найманы, увидев, как увечат нашественники плененных джигитов, как унижают и лишают их разума, пусть вознегодуют и возьмутся за оружие. Не в земле дело. Земли всем хватило бы. Однако жуаньжуанское зло нетерпимо даже для отчужденного соседства…

С этими мыслями возвращалась Найман-Ана к сыну и все обдумывала, как его убедить, уговорить бежать этой же ночью.

Уже смеркалось. Над великими сарозеками опускалась, незримо вкрадываясь по логам и долам красноватыми сумерками, еще одна ночь из бесчисленной череды прошлых и предстоящих ночей. Белая верблюдица Акмая легко и свободно несла свою хозяйку к большому табуну. Лучи угасающего солнца четко высветляли ее фигуру

на верблюжьем межгорбье. Настороженная и озабоченная Найман-Ана была бледна и строга. Седина, морщины, думы на челе и в глазах, как те сумерки сарозекские, неизбывная боль… Вот она достигла стада, поехала между пасущимися животными, стала оглядываться, но сына не видно было. Его верховой верблюд с поклажей почему-то свободно пасся, таща за собой повод по земле…

— Жоламан! Сын мой, Жоламан, где ты? — стала звать Найман-Ана.

Никто не появился и не откликнулся.

— Жоламан! Где ты? Это я, твоя мать! Где ты?

И, озираясь по сторонам в беспокойстве, не заметила она, что сын ее, манкурт, прячась в тени верблюда, уже изготовился с колена, целясь натянутой на тетиве стрелой. Отсвет солнца мешал ему, и он ждал удобного момента для выстрела.

— Жоламан! Сын мой! — звала Найман-Ана, боясь, что с ним что-то случилось. Повернулась в седле. — Не стреляй! — успела вскрикнуть она и только было понукнула белую верблюдицу Акмаю, чтобы развернуться лицом, но стрела коротко свистнула, вонзаясь в левый бок под руку.

То был смертельный удар. Найман-Ана наклонилась и стала медленно падать, цепляясь за шею

верблюдицы. Но прежде упал с головы ее белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком: «Вспомни, чей ты? Как твое имя? Твой отец Доненбай! Доненбай! Доненбай!»

С тех пор, говорят, стала летать в сарозеках по ночам птица Доненбай. Встретив путника, птица Доненбай летит поблизости с возгласом: «Вспомни, чей ты? Чей ты? Как твое имя? Имя? Твой отец Доненбай! Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай!..»

То место, где была похоронена Найман-Ана, стало называться в сарозеках кладбищем Ана-Бейит — Материнским упокоем…

От белой верблюдицы Акмаи осталось много потомства. Самки в ее роду рождались в нее, белоголовые верблюдицы были известны кругом, а самцы, напротив, рождались черными и могучими, как нынешний Буранный Каранар.

Покойный Казангап, которого теперь везли хоронить на Ана-Бейит, всегда доказывал, что Буранный Каранар не из простых, а началом от самой Акмаи, знаменитой белой верблюдицы, оставшейся в сарозеках после гибели Найман-Аны.

Едигей охотно верил Казангапу. Почему бы и нет… Буранный Каранар стоил того… Сколько

уже было испытаний и в добрые и в худые дни — и всегда Каранар вызволял из трудностей… Вот только дурной уж очень становится, когда в гон идет, в самые холода всегда это с ним случается, и тогда он лютует, страшно лютует, и зима лютует и он. Две зимы сразу. Сладу нет никакого в такие дни… Однажды он подвел Едигея, крепко подвел, и был бы он, скажем, ну, не человеком, а, допустим, разумным существом, никогда не простил бы Буранный Едигей тот случай Буранному Каранару… Но что взять с верблюда, одуревшего в случной сезон… Да дело-то и не в нем. Разве можно обижаться на животное, это ведь к слову сказано, просто уж судьба обернулась таким образом. При чем тут Буранный Каранар? Вот ведь Казангап хорошо знал эту историю, он ее и рассудил, а не то кто знает, как бы все вышло.

VII

Конец лета и начало осени 1952 года вспоминал Буранный Едигей с особым чувством былого счастья. Как по волшебству сбылось предсказание Едигея. После той страшной жары, от которой даже сарозекские ящерицы прибегали на порог жилья, спасаясь от солнца, погода внезапно изменилась уже в середине августа. Схлынула вдруг нестерпимая жара, и постепенно стала прибывать прохлада, по крайней мере по ночам можно было уже спокойно спать. Бывает такая благодать в сарозеках, год на год не приходится, но бывает. Зимы всегда неизменны. Всегда суровы, а лето иной раз и поблажку дает. Такое случается, когда в высших слоях воздушных течений, как рассказывал однажды Елизаров, происходят крупные сдвиги, меняются направления небесных рек. Елизаров любил рассказывать о таких вещах. Он говорил, что наверху протекают огромные незримые реки с берегами своими и разливами. Эти реки, находясь в беспрерывном обороте, якобы омывают земной шар. И, вся окутанная ветрами, Земля плывет по кругам своим, и вот то и есть

течение времени. Любопытно было послушать Елизарова. Таких людей не сыскать, редкой души человек. Уважал его Буранный Едигей, Елизарова, и тот отвечал ему тем же. Да, так вот, значит, та небесная река, что приносит подчас в сарозеки облегчительную прохладу в самый зной, она почему-то снижается со своего потолка и, снижаясь, наталкивается на Гималаи. А Гималаи-то где, бог знает как далеко, но все равно в масштабах земного шара это совсем недалеко. Воздушная река наталкивается на Гималаи и дает обратный ход; в Индию, в Пакистан она не попадает, там жара так и остается жарой, а над сарозеками растекается обратным ходом, потому что сарозеки, подобно морю, открытое беспрепятственное пространство… И приносит та река прохладу с Гималаев…

Но как бы то ни было, поистине отрадная пора стояла в том году в конце лета и начале осени. Дожди в сарозеках — редкое явление. Каждый дождь можно запомнить надолго. Но тот дождь запомнил Буранный Едигей на всю жизнь. Сначала заволокло тучами, даже непривычно было, когда скрылась вечно пустынная глубина горячего, исстоявшегося сарозекского неба. И стало парить, духота напряглась невозможная. Едигей в тот день был сцепщиком. На тупиковой линии

разъезда оставались после разгрузки от гравия и новой партии сосновых шпал три платформы. Еще накануне разгрузили. Как всегда, делать требуют в срочном порядке, а потом оказывается, что не так уж и срочно надобно. Полсуток после разгрузки платформы стояли в тупике. А на разгрузку все налегли — Казангап, Абуталип, Зарипа, Укубала, Букей, все, кто не на линии, брошены были на это срочное дело. Ведь тогда все вручную приходилось делать. Ох и жара стояла! Надо же, угораздило прибыть этим платформам в такую жару. Но раз надо, то надо. Работали. Укубалу замутило, стало рвать. Не выносила она духа горячих просмоленных шпал. Пришлось отправить ее домой. А потом женщин всех отпустили — дома детишки от жары изнывали. Остались мужики, в жилу вытянулись, но доделали все.

А на другой день, как раз как быть дождю, порожняк с попутным товарняком на Кумбель возвращался. Пока маневрировали да сцепляли вагоны, задыхался Едигей от духоты, как в бане солдатской. Лучше уж солнце жарило бы. А машинист какой-то попался — все тянет да тянет, в час по чайной ложке. А тут ходи в три погибели под вагонами. И обложил Едигей того машиниста матом как следует. А тот тем же ответил. Ему тоже

несладко у топки паровозной. От жары одурели. Ушел, слава богу, товарняк. Утащил порожние платформы. И тут ливень хлынул разом. Прорвало. Земля вздрогнула, поднялась мигом в пузырях и лужах. И пошел, и пошел дождь, яростный, бешеный, накопивший запасы прохлады и влаги, если то верно, на снежных хребтах самих Гималаев… Ух какие Гималаи! Какая мощь! Едигей побежал домой. Зачем, сам не знает. Просто так. Ведь человек, когда попадает под дождь, всегда бежит домой или еще под какую крышу. Привычка. А не то зачем было скрываться от такого дождя? Он понял это и остановился, когда увидел, как вся семья Куттыбаевых — Абуталип, Зарипа и двое сынишек, Даул и Эрмек, — схватившись за руки, плясала и прыгала под дождем возле своего барака. И это потрясло Едигея. Не оттого, что они резвились и радовались дождю. А оттого, что еще перед началом дождя Абуталип и Зарипа поспешили, широко перешагивая через пути, с работы. Теперь он понял. Они хотели быть все вместе под дождем, с детьми, всей семьей. Едигею такое не пришло бы в голову. А они, купаясь в потоках ливня, плясали, шумели, как гуси залетные на Аральском море! То был праздник для них, отдушина с неба. Так истосковались, истомились

в сарозоках по дождю. И отрадно стало Едигею, и грустно, и смешно, и жалко было изгоев, цепляющихся за какую-то светлую минуту на разъевде Боранлы-Буранный.

— Едигей! Давай с нами! — закричал сквозь потоки дождя Абуталип и замахал руками, как пловец.

— Дядя Едигей! — в свою очередь, обрадонанно кинулись к нему мальчики.

Младшенький, ему всего-то шел третий год, Эрмек, любимец Едигея, бежал к нему, раскинув объятия, с широко открытым ртом, захлебываясь в дожде. Его глаза были полны неописуемой радости, геройства и озорства. Едигей подхватил его, закружил на руках. И не знал, как поступить дальше. Он вовсе не собирался включаться в эту семейную игру. Но тут из-за угла выбежали с громким визгом дочери Едигея — Сауле и Шарапат. Они прибежали на шум Куттыбаевых. Они тоже были счастливы. «Папа, давай бегать!» — потребовали они. И это решило колебания Едигея. Теперь они все вместе, объединившись, буйствовали под нестихающим ливнем.

Едигей не спускал с рук маленького Эрмека, опасаясь, что тот в суматохе упадет в лужу и захлебнется. Абуталип посадил к себе на спину

его младшенькую — Шарапат. И так они бегали, устроив для детей потеху. Эрмек подпрыгивал на руках Едигея, кричал вовсю и, когда захлебывался, быстро и крепко прижимался мокрой мордашкой к шее Едигея. Это было так трогательно, Едигей несколько раз ловил на себе благодарные, сияющие взгляды Абуталипа и Зарипы, довольных тем, что их мальчику так славно с дядей Едигеем. Но Едигею и его девчушкам тоже было очень весело в этой дождевой кутерьме, затеянной семьей Куттыбаевых. И невольно обратил внимание Едигей, какой красивой была Зарипа. Дождь разметал ее черные волосы по лицу, шее, плечам, и, обтекая ее от макушки до пят, ниспадающая вода щедро струилась по упругому, молодому телу женщины, выделяя ее шею, руки, бедра, икры босых ног. А глаза сияли радостью, задором. И белые зубы счастливо сверкали.

Для сарозеков дождь — не в коня корм. Снега постепенно пропитываются в почву. А дождь, какой бы он ни был, как ртуть на ладони, сбегает с поверхности в овраги да в балки. Взбурлит, прошумит — и нет его.

Уже через несколько минут при том большом ливне взыграли ручьи и потоки, сильные, быстрые, вспененные. И тогда боранлинцы стали

бегать и прыгать по ручьям, пускать тазы и корыта по воде. Старшие ребятишки, Даул и Сауле, даже катались по ручьям в тазах. Пришлось и младших тоже усаживать в корыта, и они тоже поплыли…

А дождь все шел. Увлеченные плаванием в тазах, они оказались у самых путей, под насыпью, в начале разъезда. В это время проходил через Боранлы-Буранный пассажирский состав. Люди, высунувшись чуть ли не по пояс в настежь открытые окна и двери поезда, глазели на них, на несчастных чудаков пустыни. Они что-то кричали им вроде: «Эй, не утоните!» — свистели, смеялись. Уж очень странный, наверно, был вид у них. И поезд проследовал, омываемый ливнем, унося тех, кто через день или два, может, станет рассказывать об увиденном, чтобы потешить людей.

Едигей ничего этого не подумал бы, если бы ему не показалось, что Зарипа плачет. Когда по лицу стекают струи воды как из ведра, трудно сказать, плачет человек или нет. И все-таки Зарипа плакала. Она притворялась, что смеется, что ей безумно весело, а сама плакала, сдерживая всхлипы, перебивая плач смехом и возгласами. Абуталип беспокойно схватил ее за руку:

— Что с тобой? Тебе плохо? Пошли домой.

— Да нет, я просто икаю, — ответила Зарипа.

И они снова начали забавлять детей, торопясь насытиться дарами случайного дождя. Едигею стало не по себе. Представил, как тяжко, должно быть, сознавать им, что есть другая, отторгнутая от них жизнь, где дождь не событие, где люди купаются и плавают в чистой, прозрачной воде, где другие условия, другие развлечения, другие заботы о детях… И чтобы не смутить Абуталипа и Зарипу, которые, конечно, только ради детей изображали это веселье, Едигей продолжал поддерживать их забавы…

Навозились, наигрались вдосталь и дети и взрослые, а дождь еще лил. И тогда они побежали по домам. И, глядя сочувственно им вслед, любовался Едигей, как бежали Куттыбаевы рядышком, отец, мать, дети. Все мокрые. Хоть один день счастья в сарозеках.

Держа младшую на руках, старшую дочь за руку, Едигей появился на пороге. Укубала испуганно всплеснула при виде их руками:

— Ой, да что с вами? На кого же вы похожи?

— Не пугайся, мать, — успокоил жену Едигей и рассмеялся. — Когда атан пьянеет, он играет со

своими тайлаками[13].

— То-то, я гляжу, уподобился, — усмехнулась укоризненно Укубала. — Ну раздевайся, не стойте, как мокрые курицы.

Дождь перестал, но он еще проливался где-то по сарозекским окраинам до самого рассвета, судя по тому, что доносились средь ночи глухие перекаты отдаленного грома. Едигей несколько раз просыпался от этого. И удивлялся. На Аральском море, бывало, гроза над головой грохочет — и то спалось. Ну, там другое дело — грозы там частые. Просыпаясь, угадывал Едигей сквозь смеженные веки, как отражались в окнах мигающим сполохом далекие, размытые зарницы, вспыхивавшие в степи в разных местах.

Снилось той ночью Буранному Едигею, что опять он на фронте под обстрелом лежит. Но снаряды падали бесшумно. Взрывы беззвучно взмывали в воздух и застывали черными выплесками, медленно и тягостно опадая. Один из таких взрывов подбросил его вверх, и он падал очень долго, падал с замирающим сердцем в жуткую пустоту. Потом он бежал в атаку, очень много их было, солдат в серых шинелях, поднявшихся в

---

[13] Примечания: 13
Тайлак — детеныш верблюда.

атаку, но лиц не различить было, казалось, просто шинели бежали сами по себе с автоматами в руках. И когда шинели закричали «ура!», на пути перед Едигеем возникла мокрая от дождя, смеющаяся Зарипа. Это было удивительно. В ситцевом платьице, с разметанными волосами, в потоках воды, стекающих по лицу, она смеялась безостановочно. Едигею некогда было задерживаться, он помнил, что шел в атаку. «Почему ты так смеешься, Зарипа? Это не к добру», — сказал Едигей. «А я не смеюсь, я плачу», — ответила она и продолжала смеяться под струями дождя…

На другой день он хотел рассказать об этом сне Абуталипу и ей. Но раздумал, нехорошим показался сон. Зачем лишний раз расстраивать людей…

После этого великого дождя опрокинулась жара в сарозеках, или, как говорил Казангап, кончились взятки лета. Были еще знойные дни, но уже терпимее. И отсюда постепенно началась предосенняя благодать сарозекская. Избавилась от изнуряющей жары и боранлинская детвора. Ожили, опять зазвенели их голоса. А тут передали на разъезд с Кумбеля, что прибыли на станцию кызылординские арбузы и дыни. И что, мол, как желают боранлинцы — им могут прислать их

долю или пусть сами приедут заберут. Этим и воспользовался Едигей. Убедил начальника разъезда, что надо самим поехать, а то ведь пришлют — на тебе, боже, что нам негоже. Тот согласился. Хорошо, говорит, поезжайте с Куттыбаевым и выберите что получше. Этого и надо было Едигею. Хотелось вывезти Абуталипа и Зарипу с детьми хоть на один день из Боранлы-Буранного. Да и самим не мешало проветриться. И отправились они, две семьи со всей детворой, рано утром на попутном составе в Кумбель. Приоделись. То-то было славно. Детям казалось, что они едут в сказочную страну. Всю дорогу ликовали, расспрашивали: а деревья там растут? Растут. А трава там есть зеленая? Есть — и зеленая. И цветы даже есть. А дома большие, и машины бегают по улицам? А арбузов и дынь там сколько хочешь? А мороженое там есть? А там есть море?

Ветер захлестывал в товарный вагон, струился ровным приятным потоком в приоткрытые двери, загороженные деревянным щитом на всякий случай, чтобы ребята не вывалились, хотя на самом проходе у края сидели на порожних ящиках Едигей с Абуталипом. Разговоры вели разные да отвечали на детские вопросы. Доволен был Буранный Едигей, что ехали они вместе, что по-

года хорошая, что дети веселые, но больше всего рад был Едигей не за малышей, а за Абуталипа и Зарипу. Просветлели их лица. Освободились, расковались люди на какое-то время хотя бы от постоянной озабоченности, внутренней подавленности.

Приятно было видеть — Зарипа и Укубала задушевно беседовали о разных делах житейских. И были счастливы. Ведь так и должно быть, много ли надо людям... Очень хотелось Едигею, чтобы позабылись все невзгоды Куттыбаевыми, чтобы сумели они укрепиться, приспособиться к их боранлинской жизни, коли другого выбора не предстояло. Лестно было также Едигею, что Абуталип сидел рядом, касаясь плечом его плеча, зная, что на Едигея можно положиться и что они хорошо понимают друг друга без лишних слов, не затрагивая в суете болезненные темы, о которых не стоило походя говорить. Ценил Едигей в Абуталипе ум, сдержанность, но больше всего привязанность к семье, ради которой жил Абуталип, не сдавался, черпая в том силу. Прислушиваясь к высказываниям Абуталипа, Едигей приходил к выводу, что самое лучшее, что может человек сделать для других, так это воспитать в своей семье достойных детей. И не с чьей-то

помощью, а самому изо дня в день, шаг за шагом вкладывать в это дело всего себя, быть, насколько можно, вместе с детьми.

Вот уж, казалось бы, где только не учили Сабитжана, с самых малых лет по интернатам, по институтам и по разным курсам повышений. Бедный Казангап все, что добывал-зарабатывал, отдавал сыну, чтобы не хуже других жилось-былось его Сабитжану, — а что толку? Знать-то все знает, а никчемный и есть никчемный.

Вот и думалось тогда по пути Едигею, когда они вместе ехали за арбузами да дынями на Кумбель, что ежели нет лучшего выхода, то стоит Абуталипу Куттыбаеву обосноваться как следует в Боранлы-Буранном. Хозяйство налаживать свое, скотом обзавестись и поднимать, сыновей среди сарозеков как сможет и сколько сможет. Правда, учить уму-разуму он его не стал, но понял из разговора, что и Абуталип к тому склонен, что есть такое намерение. Интересовался он, как картошкой запастись, где валенки купить на зиму жене да детям, сам, мол, в сапогах похожу. Да еще расспрашивал, есть ли библиотека в Кумбеле и дают ли книги на разъезды для пользования.

К вечеру того дня опять же на попутном товарняке вернулись домой с дынями и арбузами,

выделенными орсом для боранлинцев. Дети, конечно, притомились к вечеру, но были довольны очень. Повидали мир на Кумбеле, игрушек накупили, мороженое ели и всякое прочее. Да, случилось одно небольшое происшествие в станционной парикмахерской. Решили подстричь ребят. А когда очередь дошла до Эрмека, тут поднялся такой крик и плач, что сладу не было никакого с мальчишкой. Умаялись все, а он боится, вырывается, кричит, отца зовет. Абуталип отошел было в тот момент в магазин рядом. Зарипа не знала, что делать, и краснела и бледнела от стыда. И все оправдывалась, что от рождения еще ни разу не стригли ребенка, жалели — уж очень красивые, кудрявые волосы были у малыша. А и в самом деле, волос рос у Эрмека отменный, густой и вьющийся, в мать пошел, и вообще он был похож на Зарипу: как вымоют голову и расчешут кудри — одно загляденье.

На что уж пошли, Укубала разрешила подрезать волосы Сауле: вот, мол, смотри, девочка и то не боится. Это, кажется, возымело какое-то действие, но как только парикмахер взял в руки машинку, так снова крик и рев, Эрмек вырвался, и тут как раз в дверях появился Абуталип. Эрмек бросился к отцу. Отец приподнял его и крепко прижал к

себе, понял, что не стоит мучить ребенка.

— Извините, — сказал он парикмахеру. — Как-нибудь в другой раз. Соберемся с духом и тогда… Не к спеху… В другой раз…

В ходе чрезвычайного заседания особоуполномоченных комиссий на борту авианосца «Конвенция» по обоюдному согласию сторон на орбитальную станцию «Паритет» пошла еще одна кодированная радиограмма, предназначенная для передачи паритет-космонавтам 1–2 и 2–1, находящимся на планете внеземной цивилизации, — категорически не предпринимать никаких действий, находиться на месте до особого указания Общенупра.

Заседание продолжалось по-прежнему при закрытых дверях. Авианосец «Конвенция» по-прежнему находился на своем месте в Тихом океане, южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и Владивостоком.

По-прежнему никто еще в мире не знал, что произошло величайшее межгалактическое событие — в системе светила Держатель открыта планета внеземной цивилизации, разумные существа которой предлагали установить контакт с землянами.

На чрезвычайном заседании стороны дебатировали все «за» и «против» столь необычной и неожиданной проблемы. На столе перед каждым членом комиссий, помимо прочих подсобных материалов, лежало досье с полным текстом посланий паритет-космонавтов 1–2 и 2–1. Изучалась каждая мысль, каждое слово документов. Любая деталь, приводимая как факт устройства разумной жизни на планете Лесная Грудь, рассматривалась прежде всего с точки зрения возможных последствий, совместимости или несовместимости с земным опытом цивилизации и с интересами ведущих стран планеты… С такого рода проблемами еще никому из людей не приходилось сталкиваться. И вопрос требовалось решать экстренно…

На Тихом океане по-прежнему штормило вполсилы…

После того как семья Куттыбаевых пережила самую страшную пору сарозского летнего пекла и не схватилась в отчаянии за пожитки, не двинулась из Боранлы-Буранного куда угодно, только бы прочь, боранлинцы поняли, что эта семья останется здесь. Заметно приободрился, вернее, втянулся в боранлинскую лямку Абуталип Куттыбаев. Ну, конечно, обвык, освоился

с условиями жизни на разъезде. Как любой и каждый, вправе был и он сказать, что Боранлы — самое гиблое место на свете, если даже воду приходилось привозить в цистерне по железной дороге и для питья и для всех прочих нужд, а кому хочется испить свежей, настоящей водицы, тот должен оседлать верблюда и отправиться с бурдюками к колодцу за тридевять земель, на что, кроме Едигея и Казангапа, никто и не отваживался.

Да, так было еще в пятьдесят втором году и вплоть до шестидесятых, пока не установили на разъезде глубинную электроветровую водокачку. Но тогда об этом еще и не мечтали. И, несмотря на все это, Абуталип никогда не клял, не поносил ни разъезд Боранлы-Буранный, ни сарозекскую местность эту. Воспринимал худое как худое, хорошее как хорошее. В конце концов земля эта ни в чем и ни перед кем не была виновата. Человек сам должен был решать, жить ему здесь или не жить…

И на этой земле люди старались устроиться как можно удобней. Когда Куттыбаевы пришли к окончательному убеждению, что место их здесь, на Боранлы-Буранном, и что дальше им некуда податься, а необходимо устраиваться

поосновательней, то времени не стало хватать на домашние дела. Само собой, каждый день или каждую смену полагалось отработать, но и в свободное время забот оказалось невпроворот. Закрутился, запарился Абуталип, когда принялся готовить жилье к зиме — печку перекладывал, дверь утеплял, рамы подгонял и прилаживал. Сноровки к таким делам особой у него не было, но Едигей и инструментом и материалом помогал, не оставлял его одного. А когда стали рыть погреб возле сарайчика, то и Казангап не остался в стороне. Втроем устроили небольшой погреб, сделали перекрытие из старых шпал, соломой, глиной сверху привалили, крышку сколотили наипрочнейшую, чтобы чья-либо скотина вдруг не провалилась в погреб. И что бы они ни делали, сновали и крутились под руками сынки абуталиповские. Пусть и мешали порой, но так веселей и милей было. Стали Едигей с Казангапом подумывать, как помочь Абуталипу хозяйством обзавестись, уже кое-что прикинули. Решили с весны выделить ему дойную верблюдицу. Главное, чтобы он доить научился. Ведь это не корова. Верблюдицу надо доить стоя. Ходить за ней по степи и, главное, сосунка сберегать, подпускать его к вымени вовремя и вовремя отнимать. Забот

о нем немало. Тоже надо знать, что к чему…

Но больше всего радовало Буранного Едигея, что Абуталип не только за хозяйство принялся, не только постоянно с детьми обеих семей возился, учил с Зарипой их читать и рисовать, но, более того, пересиливая, превозмогая боранлинскую глухомань, еще и собой занялся. Ведь Абуталип Куттыбаев был образованным человеком. Книги читать, делать какие-то свои записи — это просто было ему необходимо. Втайне Едигей гордился тем, что имел такого друга. Потому и тянулся к нему. И с Елизаровым, сарозекским геологом, часто бывавшим в этих местах, тоже ведь дружба возникла не случайно. Уважал Едигей ученых, много знающих людей. Абуталип тоже много знал. Просто он старался меньше размышлять вслух. Но был у них однажды разговор серьезный.

Возвращались к вечеру с путевых работ. В тот день они противоснежные щиты устанавливали на седьмом километре, где всегда заносы бушуют. Хотя осень еще только входила в силу, однако к зиме требовалось готовиться заблаговременно. Так вот, шли они домой. Хороший, светлый вечер установился, к разговору располагал. В такие вечера сарозекские окрестности, как дно

Аральского моря с лодки в тихую погоду, лишь призрачно угадываются в дымке заката.

— А что, Абу, вечерами, как ни пройду мимо, голова твоя все над подоконником торчит. Пишешь что-то или чинишь что-то — лампа рядом? — спросил Едигей.

— Так это просто все, — охотно отозвался Абуталип, перекладывая лопату с одного плеча на другое. — Письменного стола у меня нет. Вот как только сорванцы мои улягутся, Зарипа читает что-нибудь, а я записываю кое-что, пока в памяти, — войну и, главное, мои югославские годы. Время идет, былое отодвигается все дальше. — Он помолчал. — Я все думаю, что могу сделать для своих детей. Кормить, поить, воспитывать — это само собой. Сколько смогу, столько смогу. Я прошел и испытал столько, сколько другому, дай бог, за сто лет не придется, я еще живу и дышу, не зря, должно быть, судьба предоставляет мне такую возможность. Может быть, для того, чтобы я что-то сказал, в первую очередь своим детям. И мне положено отчитаться перед ними за свою жизнь, поскольку я породил их на свет, я так понимаю. Конечно, есть общая истина для всех, но есть еще у каждого свое понимание. А оно уйдет с нами. Когда человек проходит круги

между жизнью и смертью в мировой сшибке сил и его могли по меньшей мере сто раз убить, а он выживает, то многое дается ему познать — добро и зло, истину и ложь…

— Постой, одно не пойму, — удивленно перебил его Едигей. — Может, ты и верные вещи говоришь, но сынки твои малыши, сопляки еще, парикмахерской машинки боятся — что они поймут?

— Потому и записываю. Для них хочу сохранить. Буду жив или нет, никому не знать наперед. Вот третьего дня задумался, как дурак, чуть под состав не попал. Казангап успел. Столкнул с места. Да заругался потом страшно: пусть, говорит, дети твои сегодня на коленях господа бога благодарят.

— И верно. Я тебе давно говорил. И Зарипе говорил, — возмутился, в свою очередь, Едигей и воспользовался случаем, чтобы еще раз высказать свои опасения. — Что ты ходишь по путям так, точно паровоз должен с рельсов сворачивать, дорогу тебе уступать? Грамотный человек, сколько можно тебе говорить? Ты теперь железнодорожник, а ходишь как на базаре. Попадешь, не шути.

— Ну, если такое случится, сам буду вино-

ват, — мрачно согласился он. — Но ты все-таки послушай меня, потом будешь выговаривать.

— Да я так, к слову, говори.

— В прежние времена люди детям наследство оставляли. К добру ли, к худу ли оставалось то наследство — когда как. Сколько книг об этом написано, сказок, в театрах сколько пьес играют о тех временах, как делили наследство и что потом сталось с наследниками. А почему? Потому что наследства эти большей частью несправедливо возникали, на чужих тяготах да чужими трудами, на обмане, оттого изначально таят они в себе зло, грех, несправедливость. А я утешаю себя тем, что мы, слава богу, избавлены от этого. Мое наследство вреда никому не причинит. Это лишь мой дух, мои записи будут, а в них все, что я понял и вынес из войны. Большего богатства для детей у меня нет. Здесь, в сарозскских пустынях, пришел я к этой мысли. Жизнь все время оттесняла меня сюда, чтобы я затерялся, исчез, а я запишу для них все, что думаю-гадаю, и в них, в детях своих, состоюсь когда-нибудь. То, чего не удалось мне, может быть, достигнут они… А жить им придется потрудней, чем нам. Так пусть набираются ума смолоду…

Некоторое время они шли молча, каждый за-

нятый своими мыслями. Странно было Едигею слышать такие речи. Подивился он, что можно, оказывается, и эдак понимать свою суть на земле. И все-таки он решил выяснить то, что его поразило:

— Все думают, вон по радио говорят, что детям нашим будет жить лучше и легче, а тебе кажется, что им придется потрудней, чем нам. Атомная война будет, потому, что ли?

— Да нет, не только поэтому. Войны, может, и не будет, а если и будет, то не скоро. Не о хлебе речь идет. Просто колесо времени убыстряется. Им придется до всего самим доходить, своим умом, и за нас отвечать отчасти задним числом. А мыслить всегда тяжко. Потому им придется труднее, чем нам.

Едигей не стал уточнять, почему он считает, что мыслить всегда тяжко. И напрасно не стал, впоследствии очень сожалел, вспоминая этот разговор. Надо было порасспросить, выведать, в чем тут смысл…

— Я к чему это говорю, — как бы отзываясь на сомнения Едигея, продолжал Абуталип. — Для малых детей взрослые всегда кажутся умными, авторитетными. Вырастут, смотрят — а учителя-то, мы то есть, не так уж много знали и не такие

уж умные, как казалось. Над ними и посмеяться можно, порой даже жалкими кажутся им постаревшие наставники. Колесо времени все быстрее и быстрее раскручивается. И, однако, о себе мы сами должны сказать последнее слово. Наши предки пытались делать это в сказаниях. Хотели доказать потомкам, какими они были великими. И мы судим теперь о них по их духу. Вот я и делаю что могу для подрастающих сыновой. Мои сказания — мои военные годы. Пишу для них свои партизанские тетради. Все как было, что видел и пережил. Пригодятся, когда подрастут. Но кроме этого тоже есть задумки кое-какие. В сарозеках придется им расти. Опять же, когда подрастут, пусть не думают, что на пустом месте жили. Песни наши записал старинные, их ведь тоже потом не сыщешь. Песня в моем понимании — весть из прошлого. Укубала твоя много их знает, оказывается. И еще обещала припомнить.

— Ну а как же! Все-таки аральская родом! — сразу возгордился Едигей. Аральские казахи у моря. А на море петь хорошо. Море, оно все понимает. Что ни скажешь — от души и все к ладу на море.

— А это ты верно сказал, точно. Перечитал недавно записанное — чуть до слез с Зарипой не дошли. До чего красиво пели в старину! Каждая

песня — целая история. Так и видишь тех людей. И хочется с ними быть душа в душу. И страдать и любить, как они. Вот ведь какую память оставили по себе. Я и Казангапову Букей сагитировал уже — вспоминай, говорю, свои каракалпакские песни, запишу в отдельную тетрадь. Будет у нас каракалпакская тетрадь…

И так они шли не спеша вдоль железнодорожной линии. Редкий час выдался. Облегченно, как протяжный вздох, замирал умиротворенный конец дня той предосенней поры. Казалось бы, ни лесов, ни рек, ни полей в сарозеках, но угасающее солнце создавало впечатление наполненности степи благодаря неуловимому движению света и тени по открытому лику земли. Смутная, текучая синева захватывающего дух простора возвышала мысли, вызывала желание долго жить и много думать…

— Слушай, Едигей, — заговорил снова Абуталип, вспомнив о том, что мысленно отложил и к чему должен был вернуться при случае. — Давно собираюсь спросить. Птица Доненбай. Как ты думаешь, наверно, есть такая птица в природе, которая так и называется — Доненбай. Тебе не приходилось встречать такую птицу?

— Так это же легенда.

— Понимаю. Но часто бывает, когда легенда подтверждается былью, тем, что есть в жизни. Ну вот, например, есть такая птица иволга, которая у нас в Семиречье целый день распевает в горных садах и все спрашивает: «Кто мой жених?» Так тут просто игра, созвучие. И есть сказка об этом, почему она так поет. Вот я и думаю: нет ли такого созвучия и в этой истории? Может быть, существует в степи какая-то птица, которая кричит что-то похожее на имя человека Доненбай, и потому она оказалась в легенде?

— Нет, не знаю. Не думал об этом, что так, — засомневался Едигей. Однако сколько уже езжу по здешним местам вдоль и поперек, но такой птицы не встречал. Должно быть, ее и нет.

— Возможно, — задумчиво отозвался Абуталип.

— А что, если нет такой птицы, так, выходит, все это неправда? — обеспокоился Едигей.

— Нет, почему же. Потому и стоит кладбище Ана-Бейит, и что-то здесь было. И еще я думаю почему-то, что такая птица есть. И ее кто-нибудь когда-нибудь встретит. Для детей я так и запишу.

— Ну, если для детишек, — неуверенно обронил Едигей, — тогда можно…

На памяти Буранного Едигея только два челове-

ка в свое время записывали сарозекскую легенду о Найман-Ане на бумагу. Вначале Абуталип Куттыбаев записал ее для своих детей на те времена, когда они подрастут, это было в конце пятьдесят второго года. Рукопись та пропала. Сколько горя пришлось натерпеться после этого. До того ли было! Несколько лет спустя, году в пятьдесят седьмом, записал ее Елизаров Афанасий Иванович. Теперь его нет, Елизарова. А рукопись, кто его знает, наверно, в его бумагах осталась в Алма-Ате… И тот и другой записывали ее главным образом из уст Казангапа. Едигей присутствовал при том, но больше в качестве подсказчика-напоминателя и своего рода комментатора.

«Вот тебе и годы! Когда все это было-то, бог ты мой!» — думал Буранный Едигей, покачиваясь между горбами укрытого попоной Каранара. Теперь он вез самого Казангапа на кладбище Ана-Бейит. Круг как бы замыкался. Сказитель легенды теперь уже сам должен был обрести последнее упокоение на кладбище, историю которого хранил и передавал другим.

«Остались только мы — я и Ана-Бейит. Да и мне скоро предстоит прибыть сюда. Место свое занять. Дело идет к этому», — тоскливо размышлял по пути Едигей, все так же возглавляя на верблюде

странную похоронную процессию, следовавшую за ним по степи на тракторе с прицепом и на замыкающем колесном экскаваторе «Беларусь». Рыжий пес Жолбарс, самовольно примкнувший к похоронам, позволял себе находиться то в голове, то в хвосте процессии, то сбоку, а то и отлучался ненадолго… Хвост он держал по-хозяйски твердо и по сторонам поглядывал деловито…

Солнце уже поднялось на макушку, полдень вступал. До кладбища Ана-Бейит оставалось не так много…

VIII

И все-таки конец пятьдесят второго года, вернее, вся осень и зима, вступившая, правда, с опозданием, но без метелей, были, пожалуй, наилучшими днями для тогдашней горстки жителей разъезда Боранлы-Буранного. Едигей часто потом скучал по тем дням.

Казангап, патриарх боранлинцев, притом очень тактичный, никогда не вмешивавшийся не в свои дела, пребывал еще в полной силе и крепком здравии. Его Сабитжан уже учился в кумбельском интернате. Семья Куттыбаевых к тому времени прочно осела в сарозеках. К зиме утеплили барак, картошкой запаслись, валенки Зарипе и мальчишкам приобрели, муки целый мешок привезли из Кумбеля, сам Едигей привез вьюком из орса на вступавшем в ту пору в расцвет сил молодом Каранаре. Абуталип работал как полагается и все свободное время по-прежнему возился с ребятами, а по ночам усердно писал, примостившись с лампой на подоконнике.

Были еще две-три семьи станционных рабочих, но, по всему, временных людей на разъезде.

Тогдашний начальник разъезда Абилов тоже казался недурным человеком. Никто из боранлинцев не болел. Служба шла. Дети росли. Все предзимние работы по заграждению и ремонту путей выполнялись в срок.

Погода стояла распрекрасная для сарозеков — коричневая осень, как хлебная корка! А потом зима подоспела. Снег лег сразу. И тоже красиво, белым-бело стало вокруг. И среди великого белого безмолвия черной ниточкой протянулись железная дорога, а по ней, как всегда, шли и шли поезда. И сбоку этого движения среди снежных всхолмлений притулился маленький поселочек — разъезд Боранлы-Буранный. Несколько домиков и прочее… Проезжие скользили равнодушным взглядом из вагонов, или на минутку просыпалась в них мимолетная жалость к одиноким жителям разъезда…

Но напрасной была та мимолетная жалость. Боранлинцы переживали хороший год, если не считать дикого летнего пекла, но то было уже позади. А вообще-то повсюду жизнь понемногу, со скрипом налаживалась после войны. К Новому году опять ожидали снижения цен на продукты и промтовары, и хотя в магазинах было далеко не всего навалом, но все-таки год от года лучше…

Обычно Новому году боранлинцы не придавали особого значения, не ждали с трепетом полуночи. Служба на разъезде шла невзирая ни на что, поезда двигались, ни на минуту не считаясь с тем, где и когда наступит Новый год в пути. Опять же зимой и по хозяйству дел прибавляется. Печи надо топить, за скотом больше присмотра и на выпасе и в загонах. Умается человек за день, и уж, кажется, ему лучше бы отдохнуть, лечь пораньше.

Так и шли годы один за другим…

А канун пятьдесят третьего года на Боранлы-Буранном был настоящим праздником. Праздник затеяла, конечно, семья Куттыбаевых. Едигей примкнул к новогодним приготовлениям уже под конец. Началось все с того, что Куттыбаевы решили устроить детям елку. А где взять елку в сарозеках, легче найти яйца ископаемого динозавра. Елизаров ведь обнаружил, бродя по геологическим тропам, миллионнолетние динозавровы яйца в сарозеках. В камень превратились те яйца, каждое величиной с огромный арбуз. Увезли находку в музей в Алма-Ату. Об этом в газетах писали.

Пришлось Абуталипу Куттыбаеву ехать по морозам в Кумбель и там добиться в станционном

месткоме, чтобы одну из пяти елок, прибывших на такую большую станцию, все же отдали в Боранлы-Буранный. С этого все и пошло.

Едигей стоял как раз возле склада, получал у начальника разъезда новые рукавицы для работы, когда, морозно тормозя, остановился на первом пути закуржавелый со степного ветра товарняк. Длинный состав, сплошь пломбированные четырехосные вагоны. С открытой площадки последнего вагона, с трудом переставляя окоченевшие ноги в смерзшихся сапогах, спустился на землю Абуталип. Кондуктор состава, сопровождавший поезд, в огромном тулупе, в наглухо завязанной меховой шапке, неуклюже теснясь на площадке, стал подавать ему что-то громоздкое. елка, догадался Едигей и удивился очень.

— Эй, Едигей! Буранный! Поди сюда, помоги человеку! — окликнул его кондуктор, спешиваясь всей тушей со ступеней вагона.

Едигей поспешил и, когда подошел, перепугался за Абуталипа. Белый до бровей, весь в снежной пороше, закоченел Абуталип так, что губы не двигаются. Рукой шевельнуть не может. А рядом елка, это колючее деревце, из-за которого Абуталип чуть не отправился на тот свет.

— Что ж это люди у вас так ездят! — прохрипел

недовольно кондуктор. Душа вон отлетит на ветрище сзади. Хотел тулуп свой скинуть, так сам застыну.

Едва совладав с губами, Абуталип извинился:

— Извините, так получилось. Я сейчас отогреюсь, тут рядом.

— Я ж ему говорил, — обращаясь к Едигею, бурчал кондуктор. — Я в тулупе, а под тулупом стеганая одежда, в валенках, в шапке, и то, пока сдам перегон, глаза на лоб лезут. Разве ж так можно!

Едигею было неловко:

— Хорошо, учтем, Трофим! Спасибо. Отправляйся, доброго тебе пути.

Он подхватил елку. Она была холодная, небольшая, с человека. Ощутил в хвое зимний лесной дух. Сердце екнуло — вспомнились фронтовые леса. Там такого ельника было видимо-невидимо. Танками валили, снарядами корчевали. А ведь не думалось, что когда-нибудь дорого станет запах еловый вдохнуть.

— Пошли, — сказал Едигей и взглянул на Абуталипа, вскидывая елку на плечо.

На стянутом холодом, с застывшими слезами на щеках сером лице Абуталипа сияли из-под белых бровей живые, радостные, торжествующие глаза.

Едигею вдруг стало страшно: оценят ли дети его отцовскую преданность? Ведь в жизни сплошь и рядом бывает совсем наоборот. Вместо признательности — равнодушие, а то и ненависть. «Избави бог его от такого. Хватит ему и других бед», подумал Едигей.

Первым увидел елку старший из Куттыбаевых — Даул. Он радостно закричал и шмыгнул в двери барака. Оттуда выскочили без верхней одежды Зарипа и Эрмек.

— елка, елка! Смотри, какая елка! — ликовал Даул, отчаянно прыгая вокруг.

Зарипа была обрадована не меньше:

— Ты все-таки достал ее! Как здорово!

А Эрмек, оказывается, никогда еще не видел елку. Он смотрел не отрываясь на ношу дяди Едигея.

— Мама, это елка, да? Она хорошая ведь, да? Она будет жить у нас дома?

— Зарипа, — сказал Едигей, — из-за этой, как говорят русские, елки-палки ты могла получить замороженного мужа. Давай побыстрей домой отогревать его. Прежде всего сапоги надо стянуть.

Сапоги примерзли. Абуталип морщился, стиснув зубы, стонал, когда все дружно пытались

стащить их с ног. Детишки особенно усердствовали. То так, то эдак хватались они ручонками за тяжеленные яловые сапоги, каменно прихваченные морозом к ногам.

— Ребята, не мешайтесь, ребята, дайте я сама! — отгоняла их мать. Но Едигей счел необходимым сказать ей вполголоса:

— Не тронь их, Зарипа. Пусть, пусть потрудятся.

Он нутром своим понял, что для Абуталипа это высшее воздаяние — любовь, сопереживание детей. Значит, они уже люди, значит, они уже что-то смыслят. Особенно трогательно и потешно было смотреть на младшего. Эрмек почему-то называл отца папикой. И никто его не поправлял, поскольку то было его собственной «модификацией» одного из вечных и первоначальных слов на устах людей.

— Папика! Папика! — озабоченно суетился он, раскрасневшись от тщетных усилий. Его кудри распушились, глаза пылали желанием совершить нечто крайне необходимое, а сам он был так серьезен, что невольно хотелось засмеяться.

Конечно, надо было сделать так, чтобы ребята достигли своей цели. Едигей нашел способ. Сапоги к тому времени начали оттаивать и их

можно было сдернуть, не причиняя особой боли Абуталипу.

— А ну, ребята, садись за мной. Будем как поезд — один другого тянуть. Даул, ты держись за меня, а ты, Эрмек, хватайся за Даула.

Абуталип понял замысел Едигея и одобрительно закивал, заулыбался сквозь слезы, навернувшиеся с холода в тепле.

Едигей сел напротив Абуталипа, за ним прицепились дети, и, когда они приготовились, Едигей начал стаскивать сапог.

— А ну, ребята, посильней, подружней тяните! А то я один не смогу. Сил не хватит. Давай-давай, Даул, Эрмек! Посильней!

Ребята пыхтели позади, вовсю стараясь помочь. Зарипа была болельщицей. Едигей нарочно делал вид, что ему трудно, и когда наконец первый сапог был снят, ребята победно закричали. Зарипа кинулась растирать мужу ступню шерстяным платком, но Едигей всех приостановил:

— А ну, ребята, а ну, мама! Вы что ж это? А второй сапог кто будет тянуть? Или так и оставим отца одна нога босая, а другая в мерзлом сапоге? Хорошо будет?

И все расхохотались отчего-то. Долго смеялись, катались по полу. Особенно ребята и сам Абу-

талип.

И кто знает, так думал потом об этом Буранный Едигей, много раз пытаясь отгадать ту страшную загадку, кто знает, быть может, именно в этот момент где-то очень далеко от Боранлы-Буранного имя Абуталипа Куттыбаева вновь всплыло в бумагах и люди, получившие ту бумагу, решили на ее основании вопрос, о котором никто ни сном ни духом не помышлял ни в этой семье, ни на разъезде.

Беда свалилась как снег на голову. Хотя, конечно, будь, скажем, Едигей поопытней в таких делах, похитрей, может, если бы и не догадался, то смутная тревога закралась бы в душу.

А отчего было тревожиться? Всегда поближе к концу года приезжал на разъезд участковый ревизор. По графику объезжал он разъезд за разъездом, от станции к станции. Приедет, день-два побудет, проверит, как зарплата выдавалась, как материалы расходовались и всякое прочее, напишет акт ревизии вместе с начальником разъезда и еще с кем-нибудь из рабочих и уедет с попутным. Сколько там делов-то, на разъезде? Едигей, бывало, тоже расписывался в актах ревизии. В этот раз ревизор дня три пробыл в Боранлы-Буранном. Ночевал в дежурном домике,

в главном помещении разъезда, где была связь да комнатушка начальника, именуемая кабинетом. Начальник разъезда Абилов все бегал, чай носил ему в чайнике. Заглянул к ревизору и Едигей. Сидел человек, дымил над бумагами. Едигей думал — может, кто из прежних знакомых, но нет, этот был незнакомый. Краснощекий такой, редкозубый, в очках, седеющий. Странная прилипающая улыбчивость мелькнула в его глазах.

А поздно вечером встретились. Едигей возвращался со смены, смотрит — ревизор прохаживается возле дежурки под фонарем. Воротник мерлушковый поднял, в мерлушковой папахе, в очках, курит задумчиво, хрустит подошвами сапог по песочку.

— Добрый вечер. Что, покурить вышли? Наработались? — посочувствовал ему Едигей.

— Да, конечно, — ответил тот, полуулыбаясь. — Нелегко. — И опять полуулыбнулся.

— Ну, ясно, конечно, — промолвил для приличия Едигей.

— Завтра с утра уезжаю, — сообщил ревизор. — Подойдет семнадцатый, приостановится. И я поеду. — Он опять полуулыбнулся. Голос у него был приглушенный, вымученный даже. А глаза смотрели с прищуром, вглядывались в

лицо. — Так вы и будете Едигей Жангельдин? — осведомился ревизор.

— Да, я самый.

— Я так и думал. — Ревизор уверенно дыхнул дымом сквозь редкие зубы. Бывший фронтовик. На разъезде с сорок четвертого. Путейцы Буранным прозывают.

— Да, верно, — простодушно отвечал Едигей. Ему было приятно, что тот так много знал о нем, но и удивился в то же время, как, зачем ревизор все это разузнал и запомнил.

— А у меня память хорошая, — полуулыбаясь, продолжал ревизор, видимо догадываясь, о чем думает Едигей. — Я ведь тоже пишу, как ваш Куттыбаев, кивнул он, пуская струю дыма в сторону освещенного окна, в проеме которого склонялась, как всегда, над своими записями на подоконнике голова Абуталипа. — Третий день наблюдаю — все пишет и пишет. Понимаю. Сам пишу. Только я стихами занимаюсь. В деповской многотиражке почти каждый месяц печатаюсь. У нас там кружок литературный. Я им руковожу. И в областной газете помещался — на Восьмое марта однажды, на Первое мая в нынешнем году.

Они помолчали. Едигей уже собирался попрощаться и уйти, но ревизор снова заговорил:

— А он о Югославии пишет?

— Честно говоря, не знаю толком, — ответил Едигей. — Кажется. Ведь он партизанил там. Он для детей своих пишет.

— Слышал. Я тут порасспросил Абилова. Он и в плену побывал, выходит. Вроде и учительствовал какие-то годы. А теперь решил проявить себя с помощью пера, — скрипуче хихикнул он. — Но это не так просто, как кажется. Я тоже задумываюсь над крупной вещью. Фронт, тыл, труд будет. Да времени у нашего брата вовсе нет. Все по командировкам…

— Он тоже, по ночам только. А днем работает, — вставил Едигей.

Они снова помолчали. И опять Едигей не успел уйти.

— Ну и пишет, ну и пишет, головы не поднимает, — все так же полуулыбаясь, осклабился ревизор, вглядываясь в силуэт Абуталипа у окна.

— Так надо же чем-то заниматься, — ответил ему на то Едигей. — Человек грамотный. Вокруг никого и ничего. Вот и пишет.

— Ага, тоже идея. Вокруг никого и ничего, — прищуриваясь, что-то соображая, пробормотал ревизор. — А ты себе волен, а вокруг никого и ничего, тоже идея… А ты себе волен…

На том они попрощались. И в следующие дни нет-нет да мелькала мысль не забыть рассказать Абуталипу о том случайном разговоре с ревизором, да как-то не получалось, а потом и вовсе забылось.

Дел было много к зиме. И, главное, Каранар пришел в великое движение. Ведь морока, вот ведь где наказание хозяину! Как атанша[14] Каранар созрел два года назад. Но в те два года еще не так бурно проявлялись его страсти, еще можно было с ним сладить, припугнуть, подчинить строгому окрику. К тому же старый самец в боранлинском стаде — давнишний казангаповский верблюд — не давал ему еще развернуться. Бил его, грыз, отгонял от маток. Но степь-то широкая. С одного края отгонит, он с другого поспевает. И так целый день гонял его старый атан, а потом выбивался из сил. И тогда молодой да горячий атанша Каранар не мытьем, так катаньем достигал-таки своей цели.

Но в новый сезон, с наступлением зимних холодов, когда в крови верблюдов снова просыпался извечный зов природы, Каранар оказался верховным в боранлинском стаде. Достиг Каранар

---

[14] Примечания: 14
Атанша — молоденький атан, молодой самец.

могущества, достиг сокрушающей силы. Запросто загнал старого казангаповского атана под обрыв и в безлюдной степи избил, истоптал, изгрыз его до полусмерти, благо некому было разнять их. В этом неумолимом законе природа была последовательна — теперь настал черед Каранара оставлять по себе потомство.

На этой почве, однако, Казангап с Едигеем впервые поссорились. Не стерпел Казангап при виде жалкого зрелища — затоптанного атана своего под обрывом. Вернулся с выпасов мрачный и бросил Едигею:

— Что же ты допускаешь такое дело? Они скоты, но мы-то с тобой люди! Это же смертоубийство учинил твой Каранар. А ты его спокойно отпускаешь в степь!

— Не отпускал я его, Казаке. Сам он ушел. Как мне его держать прикажешь? На цепях? Так он цепи рвет. Сам знаешь, не случайно сказано исстари: «Кюш атасын танымайды»[15]. Пришла его пора.

— А ты и рад. Но подожди, то ли еще будет. Ты его щадишь, не хочешь ему ноздри прокалывать

---

[15] Примечания: 15
Сила отца не признает.

для шиши[16], но ты еще поплачешь, погоняешься за ним. Такой зверь в одном стаде не успокоится. Он пойдет по всем сарозекам биться. И никакого удержу ему не будет. Припомнишь тогда мои слова…

Не стал Едигей распалять Казангапа, уважал его, да и прав был тот вообще-то. Пробормотал примирительно:

— Сам же ты его мне подарил сосунком, а теперь ругаешься. Ладно, подумаю, что-нибудь сделаю, чтобы управу на него найти.

Но обезображивать такого красавца, как Каранар, — прокалывать ему ноздри и продевать деревянную шишь — опять же рука не поднималась. Сколько раз потом действительно вспоминал он слова Казангапа и сколько раз, доведенный до бешенства, клялся, что не посмотрит ни на что, и все-таки не трогал верблюда. Подумывал одно время кастрировать и тоже не посмел, не пересилил себя. А годы шли, и всякий раз с наступлением зимних холодов начинались мытарства, поиски бушующего в гоне неистового Каранара…

С той зимы все и началось. Запомнилось. И

---

[16] Примечания: 16

Шишь — деревянная заноза, продеваемая в верхние губы верблюда.

пока усмирял Каранара да приспосабливал загон, чтобы накрепко запереть его, тут и Новый год подкатил. А Куттыбаевы как раз затеяли елку. Для всей боранлинской детворы большое событие было. Укубала с дочерьми прямо-таки перебрались в барак Куттыбаевых. Весь день занимались приготовлением и украшали елку. Идя на работу и возвращаясь с работы, Едигей тоже первым делом заходил взглянуть на елку у Куттыбаевых. Все красивей, все нарядней становилась она, расцветала в лентах и игрушках самодельных. Тут уж женщинам надо отдать должное — Зарипа и Укубала постарались ради малышей, все свое мастерство приложили. И дело было, пожалуй, не столько в самой елке, сколь в новогодних надеждах, в общем для всех безотчетном ожидании неких скорых и счастливых перемен.

Абуталип на этом не успокоился, вывел детвору во двор, и стали они катать большую снежную бабу. Вначале Едигей подумал, что они просто забавляются, а потом восхитился этой выдумкой. Огромная, почти в человеческий рост снежная бабища, эдакое смешное чудище с черными глазами и черными бровями из углей, с красным носом и улыбающейся пастью, с облезлым лисьим казангаповским малахаем на голове встала

перед разъездом, встречая поезда. В одной «руке» баба держала железнодорожный зеленый флажок — путь открыт, а в другой фанеру с поздравлением: «С Новым, 1953 годом!» Здорово тогда получилось! Эта баба долго стояла еще и после первого января…

31 декабря уходящего года днем до самого вечера боранлинские дети играли вокруг елки и во дворе. Там же были заняты и взрослые, свободные от дежурств. Абуталип рассказывал с утра Едигею, как рано утром приползли к нему в постель ребята, сопят, возятся, а он прикинулся крепко спящим.

«— Вставай, вставай, папика! — Эрмек тормошит. — Скоро Дед Мороз приедет. Пойдем встречать.

— Хорошо, — говорю. — Вот сейчас встанем, умоемся, оденемся и пойдем. Обещал приехать.

— А каким поездом? — Это старший спрашивает.

— А любым, — говорю, — для Деда Мороза любой поезд остановится даже на нашем разъезде.

— Тогда надо вставать побыстрее!

Да, значит, собираемся торжественно, серьезно так.

— А как же мама? — спрашивает Даул. — Она ведь тоже хочет увидеть Деда Мороза?

— Конечно, — говорю, — а как же. Зовите и ее.

Собрались и все вместе вышли из дома. Ребята побежали вперед к дежурке. Мы за ними. Бегают ребята вокруг да около, а Деда Мороза нет.

— Папика, а где же он?

Глаза у Эрмека, знаешь, такие — хлоп-хлоп.

— Сейчас, — говорю, — не спешите. Узнаю у дежурного.

Вхожу в дежурку, я там с вечера припрятал записку от Деда Мороза и мешочек с подарками. Вышел, они ко мне:

— Ну что, папика?

— Да вот, — говорю, — оказывается, Дед Мороз оставил вам записку, вот она: ”Дорогие мальчуганы — Даул и Эрмек! Я приехал на ваш знаменитый разъезд Боранлы-Буранный рано утром, в пять часов. Вы еще спали, было очень холодно.

Да и сам я холодный, борода вся из морозной шерсти у меня. А поезд остановился только на две минутки. Вот успел записку написать и оставить подарки. В мешочке всем ребятам разъезда от меня по одному яблоку и по два ореха. Не обижайтесь, дел у меня впереди много. Поеду к другим ребятам. Они меня тоже ждут. А к вам на следующий Новый год постараюсь приехать так, чтобы мы встретились. А пока до свидания. Ваш Дед Мороз, Аяз-ата". Постой-постой, а тут еще какая-то приписка. Очень торопливо, неразборчиво написано. Наверно, уже поезд отходил. А, вот, разобрал: "Даул, не бей свою собачку. Я слышал, как однажды она громко заскулила, когда ты ударил ее калошей. Но потом я больше не слышал. Наверно, ты стал лучше к ней относиться. Вот и все. Еще раз ваш Аяз-ата". Постой-постой, тут еще что-то накорябано. А, понял: "Снежная баба у вас очень здорово получилась. Молодцы. Я поздоровался с ней за руку".

Ну, они, конечно, обрадовались. Записка Деда Мороза убедила их сразу. Никаких обид. Только начали спорить, кто понесет

мешочек с подарками. Тут мать рассудила их:

— Сначала десять шагов понесет Даул, он старший. А потом десять шагов ты, Эрмек, ты младший…»

Посмеялся от души и Едигей: «Надо же, будь я на их месте, тоже поверил бы».

Зато днем среди детворы самым популярным был дядя Едигей. Устроил он им катание на санях. У Казангапа водились сани давнишние. Запрягли казангаповского верблюда, смирного и хорошо идущего в нагрудном хомуте, Каранара нельзя было, конечно, допускать к таким делам. Запрягли и поехали всей гурьбой. То-то было шуму. Едигей был за кучера. Детишки липли, все хотели посидеть рядом с ним. И все просили: «Быстрей, быстрей поехали!» Абуталип и Зарипа то шли, то бежали рядом, но на спусках присаживались на край саней. Отъехали от разъезда километра на два, развернулись на пригорке, назад со спуска покатили. Запыхался упряжной верблюд. Передохнуть требовалось.

Хороший выдался день. Над безбрежно белыми, заснеженными сарозеками, сколько хватало глаз и слуха, лежала белая первозданная тишина.

Вокруг, таинственно укрытая снегом, простиралась степь — грядами, холмами, равнинами, небо над сарозеками излучало матовый отсвет и кроткое полуденное тепло. Ветерок чуть слышно ластился к уху. А впереди по железной дороге шел длинный красно-охряной состав, и два черных паровоза, сцепленных цугом, тащили его, дыша в две трубы. Дым из труб зависал в воздухе медленно тающими, плывущими кольцами. Приближаясь к семафору, ведущий паровоз дал сигнал — длинный, могучий гудок. Дважды повторил, неся о себе весть. Поезд был сквозной, он прошумел через разъезд, не сбавляя скорости, — мимо семафоров и полдюжины домиков, неловко прилепившихся почти у самой линии, хотя столько простора было вокруг. И снова все стихло и замерло. Никакого движения. Лишь над крышами боранлинских домов вились сизые печные дымки. Все замолчали. Даже разгоряченные ездой ребятишки присмирели в ту минуту. Зарипа промолвила негромко, только для мужа:

— Как хорошо и как страшно!

— Ты права, — так же негромко отозвался Абуталип.

Едигей глянул на них искоса, не поворачивая головы. Они стояли, очень похожие друг на дру-

га. Негромко, но внятно произнесенные слова Зарипы огорчили Едигея, хотя и не ему были предназначены. Он понял вдруг, с какой тоской и страхом смотрела она на эти домики с вьющимися дымками. Но ничем и никак Едигей не мог им помочь, ибо то, что ютилось у железной дороги, было единственным пристанищем для всех них.

Едигей понукнул упряжного верблюда. Стеганул бичом. И сани покатились назад к разъезду…

Вечером[31] накануне новогодней ночи все боранлинцы собрались у Едигея и Укубалы — так порешили Едигей и Укубала еще несколько дней назад.

— Раз уж вновь прибывшие Куттыбаевы устроили елку для всей детворы, нам сам Бог велел — сказала Укубала, — не будем скупиться.

Едигей только обрадовался этому. Правда, далеко не все смогли присутствовать — иные дежурили на линии, а другим дежурство предстояло с вечера. Поезда-то шли, не считаясь ни с праздниками, ни с буднями. Казангапу удалось посидеть только вначале. К девяти

---

[31] Примечания: 31

Здесь и далее жирным шрифтом добавлен текст по изданию: Санкт-Петербург. Издательский Дом «Азбука-классика» 2007

вечера он отправился на стрелку, да и Едигею по графику требовалось с шести часов утра первого января быть на линии. Такова служба. И все-таки вечер получился на славу. Все были в приподнятом настроении и, хотя виделись по десять раз на дню, к встрече приоделись, ровно издалека прибывшие гости. Укубала отличилась — наготовила всякой снеди. Выпить тоже было что — водка, шампанское. А кто желал, тому зимний шубат был готов от проявловавших верблюдиц, и зимой их выдаивала неутомимая казангаповская Букей.

Но праздник стал праздником, когда после закусок и первых рюмок начали петь. Наступила такая минута, когда улеглись первые хлопоты хозяев, исчезла напряженность гостей и можно было не спеша, не отвлекаясь по мелочам, отдаться редкому душевному удовольствию — и пображничать, и пообщаться с теми, кого каждый день видишь и хорошо знаешь, но и в них находишь новизну, потому что праздник имеет свойство преображать людей. Бывает, что и в дурную сторону. Но не здесь, не среди боранлинцев. Жить в сарозеках да еще слыть неуживчивым или скандалистом... Едигей захмелел слегка. Однако это ему очень шло.

Укубала без особой тревоги напомнила мужу:

— Не забудь, завтра в шесть утра на работу.

— Все ясно, Уку. Понял, — ответил он.

Сидя возле Укубалы, обнимая ее за шею, он тянул песню, правда иногда невпопад, но усердно, и тем создавал мощный шумовой эффект. Он пребывал в том отличном состоянии духа, когда ясность ума и восторженность чувств совмещаются без ущерба. За песней он умиленно вглядывался в лица гостей, одаряя всех веселой сердечной улыбкой, уверенный, что всем так же хорошо, как ему. И был он красив, тогда еще чернобровый и черноусый Буранный Едигей, с поблескивающими карими глазами и крепким рядом белых цельных зубов. И самое сильное воображение не помогло бы представить, каким он будет в старости. Похлопывя по плечу полнеющую добрую Букей, он называл ее боранлинской мамой, предлагал за нее тосты, в ее лице — за весь каракалпакский народ, пребывающий где-то на берегах Амударьи, и уговаривал ее не расстраиваться из-за того, что Казангапу пришлось покинуть стол ради работы.

— Он мне и так надоел! — задорно отвечала Букей.

Свою Укубалу Едигей называл в тот вечер только полным, расшифрованным именем: Уку баласы — дите совы, совенок. Для каждого находилось у него доброе, задушевное слово, в том тесном кругу все были для него родными братьями и сестрами, вплоть до начальника разъезда Абилова, тяготящегося службой мелкого путейного работника в сарозеках, и его беременной жены Сакен, которой предстояло в скором времени отправиться в станционный роддом в Кумбеле. Едигей искренне верил, что его окружают нерасторжимо близкие люди, да и как могло быть иначе, стоило среди песни на миг зажмурить глаза — и представлялась огромная заснеженная пустыня сарозеков и горстка людей в его доме, собравшихся как одна семья. Но больше всего радовался он за Абуталипа и Зарипу. Эта пара стоила того. Зарипа и пела, и играла на мандолине, быстро подбирая мотивы сменяющих одна другую песен. Голос у нее был звонкий, чистый, Абуталип вел с грудной приглушенной протяжностью, пели задушевно, слаженно, особенно песни на татарский лад, их они пели алмак-салмак — отвечая друг другу. Песню вели они, а остальные им подпевали. Уже много перебрали из старин-

ных и новых песен и не уставали а, наоборот, распевались все азартнее. Значит, гостям было хорошо. Сидя напротив Зарипы и Абуталипа, Едигей не отрываясь смотрел на них и умилялся — такими они и должны были бы быть всегда, если б не горькая судьбина, не дающая им продыху. В страшный летний зной Зарипа ходила испепеленная, как обгорелое при пожаре деревце, с пожухлыми до корней бурыми волосами и полопавшимися в кровь черными губами, сейчас же она была неузнаваема. Черноглазая, с сияющим взором, открытым, по-азиатски гладким, чистым лицом, сегодня она была прекрасна. Ее настроение лучше всего передавали четкие, подвижные брови, которые пели вместе с ней, то вскидываясь, то хмурясь, то разбегаясь в полете давно возникших песен. С особым чувством выделяя значение каждого слова, вторил ей Абуталип, раскачиваясь из стороны в сторону:

…Как след подпружный на боку иноходца,

Дни ушедшей любви не сотрутся из памяти…

А руки Зарипы, перебирая струны мандоли-

ны, заставляли звенеть и стонать музыку в тесном кругу в новогоднюю ночь. Плыла Зарипа в песне, и чудилось Едигею, что была она где-то далеко, бежала, дыша легко и свободно, по снегам сарозеков в этой своей сиреневой вязаной кофточке с белым отложным воротничком, со звенящей мандолиной, и тьма расступалась вокруг, и, удаляясь, она исчезала в тумане, только слышна была мандолина, но, вспомнив, что и на боранлинском разъезде есть люди и что им будет худо без нее, возвращалась Зарипа и снова возникала поющей за столом...

Потом Абуталип показывал, как они танцевали в партизанах, полжив руки друг другу на плечи и перебирая в такт ногами. Зарипа подыгрывала, а Абуталип пел задорную сербскую песню, и все они танцевали в кругу, положив руки друг другу на плечи и покрикивая: «Опля, опля...»

Потом еще пели и еще выпили, чокнулись, поздравляли с Новым годом, кто-то уходил, кто-то приходил... Начальник разъезда и его беременная жена ушли еще до танцев. И так протекала ночь.

Зарипа вышла подышать, следом и Абута-

лип. Укубала заставляла всех одеваться, чтобы не выходили распаренными на холод. Зарипа и Абуталип долго не возвращались. Едигей решил пойти за ними, без них не тот получался праздник. Его окликнула Укубала:

— Оденься, Едигей, куда ты так, простынешь!

— Я сейчас. — Едигей вышел за порог в холодную ясность полуночи. — Абуталип, Зарипа! — позвал он, оглядываясь по сторонам.

Никто не откликнулся. За домом услышал голоса. И остановился в нерешительности, не зная, как поступить: то ли уйти, то ли наоборот, подойти к ним и увести домой. Что-то происходило между ними.

— Я не хотела, чтобы ты видел, — всхлипывала Зарипа. — Прости. Просто мне стало тяжко. Прости пожалуйста.

— Я понимаю, — успокаивал ее Абуталип. — Я все понимаю. Но дело ведь не во мне, что я именно такой. Если бы это касалось только меня. Боже мой, одной жизнью больше, другой меньше. Можно было бы и не цепляться так отчаянно. — Они помолчали, и потом он сказал: — Дети наши избавятся... И на это вся надежда...

Недопонимая, в чем дело, Едигей осторожно отступил, передергивая плечами от холода, и неслышно вернулся. Когда он вошел в дом, ему показалось, что все потускнело и праздник исчерпался. Новый год Новым годом, но пора и честь знать.

Пятого января 1953 года в десять часов утра на разъезде Боранлы-Буранный сделал остановку пассажирский поезд, хотя все пути перед ним были открыты, и он мог, как всегда, проследовать без задержки. Поезд простоял всего полторы минуты. Этого было, видимо, вполне достаточно. Трое — все в черных хромовых сапогах одинакового фасона — сошли с подножки одного из вагонов и направились прямо в дежурное помещение. Шли молча и уверенно, не оглядываясь по сторонам, лишь на секунду задержались возле снежной бабы. Молча посмотрели на надпись на куске фанеры, приветствующую их, да глянули на дурацкий малахай, старый, облезлый казангаповский малахай, напяленный на голову бабы. И с тем прошли в дежурку.

Через некоторое время из дверей выскочил начальник разъезда Абилов. Чуть было не столкнулся со снежной бабой. Выругался и поспешно пошел дальше, почти побежал, чего с ним нико-

гда не бывало. Минут через десять, запыхавшись, он уже возвращался назад, ведя с собой Абуталипа Куттыбаева, которого срочно разыскал на работе. Абуталип был бледен, шапку держал в руке. Вместе с Абиловым он вошел в дежурное помещение. Однако очень скоро вышел оттуда в сопровождении двух приезжих в хромовых сапогах, и все они направились в барак, где жили Куттыбаевы. Оттуда они вскоре вернулись, опять же неотступно сопровождая Абуталипа, неся какие-то бумаги, взятые в его доме.

Потом все стихло. Никто не выходил и не входил в дежурное помещение.

Едигей узнал о случившемся от Укубалы. Она добежала по поручению Абилова на четвертый километр, где проводились в тот день ремонтные работы. Отозвала Едигея в сторону:

— Абуталипа допрашивают.

— Кто допрашивает?

— Не знаю. Какие-то приезжие. Абилов велел передать, что если не будут допытываться, то не говорить, что на Новый год были вместе с Абуталипом и Зарипой.

— А что тут такого?

— Не знаю. Он так просил сказать тебе. И велел тебе к двум часам быть на месте. У тебя тоже

хотят что-то спросить, узнать насчет Абуталипа.

— А что узнавать?

— Откуда я знаю. Пришел перепуганный Абилов и говорит — так и так. А я к тебе.

К двум часам и без того ходил Едигей домой обедать. По пути, да и дома все пытался взять в толк, что случилось. Ответа не находил. Разве что за прошлое, за плен? Так давно уже проверили. А что еще? Тревожно, плохо стало на душе. Хлебнул две ложки лапши и отставил в сторону. Посмотрел на часы. Без пяти два. Раз велели в два, значит, в два. Вышел из дома. Возле дежурки прохаживался взад-вперед Абилов. Жалкий, смятый, подавленный.

— Что случилось?

— Беда, беда, Едике, — заговорил Абилов, робко поглядывая на дверь. Губы у него мелко дрожали. — Куттыбаева засадили.

— А за что?

— Какие-то запрещенные писания нашли у него. Ведь все вечера что-то писал. Это же все знают. И вот дописался.

— Так это он для детей своих.

— Не знаю, не знаю, для кого. Я ничего не знаю. Иди, тебя ждут.

В комнатушке начальника разъезда, имену-

емой кабинетом, его ждал человек примерно одного возраста с ним или помоложе немного, лет тридцати, плотный, большеголовый, подстриженный ежиком. Мясистый, ноздрястый нос припотевал от напряжения мысли, он что-то читал. Он вытер нос платком, хмуря тяжелый высокий лоб. И потом на протяжении всего их разговора он то и дело обтирал постоянно припотевавший нос. Он достал из лежащей на столе пачки «Казбека» длинную папиросину, покрутил ее, закурил и, вскинув на Едигся, стоявшего в дверях, ясные, как у кречета, желтоватые глаза, сказал коротко:

— Садись.

Едигей сел на табурет перед столом.

— Что ж, чтоб не было никаких сомнений, — произнес кречетоглазый, достал из нагрудного кармана гражданского кителя какую-то коричневую корочку, распахнул ее и тут же убрал, буркнув при этом что-то, то ли «Тансыкбаев», то ли «Тысыкбаев», Едигей так и не запомнил толком его фамилию.

— Понятно? — спросил кречетоглазый.

— Понятно, — вынужден был ответить Едигей.

— Ну, в таком случае приступим к делу. Говорят, ты лучший друг-товарищ Куттыбаева?

— Может быть, и так, а что?

— Может быть, и так, — повторил кречетоглазый, затягиваясь «казбечиной» и как бы уясняя услышанное. — Может быть, и так. Допустим. Ясно. — И бросил вдруг с неожиданной усмешкой, с радостным, предвкушаемым удовольствием, вспыхнувшим в его четких, как стекло, глазах: — Ну что, друг любезный, пописываем?

— Что пописываем? — смутился Едигей.

— Это я хочу узнать.

— Я не понимаю, о чем речь.

— Неужто? А? Ну-ка подумай!

— Не понимаю, о чем речь.

— А что пишет Куттыбаев?

— Не знаю.

— Как не знаешь? Все знают, а ты не знаешь?

— Знаю, что он что-то пишет. А что именно, откуда мне знать. Какое мне дело? Охота человеку писать — пусть себе пишет. Кому какое дело?

— То есть как кому какое дело? — удивленно встрепенулся кречетоглазый, устремляя в него пронзительные, как пули, зрачки. — Значит, кто что хочет, то пусть и пишет? Это он тебя убедил?

— Ничего он меня не убеждал.

Но кречетоглазый не обратил внимания на его ответ. Он был возмущен:

— Вот она, вражеская агитация! А ты подумал, что будет, если любой и каждый начнет заниматься писаниной? Ты подумал, что будет? А потом любой и каждый начнет высказывать что ему в голову взбредет! Так, что ли? Откуда у тебя эти чуждые идеи? Нет, дорогой, такого мы не допустим. Такая контрреволюция не пройдет!

Едигей молчал, подавленный и удрученный обрушенными на него словами. И очень удивился, что ничего вокруг не изменилось. Как будто бы ничего не происходило. Видел через окно, как прошел, мелькая, ташкентский поезд, и представил себе на секунду: едут люди в вагонах по своим делам и нуждам, пьют чай или водку, ведут свои разговоры и никому нет дела, что в это время на разъезде Боранлы-Буранный сидит он перед невесть откуда свалившимся на голову кречетоглазым; и до саднящей боли в груди хотелось ему выскочить из дежурки, догнать уходящий поезд и уехать на нем хоть на край света, только бы не находиться сейчас здесь.

— Ну что? Доходит до тебя суть вопроса? — продолжал кречетоглазый.

— Доходит, доходит, — ответил Едигей. — Только одно я хочу узнать. Ведь это он для детей своих хотел воспоминания описать. Как, что было с

ним, скажем, на фронте, в плену, в партизанах. Что тут плохого?

— Для детей! — воскликнул тот. — Да кто этому поверит! Кто пишет для детей своих, которым без году неделя! Сказки! Вот как действует опытный враг! Упрятался в глуши, где никого и ничего вокруг, где никто за ним не следит, а сам принялся пописывать свои воспоминания!

— Ну, захотелось так человеку, — возразил Едигей. — Захотелось ему, наверно, свое личное слово сказать, что-то от себя, какие-то мысли от себя, чтобы они, дети его, почитали, когда вырастут.

— Какое еще личное слово! Это еще что такое? — укоризненно качая головой, вздохнул кречетоглазый. — Какие еще мысли от себя, что значит личное слово? Личное воззрение, так, что ли? Особое, личное мнение, что ли? Не должно быть никакого такого личного слова. Все, что на бумаге, это уже не личное слово. Что написано пером, того не вырубить топором. Каждый еще будет мысли от себя высказывать. Очень жирно будет. Вот они, его так называемые «Партизанские тетради», вот в подзаголовке — «Дни и ночи в Югославии», вот они! — Он бросил на стол три толстые общие тетради в клеенчатых

переплетах. — Безобразие! А ты тут пытаешься выгородить своего приятеля. А мы его изобличили!

— В чем вы его изобличили?

Кречетоглазый дернулся на стуле и опять бросил с неожиданной усмешкой, с предвкушением удовольствия и злорадства, не мигая и не сводя ясных прозрачных глаз:

— Ну это позволь уж нам знать, в чем мы его изобличили. — Смакуя каждое слово, произнес, упиваясь произведенным эффектом: — Это наше дело. Докладывать каждому не стану.

— Ну что ж, если так, — растерянно промолвил Едигей.

— Его враждебные воспоминания не пройдут ему даром, — заметил кречетоглазый и принялся что-то быстро писать, приговаривая: — Я думал, что ты поумней, что ты наш человек. Передовой рабочий. Бывший фронтовик. Поможешь нам разоблачить врага.

Едигей нахохлился и сказал негромко, но внятно, тоном, не оставляющим сомнений:

— Я ничего подписывать не буду. Это я вам сразу говорю.

Кречетоглазый вскинул уничтожающий взгляд.

— А нам и не нужна твоя подпись. Ты думаешь, если ты не подпишешь, то делу пшик? Ошибаешься. У нас достаточно материалов для того, чтобы привлечь его к суровой ответственности и без твоей подписи.

Едигей умолк, чувствуя униженность, жгучую опустошенность. Одновременно росло, как волна на Аральском море, возмущение, негодование, несогласие с происходящим. Ему вдруг захотелось придушить этого кречетоглазого, как бешеную собаку, и он знал, что смог бы это сделать. Уж какая жилистая и крепкая была шея у того фашиста, которого ему пришлось удавить собственными руками. Другого выхода не было. Они столкнулись с ним неожиданно лицом к лицу в траншее, когда выбивали с позиции противника. Зашли с фланга, забрасывая траншею гранатами и простреливая проходы очередями автоматов, и уже очистили линию и устремились с боем дальше, когда вдруг сшиблись с ним в упор. Видимо, то был пулеметчик, стрелявший до последнего патрона. Лучше было взять его в плен. Эта мысль мелькнула в сознании Едигея. Но тот успел занести нож над головой. Едигей боднул его каской в лицо, и они повалились. И уже ничего не оставалось, как вцепиться ему в

горло. А тот изворачивался, хрипел, скреб пальцами по сторонам, пытаясь нашарить выбитый из рук нож. И каждое мгновение Едигей ожидал, что вонзится нож ему в спину, и поэтому с неослабевающим, нечеловеческим, звериным усилием сжимал, стискивал, рыча, хрящастую шею оскалившегося, почерневшего врага. И когда тот задохнулся и резко запахло мочой, он разжал сцепившиеся в судороге пальцы. Его вырвало тут же, и, обливаясь собственной блевотиной, он пополз подальше со стоном и мутью в глазах. Об этом он никому не рассказал ни тогда, ни после. Кошмар этот снился иногда ему, и на другой день он не находил себе места, жить не хотелось… Об этом вспомнил Едигей сейчас с содроганием и омерзением. Однако он сознавал, что кречетоглазый берет хитростью и превосходством в уме. Это его задело за живое. Пока тот писал, Едигей пытался найти слабину в доводах кречетоглазого. Из сказанного кречетоглазым одна мысль поразила Едигея своей алогичностью, каким-то дьявольским несоответствием: как это можно обвинять кого-либо во «враждебных воспоминаниях»? Разве могут быть воспоминания человека враждебными или невраждебными, ведь воспоминания — это то, что было когда-то в прошлом,

это то, чего уже нет, что было в минувшем времени. Значит, человек вспоминает о том, как то было в действительности.

— Я хочу знать, — промолвил Едигей, чувствуя, как пересыхает в горле от волнения. Но он заставил себя произнести эти слова очень спокойно. — Вот ты говоришь… — Он нарочно назвал его на «ты», чтобы тот понял, что Едигею нечего лебезить и бояться, дальше сарозеков гнать его некуда. — Вот ты говоришь, — повторил он, — враждебные воспоминания. Как это понимать? Разве могут быть воспоминания враждебными или невраждебными? По-моему, человек вспоминает то, что было и как было когда-то, чего уже нет давно. Или, выходит, если хорошее — вспоминай, а если плохое — не вспоминай, забудь? Такого вроде никогда и не было. Или, выходит, если какой сон приснится и о нем, о сне, надо вспоминать? А если сон страшный, неугодный кому?..

— Вот ты какой! Хм, черт возьми! — подивился кречетоглазый. Порассуждать любишь, поспорить захотел. Ты тут никак местный философ. Что ж, давай. — Он сделал паузу. И как бы примерился, изготовился и изрек: — В жизни всякое может быть в смысле исторических событий. Но мало ли

что было и как было! Важно вспоминать, нарисовать прошлое устно или тем более письменно так, как требуется сейчас, как нужно сейчас для нас. А все, что нам не на пользу, того и не следует вспоминать. А если не придерживаешься этого, значит, вступаешь во враждебное действие.

— Я не согласен, — сказал Едигей. — Такого не может быть.

— А никто и не нуждается в твоем согласии. Это ведь к слову. Ты спрашиваешь, а я объясняю по доброте своей. А вообще-то я не обязан вступать с тобой в такие разговоры. Ну хорошо, давай перейдем от слов к делу. Скажи мне, когда-нибудь Куттыбаев, ну, скажем, в откровенной беседе, за выпивкой, допустим, не называл тебе какие-нибудь английские имена?

— А зачем это? — искренне изумился Едигей.

— А вот зачем. — Кречетоглазый открыл одну из «Партизанских тетрадей» Абуталипа и зачитал подчеркнутое красным карандашом место: «27 сентября к нам в расположение прибыла английская миссия — полковник и два майора. Мы прошлись перед ними парадным маршем. Они нас приветствовали. Потом был общий обед в палатке у командиров. Туда пригласили и нас, нескольких человек иностранных партизан

среди югославов. Когда меня познакомили с полковником, он очень любезно пожал мне руку и все расспрашивал через переводчика, откуда я и как сюда попал. Я коротко рассказал. Мне налили вина, и я тоже выпил вместе с ними. И потом еще долго разговаривали. Мне понравилось, что англичане простые, откровенные люди. Полковник сказал, что великое счастье, или, как он выразился, провидение, помогло нам в том, что мы все в Европе обьединились против фашизма. А без этого борьба с Гитлером стала бы еще тяжелей, а возможно, кончилась бы трагическим исходом для разрозненных народов» — и так далее. — Закончив цитировать, кречетоглазый отложил тетрадь в сторону. Закурил еще одну «казбечину» и, помолчав, попыхивая дымом, продолжал: — Выходит, Куттыбаев не возразил английскому полковнику, что без гения Сталина победа была бы невозможной, сколько бы они ни крутились там, в Европе, в партизанах или еще как угодно. Значит, он товарища Сталина и в мыслях не держал! Это до тебя доходит?

— А может быть, он говорил об этом, — Едигей пытался защитить Абуталипа, — да просто забыл написать.

— А где об этом сказано? Не докажешь! Больше

того, мы сверились с показаниями Куттыбаева в сорок пятом году, когда он проходил проверочную комиссию по возвращении из югославского партизанского соединения. Там случай с английской миссией не упоминался. Значит, здесь что-то нечисто. Кто может поручиться, что он не был связан с английской разведкой!

Опять Едигею стало тяжко и больно. Не понимал он, что тут к чему и куда клонит кречетоглазый.

— Куттыбаев тебе что-нибудь не говорил, подумай, не называл имен английских? Нам важно знать, кто были эти, из английской миссии.

— А какие имена у них бывают?

— Ну, например, Джон, Кларк, Смит, Джек…

— Сроду таких не слыхал.

Кречетоглазый задумался, помрачнел, не все, должно быть, устраивало его во встрече с Едигеем. Потом он сказал несколько вкрадчиво:

— Он что тут, школу какую-то открывал, детей учил?

— Да какая там школа! — невольно рассмеялся Едигей. — Двое у него детишек. И у меня две девочки. Вот и вся школа. Старшим по пять лет, младшим по три. Детям некуда у нас деваться, кругом пустыня. Занимают они детишек, воспи-

тывают, значит. Все-таки бывшие учителя — и он и жена его. Ну, читают там, рисуют, учат что-то писать, считать. Вот и вся школа.

— Какие песенки они пели?

— Да всякие. Детские. Я и не помню.

— А чему он их учил? Что они писали?

— Буквы. Слова какие-то обычные.

— Какие, например, слова?

— Ну какие! Я не помню.

— Вот эти! — Кречетоглазый нашел среди бумаг листочки из ученических тетрадей с детскими каракулями. — Вот это первые слова. — На листочке было написано детской рукой: «Наш дом». — Вот видишь, первые слова, которые пишет ребенок, — «наш дом». А почему не «наша победа»? Ведь первым словом должно быть на устах сейчас, ну-ка подумай, что? Должно быть — «наша победа». Не так ли? А ему почему-то в голову это не приходит? Победа и Сталин неразделимы.

Едигей замялся. Он чувствовал себя настолько униженным всем этим и так жалко стало ему Абуталипа и Зарипу, которые столько сил и времени отдавали возне с неразумными детьми, такое зло взяло его, что он осмелился:

— Если уж так, то надо бы первым долгом пи-

сать «наш Ленин». Все-таки Ленин на первом месте стоит.

Кречетоглазый задержал от неожиданности дыхание, долго затем выдыхал дым из легких. Встал с места. Видимо, потребовалось пройтись, да некуда было в этой комнатушке.

— Мы говорим — Сталин, подразумеваем — Ленин! — произнес он отрывисто и чеканно. Потом задышал облегченно, как после бега, и добавил примирительно:

— Хорошо, будем считать, что этого разговора между нами не было.

Он сел, и снова на непроницаемом лице отчетливо обозначились невозмутимые, ясные, как у кречета, глаза с желтоватым оттенком.

— У нас есть сведения, что Куттыбаев выступал против обучения детей в интернатах. Что ты скажешь, при тебе, оказывается, было дело?

— Откуда такие сведения? Кто дал такие сведения? — поразился Едигей, и сразу мелькнула догадка: Абилов, начальник разъезда во всем повинен, это он донес, ибо разговор такой происходил в его присутствии.

Вопрос Едигея не на шутку разозлил кречетоглазого:

— Слушай, я уже давал тебе понять: откуда

сведения, какие сведения — это наша забота. И мы ни перед кем не отчитываемся. Запомни. Выкладывай, что он говорил?

— Да что он говорил? Надо припомнить. Значит, у нашего самого старого рабочего на разъезде, Казангапа, сын учится в интернате на станции Кумбель. Ну, мальчишка, ясно дело, немного хулиганит, обманывает, бывает. А тут на первое сентября стали Сабитжана снова собирать на учебу. Отец повез его на верблюде. А мать, жена, значит, Казангапа, Букей, стала плакать, жаловаться — беда, говорит, как пошел в интернат, так вроде чужой стал. Нет, говорит, того, чтобы сердцем, душой был привязан к дому, к отцу, матери, как прежде. Ну, малограмотная женщина. Конечно, и учить надо сына, и в отдалении он постоянно…

— Ну хорошо, — перебил его кречетоглазый. — А что сказал Куттыбаев при этом?

— Он тоже был среди нас. Он сказал, что мать, говорит, сердцем чует неладное. Потому что интернатское обучение не от хорошей жизни. Интернат вроде бы отнимает, ну, не отнимает, отдаляет ребенка от семьи, от отца, матери. Что это, в общем, очень трудный вопрос. Для всех трудный — и для него и для других. Но что поделаешь,

раз нет возможностей других. Я его понимаю. У нас тоже дети подрастают. И уже сейчас душа болит, как оно будет, что из этого выйдет. Плохо, конечно…

— Это потом, — остановил его кречетоглазый. — Значит, он говорил, что советский интернат — это плохо?

— Он не говорил «советский». Он просто говорил — интернат. В Кумбеле наш интернат. Это я говорю «плохо».

— Ну, это неважно. Кумбель в Советском Союзе.

— Как неважно! — вышел из себя Едигей, чувствуя, как тот запутывает его. — Зачем приписывать то, чего человек не говорил? Я тоже так думаю. Жил бы я в другом месте, а не на разъезде, ни за что не послал бы своих детей ни в какой интернат. Вот так, и я так думаю. Что ж, выходит?..

— Думай, думай! — проговорил кречетоглазый, приостанавливая разговор. И, помолчав, продолжал: — Та-ак, стало быть, сделаем выводы. Значит, он против коллективного воспитания, не так ли?

— Ничего он не против! — не утерпел Едигей. — Зачем напраслину подводить! Как так можно?

— Не надо, не надо, прекрати, — отмахнулся

кречетоглазый, не считая нужным вдаваться в обьяснения. — А теперь скажи мне, что это за тетрадь под названием «Птица Доненбай»? Куттыбаев утверждает, что записал ее со слов Казангапа и с твоих отчасти. Так ли это?

— Так точно, — оживился Едигей. — Это тут, в сарозеках, была такая история, легенда, значит. Недалеко отсюда кладбище найманское стоит, когда-то оно было найманское, а теперь общее, называется Ана-Бейит, там была похоронена Найман-Ана, убитая сыном своим, манкуртом…

— Ну, достаточно, это мы почитаем, посмотрим, что там кроется за этой птицей, — сказал кречетоглазый и стал перелистывать тетрадь, опять же размышляя вслух и выражая тем свое отношение: — Птица Доненбай, хм, ничего лучшего и не придумаешь. Птица с человеческим именем. Тоже мне писатель нашелся. Новый Мухтар Ауэзов объявился. Подумаешь, писатель феодальной старины. Птица Доненбай, хм. Думает, не разберемся… А этот тут писаниной занялся втихомолку, для детишек, видишь ли. А это что? Тоже, по-твоему, для детишек? — Кречетоглазый поднес к лицу Едигея еще одну тетрадь в клеенчатой обложке.

— А что это? — не понял Едигей.

— Что? Да ты должен знать. Вот озаглавлена: «Обращение Раймалы-аги к брату Абдульхану».

— Ну верно, это тоже легенда, — начал Едигей. — Это быль. Старые люди знают эту историю…

— Не беспокойся, я тоже знаю, — перебил его кречетоглазый. — Слышал краем уха. Старый, выживший из ума старик влюбляется в молодую, девятнадцатилетнюю девицу. Что ж тут хорошего? Этот Куттыбаев не только враждебный тип, он еще и морально извращенный человек, выходит. Ишь как старался, подробно записал весь этот маразм.

Едигей покраснел. Не от стыда. Гневом переполнилась его душа, ибо большей несправедливости по отношению к Абуталипу быть не могло. И он сказал, едва сдерживая себя:

— Ты вот что, не знаю, какой ты там начальник, но в этом ты его не задевай. Дай бог каждому быть таким отцом и мужем, и любой здесь тебе скажет, какой он есть человек. Нас тут по пальцам перечесть, и мы все знаем друг друга.

— Ладно, ладно, успокойся, — ответил кречетоглазый. — Затуманил он вам тут мозги. Враг всегда прикидывается. А мы его разоблачим. Все, можешь быть свободным.

Едигей встал. Замялся, надевая шапку.

— Так что, как будет с ним? Как теперь? Только из-за этих писаний сажать человека, что ли?

Кречетоглазый резко привстал из-за стола.

— Слушай, я тебе еще раз повторяю: это не твое дело! За что преследовать врага, как с ним обходиться, к какому наказанию привлечь его — это мы знаем! Пусть твоя голова не болит. Знай свою дорожку. Иди!

В тот же день поздно вечером на разъезде Боранлы-Буранный еще раз остановился пассажирский поезд. Только теперь поезд шел в обратную сторону. И тоже стоял недолго. Минуты три.

Ожидая впотьмах его подхода, у первого пути стояли те трое в хромовых сапогах, что забирали с собой Абуталипа Куттыбаева, в стороне от них, отгороженные их непроницаемыми спинами, заслоняющими Абуталипа, стояли боранлинцы — Зарипа с детишками, Едигей и Укубала да начальник разъезда Абилов, все сновавший взад-вперед и суетившийся мелочно и ничтожно, ибо поезд опаздывал против расписания на полчаса. Но он-то тут был при чем? Стоял бы уж себе спокойно. А Казангап, тоже прошедший через допрос по поводу злополучных легенд, обнаруженных

у Абуталипа, находился в тот час на стрелке. Это ему предстояло собственноручно направить поезд на тот путь, по которому должны были увезти Абуталипа далеко от сарозеков. Букей оставалась дома с едигеевскими девочками.

Те трое в сапогах, с отчужденно поднятыми от ветра воротниками, отделяя Абуталипа спинами, напряженно молчали. Боранлинцы, расстающиеся с ним, тоже молчали.

Ветер гнал поземку с шорохом и едва различимым посвистом. Похоже, что метель собиралась. Набухала, напрягалась стылая мгла в непроглядных сарозекских небесах. Дико, уныло, пусто просвечивалась с трудом луна блеклым, одиноким пятном. Мороз жег щеки.

Зарипа неслышно плакала, держа в руках узелок с едой и одеждой, который она собиралась передать мужу. Клубы пара изо рта выдавали тяжелые вздохи Укубалы. Она прятала в подол шубы Даула. Даул, видимо, что-то предчувствовал, он тревожно молчал, прижавшись к тете Укубале. Но тяжелее всех приходилось с Эрмеком, которого, заслоняя собой от ветра, держал на руках Едигей. Этот малыш ничего не подозревал.

— Папика, папика! — звал он отца. — Иди сюда, к нам. Мы тоже поедем с тобой!

Абуталип вздрагивал при его голосе, невольно порывался обернуться и что-то ответить ребенку, но ему не позволяли оглядываться. Один из троих не выдержал:

— Не стойте здесь! Слышите? Идите отсюда, потом подойдете.

Пришлось отступить подальше.

Но вот показались издали огни паровоза, и все зашевелились, задвигались на месте. Зарипа не удержалась, всхлипнула громче. И вместе с ней заплакала Укубала. Поезд нес с собой разлуку. Пробивая лобовым светом толщу морозной летучей мглы в воздухе, он грозно надвигался, вырастая из клубов тумана темной грохочущей массой. С его приближением все выше над землей поднимались пылающие фары паровоза, все различимей крутилась в полосе света мятущаяся поземка между рельсами, все слышней и тревожней доносился натруженный шум кривошипов и поршней. Вот уже видны стали очертания поезда.

— Папика, папика! Смотри, поезд идет! — кричал Эрмек и замолкал, удивленный тем, что отец не откликается. И снова пытался обратить его внимание: — Папика, папика!

Суетившийся возле начальник разъезда Аби-

лов подошел к тем троим:

— Почтовый вагон будет в голове состава. Прошу, пройдите, пожалуйста, вперед. Вот туда.

Все двинулись в указанную им сторону довольно быстрым шагом, поезд уже нагонял. Впереди не оглядываясь шел кречетоглазый с портфелем, за ним, сопровождая Абуталипа, двое его широкоплечих помощников, и на некотором расстоянии от них поспешали следом Зарипа, за ней Укубала, ведя за руку Даула. Едигей шел сбоку и чуть позади с Эрмеком на руках. Он не мог позволить себе разрыдаться при женщинах и детях. И пока они шли, боролся с собой, пытался совладать с тяжелым, застрявшим в горле комком.

— Ты умный мальчик, Эрмек. Ты умный, да? Ты умный, ты не будешь плакать, хорошо? — бессвязно бормотал он, прижимая к себе малыша.

А поезд тем временем, замедляя ход, подкатывал к остановке. Мальчик на руках Едигея испуганно вздрогнул, когда паровоз, равняясь с ними и еще продвигаясь несколько вперед, с резким шумом сбросил пар и раздался пронзительный свисток кондуктора.

— Не бойся, не бойся, — сказал Едигей. — Ничего не бойся, когда я с тобой. Я всегда буду с тобой.

Поезд остановился с долгим, тяжким скреже-

том, закуржавелые от изморози и снежной пыли, подслеповатые от наледи на стеклах вагоны застыли на месте. И стало тихо. Но паровоз тут же с шипением спустил пар, готовясь снова тронуться в путь. Почтовый вагон был следующим после багажного от паровоза. Окна почтового вагона были зарешечены, а двустворчатые двери располагались посередине. Двери открылись изнутри. Выглянули мужчина и женщина в форменных почтовых фуражках, в ватных штанах и телогрейках. Женщина с фонарем была, видимо, старшей. Она была грузная и широкогрудая.

— Это вы? — сказала она, держа фонарь у головы так, чтобы всех осветить. — Ждем вас. Место готово.

Первым поднялся кречетоглазый с большим портфелем.

— Ну давайте, давайте, не задерживайте! — заторопили сразу те двое.

— Я скоро вернусь! Это какое-то недоразумение! — торопливо говорил Абуталип. — Скоро вернусь, ждите!

Укубала не вытерпела. Громко зарыдала, когда Абуталип стал прощаться с детьми. Он их изо всех сил прижимал к себе, целовал и что-то говорил им, испуганным и ничего не понимающим.

А паровоз был уже под парами. Все это происходило при свете ручного фонаря. И тут раздался опять бегущий вдоль состава, как электричество, пронзительный, свербящий душу свисток.

— Ну все, давай-давай, садись! — потащили те двое Абуталипа к ступеням вагона.

Едигей и Абуталип успели напоследок крепко обняться и замерли на секунду, понимая все умом, сердцем, всем существом своим, прижимаясь друг к другу мокрыми щетинистыми щеками.

— Рассказывай им про море! — шепнул Абуталип.

То были его последние слова. Едигей понял. Отец просил рассказывать сыновьям про Аральское море.

— Ну хватит тут, давай, а ну давай, садись давай! — растолкали их.

Подпирая сзади плечами, те двое втолкнули Абуталипа в вагон. И тут только дошла до ребят страшная суть расставания. Они заплакали в голос, закричали:

— Папика! Папа! Папика! Папа!

И рванулся Едигей с Эрмеком на руках к вагону.

— Ты куда? Ты куда? Бог с тобой! — яростно отталкивала его в грудь женщина с фонарем,

заслоняя тяжелыми плечами проход к дверям.

Но никто не понимал в ту минуту, что Едигей готов был, если бы на то пошло, сам уехать вместо Абуталипа, чтобы по дороге придушить кречетоглазого собственными руками, так стало ему невыносимо больно, когда закричали ребята.

— Не стойте здесь! Уходите отсюда, уходите! — орала женщина с фонарем. И пар из ее крепко прокуренного рта ударил луковым духом в лицо Едигея.

Зарипа вспомнила про узелок.

— Нате, передайте, это еда! — кинула она узелок в вагон.

И двери почтового вагона захлопнулись. Все смолкло. Паровоз дал сигнал и тронулся с места. Он пошел, скрипуче раскручивая колеса, медленно набирая ход по морозу.

Боранлинцы невольно потянулись за отходящим поездом, идя рядом с наглухо закрытым вагоном. Первой опомнилась Укубала. Она схватила Зарипу, прижала ее к груди, и не отпускала.

— Даул, не уходи! Стой, стой здесь! Держи маму за руку! — громко велела она, пересиливая перестук все убыстряющихся, пробегающих мимо колес.

А Едигей с Эрмеком на руках еще пробежал

по ходу поезда и, лишь когда промелькнул последний вагон, остановился. Поезд ушел, унося с собой утихающий шум движения и рдеющие угасающие огни… Послышался последний протяжный гудок…

Едигей повернул назад. И долго не мог успокоить плачущего мальчика…

Уже дома, сидя как оглушенный у печи, он вспомнил среди ночи об Абилове. Едигей тихо поднялся, стал одеваться. Укубала сразу догадалась.

— Ты куда? — схватила она мужа. — Не тронь его, пальцем даже не смей трогать! У него жена беременная. Да и не имеешь права. Как докажешь?

— Не беспокойся, — спокойно ответил Едигей. — Я его не трону, но он должен знать, что ему лучше перебираться в другое место. Я тебе обещаю — даже волоска не упадет с его головы. Поверь мне! — он выдернул руку и вышел из дома.

Окна Абиловых еще светились. Значит, не спали.

Жестко скрипя снегом по тропинке, Едигей подошел к холодным дверям и громко постучал. Дверь открыл Абилов.

— А, Едике, заходи, заходи, — испуганно проговорил он и, бледнея, попятился назад.

Едигей молча вошел вместе с клубами морозного пара. Остановился на пороге, прикрыл за собой дверь.

— Ты зачем осиротил этих несчастных? — сказал он, стараясь быть как можно сдержанней.

Абилов упал на колени и буквально пополз, хватаясь за полы Едигеева полушубка.

— Ей-богу, не я, Едике! Вот чтобы жене моей не разродиться! — страшно поклялся он, оборачиваясь к замершей в страхе беременной жене, и заговорил, торопясь и сбиваясь: — Ей-богу, не я, Едике. Как я мог! Это тот самый ревизор! Вспомни. Это он все допытывался да расспрашивал, что, мол, он пишет и зачем пишет. Это он, тот ревизор. Как я мог! Вот чтобы ей не разродиться! Да я давеча у поезда не знал, куда себя деть, готов был провалиться, чтобы не видеть! Этот ревизор все в душу лез с разговорами и все расспрашивал обо всем, откуда мне было знать… Да если бы я знал…

— Ну ладно, — прервал его Едигей. — Встань, поговорим как люди. Вот при жене твоей. Пусть благополучно разрешится. Не об этом сейчас речь. Даже если ты и не виноват. Но ведь тебе все

равно, где жить. А нам здесь оставаться, может, до самой смерти. Так ты подумай. Наверно, стоит тебе со временем перебраться на другую работу. Это мой совет. Вот и все. И больше к этому разговору не вернемся. Только это и хотел сказать и больше ничего.

С тем Едигей вышел, закрыв за собой дверь.

IX

На Тихом океане, южнее Алеутов было далеко за полдень. Все так же штормило вполсилы, все так же по всему видимому пространству катились вскипающими грядами волны одна вслед за другой, являя собой необозримое движение водной стихии от горизонта к горизонту. Авианосец «Конвенция» слегка покачивался на волнах. Он находился на прежнем месте, на строго одинаковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и Владивостоком. Все службы судна международной научной программы находились в напряжении, в полной готовности к действиям.

К этому времени на борту авианосца завершалось экстренное заседание особоуполномоченных комиссий по расследованию чрезвычайного положения, возникшего в результате открытия внеземной цивилизации в системе светила Держатель. Самовольно отбывшие вместе с инопланетянами паритет-космонавты 2–1 и 1–2 все еще находились на планете Лесная Грудь, трижды предупрежденные Общенупром через

радиосвязь орбитальной станции «Паритет» — ни в коем случае не предпринимать никаких действий вплоть до особых указаний Общенупра.

Эти категорические требования Общенупра отражали в действительности не только смятение умов, но и ту исключительно сложную, неудержимо обостряющуюся ситуацию, тот накал разногласий в отношениях сторон, которые грозили полным разрывом сотрудничества и — более того — открытой конфронтацией. То, что недавно сближало стороны в интересах интегрированной научно-технической мощи ведущих держав, — программа «Демиург» сама собой отошла на второй план и сразу утратила свое былое значение перед лицом суперпроблемы, неожиданно возникшей с обнаружением внеземной цивилизации. Члены комиссий отчетливо понимали одно: что это небывалое, ни с чем не сопоставимое открытие подвергало кардинальному испытанию сами основы современного мирового сообщества, все то, что проповедовалось, культивировалось, вырабатывалось в сознании поколений из века в век, — всю совокупность правил его существования. Мог ли кто отважиться на такой рискованный шаг, не говоря уж о соображениях тотальной безопасности

земного мира?

И тут снова, как всегда в кризисные моменты истории, обнажились со всей силой коренные противоречия двух различных общественно-политических систем на Земле.

Обсуждение вопроса переросло в жаркие дебаты. Разность взглядов, разность подходов все больше принимала характер непримиримых позиций. Дело стремительно катилось к столкновению, к взаимным угрозам, к таким конфликтам, которые, выйдя из-под контроля, готовы были неминуемо вылиться в мировую войну Каждая сторона поэтому пыталась воздержаться от крайностей перед общей опасностью подобного рода развития событий, но еще большим сдерживающим фактором служила нежелательность, а точнее говоря, угроза взрыва земного сознания, что могло стихийно произойти, если бы весть о внеземной цивилизации стала фактом общей гласности… Никто не мог поручиться за последствия такого исхода дела…

И разум взял свое, стороны пришли к компромиссу — вынужденному и опять же на строго сбалансированной основе. В связи с этим на орбитальную станцию «Паритет» передали кодированную радиограмму Обценупра следующего

содержания:

«Космонавтам-контролерам 1–2, 2–1. Вам вменяется в обязанность незамедлительно включиться в радиоконтакт с помощью бортовых систем „Паритета“ с паритет-космонавтами 1–2, 2–1, находящимися в засолнечной Галактике, в так называемой системе светила „Держатель“, на планете Лесная Грудь. Необходимо срочно поставить их в известность, что на основании заключений двусторонних комиссий, изучивших информацию о внеземной цивилизации, открытой паритет-космонавтами 1–2 и 2–1, Обценупр принимает решение, не подлежащее пересмотру:

а) не допускать возвращения бывших паритет-космонавтов 1–2 и 2–1 на орбитальную станцию «Паритет» и тем самым на Землю как лиц, нежелательных для земной цивилизации; б) объявить обитателям планеты, именуемой Лесная Грудь, о нашем отказе вступать с ними в какие бы то ни было виды контактов как несовместимых с историческим опытом, насущными интересами и особенностями нынешнего развития человеческого общества на Земле; в) предупредить бывших паритет-космонавтов 1–2 и 2–1, а также находящихся с ними в контакте инопланетян,

чтобы они не пытались установить связь с землянами ни тем более проникать в околоземные сферы, как это имело место в случае посещения инопланетянами орбитальной станции «Паритет» на орбите «Трамплин»; г) в целях изоляции околоземного космического пространства от возможного вторжения летательных аппаратов инопланетного происхождения Общенупр объявляет установление в срочном порядке Чрезвычайного транскосмического режима под названием операция «Обруч», запрограммировав серию барражирующих по заданным орбитам боевых ракет-роботов, рассчитанных на уничтожение ядерно-лазерным излучением любых предметов, приблизившихся в космосе к земному шару; д) довести до сведения бывших паритет-космонавтов, самовольно вступивших в контакт с инопла-нетными существами, что в целях безопасности, сохранения сложившейся стабильности геополитической структуры землян исключается какая-либо возможность связи с ними. А потом будут предприняты все меры строжайшего засекречивания события, имевшего место, и меры по недопущению возобновления контактов. С этой целью орбита станции «Паритет» будет немедленно изменена, а каналы

радиосвязи станции будут заново закодированы; е) еще раз предупредить инопланетян об опасности приближения к зонам «Обруча» вокруг земного шара.

Общенупр. Борт авианосца «Конвенция».

Прибегая к этим оградительным мерам, Общенупр вынужден был заморозить на неопределенное время всю программу «Демиург» по освоению планеты Икс. Орбитальную станцию «Паритет» предстояло перевести на другие параметры вращения и использовать ее для текущих космических наблюдений. Кооперативный научно-исследовательский авианосец «Конвенция» было решено передать на сохранение нейтральной Финляндии. После запуска в дальний космос системы «Обруч» всем паритетным службам, всем научным и административным работникам, всей подсобной обслуге предстояло расформироваться при строжайшей подписке не разглашать до самой смерти причины свертывания деятельности Общепупра.

Для широкой общественности предполагалось объявить, что работы по программе «Демиург» приостанавливаются на неопределенное время в связи с возникшей необходимостью капитальных изысканий и коррекций на планете Икс.

Все было тщательно продумано. И всему этому предстояло быть сразу же после экстренного вывода «Обруча» вокруг земного шара.

Перед этим, непосредственно после окончания заседания комиссий, все документы, все шифровки, вся информация бывших паритет-космонавтов, все протоколы, все пленки и бумаги, имевшие какое-либо отношение к этой печальной истории, были уничтожены.

На Тихом океане, южнее Алеутов, время клонилось к концу дня. Погода стояла все такая же сравнительно сносная. Но все-таки волнение океана постепенно усиливалось. И уже слышен был рокот вскипающих повсюду волн.

Служба авиакрыла на авианосце напряженно ждала момента выхода членов особоуполномоченных комиссий к самолетам по завершении заседания. Но вот они вышли все. Распрощались. Одни пошли на посадку к одному самолету, другие — к другому.

Взлет прошел отлично, несмотря на качку. Один из лайнеров взял курс на Сан-Франциско, другой в противоположную сторону — на Владивосток.

Омываемая вышними ветрами, плыла Земля по вечным кругам своим. Плыла Земля… То была ма-

ленькая песчинка в неизмеримой бесконечности Вселенной. Таких песчинок в мире было великое множество. Но только на ней, на планете Земля, жили-были люди. Жили как могли и как умели и иногда, обуреваемые любознательностью, пытались выяснить для себя, нет ли еще где в других местах подобных им существ. Спорили, строили гипотезы, высаживались на Лупу, засылали автоматические устройства на другие небесные тела, но всякий раз убеждались с горечью, что нигде в окрестностях Солнечной системы нет никого и ничего похожего на них, как и вообще никакой жизни. Потом они об этом забывали, не до того было, не так-то просто удавалось им жить и ладить между собой, да и хлеб насущный добывать стоило трудов… Многие вообще считали, что не их это дело. И плыла Земля сама по себе…

Весь тот январь был очень морозным и мглистым. И откуда столько холода нагоняло в сарозеки! Поезда шли со смерзшимися буксами, добела прокаленные ледяной стужей. Странно было видеть — черные нефтеналивные цистерны останавливались на разъезде сплошь белой, завьюженной, в изморози чередой. А стронуться с места поездам тоже было нелегко. Сцепленные парами паровозы как бы в два плеча долго сдер-

гивали толчками, буквально отрывали с рельсов пристывшие колеса. И эти усилия паровозов, отдиравших вагоны, слышались в резком воздухе далеко вокруг лязгающим железным громыханием. По ночам дети боранлинцев испуганно просыпались от этого грохота.

А тут еще и заносы начались на путях. Одно к другому. Ветры ошалели. В сарозеках им был полный простор, не угадаешь, с какой стороны ударит пурга. И казалось боранлинцам, ветер так и норовил наметать сугробы именно на железной дороге. Только и высматривал любую продушину, чтобы навалиться, запуржить, завалить пути тяжким своем.

Едигей, Казангап и еще трое путевых рабочих только и знали, что из конца в конец перегона расчищать пути то там, то тут, то снова в прежнем месте. Выручали верблюжьи волокуши. Весь тяжелый верхний слой заноса вывозили на обочину дороги волокушей, а остальное приходилось довершать вручную. Едигей не жалел Каранара и был доволен возможностью измотать его, усмирить в нем буйную силу, впряг в пару с другим, под стать ему по тяге верблюдом и гонял их бичом, вывозя сугробы поперечной доской с противовесом позади, на котором сам стоял,

придавливая волокушу собственной тяжестью. Других приспособлений тогда не было. Поговаривали, что вышли уже с заводов специальные снегоочистители, локомотивы, сдвигающие сугробы по сторонам. Сулили в скором времени прислать такие машины, но пока обещания оставались на словах.

Если летом месяца два припекало до умопомрачения, то теперь вдохнуть морозный воздух было страшно — казалось, легкие разорвутся. И все равно поезда шли и дело требовалось делать. Едигей оброс щетиной, впервые в ту зиму начавшей поблескивать кое-где сединками, глаза вспухали от недосыпания, лицо — в зеркало глянуть отвратно: как чугун стало. Из полушубка не вылезал, а поверх еще постоянно плащ брезентовый носил с капюшоном. На ногах валенки.

Но чем бы ни занимался Едигей, как бы трудно ни приходилось, из головы не шла история Абуталипа Куттыбаева. Больно аукнулась она в Едигее. Часто думали-гадали они с Казангапом — как же все это приключилось и чем кончится. Казангап все больше молчал, хмурясь, напряженно думал о чем-то своем. А однажды сказал:

— Всегда так бывало. Пока еще разберутся… В давние дни не зря говорили: «Хан не бог. Он не

всегда знает, что делают те, что при нем, а те, что при нем, не знают о тех, кто на базарах поборы собирает». Всегда было так.

— Да что ты, слушай! Тоже мне мудрец, — недовольно высмеял его Едигей. Когда им дали по шапке, ханам всяким! Да разве дело в этом!

— А в чем? — резонно спросил Казангап.

— В чем, в чем! — раздраженно проворчал Едигей, но так и не ответил. И ходил с этим застрявшим в мозгу вопросом, не находя ответа.

Как известно, беда не приходит одна. Простыл здорово старшенький Куттыбаевых — Даул. Свалился в жару и бреду мальчишка, кашель мучил, горло болело. Зарипа говорила, что у него ангина. Лечила его всякими таблетками. Но при детях находиться неотлучно она не могла: работала стрелочницей, жить надо было. То в ночь, то днем выходила на дежурство. Пришлось Укубале взять на себя эти заботы. Своих двое да ее двое, с четырьмя управлялась, понимая, в каком безвыходном положении оказалась семья Абуталипа. И Едигей как мог помогал. Рано утром приносил уголь к ним в барак из сарайчика и, если успевал, растапливал печь. Каменный уголь растопить тоже сноровку надо иметь. Засыпал сразу ведра полтора угля, чтобы целый день тепло держалось

для детей. Воду из цистерны на тупиковой линии тоже сам приносил, дрова колол на растопку. Что стоило ему сделать то, сделать это, дров наколоть, воды принести и прочее… Самое трудное заключалось в другом. Невозможно, мучительно, невыносимо было смотреть в глаза Абуталиповым ребятам и отвечать на их вопросы. Старший лежал больной, он был по характеру сдержанным малым, но младший, Эрмек, тот в мать, живой, ласковый, бесконечно чувствительный и ранимый, с ним трудно приходилось. Когда Едигей заносил поутру уголь и растапливал печь, то старался не разбудить ребят. Однако редко когда удавалось уйти незамеченным. Кудрявый черноголовый Эрмек сразу просыпался. И первый его вопрос, как только открывал глаза, был:

— Дядя Едигей, а папика приедет сегодня?

Малыш бежал к нему раздетый, босиком и с неистребимой надеждой в глазах, что стоит Едигею сказать «да» — и отец непременно вернется и снова будет с ними дома. Едигей сгребал его в охапку, худенького, теплого, и снова укладывал в постель. Разговаривал как со взрослым:

— Сегодня не знаю, Эрмек, приедет или не приедет твой папика, но со станции нам должны сообщить по связи, каким поездом он вернется.

Ведь у нас пассажирские поезда не останавливаются, сам знаешь. Только по приказу самого главного диспетчера дороги. По-моему, на днях должны передать. И тогда мы с тобой и с Даулом, вот если он поправится к тому времени, выйдем к поезду и встретим.

— Мы скажем: папика, а вот и мы!

— Ну конечно! Мы так и скажем, — бодрым тоном поддерживал Едигей.

Но сообразительного малыша не так-то просто было провести.

— Дядя Едигей, а давай, как тогда, сядем на товарный поезд и поедем все к этому самому главному диспетчеру. И скажем, чтобы он остановил у нас поезд, на котором приедет папика.

Приходилось выкручиваться.

— Но ведь тогда было лето, тепло. А сейчас на товарном поезде как поедешь? Холодно очень. Ветрище. Вон видишь, как окна замерзли. Мы туда и не доедем, застынем, как ледышки. Нет, это очень опасно.

Мальчик примолкал грустно.

— Ты полежи пока, а я посмотрю Даула, — находил причину Едигей, подходил к постели больного, клал тяжелую узловатую руку на горячий лоб ребенка… Тот с трудом приоткрывал

глаза, слабо улыбался спекшимися от жара губами. Жар все еще держался. — Ты не раскрывайся. Ты потный. Слышишь, Даул? Еще больше простынешь. А ты, Эрмек, подноси ему тазик, когда он помочиться захочет. Слышишь? Чтобы он не вставал. Скоро ваша мама придет с дежурства. А тетя Укубала придет сейчас, покормит вас. А когда Даул выздоровеет, будете прибегать к нам, играть с Сауле и Шарапат. Мне на работу пора, а то ведь снег какой большой, поезда остановятся, — заговаривал Едигей ребят перед уходом.

Но Эрмек был неумолим.

— Дядя Едигей, — говорил он ему, стоящему уже на пороге. — Если снегу будет очень много, когда папикин поезд остановится, я тоже пойду снег чистить. У меня есть лопатка.

Едигей выходил от них с тяжелым, щемящим сердцем. Саднило от обиды, беспомощности, жалости. Зол он был тогда на весь свет. И вымещал свою злость на снеге, ветре, заносах, на верблюдах, которых не щадил на работе. Работал как зверь, точно бы один мог остановить всю сарозекскую пургу…

А дни шли как капли, падающие с неотвратимой размеренностью одна за другой. Вот и январь миновал, и холода начали слегка сдавать. От Абу-

талипа Куттыбаева не было никаких известий. Терялись в догадках Едигей и Казангап — по-всякому думали, судили мужики. И тому и другому казалось, что должны его отпустить вскорости, что уж там такого страшного — писал что-то для себя, не для кого-нибудь. Надежда была у них такая, и эту надежду внушали они как могли Зарипе, чтобы она держалась, не падала духом. Она и сама понимала, что ради детей должна быть каменной. Она и впрямь стала каменной. Замкнулась, губ не размыкала, только глаза тревожно поблескивали. Кто знает, на сколько хватило бы ее выдержки.

Буранный Едигей тем часом был свободен от работы. Решил пройтись в степь взглянуть, как гурт верблюжий пасется и, главное, как ведет себя Каранар. Не покалечил ли кого в стаде? Перебесился ли, пора уж. Пошел на лыжах, это было неподалеку. Вернулся вовремя. И собирался доложить Казангапу, что, мол, все в порядке. Пасутся животные в Лисохвостовой лощине, снегу там почти нет, ветром продувает, потому подножный корм открыт, беспокоиться пока нечего. Но решил Едигей зайти домой лыжи оставить. Старшая дочка Сауле выглянула из двери испуганная:

— Папа, мама плачет! — И скрылась. Едигей

бросил лыжи, встревоженный, поспешил в дом. Укубала так рыдала, что у Едигея перехватило дыхание.

— Что? Что случилось?

— Будь проклято все в этом проклятом мире! — запричитала, захлебываясь, Укубала.

Никогда не видел Едигей жену свою в таком состоянии. Укубала была крепкой, трезвой женщиной.

— Это ты, ты во всем виноват!

— В чем? В чем я виноват? — поразился Едигей.

— Наговорил с целый короб несчастным детишкам. А давеча, вот только что, останавливался пассажирский, встречный у него был впереди. Остановился пропустить его. И откуда только они сошлись на нашем разъезде? А ребята Абуталиповы оба как увидели, что остановился пассажирский поезд, да как кинутся с криком: «Папа! Папика! Папика приехал!» И к поезду! Я за ними. А они бегут от вагона к вагону и криком исходят: «Папа, папика! Где наш папика?» Думала, под поезд попадут. Ни одна дверь не открылась. А они бегут. Длиннющий глухой состав. А они бегут! И пока догнала я, пока ухватила этого, младшего, да пока второго схватила за руку, поезд тронулся

и пошел. А они вырываются: «Там папика наш, не успел сойти с поезда!» — и такой рев подняли. Сердце мое зашлось, думала, с ума сойду, так кричали и плакали они. С Эрмеком плохо! Иди успокой ребенка! Иди! Это ты сказал им, что отец вернется, когда остановится пассажирский поезд. Если бы ты видел, что с ними было, когда поезд ушел, а отец не появился! Если бы ты видел! И зачем только так устроено в жизни, зачем так страшно привязывается отец к дитю, а дите к отцу? Зачем такие страдания?

Едигей шел к ним как на казнь. И только об одном молил бога: чтобы снизошел он и простил ему перед казнью этот невольный обман малых доверчивых душ. Ведь он не хотел им зла. И что теперь сказать, как держать ответ?

При его появлении Эрмек и Даул, заплаканные и опухшие до неузнаваемости, с новой силой закричали, старались объяснить ему наперебой, что поезд остановился на разъезде, а отец не успел сойти и что пусть он, дядя Едигей, остановит поезд...

— Сагындым[17], папикамды! Сагындым, сагындым! — кричал Эрмек, умоляя его всем своим

---

[17] Примечания: 17

Сагындым— истосковался, измучился в тоске.

видом, доверием, надеждой, горем.

— Сейчас я все узнаю. Тише, тише, не плачьте, — пытался Едигей как-то вразумить, как-то успокоить зашедшихся в реве ребят. И еще труднее было самому выстоять, не поддаться, не измениться в лице, чтобы дети не увидели в нем слабого, беспомощного человека. — Вот сейчас мы пойдем, мы пойдем! — «Куда пойдем? Куда? К кому пойдем? Что делать? Как быть?» — думал он при этом. — Вот мы сейчас выйдем и там подумаем, поговорим, — обещал Едигей что-то неопределенное, бормотал что-то бессвязное.

Он подошел к Зарипе. Она лежала на кровати пластом, уткнув лицо в подушку.

— Зарипа, Зарипа! — тронул ее за плечо Едигей.

Но она даже не подняла головы.

— Мы пойдем сейчас походим, побродим немного вокруг, а потом заглянем к нам, — сказал он ей. — Я пойду с ребятами.

Это было единственное, что он мог придумать, чтобы как-то успокоить, отвлечь их и самому собраться с мыслями. Эрмека он посадил к себе на спину, а Даула взял за руку. И пошли они бесцельно вдоль железной дороги. Никогда еще не испытывал Буранный Едигей такого сострадания

к чужому несчастью. Эрмек сидел у него на спине, все еще всхлипывая, влажно и горестно дыша ему в затылок. Маленькое, изболевшееся в тоске человеческое существо так доверчиво приникло к нему, так доверчиво ухватилось за его плечи, а второе такое же существо так доверчиво держалось за его руку, что Едигею было хоть криком кричать от боли и жалости к ним.

Так шли они вдоль железной дороги среди пустынных сарозеков, и лишь поезда проходили, грохоча, то в одну, то в другую сторону… Приходили и уходили…

И опять вынужден был Едигей сказать детям неправду. Он сказал им, что они ошиблись. Этот поезд, который случайно остановился на их разъезде, шел в другую сторону, а их папика должен прибыть с другой стороны. Но вернется он, наверное, не так скоро. Оказывается, его послали на какое-то море матросом, и как только корабль приплывет из того далекого путешествия, он приедет домой. Надо пока подождать. По его понятиям, эта неправда должна была помочь им пока продержаться, пока неправда сбудется правдой. Едигей не сомневался, что Абуталип Куттыбаев вернется. Пройдет какое-то время, разберутся, и он вернется, ни одной секунды

не задержится, как только его освободят. Отец, так любящий детей своих, не промедлит ни секунды… И потому Едигей говорил неправду… Достаточно хорошо зная Абуталипа, Едигей лучше, чем кто-либо, представлял себе, каково этому человеку в разлуке с семьей. Кто-нибудь другой, возможно, не так остро, не так тяжело переживал бы временную отлучку, пусть и не по своей воле, но с надеждой, что скоро вернется домой. А для Абуталипа, Едигей в этом не сомневался, то было равносильно высшей мере наказания. И боялся Едигей за него. Выдержит ли, дождется ли, пока будут вершиться суд да дело…

Зарипа к тому времени отправила уже несколько писем в соответствующие учреждения с запросом о муже и просила сообщить ей, может ли она иметь с ним свидание. Пока никакого ответа не было. Казангап и Едигей тоже голову ломали. Мужики, однако, склонны были объяснить это тем, что разъезд Боранлы-Буранный не имел прямой почтовой связи. Письма необходимо было передавать через кого-то или отвозить самому на станцию Кумбель. Поступления почты тоже шли через Кумбель и тоже путем добрых услуг… А такой способ связи, как известно, не всегда самый быстрый. Так оно и случилось однажды…

* * *

Поезда в этих краях шли с запада на восток и с востока на запад[30]*…*

Пробиваясь сквозь белую летучую мглу, беспрестанно вздымаемую ветрами с холодных сарозекских равнин, машинистам проходящих поездов в те метельные февральские ночи стоило немало усилий разглядеть среди снежных заносов в степи полустанок Боранлы-Буранный. Объятые клубящимися вихрями, ночные поезда приходили и уходили во мгле, как в беспокойном, тревожном сновидении…

В такие ночи, казалось, мир зарождался заново из первозданного хаоса — сокрытые стужей собственного дыхания, сарозекские степи походили на дымный океан, возникающий в кромешном борении тьмы и света…

И в том великом пустынном пространстве каждую ночь, не угасая до утра, светилось одно окошко на полустанке, точно там, за этим окном, горько маялась некая душа, точно там кто-то тяжко болел, не находя себе места, или страдал

---

[30] Примечания: 30

Новелла «Белое облако Чингизхана» (до следуещего подзаголовка — ***) впервые напечатана: Знамя. 1990. № 8

от жестокой бессонницы. То было окошко пристанционного барака, в котором жила семья Абуталипа Куттыбаева. Это они, его жена и дети, ждали его каждый день, не гася света на ночь, и среди ночи Зарипа несколько раз подрезала нагоравший фитиль в лампе. И всякий раз при заново разгоравшемся огне она невольно останавливала взгляд на спящих детях — двое черноголовых мальчишек спали, как пара щенят. И ее знобило под нательной рубашкой от холода, и, сомкнув руки на груди, сжимаясь в комок, страшилась она, глядя на них, боялась, что снится сыночкам отец и что они бегут во сне к отцу изо всех сил раскинув руки, плача и смеясь, бегут наперегонки, но так и не добегают…

И наяву они ждали отца с любым проходящим поездом, который, пусть на полминуты, притормаживал на их разъезде. Только остановится поезд, скрипя тормозами, а мальчишки уже тянут шеи у окна, готовые броситься навстречу. Но отец не объявлялся, дни шли, и никаких вестей о нем не поступало, точно остался он под внезапно рухнувшим обвалом в горах, и никто не знал, где и когда с ним это случилось.

И еще одно окно, но зарешеченное черным кованым железом, в другом конце земли, в

полуподвале алма-атинского следственного изолятора, тоже не гасло в те ночи до утра. Вот уже целый месяц изводился Абуталип Куттыбаев от слепящей с потолка круглыми сутками многосильной электрической лампы. То было его проклятием. Он не знал, куда деваться, как защитить от сверлящего, режущего, как нож, электрического света свои изболевшиеся глаза, свою горемычную голову, чтобы хотя бы на секунду забыться, перестать думать, почему он здесь и что от него хотят. Как только он отворачивался ночью к стене, закрыв голову рубахой, немедленно в камеру врывался надзиратель, наблюдавший в глазок, сбрасывал его с нар, пинал ногами: «Не отворачивайся к стене, сволочь! Не закрывай голову, гад! Власовец!». И сколько он ни кричал, что он не власовец, никакого до этого дела им не было.

И снова лежал он, обратившись лицом к беспощадному электрическому свету, зажмурившись, прикрывая изболевшиеся воспаленные глаза, и мучительно жаждал очутиться во тьме, в беспросветной черноте, пусть в могиле, где глаза и мозг могли бы прекратить свое существование, и уж тогда никакой надзиратель и никакой следователь не властны были бы пытать его

невыносимой мукой — светом, лишением сна, избиениями.

Надзиратели менялись по сменам, но все, как один, были непреклонны — никто из них не помилосердствовал, никто не позволил себе не заметить, как отвернулся узник к стене, напротив, они только и ждали того, и каждый наносил удары с яростью и бранью. Хотя и понимал Абуталип Куттыбаев назначение и обязанности тюремного надзирателя, тем не менее в отчаянии спрашивал себя порой: «Отчего же они такие? Ведь с виду люди. Как можно носить в себе столько злобы? Ведь никому из них я не сделал никакого зла. Они не знали меня, я не знал их, но избивают, издеваются, словно из кровной мести. Почему? Откуда берутся такие люди? Как они становятся такими? За что они меня истязают? Как выдержать, как не свихнуться, как не расшибить себе голову о стену?! Потому что другого выхода нет».

Однажды он-таки не выдержал. Будто полыхнула в нем белая молния. Сам не понял, как схватился с надзирателем, пинавшим его. И они покатились по полу в яростной драке. «Я бы тебя на фронте давно пристрелил, как бешеную собаку!» — хрипел Абуталип, раздирая с треском ворот гимнастерки надзирателя, стискивая его

горло цепенеющими пальцами. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не подоспели из коридора еще двое стражей.

Пришел в себя Абуталип лишь на следующий день. Первое, что он увидел сквозь муть и боль, — ту же негаснущую лампу на потолке. Потом хлопотавшего над ним фельдшера.

— Лежи, теперь ты уже не отправишься на тот свет, — негромко сказал ему фельдшер, прикладывая примочки к пораненному лбу. — И не будь больше последним дураком. Тебя и сейчас могли бы прикончить за нападение на охрану, прибили бы, как собаку, и никакого за тебя ответа. Благодари Тансыкбаева — ему нужен не твой труп, а ты сам, живьем. Понял?

Абуталип тупо молчал. Ему было все равно, что с ним случится, как обернется его судьба. Способность души к страданию вернулась не сразу.

В те дни у него случались моменты затмения разума — утрата реальности, полуявь становились спасительной защитой. В такие мгновения Абуталип желал не прятаться, не избегать направленного света, а наоборот — он стремился навстречу тому неумолимому мучительному излучению, которое сводило его с ума, и ему казалось, что он витает в воздухе, приближаясь

к источнику боли и раздражения, превозмогая себя, чтобы одолеть силу непрерывно ослепляющего света, чтобы раствориться и исчезнуть в небытии.

Но и тогда в истерзанном сознании сохранялась связующая нить с тем, что осталось в былом, то была гнетущая, неотступная тоска, неотступный страх за семью, за детей.

Страдая невыносимо за них оставшихся в сарозеках, пытался Абуталип вершить суд над собой, разобраться в своей вине, пытался ответить себе — за что действительно следовало бы его наказать. И не находил ответа. Разве что за плен, за то, что оказался в немецком плену, как и тысячи других обреченных окруженцев. Но сколько можно за это карать? Война далеко позади. Давно все оплачено сполна — и кровью, и лагерями, уже не за горами время расходиться по могилам всем тем, кто был на войне, а обладающий безграничной властью все мстит, все не унимается. А иначе как понять происходящее? Не находя ответа, лелеял Абуталип мечту, что со дня на день станет ясно, что с ним произошло досадное недоразумение, и тогда, он, Абуталип Куттыбаев, будет готов забыть все обиды — пусть только побыстрее освободят и отправят побыстрее домой,

и помчится он, нет, полетит, как на крыльях, туда, к детям, к семье, в сарозеки, на разъезд Боранлы-Буранный, где его ждут не дождутся детишки Эрмек и Даул, жена Зарипа, что в той снежной степи сберегает детишек, как птица под крылом, у колотящегося сердца, и слезами, нескончаемыми мольбами пытается пронять, убедить, смягчить судьбу, вымолить милосердие, чтобы мужу вышло спасение…

Чтобы не заорать навзрыд с горя, чтобы не впасть в безумие, начинал Абуталип грезить, ища в том обманчивое успокоение — зримо представлял себе как он, оправданный за отсутствием вины, явится вдруг домой. Представлял себе, как соскочит с подножки попутного товарняка, на котором доберется домой, и как побежит к дому, а они — жена и дети — навстречу… Но проходили минуты иллюзий и, как с похмелья, возвращался он в реальность, впадал в уныние, и думалось ему подчас, что в «Сарозекской казни», в той легенде, которую он записал, страдания казнимых матери и отца, их прощание с младенцем — нечто вечное, касающееся теперь и его. Он тоже казним разлукой… А ведь только смерть имеет право разлучать родителей с детьми, и больше ничто и никто…

Тихо плакал Абуталип в такие горестные минуты, стыдясь себя, не зная, как унять слезы, увлажнявшие, точно накрапывающий дождь камни, его крепкие скулы. Ведь даже на войне он так не страдал, тогда он, бедовая голова, был сам по себе, а теперь он убеждался, что в, казалось бы, обыденнейшем явлении — в детях — заключен величайший смысл жизни, и в каждом конкретном случае, у каждого человека — свое счастье, счастье, что они есть, и трагедия, если остаться без них… Теперь он убеждался и в том, сколь много значила сама жизнь пред ее утратой, когда в последний час, в озарении последнего, жуткого света перед неизбежным уходом во тьму, настанет подведение итогов. И главный итог жизни — дети. Возможно, потому так и устроено в природе — жизнь родителей расходуется на то, чтобы вырастить свое продолжение. И отнять родителя от детей — значит лишить его возможности исполнить родовое предназначение, значит обречь его жизнь на пустой исход. И трудно было в такие минуты прозрения не впадать в отчаяние; растрогавшись, почти воочию представив себе сцену свидания, Абуталип осознавал несбыточность надежды и становился жертвой безысходности. С каждым днем тоска все глубже

завладевала его душой, сгибая и ослабляя волю. Отчаяние накапливалось в нем, как мокрый снег на крутом склоне горы, где вот-вот последует внезапный обвал…

Это-то и надо было следователю КГБ Тансыкбаеву, этого-то он и добивался методично и целеустремленно, раскручивая сатанински задуманное им, с одобрения вышестоящего начальства, дело бывшего военнопленного Абуталипа Куттыбаева о связях его с англо-югославскими спецслужбами и проведении им подрывной идеологической работы среди местного населения в отдаленных районах Казахстана. Такова была общая формулировка. Еще предстояла работа следствия по уточнению и квалификации некоторых деталей, еще предстояло полное признание Абуталипом Куттыбаевым состава преступления, но главное содержалось уже в самой формулировке обвинения чрезвычайной политической актуальности, свидетельствующего об исключительной бдительности и служебном рвении Тансыкбаева. И если для Тансыкбаева это дело было большой удачей в жизни, то для Абуталипа Куттыбаева то был капкан, круг обреченности, ибо при такой устрашающей формулировке исход мог быть только один — полное признание

инкриминируемых ему преступлений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Никакого иного исхода быть не могло. То был случай абсолютно предрешенный, само обвинение уже служило безусловным доказательством преступления.

И поэтому о конечном успехе своего предприятия Тансыкбаев мог не беспокоиться. Той зимой настал наконец звездный час его карьеры. Из-за незначительного служебного упущения он на несколько лет задержался в звании майора. Но теперь открывалась новая перспектива. Совсем не так часто удавалось добыть в глубинке нечто подобное делу Абуталипа Куттыбаева.

Вот уж повезло так повезло. Да, можно сказать, что в те февральские дни 1953 года история благоволила к Тансыкбаеву; казалось, история страны только для того и существовала, чтобы с готовностью служить его интересам. Не столько осознанно, сколько интуитивно, он ощущал эту добрую услугу истории, все усиливавшей первостепенную значимость его службы, а тем самым все более возвышавшей и его самого в его собственных глазах, и потому испытывал возбуждение и подъем духа. Глядя в зеркало, он удивлялся подчас — давно так молодо не сияли

его немигающие соколиные глаза. И он расправлял плечи, удовлетворенно напевал под нос на чистейшем русском языке: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…» Жена, разделявшая его ожидания, тоже была в хорошем настроении и приговаривала при случае: «Ничего, скоро и мы получим свое». И сын, старшеклассник, комсомольский активист, и тот, хотя, бывало, проявлял непослушание, когда касалось заветного, проникновенно спрашивал: «Папа, скоро с подполковником поздравлять?» На то были свои конкретные причины, пусть не касавшиеся Тансыкбаева впрямую и однако же…

Дело в том, что сравнительно недавно, около полугода тому назад, в Алма-Ате состоялся закрытый процесс: военный трибунал судил группу казахских буржуазных националистов. Эти враги трудового народа искоренялись беспощадно и навсегда. Двое получили высшую меру наказания — расстрел — за свои написанные на казахском языке научные труды, в которых идеализировалось проклятое патриархально-феодальное прошлое в ущерб новой действительности, двое научных сотрудников Института языка и литературы Академии наук — по двадцать пять лет каторги… Остальные — по десять… Но глав-

ное заключалось не в этом, а в том, что в связи с процессом из центра последовали крупные государственные поощрения спецсотрудникам, принимавшим непосредственное участие в изобличении и беспощадном искоренении буржуазных националистов. Правда, госпоощрения тоже носили закрытый характер, но это нисколько не умаляло их весомости. Досрочное присуждение очередных званий, награждение орденами и медалями, крупные денежные вознаграждения за образцовое выполнение заданий, благодарности в приказах и прочие знаки внимания очень даже украшали жизнь. И вселение особо отличившихся в новые квартиры было очень кстати. От всего этого нога крепла, голос мужал, каблук стучал уверенней.

Тансыкбаев не входил в ту группу повышенных в званиях и награжденных, но в торжествах коллег принимал активное участие. Почти каждый вечер они с женой Айкумис отправлялись в очередной «обмыв» новых званий, орденов, новоселий. Целая череда праздничных застолий началась еще в канун Нового года, и они были прекрасны, незабываемы. Слегка продрогшие после холодных, плохо освещенных алма-атинских улиц, гости с порога окунались в радушие

и тепло ожидавших в новых квартирах хозяев. И столько неподдельного сияния, оживления и гордости изливали встречавшие на пороге лица, глаза! Поистине, то были праздники избранных, заново познающих вкус счастья.

В ту пору, когда еще не забылись недавние нищета и голод военных лет, на окраинах государства особенно восторженно, до головокружения от удовольствия, воспринимался новый, рафинированный комфорт. Здесь, в провинции, только входили в моду дорогие марочные коньяки, хрустальные люстры и хрустальная посуда. С потолков нисходило граненое сияние трофейных люстр, на столах, покрытых белоснежными скатертями, мерцали трофейные немецкие сервизы, и все это захватывало, предрасполагало к благоговейному настроению, точно в этом заключался высший смысл бытия, точно ничего иного достойного внимания в мире не могло и быть.

Уже в прихожей витали запахи кухни, где готовилось, помимо прочего, непременное коронное блюдо — нежная, молодая конина, дедовская пища, унаследованная от кочевой жизни, причудливо источавшая и в новых стенах давнишние степные ароматы. И все собравшиеся чинно рассаживались, предвкушая

общую трапезу. Но смысл застолья заключался не только и не столько в еде, ибо, насытившись, человек начинает внутренне страдать от обилия кушаний перед ним, сколько в застольных высказываниях — в поздравлениях и благопожеланиях. В этом ритуале таилось нечто нескончаемо сладостное, и это сладостное самочувствие вмещало в себя и поглощало все, что таилось в душе. Даже зависть на время становилась как бы не завистью, а любезностью, ревность — содружеством, а лицемерие ненадолго оборачивалось искренностью. И каждый из присутствующих, преображаясь удивительным образом в похвальную сторону, высказывался как можно умнее, а главное — красноречивей, невольно вступая в негласное состязание с другими. О, это было по-своему захватывающее действо! Какие великолепные тосты взмывали, подобно птицам с ярким оперением, под потолки с трофейными люстрами, какие речи изливались, как писаные, заражая присутствующих все более высоким пафосом.

Особенно взволновал Тансыкбаева и его жену тост одного новоиспеченного казахского подполковника, когда тот, торжественно встав из-за стола, заговорил так проникновенно и важно, как

если бы он был артистом драматического театра, исполнявшим роль короля, восходящего на трон.

— Асыл достар![18] — начал подполковник, многозначительно оглядывая сидящих томным, величавым взглядом, как бы подчеркивая тем самым необходимость полного, совершенно серьезного внимания. — Вы сами понимаете, сегодня душа моя полна — море счастья. Понимаете. И я хочу сказать слово. Это мой час, и я хочу сказать. Понимаете. Я всегда был безбожником. Я вырос в комсомоле. Я твердый большевик. Понимаете. И очень горжусь этим. Бог для меня пустое место. То, что бога нет, всем известно, каждому советскому школьнику. Но я хочу сказать совсем о другом, понимаете, о том, что есть на свете бог! Минуточку, постойте, не улыбайтесь, дорогие мои. Ишь вы! Думаете, поймали меня на слове. Нет, нисколько! Понимаете. Я не имею в виду бога, выдуманного угнетателями трудовых масс до революции. Наш бог — это держатель власти, волей которого, как пишут в газетах, вершится эпоха на планете и мы идем от победы к победе, к мировому торжеству коммунизма; это наш гениальный вождь, держащий повод эпохи в руке,

---

[18] Примечания: 18
Асыл достар — дорогие гости.

как, понимаете, держит вожак каравана повод головного верблюда, это наш Иосиф Виссарионович! И мы следуем за ним, он ведет караван, и мы за ним — одной тропой. И никто, думающий иначе, чем мы, или имеющий в мыслях не наши идеи, не уйдет от карающего чекистского меча, завещанного нам железным Дзержинским. Понимаете. Врагам мы объявили борьбу до конца. Их род, их семьи и всякие сочувствующие элементы уничтожаются во имя пролетарского дела, понимаете, как листья по осени сжигаются огнем в одной куче. Потому что идеология может быть только одна, понимаете, и никакая другая. Вот мы с вами очищаем землю от идеологических противников — буржуазных националистов, понимаете, и прочих, и где бы ни затаился враг, кем бы он ни прикидывался, нет ему никакой пощады. Везде и всюду разоблачать классового врага, выявлять вражескую агентуру, понимаете, как учит нас товарищ Сталин, бить врага, укреплять дух народных масс — вот наш девиз. Сегодня, когда меня отличили, когда зачитан приказ о досрочном присвоении звания, я клянусь и впредь неуклонно следовать сталинской линии, понимаете, искать врага, находить и обнажать его преступные замыслы, за которые он понесет

неотвратимое, суровое наказание. Понимаете ли, главных националистов мы обезвредили, но притаились в институтах и редакциях сочувствующие. Но и они никуда от нас не уйдут, и не будет никакой им пощады. Как-то на допросе мне один националист, понимаете, говорит, все равно, говорит, ваша история зайдет в тупик, и вы будете прокляты, как дьяволы. Понимаете?!

— Такого надо было на месте пристрелить! — не удержался Тансыкбаев и даже привстал сердито.

— Верно, майор, я бы так и поступил, — поддержал его подполковник, — но он еще нужен был для следствия, и я ему сказал, понимаете, я ему сказал: пока мы зайдем в тупик, тебя, сволочь, давно уже не будет на свете! Собака лает, а сталинский караван идет…

Все разом захохотали, зааплодировали, одобряя достойную отповедь тому ничтожному националисту, все разом встали с вытянутыми наготове бокалами в руках. «За Сталина», — выдохнули все разом, и все выпили, демонстрируя друг другу опустевшие бокалы, как бы подтверждая тем самым истинность сказанных слов и свою верность им.

Затем было сказано еще многое в продолжение этой мысли. И слова эти, самовоспроизводясь и

умножаясь, долго еще кружились над головами собравшихся, накопляя в себе скрытый гнев и ярость, как рой распаленных диких ос, все более озлобляющихся оттого, что они ядоносны и их много. В душе же Тансыкбаева вскипала своя крутая волна, будоражила в нем свои мысли, укрепляя его решимость, и не потому, что подобные высказывания были внове для него, вовсе нет, напротив, вся его жизнь и жизнь всех его многочисленных сослуживцев так же, как и всего обозримого общественного окружения, протекала изо дня в день именно в этой атмосфере беспрерывного подстегивания, неукротимой борьбы, названной классовой и потому во всем абсолютно оправдываемой. Но была тут одна негласная проблема. Для постоянного накала борьбы нужны были все новые и новые объекты, новые направления разоблачений; поскольку многое в этом смысле было уже отработано, едва ли не исчерпано до дна, вплоть до депортации целых народов в погибельные ссылки в Сибирь и Среднюю Азию, то стало все труднее собирать «поголовный» урожай с полей, прибегая на старый лад к обвинениям в наиболее ходовом на национальных окраинах варианте — в буржуазно-феодальном национализме. Наученные

горьким опытом, когда по малейшему доносу в идеологической сомнительности того или иного лица незамедлительно следовала расправа с ним и близкими ему, люди уже не допускали роковых ошибок, не говорили и не писали ничего такого, что можно было бы истолковать как проявление национализма. Напротив, многие стали чересчур осторожны и осмотрительны, настолько, что громогласно отрицали любые национальные ценности, вплоть до отказа от родного языка. Попробуй схвати такого, если на каждом шагу он заявляет, что говорит и думает непременно на языке Ленина…

И именно в этот оскудевший событиями период, трудный для наращивания борьбы по выявлению новых скрытых врагов, майору Тансыкбаеву, пусть и случайно, но все же повезло. Донос на Абуталипа Куттыбаева с разъезда Боранлы-Буранный попал ему в руки как довольно второстепенный по значимости материал, скорее для ознакомления, нежели для серьезного расследования. Однако Тансыкбаев не упустил своего. Чутье не подвело его. Тансыкбаев не поленился, съездил на место разобраться и теперь все больше убеждался, что это скромное, на первый взгляд, дело при соответствующей обработке

может обрести достаточную весомость. И, стало быть, если все образуется как надо, то поощрения свыше наверняка не обойдут и его. Разве не свидетель он подобного торжества в данный момент за данным столом, разве не знает он, как устраиваются подобные вещи? Разве худо ему среди этих хорошо знакомых людей, верой и правдой преданных Богу-Власти и поэтому блаженствующих сегодня с хрусталем на столе и на потолке? Но путь к Богу-Власти только один — через черное, неустанное служение ему в выявлении и разоблачении замаскировавшихся врагов.

А среди врагов следует особенно бдительно следить за теми, кто побывал в плену. Они преступники уже потому, что не пустили себе пулю в лоб, ибо обязаны были не сдаваться, а умереть и этим доказать свою абсолютную преданность Богу-Власти, который требовал неукоснительного — умереть, но не сдаваться в плен. А кто сдался, тот — преступник. И неизбежная кара за это должна служить предупреждением всем, на все времена — на все поколения. Такова установка самого Вождя — Бога-Власти. Куттыбаев же, взятый им на расследование, как раз из числа бывших военнопленных, причем, что чрезвычайно важно, в его деле есть очень нужная

зацепка, очень актуальная деталь, — если удастся выбить у Куттыбаева признание на этот счет, пусть даже небольшой факт, то и это может пригодиться в большом деле, как гвоздок на своем месте, — послужить для разоблачения изначально предательских замыслов ревизионистской клики Тито — Ранковича, претендующей на особый путь развития Югославии без одобрения Сталина. Ишь, чего захотели! Давно ли кончилась война, а они уже отделяться решили. Не выйдет! Сталин развеет в прах эту идею и пустит ее по ветру. И совсем нелишне будет при этом доказать в очередной раз, пусть на малом факте, что предательские ревизионистские идеи зарождались в Югославии уже давно, еще в годы войны среди партизанских командиров, и что происходило это под прямым влиянием английских спецслужб. А в записках Абуталипа Куттыбаева есть воспоминания, как югославские партизаны встречались с англичанами, стало быть, есть все основания заставить его сказать то, что требуется сейчас. А раз так, необходимо добиться этого во что бы то ни стало. Расшибиться в лепешку, но заставить этого сарозекского писаку выложить все, что надо. Ведь в политике пригодно все, что летит в подветренную сторону. Каждая мелочь

может пригодиться, может послужить камнем, брошенным во врага, чтобы добить его в идейной схватке. Отсюда возникает задача добыть тот камень, даже камушек, и, пусть символически, но как бы самолично, от сердца, вложить его, тот лишний камушек, в руку самого Бога-Власти, чтобы, если не сам Он, то поручил бы, кому следует, пульнуть тем камнем в прихвостней, как пишут в газетах, ненавистного ревизиониста Тито и его приспешника Ранковича. А не пригодится, скажут мелковат, все равно усердие зачтется… Глядишь, все, кто сидят сейчас за столом, окажутся и у него, будут сидеть вот так в его доме по отменному случаю. Ведь смысл жизни — в счастье, а успех — начало счастья.

Об этом думалось в тот званый вечер кречетоглазому Тансыкбаеву, и, сидя за столом и вроде бы по ходу разговоров перебрасываясь репликами с другими, он, как пловец в бурном потоке реки, плыл в тот час в нарастающей стремнине своих страстей и вожделений. И лишь жена его Айкумис, хорошо знавшая мужа, заметила, что с ним что-то происходит, что он готовится к чему-то, как ярый зверь, вышедший ночью на охоту и уже учуявший добычу. Она видела это по его глазам, немигающий, соколиный взор которых

временами то леденел, то покрывался дымкой взволнованности. И поэтому она шепнула ему: «Отсюда уйдем вместе со всеми и только домой». Тансыкбаев нехотя кивнул в ответ. Не стал при людях возражать, хотя стоило бы. В его голове вызревал новый, более широкий план действий. Ведь вместе с Куттыбаевым в югославских партизанах побывало много других пленных, сегодня отсиживающихся по углам, — стало быть, они тоже могут что-то знать, что-то вспомнить, не так трудно заставить Куттыбаева назвать наиболее активных из них. Необходимо поднять материалы, завтра же надо сделать соответствующий запрос. Или же самому как можно скорее побывать в центре. И разобраться, раскопать и заставить Куттыбаева подтвердить нужное. А затем, на основе его показаний, предъявить обвинения бывшим военнопленным, воевавшим в Югославии, привлечь этих лиц заново к ответственности за недоносительство, за сокрытие при прохождении комиссии по депортации в Советский Союз предательских замыслов югославских ревизионистов. И людей такого сорта может обнаружиться не одна сотня и не одна тысяча, которых следовало бы — и надо подать эту идею, скорей всего в форме секретной записки

— пропустить через мельницу допросов, чтобы затем загнать эту публику в лагеря и на том положить конец…

При этой мысли, осенившей его за столом, уставленным всяческой снедью и коньячными рюмками, Тансыкбаев почувствовал подъем настроения, захотелось еще выпить, захотелось еще закусить, петь, тормошить соседей и смеяться от удовольствия и предощущения какого-то нового поворота в жизни. Он окинул сидящих благодарным взором таинственно засиявших глаз, ведь все присутствующие были свои, родные люди, одним миром мазанные и оттого столь приятные в ту минуту, и они не подозревали, эти родные люди, что присутствуют при моменте, когда у него рождаются великие идеи. Все это вызвало горячий прилив крови к голове и радостные, учащенные удары ликующего, звенящего сердца. Так сидел он, насыщаясь собой и окружением.

И сам удивлялся — случайно возникший замысел заключал в себе вполне реальную перспективу повышения по службе. Получалось разумно и логично: чем больше вытравишь притаившихся врагов, тем больше выиграешь и сам. Такая перспектива окрыляла душу. И он подумал не без гордости: «Вот так устраивают умные люди

свои дела! И я не остановлюсь на полпути, чего бы это ни стоило!» И захотелось немедленно действовать — тотчас вызвать машину из гаража и помчаться туда, в полуподвал с зарешеченными окнами, называемый следственным изолятором, где сидел Абуталип Куттыбаев, и сразу приняться за дело — допрашивать, не теряя времени, прямо там, в камере, да так допрашивать, чтобы душа у того от страха в кишках замирала. И никаких двусмысленностей насчет исхода дела; признает Куттыбаев вину, подтвердит англо-югославские задания, назовет всех, кто вместе с ним был в партизанах, — получит 58 статью с пунктом «а» — 25 лет лагерей, а нет — расстрел за измену, за агентурное сотрудничество с иностранными спецслужбами и идеологически подрывную работу среди местного населения. Пусть крепко подумает.

Представляя себе, как все это будет происходить, Тансыкбаев многое предвидел наперед: и то, как сложится разговор на допросе, как будет упираться Куттыбаев и какие меры придется предпринять, чтобы сломить его, но он знал также, что все равно тот никуда не денется, выбора у него нет, если хочет жить. Конечно, будет упорно оправдываться, дескать, ни в чем не виновен,

плен искупил с оружием в руках, воюя вместе с югославскими партизанами, был ранен, пролил кровь, по окончании войны прошел депортационную комиссию, после войны честно трудился и т. д. и т. п. Все это пустой разговор. Откуда Куттыбаеву знать, что он нужен не в этом, а совсем в ином качестве. И что в том качестве, в котором он требуется, он послужит началом целой акции по искоренению затаившихся врагов государства. Он нужен как первое звено, за которым потянется вся цепь. Что может быть выше государственных интересов? Иные думают — жизнь людская. Чудаки! Государство — это печь, которая горит только на одних дровах — на людских. А иначе эта печь заглохнет, потухнет. И надобности в ней не будет. Но те же люди не могут существовать без государства. Сами себе устраивают сожжение. А кочегары обязаны подавать дрова. И на том все стоит.

Философствуя обо всем этом, поскольку в партшколе когда-то кое-что слышал о классических учениях, сидя за столом рядом с женой, от которой, казалось бы, трудно укрыть мысли, успевая кивать и поддакивать соседям в общем разговоре, Тансыкбаев восхищался втайне тем, как чудесно устроен человек. Вот, к примеру, он сидит в

компании, в званых гостях, делает вид, будто целиком и полностью поглощен значимостью этого момента, а сам думает совершенно о другом. Кто может представить, на что он нацелился, какие вызревают у него планы?! Сознание того, что в нем, мирно сидящем за столом, таится нечто сокрушительное, неотвратимое, зависящее только от его воли, что пока никому не доступны его замыслы, скрытая сила которых, реализуясь, заставит людей ползать на коленях перед ним, а через него — и перед самим Богом-Властью, и что в этой связи он является одной из ступеней среди множества, и все-таки считанных, ступеней к устрашающему пьедесталу Бога-Власти, вызывало в нем физическое блаженство и нетерпение, как при виде вкусной еды или в исступленном предощущении совокупления. И от каждой следующей рюмки это возбуждение в нем все больше нарастало и завладевало им, растекаясь по телу истомой ускоряющихся кровотоков, и ему стоило немалых усилий сдерживаться, твердя себе, что он начнет осуществлять свой план не далее как завтра, что он все еще успеет.

Перебирая в уме детали предстоящего дела, Тансыкбаев испытывал чувство глубокого удовлетворения основательностью своих на-

мерений, логичностью замысла. И все же было ощущение, что чего-то еще вроде не хватает, требовалось еще что-то додумать, и какие-то улики вроде остались еще не задействованы, не осмыслены в достаточной мере.

К примеру, что-то ведь таилось в записях Куттыбаева о манкурте. Манкурт! Оболваненный манкурт, убивший свою мать! Да, конечно, это старинная легенда, но что-то записывавший легенду Куттыбаев ведь имел в виду?! Не зря, не случайно он так старательно и подробно записал это сказание. Да, манкурт, манкурт… Что же тут сокрыто, если иносказательное, то что именно? И главное, как собирался Куттыбаев использовать историю манкурта в своих подстрекательских целях, в какой форме, каким образом? Очень смутно угадывая в легенде о манкурте нечто идеологически подозрительное, Тансыкбаев, однако, еще не мог это категорически утверждать, не было полной уверенности, чтобы уличить наверняка. Вот если бы назвать эту легенду, как полагается в таких случаях, антинародной и за это привлечь к ответственности, но как? Здесь Тансыкбаеву не хватало компетентности, это он понимал. Надо бы обратиться к какому-нибудь ученому. Ведь вот с разоблачением буржуазных

националистов, которое они сегодня обмывали, так все и было — обнаружили группировку, затем одни знатоки-ученые были выпущены на других с обвинениями в национализме, в воспевании прошлого в ущерб сталинской социалистической эпохе, и этого оказалось достаточно, чтобы мельница заработала круглыми сутками.

И все-таки что-то да таилось в том, как тщательно Куттыбаев записывал историю манкурта. Требовалось еще раз внимательно вчитаться в каждое слово, и если обнаружится хотя бы малейшая зацепка, то и запись легенды использовать, приобщить к делу, вменить в вину. Кроме того, среди бумаг Куттыбаева обнаружен текст еще одной легенды, под названием «Сарозекская казнь», — из времен Чингисхана. Тансыкбаев не сразу обратил внимание на эту стародавнюю историю и только теперь призадумался. Ведь в ней, если поразмыслить, вроде бы можно усмотреть некий политический намек.

Идя походом на завоевание Запада, ведя за собой через великие азиатские пространства народ-армию, Чингисхан в сарозекских степях учинил казнь — предал повешению воина-сотника и молодую женщину-золотошвейку, вышивальщицу триумфальных шелковых знамен с

огнедышащими драконами на полотнищах…

К тому времени большая часть Азии была уже под пятой Чингисхана, поделена на улусы между его сыновьями, внуками и полководцами. Теперь на очереди стояла участь краев за Итилем (Волгой), участь Европы.

В сарозекских степях была уже осень. После дружных дождей пополнились водой пересохшие за лето озерца и реки — значит будет чем поить коней в пути. Степная армада поспешала. Переход через сарозекские степи считался наиболее трудной частью похода.

Три армии — три тумена по десять тысяч воинов — двигались впереди, широко развернув фланги. О мощи туменов можно было судить по их поступи — по зависшей на многие версты по горизонту, как дым после степного пожара, пыли из-под копыт. Еще два тумена с запасными табунами, обозами и яловыми стадами на каждодневный убой следовали позади — в этом можно было убедиться, оглянувшись, — там тоже вилась пыль в полнеба. Были еще и другие боевые силы, которые нельзя было увидеть из-за их удаленности от этих мест. К ним надо было скакать несколько дней — то были правые и левые крылья, по три тумена в каждом крыле. Те войска

двигались самостоятельно в сторону Итиля. К началу холодов предполагалась на берегу Итиля встреча в ханской ставке командующих всех одиннадцати туменов с тем, чтобы согласовать дальнейшие действия и двинуться по льду через Итиль в богатые и славные страны, о покорении которых грезил Чингисхан, грезили его полководцы и каждый всадник…

Так двигались войска в походе, не отвлекаясь, не задерживаясь, не теряя времени. И с ними в обозах были женщины, и в этом заключалась беда.

Сам Чингисхан с полутысячью стражников — кезегулов и свитой — жасаулами, сопровождавшими его в пути, находился в середине того движения, как плывущий остров. Но ехал он особняком — впереди них. Не любил Повелитель Четырех Сторон Света многолюдья возле себя, тем более в походе, когда следует больше молчать, смотреть вперед и думать о делах.

Под ним был любимый иноходец Хуба, прошедший у хана под седлом, быть может, полсвета, сбитый и гладкий, как галечный камень, могучий в груди и холке, белогривый и чернохвостый, с ровным, шелковым ходом. Два запасных коня, не менее выносливых и ходких, шли налегке в

сияющей отделкой ханской сбруе, ведомые верховыми коноводами. Хан менял коней на ходу, как только лошадь начинала припотевать.

Но самым примечательным было не окружение Чингисхана — бесстрашные кезегулы и жасаулы, жизнь которых принадлежала Чингисхану больше, чем им самим, — на то они и отбирались, как лезвия клинков, один из ста, — и не их отменные верховые кони, редкостные, как самородки золота в природе. Нет, примечательным в том походе было совсем другое. Над головой Чингисхана всю дорогу, заслоняя его от солнца, плыло облако. Куда он — туда и облако. Белая тучка, величиной с большую юрту, следовала за ним, точно живое существо. И никому невдомек было — мало ли тучек в вышине, — что то есть знамение — так являло Небо свое благословение Повелителю миров. Однако сам он, Чингисхан, зная об этом, исподволь наблюдал за тем облаком и все больше убеждался, что это действительно знак воли Неба-Тенгри.

Появление облака было предсказано неким странствующим прорицателем, которому Чингисхан однажды дозволил приблизиться к себе. Тот чужеземец не пал ниц, не льстил, не пророчествовал в угоду. Он стоял перед грозным ликом

степного завоевателя, восседавшего на троне в золотой юрте, с достойно поднятой головой, тощий, оборванный, с диковинно длинными волосами до плеч, точно женщина с распущенными кудрями. Чужеземец был строг взглядом, внушительно бородат, смугл и сух чертами лица.

— Я пришел к тебе, великий хаган, сказать, — передал он через толмача-уйгура, — что волею Верховного Неба будет тебе особый знак с высоты.

Чингисхан на мгновение замер от неожиданности. Пришелец то ли не в своем уме, то ли не понимает, чем это для него может кончиться.

— Какой знак, и откуда тебе это известно? — едва сдерживая раздражение, хмуря лоб, поинтересовался всесильнейший.

— Откуда известно — не подлежит оглашению. А что касается знака, то скажу — над головой твоей будет являться облако и следовать за тобой.

— Облако?! — не скрывая изумления, воскликнул Чингисхан, резко вскидывая брови. И все вокруг невольно напряглись в ожидании взрыва ханского гнева. Губы толмача побелели от страха. Кара могла коснуться и его.

— Да, облако, — ответил прорицатель. — Оно будет перстом Верховного Неба, благословляю-

щего твое высочайшее положение на земле. Но тебе надлежит беречь это облако, ибо, утратив его, ты утратишь свою могучую силу…

В золотой юрте наступила глухая пауза. Всего можно было ожидать от Чингисхана в тот миг, но вдруг ярость его взгляда приугасла, как догорающий в костре огонь. Преодолевая дикий порыв к расправе, он понял, что не следует воспринимать слова бродячего вещуна как вызывающую дерзость и тем более карать его, что тем самым он уронит свою ханскую честь. И Чингисхан сказал, пряча в жидких рыжеватых усах коварную улыбку:

— Допустим, Верховное Небо внушило тебе высказать эти слова. Допустим, я поверил. Но скажи мне, мудрейший чужеземец, как же я буду оберегать вольное облако в небе? Уж не погонщиков ли на крылатых конях послать туда, чтобы они стерегли то облако? Уж не взнуздать ли им его на всякий случай, как необъезженного коня?! Как мне уберечь небесное облако, гонимое ветром?

— А это уж твоя забота, — коротко ответил пришелец.

И опять все замерли, опять воцарилась мертвая тишина, и опять побелели губы толмача, и никто из находившихся в золотой юрте не посмел

поднять глаза на несчастного прорицателя, обрекшего себя, то ли по глупости, то ли непонятно зачем, на верную гибель.

— Одарите его, и пусть идет, — глухо проронил Чингисхан, и слова его упали на души, как капли дождя на иссохшую землю.

Странный, нелепый случай этот вскоре забылся. И то правда, каких только чудаков не бывает на свете. Возомнил себя вещуном! Но сказать, что тот чужеземец просто из легкомыслия рисковал головой, было бы несправедливо. Ведь не мог он не понимать, на что идет. Что стоило ханским кезегулам тут же скрутить его и привязать к хвосту дикой лошади — предать за непочтительность и наглость позорной смерти. И однако же что-то сподвигнуло, что-то вдохновило того отчаянного пришельца, не дрогнув, предстать, как перед львом в пустыне, перед самым грозным и беспощадным властелином. Был ли то поступок безумца или это был действительно промысел Неба?

И когда уже все забылось в беге дней проходящих, незадачливый предсказатель вдруг припомнился Чингисхану — ровно через два года. Целых два года ушло в империи на подготовку к Западному походу. Позднее Чингисхан убедился

в том, что на его власть обретающем пути неудержимого расширения пределов империи эти два года были самым деятельным периодом сбора сил и средств к мировому прорыву, к вожделенной цели его, к захвату тех земель и краев, овладев которыми, он мог по праву считать себя Властелином всех Четырех Сторон Света, всех дальних пределов мира, куда только способна была докатиться волна его несокрушимой конницы. К этой параноической идее, к неотвратимой жажде всевладычества и всемогущества сводилась в итоге жесточайшая суть степного властелина, его историческое предназначение. И потому вся жизнь его империи — всех подвластных улусов на огромных азиатских просторах, всего разноплеменного населения, усмирившегося под единой твердой рукой, всех имущих и обездоленных во всех городах и кочевьях и в конечном счете каждого человека, кем бы он ни был и чем бы он ни занимался, была целиком подчинена этой ненасытной вовеки, дьявольской страсти — все новых и новых завоеваний, все новых и новых покорений земель и народов. И потому поголовно все были заняты единым служением, все подчинялись единому замыслу — наращивания, накопления, совершенствования военной

силы Чингисхана. И все, что можно было добыть из недр и изготовить для вооружения, вся живая, созидающая деятельность обращались на потребу нашествия, могучего рывка Чингисхана в Европу, к ее сказочно богатейшим городам, где каждого воина ждала обильная добыча, к ее густозеленым лесам и лугам с травостоем по брюхо лошади, где кумыс потечет рекой; отрада власти над миром коснется каждого, кто пойдет в поход под изрыгающими пламя драконовыми знаменами Чингисхана, и каждый усладится победой, как женщиной, заключающей в лоне своем высшую сладость. Идти, побеждать и покорять земли повелевал великий хаган, и тому предстояло быть…

Чингисхан при этом был в высшей степени человеком дела, расчетливым и прозорливым. Готовясь к вторжению в Европу, он прикинул, предусмотрел все до мелочей. Через верных лазутчиков и перебежчиков, через купцов и пилигримов, через странствующих дервишей, через деловых китайцев, уйгуров, арабов и персов выведал все, что следовало знать для продвижения огромных воинских масс, — все наиболее удобные пути и переправы. Им были учтены нравы и обычаи, религии и занятия жителей тех мест,

куда двигались его войска. Писать он не умел, и все это приходилось держать в голове, в уме соотнося пользу и вред каждого явления.

Только так могла быть достигнута слаженность в деле и, самое главное, неукоснительная, железная дисциплина, только так можно было рассчитывать на успех. Чингисхан не допускал никаких послаблений — никто и ничто не должны были быть помехой главной его цели — походу на Запад, делу его жизни. Именно тогда, продумывая свою стратегию, Чингисхан пришел к беспрецедентному в веках повелению — запрету деторождения в народе-армии. Дело в том, что жены и малые дети боевых конников обычно следовали за войском в семейных обозах, кочуя с армией с места на место. Традиция эта существовала издавна, диктовалась она жизненной необходимостью, ибо в нескончаемых междоусобицах враги нередко мстили друг другу, истребляя жен и детей, оставшихся на местах без защиты. Причем беременных женщин убивали в первую очередь, чтобы подсечь корень рода.

Но жизнь со временем менялась. Прежде постоянно враждовавшие племена при Чингисхане все больше примирялись и объединялись под единым куполом великого государства. В молодости,

когда Чингисхан еще именовался Темучином, он немало повоевал с соседними племенами, и сам лютовал, и настрадался, и любимая жена его Бортэ была похищена при набеге меркитов и побывала в наложницах. Возымев власть, Чингисхан стал пресекать междоусобицы со всей беспощадностью. Распри мешали ему править, подрывали силы государства. Шли годы, и постепенно надобность в старой форме обозно-семейной жизни отпадала. Но самое главное — семья в обозе становилась бременем для армии, помехой мобильности в военных операциях широкого масштаба, особенно в наступлении и на переправах через водные препятствия. Отсюда и высочайшее указание степного властелина — категорически запретить женщинам, следующим в обозах за войском, рожать детей до победоносного завершения Западного похода. Это повеление сделано им было за полтора года до выступления. Он сказал тогда:

— Покорим западные страны, остановим коней, сойдем со стремян — и пусть тогда обозные женщины рожают, сколько хотят. А до этого мои уши не должны слышать вестей о родах в туменах…

Для Чингизхана превыше всего было то, что способствовало успеху Западного похода и непри-

емлемо всет то, что мешало достижению цели; даже законы естества он отвергал ради военных соображений, кощунствуя над самой жизнью и над Богом. Он хотел и Бога поставить себе на службу, ибо зачатие есть весть от Бога.

И никто ни в народе, ни в армии не воспротивился и даже не помыслил воспротивиться насилию, к тому времени власть Чингисхана достигла такой невиданной силы и средоточия, что все беспрекословно подчинились неслыханному повелению на запрет деторождения, поскольку ослушание неизбежно каралось смертью…

Вот уже семнадцатый день, как Чингисхан, находясь в пути, в походе на Запад, испытывал особое, небывалое состояние духа. Внешне великий хаган держался, как и всегда, как подобало его особе, — строго, отчужденно, подобно соколу в часы покоя. Но в душе он ликовал, пел песни и сочинял стихи:

…Облачной ночью,

Юрту мою прикрытым дымником

Окружив, лежала стража моя

И усыпляла меня в дворцовой юрте моей.

Сегодня в пути хочу сказать благодар-

ность.
Старейшая ночная стража моя
На ханский престол меня возвела!
В снежную бурю и мелкий дождь,
Пронизывающий до дрожи,
В проливной дождь и просто дождь
Вокруг походной юрты моей
Стояла, меня не тревожа,
И сердце мое успокаивала стража моя!
Сегодня в пути хочу сказать благодарность.
Крепкая ночная стража моя —
На престол меня возвела!..
Среди врагов, учинивших смуту,
Колчана из березовой коры
Еле слышный шорох услышав,
Без промедления бросалась бороться.
Бдительной ночной страже моей
Сегодня в пути хочу сказать благодарность.
Загривки люто вздыбив при луне,
Верная стая волков

Вожака обступает, выходя на охоту.

Так в набеге на Запад со мной

Неразлучна сивогривая стая моя.

Белые клыки моего трона всюду со мной…

Благодарность пою им в дороге…

Стихи эти, прозвучи они вслух, были бы неуместны в устах Чингисхана — ему ли было заниматься душеизлияниями! Но в пути, находясь с утра и до вечера в седле, он мог позволить себе и такую роскошь. Главной же причиной его душевного торжества было то, что вот уже семнадцатый день, с утра и до вечера, над головой Чингисхана плыло в небе белое облако — куда он, туда и оно. Сбылось-таки вещее предсказание прорицателя. Кто бы мог подумать! А ведь что стоило умертвить того чудака в тот же час за вызывающую непочтительность и дерзость, недопустимую даже в мыслях. Но странник не был убит. Значит, такова воля судьбы.

В первый же день выхода в поход, когда все тумены, обозы и стада двинулись на Запад, заполнив все пространство, подобно черным рекам в половодье, меняя в полдень на ходу притомившегося коня, Чингисхан случайно глянул ввысь, но

не придал никакого значения небольшой белой тучке, медленно плывущей, а возможно, и замершей на месте как раз над его головой, — мало ли тучек слоняется по миру.

Он продолжал путь, сопровождаемый державшимися чуть поодаль кезегулами и жасаулами, занятый своими мыслями, озабоченно обозревая с седла округу, вглядываясь в движение многотысячного войска, послушно и рьяно идущего на покорение мира, настолько послушного его личной воле и настолько рьяного в исполнении его помыслов, как если бы то были не люди, среди которых каждый в душе желал быть таким же властным, как он, а пальцы его собственной руки, перебирающие поводья коня.

Вновь взглянув на небо и обнаружив то же самое облако над собой, Чингисхан опять не подумал ничего особенного. Нет, не подумал он, одержимый идеей мировых завоеваний, почему облако следует поверху в том же направлении, что и всадник внизу. Да и какая связь могла существовать между ними?

И никому из идущих в походе облако не бросилось в глаза, никому не было до него дела, никто и не предполагал, что средь бела дня свершилось чудо. Зачем было шарить взором в необозримой

выси, когда требовалось глядеть под ноги. Войско шло себе, тянулось в походе, продвигаясь темной массой по дорогам, низинам и взгорьям, вздымая пыль из-под копыт и колес, оставляя позади пройденные расстояния, быть может, навсегда и необратимо. И все это с готовностью совершалось в угоду ханской мании и воле, и десятки тысяч людей с готовностью шли, гонимые и вдохновляемые им, жаждущим приращения славы, власти, земель. Так они шли, и уже близился вечер. Предстояло разместиться на ночь там, где застигнет тьма, и с утра снова двинуться в путь.

Для ночлега хана и его свиты обслуживающие их чербии заблаговременно соорудили дворцовые юрты. Они уже виднелись далеко впереди белыми куполами. Ханское знамя — черное полотнище с ярко-красной каймой и огненным, шитым шелком и золотыми нитями драконом, изрыгающим пламя из пасти, — уже развевалось на ветру возле главной дворцовой юрты. Не спуская глаз с дороги, кезегулы — отборные и мрачные силачи — стояли наготове в ожидании повелителя. Здесь предстояла общая вечерняя трапеза, здесь же после еды Чингисхан собирался провести первую встречу с войсковыми нойонами, чтобы обсудить результаты первого дня

похода и планы на следующий. Успех начала великого движения настраивал Чингисхана на общительный лад — он не прочь был устроить в тот вечер пир для нойонов, послушать их речи и самому высказать повеления и то, что он соизволит изречь, когда все и каждый станут сгустком внимания, будто сгустившееся цельное молоко, будет сказано для всех Четырех Сторон Света, скоро все Стороны Света будут покорно внимать его слову, для этого он и ведет войска — для утверждения слова своего. А слово — это вечная сила.

Но пиршество Чингисхан затем отменил. Смятение души потребовало полного уединения. И вот почему…

Приближаясь к месту привала, Чингисхан снова обратил внимание на знакомое облако над головой — уже в третий раз. И тут только сердце его екнуло. Пораженный невероятной догадкой, он похолодел, и земля поплыла у него перед глазами — он едва успел схватиться за гриву коня. Такого с ним никогда не случалось, ибо ничто из сущего на темногрудой Земле Этуген, незыблемой основе мира, дарованной Небом для житья и владычества, не могло ошеломить его настолько, чтобы он ахнул от неожиданности; казалось, все было изведано, ничто на свете не могло уже пора-

зить его жестокий ум, восхитить или опечалить его заматеревшую в кровавых делах душу, никогда не случалось, чтобы он, уронив свое ханское достоинство, испуганно вцеплялся в гриву коня, как какая-то баба. Такого не могло и не должно было быть, поскольку давно уже, можно сказать, с ранних лет, с тех пор, как он пристрелил из лука своего единокровного братца отрока Бектера, повздорив с ним из-за выловленной рыбешки, а на самом деле уловив рано проснувшимся волчьим чутьем, что им в одном седле судьбы не усидеть, — с тех пор убедился он, постигнув устроение жизни самым верным, безошибочным способом — попранием силой, что нет и не может быть ничего такого, что не покорилось бы силе, что не пало бы на колени, не померкло бы, не сокрушилось бы в прах под напором грубой мощи, будь то камень, огонь, вода, дерево, зверь или птица, не говоря уж о грешном человеке. Когда сила силу ломит, удивительное становится ничтожным, а прекрасное — жалким. Отсюда устоялся вывод: все, что попирается, то ничтожно, а все, что простирается ниц, — заслуживает снисхождения в меру прихоти снисходящего. И на том мир стоит…

Но совсем иное дело, когда речь о Небе, олице-

творяющем Вечность и Бесконечность, о которых толкуют подчас гималайские странники, бродячие книжники. Да, лишь Оно, непостижимое Небо, было ему неподвластно, неуловимо и недоступно. Перед Небом-Тенгри он и сам был никем — ни восстать, ни устрашить, ни двинуться походом. И оставалось только молиться и поклоняться Небу-Тенгри, ведающему земными судьбами и, как утверждали гималайские книжники, движением миров. А потому, как и всякий смертный, в искренних заверениях и жертвоприношениях умолял он Небо благоволить к нему и покровительствовать ему, помочь твердо владеть людским миром, и, если таких подлунных миров, как утверждают бродячие мудрецы, великие множества во Вселенной, то что стоит Небу отдать земной мир ему, Чингисхану, в полное и безраздельное господство, во владение его роду из колена в колено, ибо есть ли на свете более могущественный и достойный среди людей, нежели он; нет такого, кто превосходил бы его в силе, чтобы править всеми Четырьмя Сторонами Света. В тайных помыслах своих он все больше верил, что имеет особое право просить у Верховного Неба того, чего никто не осмеливался просить, — безграничного вла-

дычества над народами, — ведь должен кто-то один быть правителем, так пусть будет тот, кто сумеет покорить силой других. В своей безграничной милости Небо не чинило ему помех в его завоеваниях, в приращении господства, и, чем дальше, тем больше укреплялся он в уверенности, что у Неба он на особом счету, что верховные силы Неба, неведомые людям, на его стороне. Все ему сходило с рук, а ведь какие только яростные проклятия не призывались на его голову из уст вопиющих во всех краях, где прошелся он огнем и мечом, но ни одно из этих жалких проклятий никак не сказалось на его все возрастающем величии и всеустрашающей славе. Наоборот, чем больше его проклинали, тем больше пренебрегал он стонами и жалобами, обращенными к Небесам. И однако же бывали случаи, когда нет-нет, да и закрадывались в душу тяжкие сомнения и опасения, как бы не прогневить Небо, как бы не навлечь на себя небесные кары. И тогда великий хан замирал на некоторое время, подавлял себя в себе, давал подданным слегка передохнуть и готов был принять справедливый укор Неба и даже покаяться. Но Небо не гневалось, ничем не проявляло своего недовольства и не лишало его своей безграничной милости. И он, как в

азартной игре, все больше шел на риск, на вызов тому, что считалось небесной справедливостью, испытывал терпение Неба. И Небо терпело! И из этого он делал вывод, что ему все дозволено. И с годами укреплялся в уверенности, что он и есть избранник Неба, что он и есть Сын Неба.

И не потому уверовал он в то, во что уверовать можно лишь в сказках, что на великих празднествах певцы верховые, разъезжая перед толпами, слагали песни, именуя его Небом Рожденным, и тысячи рук, ликуя, воздевались к Небу при этом — то была низкая людская лесть. А заключал он из собственного опыта — Божественное Небо покровительствует ему во всех делах потому, что он отвечает помыслам самого Неба-Тенгри, иначе говоря, он — проводник воли Верховного Неба на земле. А Небо, как и он, признает только силу, только проявления силы, только носителя силы, коим он себя и почитал…

Иначе чем было бы объяснить то, что порой дивило и его самого, стремительное восхождение, подобное взмывающему соколу, к высотам грозной и головокружительной славы, к повелительству миром мальчишки-сироты из обедневшего рода мелких аратов-киятов, что жили испокон века охотой да скотоводством.

Как могло случиться такое небывалое в истории овладение гигантской властью — ведь, в лучшем случае, жизнь могла бы уготовить отчаянному сироте судьбу лихого налетчика-конокрада, кем он и был поначалу. Гадать не приходилось — без промысла Неба-Тенгри однолошадного Темучина никогда не осенило бы знамя с золотыми, огнеизрыгающими драконами, и никогда бы не именоваться ему Чингисханом и не восседать под куполом Золотой юрты!..

И вот подтверждение тому, что все именно так, вот явилось неопровержимое свидетельство, наглядное доказательство Небесного благорасположения к хагану Азии! Вот оно перед взором, чудесное облако, заведомо предсказанное бродячим прорицателем, который чуть было не поплатился головой за свое юродство. Но слова его сбылись! Белое облако — послание Неба Небесному Сыну, знак одобрения и благословения, провозвестник великих грядущих побед.

Никому из многих тысяч людей в походе не приходило в голову, что может быть такое чудо, и никто не замечал попутного белого облака, никому не приходило в голову, откуда оно и зачем оно. Разве кто следит за вольными облаками?.. И лишь он, великий хаган, возглавляющий степную

армаду и ведущий ее на новое покорение мира, понял великий смысл появления белого облачка и был поражен невероятной догадкой, и то верил, то не верил в возможность такого неслыханного явления. Им овладевали тягостные сомнения — стоит делиться своими наблюдениями и мыслями или не стоит. А что если он раскроется, поделится тайной, а облако возьмет да исчезнет в мгновение ока? Не подумают ли люди, что он выжил из ума? Потом он снова укреплялся духом и верил, что это облако не праздное, что оно не исчезнет вдруг, что оно ниспослано Небом как знак, и тогда его охватывала радость, ощущение могучей окрыленности, веры в свою прозорливость, в безошибочность предпринятого им похода на завоевание Запада, и он еще больше утверждался в намерении мечом и огнем создать вожделенную мировую империю. С чем и шел. То и было извечной страстью ненасытного владычества. Чем больше имел, тем больше хотелось…

И вот потекли дни похода.

А белое облако в вышине, никуда не отклоняясь, плавно плыло перед взором Чингисхана, восседавшего на своем знаменитом иноходце Хубе. Грива белая, а хвост черный, таким уродился. Знатоки утверждали, что такой конь появляется

под особой звездой один раз в тысячу лет. То был поистине непревзойденный ходок, не скакун, а неутомимый ходок. Хуба шел иноходью, в постоянно напряженном темпе, как зарядивший ливень, проливаясь на землю горячим дыханием. Не будь удил, такой конь готов иссякнуть в горячем усердии, иссякнуть до капли, как пролившийся дождь. В старину один певец сказал: на таком коне человеку верится, что он бессмертен…

Доволен, счастлив был Чингисхан. Ощущая в себе небывалый прилив сил, он жаждал действовать, мчаться к цели, точно сам был неутомимым иноходцем, точно сам стелился в размеренном неиссякаемом беге, точно слился, как сливаются реки, телом и духом с бушующим круговоротом крови бегущего коня.

Да, седок и конь были под стать друг другу, — сила с силой перекликались. И оттого посадка седока походила на соколиную позу. Ступни плотно сидящего в седле коренастого, бронзолицего всадника упирались в стремена вызывающе горделиво и уверенно. Он сидел на коне, как на троне, прямо, с высоко поднятой головой, с печатью каменного спокойствия на скуластом узкоглазом лице. От него исходила сила и воля

великого владыки, ведущего несметное войско к славе и победам…

И особой причиной вдохновенного состояния Чингисхана было белое облако над его головой как символ, как венец великой предназначенности. И все в этом смысле соотносилось одно с другим. Облако… Небо… Впереди же по ходу движения развевалось в руках знаменосца походное знамя, которое было всегда там, где находился Чингисхан. Их было трое при знамени, трое знаменосцев, внушительных и гордых доверенным им исключительно почетным делом. Все трое как на подбор — на одинаковых вороных конях. В середине — держащий древко, а по сторонам с пиками наперевес — его сопровождающие. Осеняя путь хагана, шитое шелком и золотом черное полотнище трепетало на ветру, и вышитый на нем дракон, исторгавший яркое пламя из пасти, казался живым. Дракон был в летучем прыжке, и глаза его, всевидящие во гневе, выпученные, как у верблюда, метались вместе с полотнищем по сторонам, точно и в самом деле живые…

Был уже вечер одного из вечеров в череде тех дней. Предсумеречная степь простиралась в пологих лучах заходящего солнца так далеко, как только можно было представить себе

обширность зримого мира. И в том озаренном пространстве, окрашенном рдеющем солнцем, уже наполовину ушедшим за горизонт, двигались на закате колонны войск, тысячи конников, каждое войско в своих пределах, и все уходили в сторону заходящего солнца, напоминая издали течение черных рек, затуманенных мглой.

С раннего утра неутомимый хаган с седла руководил походом. К нему с разных сторон скакали нойоны с донесениями и, получив указания на ходу, возвращались от него галопом на свои места в движущемся войске. Надо было поспешать, чтобы до предзимних дождей и распутицы достигнуть главного препятствия в походе — берегов великой реки Итиль — с тем, чтобы, дождавшись холодов, переправиться по ледяной тверди и двинуться дальше к заветной цели, к покорению Запада:

Натруженные спины коней отдыхали от седел и всадников лишь по ночам, когда войско останавливалось на ночлег.

Но рано утром на привалах снова гремели добулбасы — огромные барабаны из воловьих кож, понуждая армию к возобновлению похода. Всколыхнуть ото сна десятки тысяч людей не так просто. И побудчики усердствовали — несмол-

каемый грохот добулбасов разносился окрест тяжким рокотом по всем лагерям и стоянкам.

К тому часу хаган уже бодрствовал. Он просыпался едва ли не первым и, прохаживаясь возле дворцовой юрты светлыми еще осенними утрами, сосредоточивался в себе, обдумывал мысли, набежавшие за ночь, отдавал указания и между делом внимательно вслушивался в гул барабанов, поднимающих войско в седла и на колеса. Начинался очередной день, умножались голоса, движения, звуки, заново начинался прерванный на ночь поход.

И гремели барабаны. Их утренний гул был не только сигналом к подъему, но заключал в себе и нечто большее. Так понукал Чингисхан каждого, кто шел вместе с ним в великом походе, — то было напоминанием взыскующего и непреклонного повелителя, врывающегося грохотом барабанов, точно в закрытые двери, в сознание просыпающихся, опережая тем самым какие бы то ни было иные мысли, нежели те, что исходили от него, навязывались им, его волей, ибо во сне люди не подвластны ни чужой, ни собственной воле, ибо сон — дурная, зряшная, опасная свобода, прерывать которую необходимо с первых мгновений возврата ото сна, вторгаться решительно и грубо,

чтобы вернуть их, очнувшихся, снова в явь — к служению, к беспрекословному подчинению, к действиям.

Похожий на бычий рык тяжкий гул барабанов всякий раз вызывал в Чингисхане холодок, связанный с давним воспоминанием: в отрочестве, когда поблизости от него ярились два сцепившихся быка, дико мыча, вскидывая копытами щебень и пыль, он, завороженный их ревом, сам не помнит, как схватил боевой лук и пронзил стрелой задремавшего единокровного братца Бектера, поссорившегося с ним из-за рыбки, выловленной в реке. Бектер дико вскричал, вскочил и снова повалился наземь, обливаясь кровью, а он, Темучин, да, тогда он был всего лишь Темучином, сиротой рано умершего Есугей-батуры, в испуге побежал на гору, взвалив на плечи добулбас, лежавший возле юрты. Там, на горе, он стал бить в барабан, долго и монотонно, а мать его, Аголен, кричала и выла внизу, рвала на себе волосы, проклиная братоубийцу. Потом сбежались другие люди, и все что-то кричали ему, размахивая руками, но он ничего не слышал, упорно колотя в барабан. И никто к нему не подступился почему-то. Он просидел на горе до рассвета, колотя в добулбас…

Мощный гул сотен добулбасов теперь был его

боевым кличем, его яростным рыком, его неустрашимостью и свирепостью, его сигналом ко всем, идущим с ним в походе, — внимать, подниматься, действовать, двигаться к цели, к покорению мира. И они пойдут за ним до предела — есть же где-то предел горизонту, и все, что существует на земле, — все люди и твари, обладающие слухом, будут внимать его боевым барабанам, внутренне содрогаясь. И даже тучка белая, с недавних пор неразлучная свидетельница его скрытых дум, не уклоняясь, плавно кружит над головой под утренний бой барабанов. Порывистый ветерок шелестит имперским знаменем с расшитым, похожим на живого, огнедышащим драконом. Вот дракон бежит на ветру по полотнищу, изрыгая яркое пламя из пасти…

Хорошие утра выдавались в эти дни.

И по ночам, на сон грядущий, выходил Чингисхан глянуть на округу. Всюду в пустынных просторах горели костры, полыхая вблизи и мерцая вдали. По боевым лагерям и обозным таборам, на стоянках погонщиков табунов и стад стелились белесые дымы, люди в тот час, употевая, глотали похлебку и наедались вдосталь мяса. Запах мясной варенины, извлекаемой огромными кусками из котлов, привлекал голодное

степное зверье. То там, то тут поблескивали во тьме лихорадочные глаза и доносилось до слуха заунывное подвывание несчастных тварей.

Армия между тем быстро впадала в мертвецкий сон. Лишь оклики ночных дозоров, объезжавших войско на привале, свидетельствовали, что и ночью жизнь шла по строго заведенному порядку. Так и полагалось быть тому — всему свое предназначение, обращенное в конечном счете к единой и высшей цели — неукоснительному и безраздельному служению мирозахватнической идее Чингисхана. В такие минуты, пьянея душой, он постигал собственную суть — суть сверхчеловека — неистребимую, одержимую жажду власти, тем большую, чем большей властью он владел, и отсюда вытекал с неизбежностью абсолютный вывод — потребно лишь то, что соответствовало его власть прибавляющей цели, а то, что не отвечало ей, — не имело права на бытие.

Поэтому и свершилась сарозекская казнь, предание о которой спустя многие времена записал Абуталип Куттыбаев на беду свою…

В одну из ночей на привале конный дозор объезжал расположение войск правого тумена. За пределами боевых лагерей находились стоянки обозов, погонщиков стад и разного рода

подсобных служб. Дозор заглянул и в эти места. Все было в порядке. Истомленные переходом, люди спали всюду вповалку — в юртах, в шатрах, а многие под открытым небом у догорающих костров. Тихо было вокруг, и все юрты темны. Конный дозор уже завершал свой досмотр. Их было трое — дозорных. Придерживая коней, они о чем-то говорили между собой. Тот, кто был за старшего, — рослый всадник в шапке сотника — негромко распорядился:

— Ну, все. Вы езжайте, подремлите. А я погляжу еще тут.

Двое верховых удалились. А тот, что остался, тот сотник, сначала внимательно огляделся вокруг, прислушался, потом слез с коня и, ведя его в поводу, пошел мимо скопления обозов и походных мастерских, мимо распряженных повозок шорников, швей и оружейников в сторону одинокой юрты на самой обочине табора. И пока он шел, задумчиво склонив голову и прислушиваясь к звукам, лунный свет, льющийся с выси, смутно высветлял очертания его крупного лица и туманно поблескивающие большие глаза коня, послушно следовавшего за ним. Сотник Эрдене приближался к юрте, где, должно быть, его ждали. Из юрты вышла женщина в накинутом платке и

остановилась, ожидая, возле входа.

— Самбайну[19], — приглушая голос, поприветствовал он женщину. — Ну, как дела? — спросил он с беспокойством.

— Все в порядке, все хорошо обошлось, хвала Небу. Теперь уж не тревожься, — зашептала женщина. — Она тебя очень ждет. Слышишь, очень ждет.

— Да я и сам рвался душой! — ответил сотник Эрдене. — Но, как назло, нойон наш решил пересчетом коней заняться. Все три дня никак не мог вырваться, в табунах пропадал.

— Ой, да ты не мучься, Эрдене. Что бы ты тут делал, когда такое случилось? Зачем бы тут на глаза попадался? — Женщина успокоительно покачала головой и добавила: — Самое главное — что благополучно, так легко разродилась. Ни разу даже не вскрикнула, вытерпела. А утром я ее в крытую повозку устроила. И как ни в чем не бывало. Такая она у тебя славная. Ой, что ж это я! — спохватилась встречавшая. — Сокол, прилетевший к тебе на руку, да будет всегда с тобой! — поздравила она. — Имя придумай сыночку!

---

[19] Примечания: 19
Самбайну — здравствуй (монг.).

— Пусть Небо услышит твои слова, Алтун! Мы с Догуланг век будем тебе благодарны, — поблагодарил сотник. — А имя придумаем, за этим дело не станет.

Он передал женщине поводья коня.

— Не беспокойся, сколько надо, столько постерегу, как всегда, — заверила Алтун. — Иди, иди, Догуланг тебя очень ждет.

Сотник выждал немного, как бы собираясь с духом, потом подошел к юрте, приоткрыл тяжелый плотный войлочный полог и, пригнувшись, вступил вовнутрь. В середине юрты горел небольшой очажок, и в его слабом, блеклом отсвете он увидел ее, свою Догуланг, сидящую в глубине жилища, накинув на плечи кунью шубу. Правой рукой она слегка покачивала колыбель, покрытую стеганым одеялом.

— Эрдене! Я здесь, — негромко отозвалась она на появление сотника. — Мы здесь, — улыбаясь и смущаясь, поправилась она.

Сотник быстро отстегнул колчан, лук, клинок в ножнах, оставил оружие у входа и подошел к женщине, протягивая руки. Он опустился на колени, и лица их соприкоснулись. Они обнялись, положив головы на плечи друг другу. И замерли в объятиях, И на том мир как бы замкнулся для

них под куполом юрты. Все, что оставалось за пределами этого походного жилища, утратило свою реальность. Реальны были только они вдвоем, только то, что их объединяло в порыве, и крохотное существо в колыбели, которое явилось на свет три дня тому назад.

Эрдене первым разомкнул уста:

— Ну, как ты? Как чувствуешь себя? — спросил он, едва сдерживая учащенное дыхание. — Я так беспокоился.

— Теперь уже все позади, — отвечала женщина, улыбаясь в полутьме. — Не об этом думай. О нем спроси, о нашем сыночке. Он такой крепенький оказался. Так сильно сосет мою грудь. Он очень похож на тебя. И Алтун говорит, что очень похож.

— Покажи мне его, Догуланг. Дай взглянуть!

Догуланг отстранилась и прежде, чем приоткрыть одеяло над колыбелью, прислушалась, невольно настораживаясь, к звукам снаружи. Все было тихо вокруг.

Сотник долго смотрел, силясь угадать свои черты в ничего не выражающем пока личике спящего младенца. Вглядываясь в новорожденного, затаив дыхание, он, может быть, впервые постигал божественную суть появления на свет

потомства как замысел вечности. Потому, наверное, и сказал, взвешивая каждое слово:

— Вот теперь я всегда буду с тобой, Догуланг, всегда с тобой, даже если что со мной и случится. Потому что у тебя мой сын.

— Ты — со мной? Если бы! — горестно усмехнулась женщина. — Ты хочешь сказать, что малыш — твое второе воплощение, как у Будды. Я об этом подумала, кормя его грудью. Я держала его на руках, ребенка, которого не было еще три дня назад, и говорила себе, что это ты в новом своем воплощении. И ты об этом подумал сейчас?

— Подумал. Только не совсем так. С Буддой не могу себя сравнивать.

— Можешь не сравнивать. Ты не Будда, ты мой дракон. Я тебя с драконом сравниваю, — ласково прошептала Догуланг. — Я вышиваю на знаменах драконов. Никто не знает — это все ты. На всех знаменах моих — это ты. Бывает, и во сне его вижу, во сне вышиваю дракона, он оживает, и, ты только не смейся, я обнимаю его во сне, и мы соединяемся, и мы летим, дракон меня уносит, и я с ним улетаю, и в самое сладкое мгновение оказывается — это ты. Ты со мной во сне — то дракон, то человек. И, просыпаясь, я не знаю, чему верить. Я ведь тебе, Эрдене, и прежде говорила

— ты мой огненный дракон. И я не шутила. Так оно и было. Это я тебя, твое воплощение в драконе, вышиваю на знаменах. И теперь, выходит, я родила от дракона.

— Пусть будет так, как тебе любо. Но, ты послушай, Догуланг, что я тебе хочу сказать. — Сотник помолчал и молвил затем: — Вот теперь, когда у нас родился ребенок, надо думать, как нам быть. И об этом мы сейчас поговорим. Но раньше я хочу сказать, чтобы ты знала, да ты и так знаешь, но все равно скажу: я всегда тосковал и всегда тоскую по тебе. И самое страшное, чего я боюсь, — не голову потерять в бою, а тоску свою потерять, лишиться ее. Я все время думал, уходя с войсками то в одну, то в другую сторону, как отделить от себя свою тоску, чтобы она не погибла вместе со мной, а осталась бы при тебе. И я ничего не мог придумать, но мне мечталось, чтобы тоска моя превратилась или в птицу, или, может быть, в зверя, во что-то такое живое, чтобы я мог передать тебе это в руки и сказать — вот возьми, это моя тоска, и пусть она будет всегда с тобой. И тогда мне не страшно погибнуть. И теперь я понимаю — мой сын родился от моей тоски по тебе. И теперь он всегда будет с тобой.

— Но мы еще не дали ему имени. Ты придумал

ему имя? — спросила женщина.

— Да, — ответил сотник. — Если ты согласишься, назовем его хорошим именем — Кунан!

— Кунан!

— Да.

— А что, очень хорошо. Кунан! Молодой скакун.

— Да. Конь-трехлетка. В самом восходе сил. И грива, как буря, и копыта, как свинец.

Догуланг склонилась над младенцем:

— Послушай, отец твой скажет имя твое!

И сотник Эрдене сказал:

— Имя твое — Кунан. Слышишь, сынок? Имя твое Кунан. Воистину так.

Они помолчали, невольно поддаваясь значимости момента. Ночь была тиха, лишь в таборе по соседству беззлобно взлаяла собака, да донеслось издали протяжное ржание — быть может, вспомнилась средь ночи коню родина в горах, быстрые реки, густые травы, солнечный свет на спинах коней… Младенец же, обретший имя, безмятежно спал, и судьба его младенческая пока еще спала рядом с ним. Но скоро ей предстояло спохватиться.

— Я подумал не только об имени нашего ребенка, — нарушил молчание сотник Эрдене

и, оглаживая усы крепкой ладонью, сказал со вздохом, — я подумал и о другом, Догуланг. Сама понимаешь, тебе с младенцем оставаться здесь нельзя. Надо побыстрей уходить.

— Уходить?

— Да, Догуланг, уходить, и чем быстрее, тем лучше.

— Я тоже думала, но куда уходить и как уходить? А как же ты?

— Сейчас я тебе скажу. Мы уйдем вместе.

— Вместе? Это же невозможно, Эрдене!

— Только вместе. А разве может быть по-другому?

— Но ты подумай, что ты говоришь, ты, сотник правого тумена!

— Я уже думал, крепко думал.

— Но куда ты уйдешь от руки хагана, такого места нет на свете! Эрдене, опомнись!

— Я уже все продумал. Выслушай меня спокойнее. Мы не скрылись поначалу, когда еще можно было, когда еще стояли мы в городах многолюдных, с базарами и бродягами. Не зря я тебе говорил в те дни, Догуланг: обрядимся в тряпье чужеземцев, прибьемся к странникам и уйдем скитаться по свету.

— По какому свету, Эрдене? — с горечью вос-

кликнула вышивальщица. — Где для нас такой край, чтобы жить самим по себе? От Бога легче уйти, чем от хагана. Потому мы и не решились, сам понимаешь. Да и кто из войска мог бы решиться на такое. Вот и остались мы с тайной своей между страхом и любовью — ты не мог уйти из войска, тебе это стоило бы головы, я не могла уйти от тебя, мне это стоило бы счастья. И вот мы не одни. С сыночком.

Они тягостно умолкли в нахлынувшей тревоге. И тогда сотник сказал:

— Бывает, люди бегут от позора, от бесчестья, от расплаты за измену; бегут, только бы спастись. Нам придется бежать оттого, что судьба послала нам дитя, но платить придется той же ценой. Ждать пощады не приходится. Хаган от своего повеления никогда не отступится. Надо уходить, Догуланг, пока не поздно, другого выхода нет. Не качай головой. Другого выхода нет. Счастье и несчастье растут из одного корня. Было счастье, не побоимся теперь беды. Надо уходить.

— Я тебя понимаю, Эрдене, — тихо проговорила женщина. — Ты прав, конечно. Только я вот думаю, что лучше — умереть или остаться жить. Я не о себе. Я с тобой так счастлива, я говорила себе: если надо, умру, только не посмею убить то,

что пришло ко мне от тебя. Глупая я или умная, но не поднялась моя рука…

— Не терзайся, не надо, ты не должна так терзаться — жить или не жить! Мы не хотели жертвовать тем, кто еще не народился. Теперь он родился. Теперь надо жить ради него. Убежать и жить. Мы оба хотели сына.

— Я не о себе. Я о другом. Можешь ли ты мне сказать, если меня казнят, — оставят ли в живых тебя и твоего сыночка?

— Не надо так. Не унижай меня, Догуланг. Разве об этом речь. Ты лучше скажи, как ты чувствуешь себя. Сможешь ли ты отправиться в путь? Ты поедешь в повозке с Алтун, она с тобой, она готова. Я буду рядом верхом, чтобы в случае чего отбиваться…

— Как скажешь, — коротко ответила вышивальщица. — Лишь бы с тобой! Быть рядом…

Опустив головы у колыбели, они снова затихли.

— А скажи, — промолвила Догуланг, — говорят, что скоро войско выйдет к берегам Жаика[20]. Алтун слышала от людей.

— Пожалуй, через два дня, осталось не так

---

[20] Примечания: 20
Жаик — Яик, река Урал.

много. А к пойменным местам уже завтра подойдем. Предлесья начнутся, кусты да чащи, а там и Жаик.

— Что, большая, глубокая река?

— Самая великая на пути к Итилю.

— И глубокая?

— Не всякий конь сможет переплыть, особенно где стремнина. А по рукавам — там мельче.

— Значит, глубокая, и течение плавное?

— Спокойная, как зеркало, а есть где и побыстрей. Ты же знаешь, детство мое прошло в жаикских степях — отсюда мы родом. И наши песни все от Жаика. Лунными ночами поются наши песни.

— Я помню, — задумчиво отозвалась вышивальщица. — Ты как-то спел мне песню, до сих пор не могу забыть, песню девушки, разлученной с любимым, она утопилась в Жаике.

— Это старинная песня.

— У меня мечта, Эрдене, хочу сделать такую вышивку на белом шелковом полотне: вода уже сомкнулась, только легкие волны, а вокруг растения, птицы, бабочки, но девушки уже нет, не вынесла она горя. Чтобы, кто увидал эту вышивку, тому печальная песня слышалась над печальной рекой.

— Через день ты увидишь эту реку. Слушай меня внимательно, Догуланг. Ты должна быть готова к завтрашней ночи. Как только я появлюсь с запасным конем, так тут же ты должна выйти с колыбелью, в любой час. Медлить нельзя. Теперь медлить нельзя. Я бы сегодня, сейчас увез бы вас куда глаза глядят. Но кругом степь открытая, нигде не схоронишься, не утаишься, кругом как на ладони, и ночи пошли лунные. А с повозкой по степи от конной погони далеко не ускачешь. Но дальше, к Жаику, начнутся места зарослевые, там все по-иному пойдет…

Они еще долго переговаривались, то умолкая вдруг, то снова принимаясь обсуждать, что им предстоит в преддверии неведомой судьбы грядущей, теперь уже судьбы на троих, с народившимся младенцем. И малыш не заставил себя ждать, чуть погодя зашевелился, кряхтя, в колыбели и заплакал, попискивая скулящим щенком. Догуланг быстро взяла его на руки и, смущаясь с непривычки, полуотвернувшись, приложила его к груди, столь знакомой сотнику, неисчислимо раз целованной им в горячем порыве, гладкой и белеющей груди, которую он сравнивал про себя с округлой спинкой притаившейся уточки. Теперь все предстало в новом свете материнства.

И сотник просиял взором от удивления и восхищения и, подумав о чем-то, покрутил молча головой, — сколько пришлось пережить в последние дни, и вот свершилось то, что и должно было свершиться в отмеренный природой срок: он — отец, Догуланг — мать, у них — сынок, мать кормит дитя молоком… Тому и положено быть изначально. Трава родится от травы, и тому воля природы, твари рождаются от тварей, и тому воля природы, и только прихоть человека может встать поперек естества…

Младенец, чмокая, сосал грудь, младенец насыщался, ублажаемый грудью-уточкой.

— Ой, щекотно, — радостно засмеялась Догуланг. — Вот ведь какой шустрый оказался. Прилип и не оторвешь, — приговаривала она, как бы оправдываясь за свой счастливый смех. — А правда, он очень похож на тебя, наш Кунан. Наш маленький дракон, сын большого дракона! Вот он открыл глазки! Посмотри, посмотри, Эрдене, и глаза твои, и нос такой же, и губы точь в точь…

— Похож, конечно, очень похож, — охотно соглашался сотник. — Узнаю кого-то, очень даже узнаю.

— То есть, как кого-то? — удивлялась Догуланг.

— Ну себя, конечно, себя!

— А вот возьми, подержи его на руках. Такой живой комочек. Легкий такой. Как будто зайчика держишь.

Сотник робко принял дитя — сила и весомость его собственных рук оказались в ту минуту излишними, неуместными, и, не зная, как ему быть, как приспособить свои ладони к беззащитному тельцу младенца, он осторожно прижал, вернее, приблизил его к сердцу и, подыскивая сравнение неизведанному доселе ощущению нежности, счастливо улыбаясь тому, что открылось ему в то мгновение, растроганно сказал:

— Ты знаешь, Догуланг, это не зайчонок, это мое сердце в моих руках.

Малыш вскоре заснул. Сотнику же пора было возвращаться на свое место в войске.

Глубокой ночью, выйдя из юрты возлюбленной, сотник Эрдене взглянул на луну, набравшую над осенними сарозеками сияющую силу свечения, и ощутил полное одиночество. Не хотелось уходить, хотелось снова вернуться к Догуланг, к сыну. Таинственные звенящие звуки бездонной степной ночи заворожили сотника. Нечто непостижимое, зловещее открывалось ему в том, что, будучи вовлеченными судьбой в деяния великого хагана, идя вместе с ним в поход на Запад,

служа ему, они же подвергались опасности — в любой момент неотвратимая его кара за рождение ребенка могла сокрушить их. Стало быть, в том, что их связывало с Повелителем Четырех Сторон Света, было нечто противоестественное, отныне несовместимое с их собственной жизнью, взаимоисключающее, и вывод напрашивался один — уходить, обретать свободу, спасать жизнь ребенка…

Вскоре он разыскал неподалеку прислужницу Алтун, которая все это время стерегла его коня, скармливая ему зерно из походной сумы.

— Ну, что, повидал своего сыночка? — живо заговорила Алтун.

— Да, спасибо, Алтун.

— Имя дал ему?

— Имя его — Кунан!

— Хорошее имя. Кунан.

— Да. Пусть Небо услышит. А теперь, Алтун, скажу тебе то, что надо сказать сейчас, не откладывая. Ты мне как родная сестра, Алтун. А для Догуланг с ее ребенком — ты верная мать, посланная судьбой. Не будь тебя, не смогли бы мы быть с ней вместе в походе, страдать бы нам в разлуке. И кто знает, быть может, мы с Догуланг никогда больше и не увиделись бы. Потому что,

кто идет с войной, тот встречает войну вдвойне… И я благодарен тебе…

— Я-то понимаю, — проговорила Алтун. — Понимаю, что к чему. Ведь и ты, Эрдене, пошел на такое дело неслыханное! — Алтун покрутила головой, и добавила: — Дай Бог, чтобы все обошлось. — Я-то понимаю, — продолжала она, — в этом великом войске сегодня ты сотник, а завтра оказался бы тысячником-нойоном, в чести на всю жизнь. И тогда бы мы с тобой не говорили о том, о чем сейчас говорим. Ты — сотник, я раба. И тем все сказано. Но ты выбрал другое — как душа твоя повелела. Моя-то помощь тебе — коня подержать. Приставлена я служить твоей Догуланг, сам знаешь, помогать ей в работе. И я привязана к ней всей душой, потому что она, так мне думается, — дочь бога красоты. Да, да! Она и собой хороша, как же! Но я не об этом. Я о другом. В руках у Догуланг волшебная сила — клубки нитей и кусок полотна найдутся у кого угодно, но то, что вышивает Догуланг, никому не повторить. По себе знаю. Драконы у нее бегут по знаменам, как живые. Звезды у нее горят на полотне, как в небе. Говорю же, она мастерица от Бога. И я буду с ней. А если надумали уходить, то и я — с вами. Одной ей не управиться в бегах, ведь только родила.

— Об этом и речь, Алтун. Завтра, ближе к полуночи, надо быть наготове. Будем уходить. Ты с Догуланг и ребенком в повозке, а я сбоку верхом, с запасным конем в поводу. Уйдем в пойму Жаика. Самое главное, к рассвету подальше скрыться, чтобы с утра погоня не напала на след. А там уйдем…

Они помолчали. И перед тем, как сесть в седло, сотник Эрдене, склонив голову, поцеловал сухонькую ладошку прислужницы Алтун, понимая, что она послана им с Догуланг самим провидением, эта маленькая женщина, плененная многие годы тому назад в китайских краях, да так и оставшаяся до старости прислугой в обозах Чингисхана. Кто она была ему, если подумать: случайной спутницей в коловороте чингисхановского похода на Запад. Но, по сути, единственной и верной опорой влюбленных в роковую для них пору. Сотник понимал: только на нее он мог положиться, на прислужницу Алтун, и больше ни на кого на свете, ни на кого! Среди десятков тысяч вооруженных людей, шедших в великом походе, кидавшихся с грозными кликами в бои, только она одна, старенькая обозная прислужница, могла встать на его сторону. Только она одна, и больше никто. Так оно потом и случилось.

Уезжая в тот поздний час на своем звездолобом Акжулдузе, минуя войска, спящие привалом в лагерях и обозных таборах, думал сотник о том, что предстоит впереди, и молил Бога о помощи ради новорожденного, безвиннейшего существа, ибо каждый новорожденный — это весть от замысла Бога; по тому замыслу кто-то когда-то предстанет пред людьми, как сам Бог, в людском обличии, и все увидят, каким должен быть человек. А Бог — это Небо, непостижимое и необъятное. И Небу знать, кому какую судьбу определить — кому народиться, кому жить.

Сотник Эрдене пытался оглядеть с седла звездное пространство, пытался мысленно заклинать Небо, пытался услышать в душе ответ судьбы. Но Небо молчало. Луна одиноко царствовала в зените, незримо проливаясь сиреневым потоком света над сарозекской степью, объятою сном и таинством ночи…

А наутро снова загремели, зарокотали утробно добулбасы, повелевая людям вставать, вооружаться, садиться в седла, кидать поклажу в повозки, и снова, воодушевляемая и гонимая неукротимой властью хагана, двинулась степная армада Чингисхана на Запад.

То был семнадцатый день похода. Позади оста-

валась обширнейшая часть сарозекской степи — наиболее труднопроходимая, впереди предстояли через день-другой припойменные земли Жаика, и дальше путь лежал к великому Итилю, воды которого делили земной мир на две половины — Восток и Запад.

И все было, как и прежде. Впереди на гарцующих вороных двигались знаменосцы. За ними в сопровождении кезегулов и свиты — Чингисхан. Под седлом у него шел размеренным тропом любимый иноходец Хуба с белой гривой и черным хвостом, и, тайно радуя взор, подымая в сердце хагана и без того с трудом сдерживаемую гордыню, над головой его, как всегда, плыла неразлучная спутница — белая тучка. Куда он — туда и она. А по земле, заполняя пространство от края и до края, двигалась человеческая тьма на Запад — колонны, обозы, армии Чингисхана. Гул стоял, подобно гулу бушующего вдали моря. И все это множество, вся эта движущаяся лавина людей, коней, обозов, вооружения, имущества, скота были воплощением его, Чингисхана, мощи и силы, все это шло от него, источником всего этого были его замыслы. И думал он в седле в тот час все о том же, о чем редко кто из смертных смеет думать, — о вожделенном мировом владычестве,

о единой подлунной державе на вечные времена, коей дано будет ему править и после смерти. Как? Через его повеления, заблаговременно высеченные на скрижалях. И покуда будут стоять скалы с надписями-повелениями, указывающими, как править миром, пребудет на свете и его воля. Вот о чем думал хаган в тот час в пути, и захватывающая мысль о надписях на камнях как способе достижения бессмертия уже не давала ему покоя. Он решил, что займется этим зимой, на берегу Итиля. В ожидании переправы он соберет совет ученых, мудрецов и предсказателей и выскажет свои золотые мысли о вечной державе, выскажет свои повеления, и они будут высечены на скалах. Эти слова перевернут мир, и весь мир припадет к его стопам. С тем он и шел в поход, и все сущее на земле должно было служить этой цели, а все, что противоречило ей, все, что не способствовало успеху похода, подлежало устранению с пути и искоренению.

И снова стали слагаться стихи:

Алмазным навершием державы моей
Водружу сверкающий месяц в небе… Да!..
И муравей на тропе не уклонится

От железных копыт моей армии… Да!..
Переметную суму истории
С потного крупа коня моего
Благодарные потомки снимут,
Постигая цену могущества… Да!..

Случилось так, что именно в этот день, пополудни, доложили Чингисхану о том, что одна из женщин в обозе родила — вопреки строжайшему на то его ханскому запрету. Родила ребенка — неизвестно от кого. Сообщил об этом хептегул Арасан. Краснощекий хептегул, с бегающими глазками, всегда все знающий и неутомимый, и на этот раз первым принес известие. «Мой долг доложить тебе, величайший, все, как есть, поскольку на этот счет сделано тобой предупреждение», — похрипывая — жирок душил его, — заключил свое донесение хептегул Арасан, скача с хаганом стремя в стремя, чтобы лучше были слышны его слова на ветру.

Чингисхан не сразу внял, не сразу ответил хептегулу. Сосредоточенный в тот миг на мыслях о заветных скрижалях, он не сразу поддался нахлынувшей досаде и долго не хотел признаться себе в том, что не ожидал, что подобное известие так подействует на него. Чингисхан молчал оскорб-

ленно, с досады прибавил ходу коню, и полы его легкой собольей шубы разлетались по сторонам, как крылья испуганной птицы. А хептегул Арасан, поспешая рядом, оказался в затруднительном положении, не зная, как ему быть, он то придерживал поводья, чтобы не гневить излишне хагана своим присутствием рядом, то снова шел стремя в стремя, чтобы быть готовым расслышать слова, коли они будут произнесены, и не понимал, не мог взять в толк причины столь долгого молчания владыки — что стоило тому изречь всего два слова: казнить ее, — и в тот же час там, в обозах, задавили бы и эту женщину, и ее выродка, коли она осмелилась родить наперекор высочайшему запрету. Задушили бы дерзкую, закатав в кошму, — другим в назидание, — и делу конец.

Вдруг хаган резко бросил через плечо, да так, что хептегул даже привстал в седле:

— Так почему, пока не разродилась это обозная сука, никто не заметил, что она брюхата? Или видели, да помалкивали?

Хептегул Арасан подался было объяснить, как это могло произойти, слова его оказались сбивчивы, и хаган властно осек его:

— Помолчи!

Спустя немного времени он желчно спросил:

— Коли она ничейная жена, так кто же она, эта разродившаяся в обозах, повариха, истопница, скотница?

И был крайне удивлен, что роженицей оказалась вышивальщица знамен, поскольку никогда прежде не приходило ему в голову, что кто-то этим занимается, кто-то кроит и вышивает его золотые стяги, так же, как не думал он о том, что кто-то тачает ему сапоги или сооружает очередные юрты, под куполом которых протекала его жизнь. Не думалось прежде о таких мелочах. Да и с чего бы, разве знамена не существовали сами по себе, рядом с ним и в его войске повсюду, возникая, как загодя разводимые костры, раньше, чем появлялся он сам, на лагерных стоянках, в движущейся коннице, в сражениях и на пирах. Вот и сейчас — впереди гарцевали знаменосцы, осеняя его путь. Он шел походом на Запад с тем, чтобы установить там свои стяги, отшвырнув на истоптание чужие знамена. Так оно и будет… Ничто и никто не посмеет встать на его пути. И любое, даже малейшее неповиновение кого-либо из идущих с ним на покорение мира будет пресекаться не иначе как смертной карой. Кара ради повиновения — таково неизменное орудие

власти одного над многими.

Но в случае с этой вышивальщицей повинна не только она, но и еще кто-то, безусловно, находящийся в обозах или в войске… Но кто он?..

С этого часа Чингисхан омрачился, что было заметно по его окаменевшему лицу, тяжелому взгляду немигающих рысьих глаз и напряженной, как против ветра, посадке в седле. Но никто из осмеливавшихся приблизиться к нему по неотложным делам не знал, что омрачился хаган не столько потому, что обнаружился вызывающий факт непослушания какой-то вышивальщицы и ее неизвестного возлюбленного, сколько потому, что случай этот напомнил ему совсем другую историю, оставившую горький, неизгладимый, постыдный след в его душе.

И снова, кровоточа, обжигая душу, припомнилось ему пережитое в молодости, когда он еще носил свое исконное имя Темучин, когда никто еще не мог предположить, что в нем, сироте, безотцовщине Темучине, грядет Повелитель Четырех Сторон Света, когда и сам он еще не помышлял ни о чем подобном. Тогда, в далекой молодости, пережил он трагедию и позор. Молодая, посватанная родителями еще с детства, жена его Бортэ в дни медового месяца была похищена

при набеге соседнего племени меркитов, и, пока он сумел отбить ее в ответном набеге, прошло немало дней, много дней и ночей, подсчитывать которые с точностью у него не хватало сил и теперь, когда он шел с многотысячным войском на завоевание Запада, дабы утвердить и сделать навеки недосягаемым на троне мирового господства свое имя, дабы все затмить и… все забыть.

В ту далекую ночь, когда подлые меркиты беспорядочно бежали после трехдневной кровопролитной схватки, когда они бежали, бросив табуны и стойбища, бежали под страшным, беспощадным натиском, только бы спасти свои жалкие жизни, от возмездия, когда исполнилась клятва мести, в которой было сказано:

…Древнее, издалека видное свое знамя

Я окропил перед походом кровью жертвы,

В свой низко рокочущий, обтянутый

Воловьей кожей барабан я ударил.

На своего черногривого бегунца я сел верхом.

Свой стеганый панцирь я надел.

Свой грозный меч я в руки взял.

С удит-меркитами я буду биться до смерти…

Весь народ меркитский я истреблю до мальца,

Пока их земли не станут пустыми…

Когда эта страшная клятва исполнилась сполна в ночи, оглашенной криками и воплями, среди бегущих в панике, среди преследуемых удалялась крытая повозка. «Бортэ! Бортэ! Где ты? Бортэ!» — кричал и звал Темучин в отчаянии, кидаясь по сторонам и нигде ее не находя, и когда наконец он настиг крытую повозку и его люди перебили с ходу возниц, то Бортэ откликнулась на зов: «Я здесь! Я Бортэ!» — и спрыгнула с повозки, а он скатился с коня, и они бросились друг другу навстречу и обнялись во тьме. И в то мгновение, когда молодая жена оказалась в его объятиях, целая и невредимая, он ощутил, как неожиданный удар в сердце, незнакомый чуждый запах, должно быть, крепко прокуренных усов, оставшийся от чьего-то прикосновения на ее теплой, гладкой шее, и замер, прикусив губы до крови. А вокруг шла схватка, битва, расправа одних над другими…

С той минуты он уже не ввязывался в бой. По-

садив вызволенную из плена жену в повозку, повернул назад, пытаясь совладать с собой, чтобы не высказать сразу то, что прожгло его. И мучился потом всю жизнь. Понимал — не по своей воле оказалась жена в руках врагов. И, тем не менее, какой ценой удалось ей не пострадать? Ведь ни один волос с ее головы не упал. Судя по всему, Бортэ в плену не была мученицей, нельзя было сказать, что вид у нее был настрадавшийся. Нет, и потом откровенного разговора об этом у них не возникало.

Когда те немногочисленные меркиты, которым не удалось после разгрома откочевать в другие страны или в труднодоступные места, уже не представляли ни малейшей опасности, когда они пошли в пастухи и прислугу, превратились в рабов, никому не понятна была неумолимая жестокость мести Темучина, к тому времени ставшего уже Чингисханом. В результате все те меркиты, которые не сумели бежать, были перебиты. И никто из них не мог уже сказать, что имел какое-либо отношение к его Бортэ в бытность ее в меркитском плену.

Позже у Чингисхана было еще три жены, однако ничто не могло залечить боль от того первого, жестокого удара судьбы. Так и жил хаган с этой

болью. С этой кровоточащей, хоть и никому не ведомой, душевной раной. После того как Бортэ родила первенца — сына Джучи, — Чингисхан скрупулезно вычислял, получалось — могло быть и так, и эдак, ребенок мог быть и его, и не его сыном. Кто-то, так и оставшийся неизвестным, нагло посягнувший на его честь, лишил его на всю жизнь покоя.

И хотя тот, другой неизвестный, от которого родила в походе вышивальщица знамен, не имел к хагану никакого отношения, кровь властелина вскипела.

Человеку порой так мало надо, чтобы в мгновение ока мир для него нарушился, перекосился и стал бы не таким, как был только что — целесообразным и цельно воспринимаемым… Именно такой переворот произошел в душе великого хагана. Все вокруг оставалось таким же, каким было до известия. Да, впереди гарцевали на вороных конях знаменосцы с развевающимися драконовыми знаменами; под его седлом шел, как всегда, иноходец Хуба; рядом и позади на отличных скакунах почтительно поспешала свита; вокруг держалась верная стража — отряды «полутысячников»-кезегулов; на всем пространстве, насколько мог охватить взгляд, двигались

по степи войсковые тумены — разящая мощь, и тысячные обозы — их опора. А над головой, над всем этим людским потоком плыло по небу верное белое облако, то самое, что с первых дней похода свидетельствовало о покровительстве Верховного Неба.

Все было, казалось, прежним, и однако, нечто в мире сдвинулось, изменилось, вызывая в хагане постепенно нарастающую грозу. Стало быть, кто-то не внял его воле, стало быть, кто-то посмел свои необузданные плотские страсти поставить выше его великой цели, стало быть, кто-то умышленно пошел против его повеления! Кто-то из его конников больше алкал женщину в постели, нежели жаждал безупречно служить, неукоснительно повиноваться хагану! И какая-то ничтожная женщина, вышивальщица — разве после нее некому будет вышивать? — пренебрегая его запретом, решилась родить, когда все другие обозные женщины закрыли свои чрева от зачатий до особого его разрешения!..

Эти мысли глухо прорастали в нем, как дикая трава, как дикий лес, затемняя злобой свет в глазах, и хотя он понимал, что случай в общем-то ничтожный, что следовало бы не придавать ему особого значения, другой голос, властный, силь-

ный, все более ожесточенно настаивал, требовал сурового наказания, казни ослушников перед всем войском и все больше заглушал и оттеснял иные мысли.

Даже неутомимый иноходец Хуба, с которого хаган в тот день не слезал, почувствовал точно бы дополнительную тяжесть, все более увеличивающуюся, и неутомимый иноходец, всегда мчащийся ровно, как стрела, покрылся мыльной пеной, чего с ним прежде не случалось.

Молча и грозно продолжал путь Чингисхан. И хотя, казалось бы, ничто не нарушало похода, ничто не мешало движению степной армады на Запад, осуществлению его великих замыслов покорения мира, нечто, однако, произошло: какой-то незримый, крохотный камешек покатился с незыблемой горы его повелений. И это не давало ему покоя. Он думал об этом в пути, это его беспокоило, как заноза под ногтем, и, думая все время об одном, он все больше раздражался на своих приближенных. Как они посмели доложить ему только теперь, когда женщина уже родила, а где они были прежде, куда они смотрели, разве так трудно было заметить беременную? И тогда разговор был бы другой — погнали бы ее в три шеи, как собаку блудливую. А теперь как быть?

Когда ему доложили о случившемся, он резко спросил вызванного для объяснений нойона, отвечающего за обозы, — как так могло случиться, что все это оставалось незамеченным, пока вышивальщица не родила, пока не был услышан верными людьми плач новорожденного? Как могло случиться такое? На что нойон невразумительно отвечал, что-де вышивальщица знамен, по имени Догуланг, жила в отдельной юрте, всегда на отшибе, ни с кем не общалась, ссылаясь на занятость, имела свою повозку, при ней состояла прислужница, а когда к ней приходили по делам, то вышивальщица сидела, обернутая ворохом тканей, обычно шелками вышиваемых знамен. И люди думали, что делает она это просто для красоты, поскольку любит наряжаться. И потому трудно было разглядеть, что она беременна. Кто отец новорожденного — неизвестно. Вышивальщицу еще пока не допрашивали. Прислужница же твердит, что ничего не знает. Пойди ищи ветра в поле…

Чингисхан с досадой думал о том, что эта история недостойна его высокого внимания, но поскольку запрет на деторождение установлен им самим и поскольку каждый из войсковых старшин, боясь за свою голову, спешил донести

о случившемся вышестоящему, то он, хаган, оказался заложником собственного высочайшего повеления. Отступить от своего повеления он не мог. И кара была неминуема…

Около полуночи сотник Эрдене, сославшись на спешные поручения, сказал, что направляется к тысячному, но то был лишь повод выйти из лагеря, чтобы той же ночью бежать вместе со своей возлюбленной. Он не знал еще, что хагану уже все известно, не знал, что бежать ему с Догуланг и ребенком не удастся.

Ведя запасного коня в поводу, точно охотничью собаку на привязи, сотник Эрдене благополучно обошел лагеря и, приближаясь к обозу, вблизи которого обычно располагалась юрта Догуланг, молил Бога лишь об одном — чтобы не напороться вдруг на нойонский объездной дозор. Нойонский дозор — самый придирчивый и жестокий, если вдруг заметит кого-нибудь из конников нетрезвым, выпившим случаем молочной водки, никогда не пощадит, заставит впрячься в повозку вместо коня, а возница будет погонять кнутом…

Покинув свою сотню, уходя в бега, Эрдене знал, что, если его поймают, ему грозит высшая кара — удушение кошмой или предание смерти через повешение. Другой исход мог быть лишь в слу-

чае, если удастся бежать, уйти в далекие края, в иные страны.

Ночь в степи и в этот раз стояла лунная. Повсюду располагались лагеря, табуны, повсюду вповалку у тлеющих костров спали воины. Среди такого количества людей и обозов мало кому было дела до того, кто куда передвигается. На это и рассчитывал сотник Эрдене, и ему с Догуланг и сыном удалось бы бежать, если бы не судьба…

Что случилась беда, он понял тотчас же, как приблизился к табору мастеровых. Соскочив с седла, сотник замер в тени коней, крепко держа их под уздцы. Да, случилась беда! Возле крайней юрты горел большой костер, освещая округу тревожно полыхающим светом. С десяток верховых жасаулов, громогласно переговариваясь, топтались возле костра на конях. Те, что спешились, их было человека три, запрягали повозку, ту самую, на которой они с Догуланг собирались бежать этой ночью. Потом Эрдене увидел, как жасаулы вывели из юрты Догуланг с ребенком на руках. Она стояла в свете костра в своей куньей шубе, прижимая дитя к себе, бледная, беспомощная, напуганная. Жасаулы о чем-то ее спрашивали. Доносились возгласы: «Отвечай! Отвечай, тебе говорят! Потаскуха, блудница!» Потом донесся

вопль прислужницы Алтун. Да, это был ее голос, безусловно, ее. Алтун кричала: «Откуда мне знать?! За что вы меня бьете? Откуда мне знать, от кого она родила! Не в степи, не сейчас же это случилось! Да, родила она ребенка недавно, сами видите. Так что же, разве вы не можете понять, что девять месяцев назад, выходит, случилось все это?! Так откуда мне знать, когда и с кем у нее было. Зачем вы меня бьете?! А ее зачем стращаете, до смерти напугали, — она же с новорожденным! Разве она не служила вам, не расшивала ваши боевые знамена, с которыми вы идете в поход? За что теперь убиваете, за что?»

Бедная Алтун, как травинка под копытом, что она могла поделать, когда сам сотник Эрдене не посмел сунуться, да и что бы он мог против десятка вооруженных жасаулов?! Разве что погибнуть, унеся с собой одного или двоих? Но что бы это дало? Тем и берут всегда жасаулы — сворой своей. Только и ждут, чтобы кинуться всей сворой, чтобы терзать, чтобы кровь лилась!

Сотник Эрдене видел, как жасаулы усадили Догуланг с ребенком на повозку, туда же бросили прислужницу Алтун и повезли их куда-то в ночь.

И на том все улеглось, все стихло вокруг, стоянка опустела. И только тогда стали слышны в

стороне собачий лай, ржание лошадей, какие-то невнятные голоса на привалах.

У юрты вышивальщицы Догуланг догорал костер. Поглотив суету, муки борения людские, бесстрастно глядели безмятежно сияющие, беззвучные звезды на опустевшее пространство, точно тому, что случилось, и следовало быть…

Двигаясь, как во сне, сотник Эрдене нащупал онемевшими вмиг, похолодевшими руками узду на голове запасного коня, стащил ее, не ощущая собственных усилий, и бросил коню под ноги. Глухо брякнули удила. Эрдене услышал свое стесненное дыхание, дышать становилось все тяжелее. Но он еще нашел в себе силы, чтобы прихлопнуть лошадь по холке. Эта лошадь теперь была ни к чему, теперь она была свободна, никакой нужды в ней не было, и она побежала себе рысцой в ближайший ночной табун. А сотник Эрдене бесцельно побрел по степи, не ведая сам, куда идет, зачем идет. За ним тихо ступал в поводу его звездолобый Акжулдуз — верный и неразлучный боевой конь, на котором сотник Эрдене ходил в сражения, но на котором так и не удалось ускакать, угоняя от злой судьбины повозку с любимой женщиной и народившимся ребенком.

Сотник шел наугад, как слепой; глаза его были полны слез, стекавших по мокрой бороде, и ровно струящийся лунный свет судорожно колыхался на его согбенных, вздрагивающих плечах… Он брел, как изгнанный из стаи одинокий дикий зверь, предоставленный в целом мире самому себе: сможешь жить — живи, не сможешь — умри. И больше никакого выбора… Что было делать теперь ему, куда было деваться? Не оставалось ничего, кроме как умереть, убить себя ударом ножа, ударом в грудь, в нестерпимо ноющее сердце, и тем самым унять, прекратить эту сжигающую его боль или же исчезнуть, сгинуть, сбежать, затеряться где-нибудь навсегда…

Сотник упал на землю и, глухо рыдая, пополз на животе, обдирая о камни ладони и ногти, но земля не расступилась, потом он поднялся на колени и нащупал на поясе нож…

В степи было безмолвно, пустынно и звездно. Лишь верный конь Акжулдуз терпеливо стоял рядом в лунном озарении, всхрапывая, в ожидании приказа хозяина…

В то утро, прежде чем двинуться в поход, барабанщики, заранее собранные на холме, ударили сигнал сбора войска. И, ударив, добулбасы уже не стихали, сотрясая округу нарастающим, надсад-

ным гулом тревоги. Барабаны из воловьих кож рокотали, ярились, как дикие звери в западне, созывая на казнь блудницы, вышивальщицы знамен, — мало кто знал, что имя ее Догуланг, — родившей в походе ребенка.

И выстраивались под шаманский гул барабанов конные когорты при всем оружии, как на параде, полукружьем вокруг холма, сотня за сотней, а по флангам располагались обозы с поклажей и на них весь подсобный люд, всякого рода походные мастеровые — юртовщики, оружейники, шорники, швеи, мужчины и женщины, все молодые, все плодоносящей поры. Это всем им в устрашение и назидание устраивалась показательная казнь. Всякий, посмевший нарушить повеление хагана, будет лишен жизни!

Добулбасы продолжали греметь на холме, холодя кровь в жилах, вызывая в душах оцепенение страха, а потому и согласие с тем, чему предстояло быть по воле Чингисхана, и даже одобрение тому.

И вот под гул несмолкающих добулбасов на холм пронесли в золотом паланкине самого хагана, учинявшего казнь опасной ослушницы, так и не назвавшей имени того, от кого она родила. Паланкин опустили на рыжем холме посреди

знамен, купающихся в первых лучах солнца, развевающихся на ветру, с расшитыми шелком огнедышашими драконами. Это его, хагана, символом был дракон в могучем прыжке, но он и не подозревал, что вышивальщица, одухотворившая шитье, имела в виду не его, а другого. Того, кто был драконом, стремительным и бесстрашным в ее объятиях. И никому вокруг было невдомек, что за это она теперь и расплачивалась головой.

И та минута приближалась. Барабаны постепенно сбавляли громкость с тем, чтобы смолкнуть перед казнью, накаляя этим напряженную тишину, когда в страшном ожидании время расплывается, распадается и замирает, и затем снова оглушительно и яростно загрохотать, сопровождая процесс пресечения жизни диким рокотом, завораживая им, вызывая в опьяненном сознании каждого очевидца экстаз слепой мести, злорадство и тайную радость, что казни через повешение подвергается не он, а кто-то другой.

Барабаны смирялись. И все собравшиеся были напряжены, даже кони под всадниками замерли. Каменно-напряженным было и лицо самого Чингисхана. Жестко сжатые губы и немигающий холодный взор узких глаз выражали нечто

змеиное.

Барабаны смолкли, когда из ближайшей к месту казни юрты вывели вышивальщицу знамен Догуланг. Дюжие жасаулы подхватили ее под руки и втащили в повозку, запряженную парой коней. Догуланг стояла в повозке, поддерживаемая сзади стоящим рядом сумрачным молодым жасаулом.

Люди в рядах загудели, особенно женщины: вот она, та самая вышивальщица! Блудница! Ничейная жена! Хотя ведь могла при своей молодости и красе быть второй или третьей женой какого-нибудь нойона! А был бы он к тому еще и старец какой — и того лучше. Горя не знала бы. Так нет, завела себе любовника и родила, бесстыжая! Все равно что плюнула в лицо самого хагана! А теперь пусть расплачивается. Пусть ее вздернут на горбу верблюжьем! Доигралась, красотка! Этот безжалостный суд молвы был продолжением злобного гула добулбасов, для того и гремели барабаны из воловьих кож так настойчиво и оглушительно, чтобы ошеломить, возбудить ненависть к тому, кого возненавидел сам хаган.

— А вот и прислужница с ребенком! Глядите! — вскричали, злорадствуя, обозные женщины. То действительно была прислужница Алтун. Она

несла новорожденного, завернутого в тряпье. В сопровождении громилы-жасаула, боязливо оглядываясь, вся съежившись, Алтун шла у повозки, как бы подтверждая своей ношей преступность вышивальщицы, приговоренной к смерти.

Так их вели для устрашающего обозрения перед казнью. Догуланг понимала, что теперь иного исхода быть не могло: никакого прощения, никакого помилования.

В юрте, откуда их выволокли на позор, она успела покормить ребенка грудью в последний раз. Ничего не ведая, несчастное дитя усердно чмокало, пребывая в дремотном легком сне под вкрадчиво стихающие звуки барабанов. Прислужница Алтун была рядом. Сдавленно плача, удерживаясь от громких рыданий, она то и дело зажимала себе рот ладонью. И в те минуты им удалось перебросится несколькими словами.

— Где он? — тихо шепнула Догуланг, торопливо перекладывая ребенка от одной груди к другой, хотя понимала, что Алтун не могла знать того, чего не знала она сама.

— Не знаю, — ответила та в слезах. — Думаю, далеко.

— Только бы! Только бы! — взмолилась Догуланг. Прислужница горько покивала в ответ.

Обе они думали об одном — только бы удалось сотнику Эрдене скрыться, ускакать подальше, исчезнуть с глаз долой.

За юртой послышались шаги, голоса:

— Ну, тащи их! Волоки!

Вышивальщица в последний раз прижала ребенка, горестно вдохнула его сладковатый запах и дрожащими руками передала его прислужнице:

— Пока проживет, присмотри…

— Не думай об этом! — Алтун захлебнулась от комка слез и больше уже не могла сдерживаться. Зарыдала громко и отчаянно.

И тут жасаулы поволокли их наружу.

Солнце уже поднялось над степью, зависнув над горизонтом. Со всех сторон за скоплением войск и обозов, готовых двинуться в поход после казни вышивальщицы, простирались сарозеки — великие степные равнины. На одном из холмов сиял золотистый паланкин хагана. Выходя из юрты, Догуланг успела увидеть краем глаза этот паланкин, в котором сидел сам хаган — недоступный, как Бог, а вокруг паланкина развевались на степном ветерке расшитые ее же руками знамена с огнедышащими драконами.

Чингисхану, восседавшему под балдахином, все было хорошо видно с того холма — и степь, и

войско, и обозный люд, а в вышине, как всегда, плыла над его головой верная белая тучка. Казнь вышивальщицы задерживала в то утро поход. Но следовало сделать одно, чтобы продолжить другое. Предстоящая казнь была не первой и не последней казнью в его присутствии — самые различные случаи ослушания карались именно таким способом, и всякий раз хаган убеждался, что прилюдная казнь необходима для повиновения народа единому, верховным лицом установленному порядку, поскольку и страх, и низменная радость, что насильственная смерть постигла не тебя, заставляет людей воспринимать страшную кару как должную меру наказания и потому не только оправдывать, но и одобрять действия власти.

И в этот раз, когда вышивальщицу вывели из юрты и заставили ее взойти на повозку для позорного объезда, люди, как рой, загудели, задвигались. На лице же Чингисхана не дрогнул ни один мускул. Он сидел под балдахином в окружении развевающихся знамен и застывших у древков, словно каменные истуканы, кезегулов. Объявленная казнь на то и была рассчитана — всякий да будет знать — даже малейшая помеха на пути великого похода на Запад недопустима.

В душе хаган понимал, что мог бы не прибегать к столь жестокой расправе над молодой женщиной, матерью, мог бы помиловать ее, но не видел в том резона — всякое великодушие всегда оборачивается худо — власть слабеет, люди наглеют. Нет, он ни в чем не раскаивался, единственное, чем он был недоволен, — что так и не удалось выявить, кто же был возлюбленным этой вышивальщицы.

А она, приговоренная к смерти через повешение, уже следовала на повозке перед строем войска и обозов, в разодранном на груди платье, с растрепанными волосами — черные густые космы, сияющие угольным блеском на утреннем солнце, скрывали ее бескровное, бледное лицо. Догуланг, однако, не склонила головы, смотрела вокруг опустошенным, скорбным взглядом, — теперь ей нечего было утаивать от других. Да, вот она, возлюбившая мужчину больше жизни своей, вот ее запретное дитя, рожденное от этой любви!

Но людям хотелось знать, и они кричали:

— Кобыла, а где же твой жеребец? Кто он?

И самовозбуждаясь и ожесточаясь от неосознанного чувства вины, толпа возопила, чтобы побыстрее освободить себя от низменного греха:

— Повесить суку! Повесить сейчас же! Чего тут

ждать?

Устроители казни, должно быть, на то и рассчитывали, что неистовствующая толпа сможет сломить дух вышивальщицы. От ханского окружения отделился верховой, один из нойонов, зычноголосый, бравый вояка, готовый ради хагана и на это дело. Он подскакал к скорбной процессии — повозке с обреченной вышивальщицей и идущей рядом прислужнице с ребенком на руках.

— А ну, стойте, — остановил он их и, обращаясь к конным рядам, громко выкрикнул: — Слушайте все! Эта бесстыжая тварь должна указать, от кого она родила! С кем она путалась! А теперь скажи, есть ли среди этих мужчин отец твоего ребенка?

Догуланг отвечала, что нет. Настороженный гул прокатился по рядам.

Повозка двигалась от сотни к сотне, а сотники перекликались:

— У меня не оказалось! Может, ловкач тот в твоей сотне?

Тем временем зычноголосый снова и снова требовал от вышивальщицы, чтобы она указала на того, кто был отцом новорожденного. Вот снова повозку остановили перед отрядом конников, и снова вопрос:

— Укажи, блудница, от кого ты родила?

Именно в этом строю, в голове отряда находился сотник Эрдене на своем звездолобом коне Акжулдузе. Взгляды Догуланг и Эрдене встретились. В общем гаме и суете никто не обратил внимания, как трудно отводили они глаза друг от друга, как вздрогнула Догуланг, откидывая со лба разметавшиеся волосы, как на мгновение вспыхнуло ее лицо и тут же угасло. И только сам Эрдене мог представить себе, чего стоила Догуланг эта молниеносная встреча глазами — какой радостью и какой болью обернулось для нее это мгновение. На вопрос зычноголосого нойона опомнившаяся Догуланг, взяв себя в руки, снова твердо ответила:

— Нет, нет здесь отца моего ребенка!

И опять никто не обратил внимание на то, что сотник Эрдене уронил голову, но тут же усилием воли заставил себя принять невозмутимый вид.

А палачи были уже наготове. Трое в черных балахонах с закатанными рукавами вывели на середину двугорбого верблюда, настолько громадного, что всадник в седле головой доставал лишь до середины верблюжьего брюха. За отсутствием леса в открытых степных пространствах кочевники издавна прибегали к такому способу

казни — осужденных вешали на верблюжьем межгорбии — попарно на одной веревке или с противовесом, которым служил мешок с песком. Такой противовес был уже приготовлен для вышивальщицы Догуланг.

Окриками и ударами палкой палачи заставили зло орущего верблюда опуститься и лечь на землю, подобрав под себя длинные мосластые ноги. Виселица была готова.

Барабаны ожили, слегка рокоча, чтобы в нужный момент загрохотать, оглушая и вздымая души.

И тогда зычноголосый нойон снова обратился к вышивальщице, должно быть, уже на потеху:

— Спрашиваю тебя в последний раз. Тебе, глупая потаскуха, все равно погибать, и выродку твоему не жить! Как тебя понимать все-таки, неужто ты не знаешь, от кого понесла? Может, поднатужишься, припомнишь?

— Не помню, от кого. Это было давно и далеко отсюда, — отвечала вышивальщица.

Над степью прокатился грубый утробный мужской хохот и злорадный женский визг.

Нойон же не унимался с вопросами:

— Так выходит, как понимать, — на базаре где приспособилась, что ли?

— Да, на базаре! — вызывающе ответила Догуланг.

— Торговец или скиталец? А может быть, вор базарный?

— Не знаю, торговец, или скиталец, или вор базарный, — повторила Догуланг.

И опять взрыв хохота и визг.

— А какая ей разница, что торговец, что скиталец или вор — самое главное на базаре этим делом заняться!

И тут неожиданно в рядах воинов раздался чей-то голос. Кто-то сильно и громко крикнул:

— Это я — отец ребенка! Да, это я, если хотите знать!

И все разом стихли, все разом оцепенели — кто же это? Кто это откликнулся на зов смерти в последнюю минуту, навсегда уносившую с собой не выданную вышивальщицей тайну?

И все поразились: пришпоривая своего звездолобого коня, из рядов выехал вперед сотник Эрдене. И, удерживая Акжулдуза на месте, снова повторил громко, оборачиваясь на стременах к толпе:

— Да, это я! Это мой сын! Имя моего сына — Кунан! Мать моего сына зовут Догуланг! А я сотник Эрдене!

С этими словами на виду у всех он соскочил с коня, хлопнул Акжулдуза наотмашь по шее, — тот отпрянул, а сам сотник, сбрасывая на ходу с себя оружие и доспехи, отшвыривая их в стороны, направился к вышивальщице, которую уже держали за руки палачи. Он шел при полном молчании вокруг, и все видели человека, свободно шедшего на смерть. Дойдя до своей возлюбленной, приготовленной к казни, сотник Эрдене упал перед ней на колени и обнял ее, а она положила руки на его голову, и они замерли, вновь соединившись перед лицом смерти.

В ту же минуту ударили добулбасы, ударили разом и загрохотали, надсадно ревя, как стадо всполошившихся быков. Барабаны взревели, требуя общего повиновения и общего экстаза страстей. И все разом опомнились, все вернулось на круги своя, раздались команды — всем быть готовыми к движению, к походу. И возглашали барабаны: всем быть, как все, всем исполнять свой долг! А палачи немедленно приступили к делу. На помощь палачам бросились еще трое жасаулов. Они повалили сотника на землю, быстро связали ему руки за спиной, то же самое проделали и с вышивальщицей и подтащили их к лежащему верблюду; быстро накинули общую

веревку — одну удавку на сотника, другую, через межгорбие верблюда, — на шею вышивальщицы и в страшной спешке, под несмолкаемый грохот барабанов, стали поднимать верблюда на ноги. Животное, не желая подниматься, сопротивлялось. Верблюд орал, огрызался, злобно лязгая зубами. Однако под ударами палок ему пришлось встать во весь свой огромный рост. И с боков двугорбого верблюда повисли в одной связке, в смертельных конвульсиях, те двое, которые любили друг друга поистине до гроба.

В барабанной суматохе не все заметили, как паланкин хагана понесли с холма. Хаган покидал место казни, с него было довольно; наказание достигло цели, более того, превзошло ожидания — ведь обнаружился-таки тот неизвестный, обладавший вышивальщицей, что постельные утехи ставил превыше всего, им оказался сотник, один из сотников, обнаружился-таки на глазах у всех и понес заслуженную кару, быть может, в отместку за того, давнего неизвестного, так и оставшегося неизвестным, в объятиях которого побывала в свое время его Бортэ, родившая первенца, всю жизнь в глубине души не любимого хаганом…

А барабаны гудели, рокотали яростно и надсадно, сопровождая гулом своим проход верблюда

с повешенными телами любовников, разделивших на двоих одну веревку, перекинутую через верблюжье межгорбье. Сотник и вышивальщица бездыханно болтались по бокам вьючного животного, — то было жертвоприношение к кровавому пьедесталу будущего владыки мира.

Добулбасы не смолкали, леденя душу, держа всех в оглушении и оцепенении, и каждый в тот день мог видеть собственными глазами то, что могло случиться и с ним, поступи он вопреки воде хана, неуклонно идущего к своей цели…

Палачи-жасаулы прошествовали со своим верблюдом — передвижной виселицей — мимо войска и обозов и, пока они погребали тела умерщвленных в заранее вырытой яме, добулбасы не умолкали, барабанщики работали в поте лица.

Войско тем временем выступило в путь, и снова степная армада Чингисхана двинулась на запад. Полчища конницы, обозы, стада, гонимые для прикорма, оружейные и прочие подсобные мастерские на колесах, все, кто шел в походе, все до едина, поспешно снимались, поспешно покидали то проклятое место в сарозекской степи, все уходили не мешкая, и осталась на покинутом месте лишь одна неприкаянная душа, не знавшая

куда себя деть и не посмевшая напомнить о себе, — прислужница Алтун с ребенком на руках. О ней вдруг все забыли, от нее уходили, словно бы стыдясь того, что она еще существует, все делали вид, что ее не видят, все бежали, как с пожара, всем было не до нее.

Вскоре все смолкло вокруг, никаких добулбасов, никаких возглашений, никаких знамен… Лишь вмятины от копыт, унавоженный путь, указывающий направление похода, — исчезающий след в сарозекской степи…

Покинутая всеми, в оглушительном одиночестве, прислужница Алтун бродила, подбирая у вчерашних очагов остатки подгорелой и брошенной пищи, складывая про запас полуобглоданные кости в сумку, и среди прочего наткнулась на оставленную кем-то овчину, взвалила ту шкуру себе на плечи, чтобы постелить ее на ночь под себя и ребенка, матерью которого она оказалась поневоле…

Поистине Алтун не знала, что ей делать, куда путь держать, как быть дальше, где искать приюта, как прокормить младенца. Пока светило солнце, она еще могла надеяться на какое-то чудо: а вдруг да улыбнется счастье, вдруг да встретится жилище — затерявшаяся в степи пастушья юрта.

Так думалось ей, так пыталась она обнадежить себя, рабыня, получившая нечаянно и свободу, и ту ношу судьбы, о которой она страшилась думать. Ведь новорожденный вскоре проголодается, потребует молока и помрет у нее на глазах от голода. Этого она страшилась. И была бессильна что-либо предпринять.

Единственное и маловероятное, на что могла рассчитывать Алтун, — это обнаружить в степи людей, если таковые существовали в этих пустынных краях, и, если окажется среди них кормящая мать, поднести ей ребенка, а себя предложить в добровольное рабство. Женщина бродила неприкаянно по степи, шла наугад то на восток то на запад, то снова на восток… Она шла с ребенком на руках без отдыха. День приближался к полудню, когда дитя стало все больше ерзать, хныкать, плакать, просить грудь… Женщина перепеленала младенца и пошла дальше, убаюкивая его на ходу. Но вскоре ребенок заплакал сильнее и уже не утихал, плакал до синевы, и тогда Алтун остановилась и закричала в отчаянии:

— Помогите! Помогите! Что же мне делать?

На всем необозримом степном пространстве не было ни дымка, ни огонька. Безлюдно простиралась вокруг степь, глазу не на чем остановиться…

Бескрайняя степь да бескрайние небеса, лишь маленькое белое облачко тихо кружило над головой…

Ребенок корчился в плаче. Алтун взмолилась и запричитала:

— Ну, что же ты хочешь от меня, несчастный?! Ведь тебе от роду седьмой день! На свое несчастье появился ты на этот свет… Чем же мне накормить тебя, сиротиночка? Не видишь — вокруг ни души! Только мы с тобой в целом мире, только мы с тобой, горемычные, и только белая тучка в небе, даже птица не летит, только белая тучка кружит… Куда же мы с тобой пойдем? Чем мне кормить тебя? Покинуты мы, брошены, а отец и мать твои повешены и закопаны, и куда идут люди войной, и зачем сила на силу прет со знаменами да барабанами, и чего ищут люди, обездолив тебя, новорожденного?!

Алтун снова побежала по степи, крепко прижимая к себе плачущее дитя, побежала, чтобы только не стоять, не бездействовать, не разрываться живьем от горя… А младенец не понимал, захлебывался в плаче, требуя своего, требуя теплого материнского молока. В отчаянии Алтун присела на камень, со слезами и гневом рванула ворот своего платья и сунула ему грудку свою,

уже немолодую, никогда не знавшую ребенка:

— Ну, на, на! Убедись! Было бы чем кормить, неужто я не дала бы тебе молока пососать, сиротиночке несчастной! На, убедись! Может, поверишь и перестанешь терзать меня! Хотя что я говорю! Кому я говорю! Что моя пустышка тебе, что мои слова! О, Небо, какое же наказание ты уготовило мне!

Ребенок сразу примолк, завладев грудью, и, приноравливаясь всем существом своим к ожидаемой благодати, зачмокал, заработал деснами, то открывая, то закрывая при этом заблестевшие радостно глазки.

— Ну и что? — беззлобно и устало укоряла женщина сосунка. — Убедился? Убедился, что попусту сосешь? Да ты ведь сейчас зайдешься плачем пуще прежнего, и что мне тогда с тобой делать в этой проклятой степи? Скажешь — обман, да разве бы стала я тебя обманывать? Всю жизнь в рабынях хожу, но никогда никого не обманывала, мать еще в детстве говорила, у нас, в роду моем, в Китае никто никого не обманывал. Ну, ну, потешься малость, сейчас ты узнаешь горькую истину…

Так приговаривала прислужница Алтун, готовя себя к неизбежной участи, но — странно ей было,

что сосунок, кажется, не собирался отказываться от пустой груди, а наоборот, блаженство светилось на его крохотном личике…

Алтун осторожно вынула из уст младенца сосок и тихо вскрикнула, когда вдруг брызнула из него струйка белого молока. Пораженная, она снова дала грудь ребенку, потом снова отняла сосок и опять увидела молоко. У нее появилось молоко! Теперь она явственно почувствовала прилив некой силы во всем своем теле.

— О, Боже! — невольно воскликнула прислужница Алтун. — У меня молоко! Настоящее молоко! Ты слышишь, маленький мой, я буду твоей матерью! Ты не погибнешь теперь! Небо услышало нас, ты мое выстраданное дитя! Имя твое Кунан, так назвали тебя родители, твои отец с матерью, полюбившие друг друга, чтобы явить тебя на свет и погибнуть из-за этого! Поблагодари, дитя, того, кто явил нам это чудо — молоко мое для тебя…

Потрясенная происшедшим, Алтун умолкла, жарко стало, пот выступил на челе. Озираясь вокруг в том бескрайнем пространстве, не заметила, не увидела она ничего, ни единой души, ни единой твари, только солнце светило, и кружила над головой одинокая белая тучка.

Насыщаясь и наслаждаясь молоком, младенец

засыпал, тельце его расслаблялось, доверительно покоясь на полусогнутой руке, дыхание становилось ровным, а женщина, позабыв обо всем, что было пережито, преодолевая все еще гудящий в ушах беспощадный бой добулбасов, отдалась неведомым ранее сладостным ощущениям кормящей матери, открывая в том для себя некое благодатное единство земли, неба, молока…

А тем временем поход продолжался… Все дальше на запад катилась заданным ходом великая степная армада завоевателя мира. Войска, обозы, гурты…

В сопровождении стражи и свиты, за знаменосцами с развевающимися знаменами, на которых яростные драконы, расшитые шелками, изрыгали пламя, двигался Чингисхан на своем неизменном и неутомимом иноходце поразительной, как сама судьба, масти — с белой гривой и черным хвостом.

Земля уплывала назад, гудя под литыми копытами иноходца, земля убегала назад, но не убавлялась, а все прирастала, постоянно простираясь до вечно недостижимого горизонта все новыми и новыми пространствами. И не было тому конца и края. И будучи песчинкой по сравнению с бескрайностью и величием земли,

хаган жаждал обладать всем, что было обозримо и необозримо, достигнуть признания его Повелителем Четырех Сторон Света. Потому и шел завоевывать, и вел войско в поход…

Хаган был суров и молчалив, как, впрочем, и положено быть тому. Но никто не предполагал, что творилось у него на душе. Никто ничего не понял и тогда, когда вдруг случилось совершенно неожиданное, — когда хаган вдруг круто повернул коня, повернул вспять, так круто, что поспешавшие следом чуть было не столкнулись с ним и едва успели принять в стороны. Тревожно и тщетно обозревал хаган небеса, прислонив дрожащую ладонь к глазам, нет, не задержалось, не отстало в пути белое облачко, не было его ни впереди, ни позади. Так неожиданно исчезло оно, неизменно сопровождавшее его белое облачко. Больше оно не появилось ни в тот день, ни на второй, ни на десятый. Облачко покинуло хагана.

Дойдя до Итиля, Чингисхан понял, что Небо отвернулось от него. Дальше он не пошел. Отправил завоевывать Европу сыновей и внуков, сам же вернулся назад в Ордос, чтобы здесь умереть и быть похороненным неизвестно где.

Поезда в этих краях шли с запада на восток и с востока на запад…

В середине февраля 1953 года среди пассажирских поездов, шедших через сарозекские степи с востока на запад, следовал поезд с дополнительным спецвагоном в голове состава. Безномерной вагон этот, прицепленный сразу за багажным, внешне ничем особо не отличался от остальных, но только внешне, одна часть спецвагона была почтовым отделением, другая же его половина, наглухо отделенная от почтового блока, служила путевым следственным изолятором для лиц, представлявших особый интерес для органов госбезопасности. Таким лицом благодаря задуманному старшим следователем одного из оперативных отделов госбезопасности Казахстана Тансыкбаевым делу оказался в этот раз Абуталип Куттыбаев. Это его везли в том арестантском отсеке в сопровождении самого Тансыкбаева и усиленной охраны. Везли для очных ставок в другие города.

Тансыкбаев оказался неутомим в достижении поставленной цели — допросы продолжались и в пути. Задача Тансыкбаева заключалась в том, чтобы шаг за шагом выявить подрывную сеть, созданную вражескими спецслужбами из лиц, бежавших при загадочных обстоятельствах из немецкого плена, оказавшихся в Югославии и

вошедших там в прямые контакты не только с будущими югославскими ревизионистами, но и с английской разведкой. Необходимо было разоблачить завербованных и затаившихся до срока врагов Советской власти путем неустанных допросов, сличения показаний, прямых и косвенных улик и, главное, через торжество королевы следствия — полное признание обвиняемыми их вины и раскаяние в содеянном.

Начало тому было уже положено — в процессе допросов Абуталип Куттыбаев припомнил около десятка имен бывших военнопленных, воевавших в Югославии; большинство из них при проверке оказались живыми и здоровыми, проживающими в разных концах страны. Эти люди уже были арестованы и, в свою очередь, на допросах назвали еще много имен, значительно пополнив тем самым список югославских предателей. Одним словом, дело обрастало живой плотью и, с благословения высшестоящего начальства, придерживавшегося мнения, что профилактика в выявлении вражеских элементов никогда не вредна, вступало во вполне серьезную фазу. В случае успеха на фоне разгоравшегося международного конфликта с югославской компартией, предания Тито идеологической анафеме самим

Сталиным оно могло оказаться весьма выигрышным и обещало «большой урожай» не только зачинателю процесса Тансыкбаеву, но и многим его коллегам из других городов, проявлявшим чрезвычайную заинтересованность по той же причине — всем им хотелось, пользуясь ситуацией, выдвинуться. Отсюда шла согласованность действий. Во всяком случае, в таких областных городах, как Чкалов (бывший Оренбург), Куйбышев, Саратов, куда везли Абуталипа Куттыбаева на очные ставки и перекрестные допросы, приезда Тансыкбаева ожидали с нетерпением.

Тансыкбаев не терял времени, он любил темпы, напор в работе. От него не ускользнуло, как подействовал на подследственного выезд из места заключения, с какой болью и тоской вглядывался тот сквозь решетку в проносящиеся за окном пристанционные поселки. Тансыкбаев понимал, что происходило у Куттыбаева на душе, и пытался внушить ему, насколько возможно, доверительным тоном, что он, следователь-де, нисколько не желает ему зла, потому как предполагает, что не так уж велика вина самого Куттыбаева, что-де ясно, конечно, что не он, Абуталип Куттыбаев, резидент, руководитель агентурной сети, зарезервированной спецслужбами на слу-

чай чрезвычайной ситуации в стране, и если Куттыбаев поможет следствию обнаружить главаря-резидента и, главное, раскрыть, железно доказать это на очной ставке, то свою участь он этим может облегчить. Очень даже. Смотришь, лет через пять — семь вернется к семье, к детям. В любом случае, если он поможет объективному ведению следствия, высшей меры наказания — расстрела — он избежит, и наоборот, чем больше он будет упорствовать, запутывать дело, скрывать от карательных органов истину, тем хуже для него, тем больше несчастья причинит он своей семье. Может случиться, на закрытом суде выйдет и вышка…

Еще один козырной ход Тансыкбаева заключался в том, что он внушал подследственному: если тот пойдет на сотрудничество, то его записи сарозекских преданий, особенно «Легенда о манкурте» и «Сарозекская казнь», не будут приобщены к делу, и наоборот, если Абуталип этого не сделает, Тансыкбаев предложит суду рассмотреть записанные им тексты как завуалированную под старину националистическую пропаганду. «Легенда о манкурте» — вредный призыв к возрождению ненужного и забытого языка предков, к сопротивлению ассимиляции

наций, а «Сарозекская казнь» — осуждение сильной верховной власти, подрыв идеи главенства интересов государства над интересами личности, сочувствие гнилому буржуазному индивидуализму, осуждение общей линии коллективизации, т. е. подчинения коллектива единой цели, отсюда недалеко и до негативного восприятия социализма. А, как известно, любое нарушение социалистических принципов и интересов сурово карается… Недаром тем, кто без санкции подобрал с поля общественный колосок, дают десять лет лагерей. Что уж говорить о собирателе идеологических «колосков»! С такой подачи суд может рассмотреть дополнительные обвинения по дополнительной статье. Для большей убедительности Тансыкбаев несколько раз зачитывал вслух свои четкие умозаключения по поводу сарозекских текстов, не случайно явившихся, как всякий раз он подчеркивал, первым сигналом к аресту Куттыбаева и заведению дела…

Поезд шел уже вторые сутки. И чем ближе к сарозекам, тем больше волновался Абуталип, вглядываясь через зарешеченное окно в наплывающие просторы. В свободные от допросов часы, после тягостных увещеваний и яростных угроз, он мог остаться наедине с собой, закрытый в

своем арестантском купе, обитом листовым железом. Это тоже была тюрьма, как и алма-атинский полуподвал, здесь тоже окно было зарешечено, не менее крепко, чем там, здесь тоже в глазок присматривало жесткое око надзирателя, но все же это было движением в пути, переменой мест, и, наконец, здесь он был избавлен от дикого, круглосуточно слепящего света с потолка, и самое главное — теплилась, то возгораясь, то угасая, неутихающая, саднящая душу надежда — увидеть хотя бы мельком детей, жену на полустанке Боранлы-Буранный. Ведь за все это время ни одного письма, ни одной весточки им не смог он отправить, и от них не получил ни единой строчки.

Этими надеждами и тревогами полна была душа Абуталипа с тех пор, как привезли его в крытой тюремной машине на станцию отправления под Алма-Атой и водворили в спецвагон, в купе под стражу. И как только понял он по ходу движения, что поезд идет в сарозекском направлении, так с новой силой застонала, запричитала душа его — увидеть хотя бы краешком глаза, хотя бы на мгновение детишек, Зарипу, и тогда будь что будет, только бы глянуть, узреть мимолетно…

Истосковался он до такой степени, что ни о чем

другом теперь и думать не мог, только молил Бога, чтобы проезд через Боранлы-Буранный пришелся на дневное время, чтобы только не ночью, только бы не во тьме, и чтобы поезд через полустанок прошел непременно тогда, когда Зарипа и дети оказались бы на виду, а не в стенах барака.

Вот и все, что он просил у судьбы. И мало, и много. Но если подумать, то, в самом деле, что стоило случаю волей своей распорядиться так, а не иначе, — почему бы детям и Зарипе не оказаться в тот час во дворе, пусть бы детишки играли в свои игры, а Зарипа как раз развешивала бы белье на веревке и оглянулась бы между делом на проходящий поезд, и дети тоже вдруг замерли бы на месте, загляделись бы на мелькающие окна вагонов. А вдруг случилось бы такое, что редко, но случалось, — поезд бы взял да остановился на разъезде на несколько минут! И тут душа Абуталипа разрывалась: и хотела, чтобы счастье такое вдруг приключилось, но лучше бы не надо, — нет, не выдержал бы он такого страшного испытания, умер бы, да и детишек жалко — каково-то бы им пришлось, если б увидели отца в зарешеченном окне, как зашлись бы они в реве… Нет, нет, лучше не видеться…

И чтобы укрепить себя, чтобы убедить, загово-

рить судьбу смилостивиться, чтобы исполнились загаданные желания, он то и дело принимался просчитывать и прикидывать, ориентируясь по железнодорожным приметам, станциям в пути, различные варианты продвижения поезда — важно было установить, в какое время суток должны были они миновать сарозекский разъезд Боранлы-Буранный. Однако сомнения и тревоги не покидали его и тогда, когда расчеты получались благоприятными, ведь поезд мог задержаться, выйти из графика, опоздать, что нередко случалось зимой при больших снегопадах. Самым обидным было бы, если бы поезд проскочил полустанок ночью, когда Зарипа с детишками будут спать, не подозревая, что отец едет мимо в каких-нибудь десятках метров от дома. Вероятность этого нельзя было исключить, и тем больше страдал Абуталип, сознавая свою полную беспомощность и полную зависимость от случая.

И еще очень опасался Абуталип и молил Бога избавить его от этой напасти — как бы кречетоглазый следователь Тансыкбаев не учинил ему очередной допрос именно в тот час, когда они будут проезжать боранлинский разъезд.

Сколько препятствий и опасностей злейшим

образом противостояли чистому желанию человека всего лишь мельком увидеть своих родных — такова была цена лишения свободы, и лишь одно радовало и вселяло надежду, что ему повезет, окно в камере оказалось справа по движению, именно на той стороне, на которой располагался пристанционный барак на разъезде Боранлы-Буранный.

Все эти мысли, страхи, сомнения, втягивая Абуталипа в омут переживаний, отвлекли его от собственной участи, он, всецело погрузившись в напряженное ожидание, уже не думал о себе, не желал вникать в суть происходящего, не отдавал себе отчета в том, чем грозили ему чудовищные обвинения, выдвигаемые против него, навязываемые ему систематически требующим признания следователем Тансыкбаевым, фанатично и цинично добивавшимся поставленной цели — раскрыть сфабрикованную им же самим, якобы существующую в резерве еще с военных лет вражескую агентурную сеть, раскрыть, чтобы, ликвидировав, защитить государственную безопасность.

Не подконтрольный ни Богу, ни сатане, Тансыкбаев все рассчитал и предопределил, как Бог и сатана, оставалось только действовать. С тем

он и ехал, с тем он и вез в арестантском купе Абуталипа Куттыбаева на очные ставки, чтобы поставить последние точки над «i».

Абуталип же в ту пору молил Бога лишь об одном — чтобы ничто не помешало ему увидеть в окно вагона хотя бы на миг мальчишек своих Эрмеке и Даула, увидеть Зарипу, напоследок, навсегда. Большего он от жизни уже не просил, понимал подспудно и горько, что так написано ему на роду! Что это будет последним мгновением счастья, что отныне он никогда не вернется к семье, ибо то, что инкриминировалось ему Тансыкбаевым, перед которым он был абсолютно беззащитен и бесправен и, стало быть, столь же беззащитен и бесправен перед лицом всемогущей власти, не могло предвещать ничего иного, кроме погибели, чуть раньше или чуть позже, но погибели в лагерях. Абуталип приходил к неизбежному выводу: он обреченная жертва в руках Тансыкбаева. В свою очередь, Тансыкбаев был винтиком в абсурдной, но постоянно самозатачивающейся карательной системе, направленной на неустанную борьбу с врагами, помышляющими остановить мировое движение социализма, препятствующими торжеству коммунизма на земле.

Эта магическая формулировка, однажды обращенная к кому бы то ни было как обвинение, не могла иметь обратного хода. Она могла быть исчерпана только тем или иным наказанием: расстрелом, лишением свободы на двадцать пять лет, на пятнадцать или десять лет. Другого исхода не предусматривалось. Никто и не ждал в подобных случаях иного исхода. И жертва, и каратель одинаково понимали, что эта магическая формулировка, вступив в силу, не только оправдывала карателя, но и более того — обязывала его прибегать к любым средствам для искоренения врагов, а репрессируемого, приносимого в жертву кровавому молоху истребления инакомыслия, обязывала осознать свою обреченность как целесообразную необходимость.

Так оно и получалось. Поезд катился по саро-зекской степи, колеса вращались, Тансыкбаев и его подследственный ехали в одном вагоне, чтобы сообща, при этом каждый по-своему, сделать необходимое для блага трудящихся дело — осуществить очередное разоблачение затаившихся идеологических врагов, без чего социализм был бы немыслим, самораспустился бы, иссяк в сознании масс. Потому требовалось все время с кем-то бороться, кого-то разоблачать, что-то лик-

видировать...

А поезд катился. И поскольку Абуталип ничем и никак не мог изменить судьбы, то вынужденно смирялся со своей горькой участью как с неотвратимым злом. Теперь он воспринимал суть происходящего настолько же покорно и безнадежно, насколько болезненно и отчаянно сопротивлялся тому поначалу. Теперь он все больше убеждался, что если бы ему было дано заново родиться на свет, то и тогда не удалось бы избежать столкновения с безликой, бесчеловечной силой, стоящей за Тансыкбаевым. Эта сила оказалась пострашнее войны и пострашнее плена, ибо она была бессрочным злом, длившимся, возможно, со времени сотворения мира. Возможно, Абуталип Куттыбаев, скромный школьный учитель, оказался в роду человеческом одним из тех, кто расплачивался за долгое томление дьявола от безделия в просторах Вселенной, пока не появился на земле человек, который, один-единственный из всех земных тварей, сразу сошелся с дьяволом, культивируя торжество зла изо день в день, из века в век. Да, только человек оказался таким ревностным носителем зла. В этом смысле Тансыкбаев был для Абуталипа изначальным носителем дьявольщины. Потому-то они и сле-

довали в одном поезде, в одном спецвагоне, по одному чрезвычайно важному делу.

Когда Тансыкбаева отвлекали на разных станциях встречающие сослуживцы местного уровня, приносившие, кто по дружбе, кто по службе, всяческую дорожную снедь и выпивку, Абуталипа это даже радовало — все же меньше времени оставалось у того на терзание допросами. Пусть себе услаждается в пути. В Кзыл-Орде на вокзале была особенно радушная встреча коллег — друзья принесли в вагон Тансыкбаева дымящееся блюдо, покрытое белым полотенцем. В коридоре за дверью засновали охранники, принимавшие угощение: «Казы, кабырга! — полушепотом, с удовольствием проговорил один из них. — А запах какой! В городе такого не бывает. Степное мясо!»

Через краешек зарешеченного окна Абуталип увидел, как Тансыкбаев в шинели внакидку вышел попрощаться на перрон. Стояли все кружком, коренастые, упитанные, как на подбор, в каракулевых шапках, с краснощекими сияющими лицами, улыбчивые, оживленно жестикулирующие и дружно хохочущие, — возможно, по поводу нового анекдота, — пар горячий валил на морозном воздухе изо ртов, каблуки, наверное, поскрипывали на тонком снегу. А бдительная ми-

лиция никого сюда не подпускала — в изголовье состава, у спецвагона стояли они, тансыкбаевцы, одни, довольные, уверенные, счастливые, и никому совершенно не было дела до того, что рядом, в арестантском купе, томился посаженный их стараниями не вор, не насильник, не убийца, а, напротив, честный, добропорядочный человек, прошедший войну и плен и не исповедовавший никакой иной веры, кроме любви к своим детям и жене, и видевший в этой любви главный смысл жизни. Но именно такой человек, не состоявший ни в какой партии на свете и потому не клявшийся и не каявшийся, был нужен им в застенках, чтобы счастливо жилось трудовому народу…

После Кзыл-Орды пошли знакомые, родные места. Близился вечер. Медленно изгибаясь в заснеженных низинах, блеснула Сыр-Дарья, и вскоре, уже на заходе солнца, завиднелось посреди степи Аральское море. Вначале то камышовой излучиной, то отдаленным краем чистой воды, то островком напоминало море о себе, а вскоре Абуталип увидел прибойные волны на мокром песке почти у самой железной дороги. Удивительно было все это узреть в одно мгновение: и снег, и песок, и прибрежные камни, и синее море на ветру, и стадо бурых верблюдов на камени-

стом полуострове, и все это под высоким небом в белых разрозненных пятнах облаков.

Припомнил Абуталип, что Буранный Едигей родом с Аральского моря, что Казангап получает от знакомых рыбаков посылки с любимой им вяленой аральской рыбой через проводников на товарняках, и заныло, защемило тревожно сердце — до разъезда Боранлы-Буранный оставалось не так много — ночь езды, а утром, часам к десяти или чуть позднее, прогудит пассажирский поезд со спецвагоном в голове состава, мчась мимо боранлинских обшарпанных ветрами домиков, мимо сараюшек и верблюжьих загонов, огороженных колючими снопами, и, оставляя позади сбегающиеся пути, скроется из виду, придя и уйдя. Сколько их проходит, поездов, — с востока на запад и с запада на восток, но подскажет ли сердце Зарипе, что Абуталип проедет мимо в то утро на запад в арестантском купе спецвагона, а может, детские души почуют нечто необъяснимое и тревожное, и потянет их именно в тот час поглазеть на проходящий поезд? О создатель, для чего же надо жить людям так тяжко и горько?

Февральское солнце уже закатывалось, угасало вдали холодно рдеющей багровой полосой между небом и землей, и уже смеркалось, и уже нака-

тывалась исподволь зимняя ночь. Размывались в сумерках мелькающие видения, зажигались станционные огни. А поезд, извиваясь, прокладывал путь в глубину степной ночи…

Не спалось, маялся Абуталип Куттыбаев. Закрытый в окованном жестью купе, не находил он себе места, метался из угла в угол, вздыхал, то и дело попусту просился в туалет, вызывая раздражение надзирателя. Тот уже несколько раз делал замечание, приоткрыв дверцу купе:

— Заключенный, ты что все шебуршишься? Не положено так! Сиди смирно!

Но Абуталип не в силах был успокоить себя, и он взмолился, обращаясь к охраннику:

— Слушай, дежурный, умоляю, дай что-нибудь, чтобы уснуть, иначе я умру. Честное слово! А зачем я вам мертвый? Скажи начальнику своему — зачем я вам мертвый? Истинно — не могу заснуть!

Как ни странно (причину той отзывчивости Абуталип понял на другой день утром), надзиратель принес из купе Тансыкбаева две таблетки снотворного, и только тогда, приняв снотворное, задремал Абуталип уже в середине ночи, но уснуть по-настоящему так и не удалось. Мерещилось ему в полусне под дробный стук колес и

завывание гудящего ветра снаружи, что бежит он впереди паровоза, бежит, надрываясь и хрипя, в страхе, что попадет под колеса, а поезд мчится за ним на всех парах. Так бежал он той безумной ночью по шпалам впереди паровоза, и казалось, что происходит это наяву, настолько было страшно и правдоподобно. Пить хотелось, в горле пересыхало. Паровоз же гнался за ним с пылающими фарами, освещая ему путь впереди. А он бежал между рельсами, вглядываясь напряженно в метельную округу, и звал, кликал жалобно, оглядываясь по сторонам: «Зарипа, Даул, Эрмек, где вы? Бегите ко мне! Это я, ваш отец! Где вы? Отзовитесь!». Никто не отзывался. Впереди бушевала темная мгла, а позади настигал, готовый смять, раздавить его, грохочущий паровоз, и не было сил убежать, скрыться куда-нибудь от набегающего сзади все ближе и ближе, по пятам паровоза… И оттого становилось еще хуже — страх, отчаяние сковывали движения, ноги становились непослушными, дыхание прерывалось…

Рано утром, накинув фуфайку на плечи, бледный, отекший Абуталип уже сидел у зарешеченного окна и вглядывался в степь. Холодно, темно еще было снаружи, но постепенно земля прояснялась, утро входило в силу.

День обещал быть пасмурным, возможно, со снегом, хотя в небе виднелись и размытые просветы…

Да, пошли уже собственно сарозекские земли, заснеженные по зиме, заметенные сугробами, но для внимательного взора узнаваемые по очертаниям, пригорки, овраги, поселения, первые дымки над знакомыми по прежним проездам крышами. И эти чужие крыши с зимними дымами из труб казались родными. Скоро предстояла станция Кумбель, а там, часа через три, и разъезд Боранлы-Буранный. Можно сказать, совсем уже близко — ведь сюда, в эти места, Едигей и Казангап наезжали при случае и на верблюдах — на поминки, на свадьбы… Вот и в этот ранний час кто-то ехал верхом на буром верблюде, в большой меховой шапке — лисьем малахае, и Абуталип приник к самой решетке — а вдруг это кто из своих… А что если вдруг то Едигей на своем Каранаре очутился здесь почему-либо? Что стоит ему отмахать сотню верст на своем могучем атане, который бежит, как, должно быть, бегает жираф где-нибудь в Африке…

И как-то, сам того не замечая, поддался Абуталип настроению — стал собираться, как бы к выходу из поезда. Раза два переобувался даже, пе-

рематывал портянки, сложил вещмешок. И стал ждать. Но не усидел — добился у охраны, чтобы умыться пораньше в туалете и, возвращенный в купе, снова не знал, чем занять себя.

А поезд шел по сарозекским степям… Смиряя себя, Абуталип сидел, зажав сомкнутые руки между коленями, и лишь изредка позволял себе смотреть в окно.

На станции Кумбель поезд простоял семь минут. Здесь все уже было своим. Даже поезда — товарные и пассажирские, встретившиеся с его поездом на путях этой большой станции перед тем, как разминуться в разные стороны, — казались Абуталипу желанными и родными, ведь они совсем недавно проходили через Боранлы-Буранный, где жили его дети и жена. Одного этого оказалось достаточно, чтобы полюбить даже неодушевленные предметы.

Но вот его поезд снова двинулся в путь, и, пока он шел вдоль перрона, пока выходил из пределов станции, Абуталип успел разглядеть показавшиеся ему знакомыми лица местных жителей. Да, да, он, безусловно, знал их, этих увиденных им кумбельцев, да и они наверняка знали старожилов боранлинских — Казангапа, Едигея, их домочадцев, ведь сынок Казангапа Сабитжан

окончил здешнюю школу, а теперь учился уже в институте…

Оставляя позади станционные пути, поезд набирал скорость, шел все быстрей и быстрей. Припомнилось Абуталипу, как приезжали они сюда с детворой за арбузами, как приезжал он за новогодней елкой и по разным другим делам…

К еде, выданной ему на утро, Абуталип даже не прикоснулся. Все думалось о том, что до разъезда Боранлы-Буранный осталось совсем немного — часа два с небольшим, и теперь Абуталип опасался, как бы не пошел снег, как бы не заметелило, — ведь тогда Зарипа и детишки будут сидеть дома, и тогда, конечно, он их не увидит даже издали…

«О, Боже, — думалось Абуталипу, — воздержись в этот раз от снега. Повремени немного. Ведь и потом у тебя хватит времени на это. Ты слышишь? Прошу тебя!» Сжавшись в комок, стиснув сомкнутые руки между колен, Абуталип пытался сосредоточиться, набраться терпения, уйти в себя, чтобы не помешать загаданному, дождаться того, чего он просил у судьбы, — увидеть через окно вагона жену и детей. А вот если бы они его увидели… Утром, когда он, охраняемый за дверью надзирателем, умывался в туалете и

посмотрел на себя в позеленевшее зеркало над ржавой раковиной, бросилось ему в глаза, что он бледен, желт, как мертвец, даже в плену не был так желт, и уже сед, и глаза не те, поугасшие от горя, морщины резко прорезались на лбу… А ведь о старости еще не думалось… Если бы сыночки Даул и Эрмек, если бы Зарипа увидели его, то вряд ли признали бы — испугались бы, пожалуй. Но потом они наверняка обрадовались бы, и стоило бы ему вернуться в семью, стоило бы обрести покой рядом с детьми и женой, он снова бы стал таким, как прежде…

Размышляя об этом, Абуталип поглядывал в окно. Вот опять знакомое место — пригорки, а между ними седловинка. Мечтал когда-то приехать сюда с детворой боранлинской, чтоб набегались с пригорка на пригорок, как с волны на волну, радостно визжа.

В этот момент ключи в дверях арестантского купе решительно загремели, дверь распахнулась, на пороге стояли двое надзирателей.

— Выходи на допрос! — приказал старший из них.

— Как на допрос? Зачем? — невольно вырвалось у Абуталипа.

Надзиратель даже придвинулся к нему недо-

уменно, не больной ли случаем:

— Что значит, зачем? Не понимаешь, что ли, выходи на допрос!

Абуталип в отчаянье опустил голову. Кинулся бы, не раздумывая, в окно, чтобы камнем проломиться прочь, но на окне была решетка... Пришлось подчиниться. Значит, не судьба. Значит, не увидеть ему, приникнув к окну, того, чего он так ждал. Абуталип медленно поднялся с места, как человек с тяжким грузом, и пошел, сопровождаемый надзирателями, в купе к Тансыкбаеву, как на виселицу. И, однако, мелькнула последняя надежда — впереди еще часа полтора пути, может быть, допрос закончится к тому времени. Оставалось надеяться только на это. До купе Тансыкбаева было всего четыре шага. Долго шел Абуталип эти четыре шага. А тот уже ждал его.

— Заходи, Куттыбаев, поговорим, поработаем, — соблюдая строгость в лице и голосе и тем не менее довольно оглаживая свежевыбритое лицо, протертое резким одеколоном, проговорил Тансыкбаев, вглядываясь в Абуталипа пронзительными глазами. — Садись. Разрешаю садиться. Так будет удобней и тебе, и мне.

Охранники остались за закрытыми дверями,

готовые немедленно явиться по первому зову. Убить кречетоглазого было невозможно. Нечем. Не видно было нигде ни бутылки, ни стакана, хотя, конечно, кречетоглазый не прочь был пропустить при случае. Об этом говорил запах водки и закусок в купе.

Поезд же шел, как и прежде, разрезая движением сарозекскую степь, и все меньше оставалось пути до разъезда Боранлы-Буранный. Тансыкбаев не спешил, перечитывал какие-то записи, копался в бумагах. И Абуталип не утерпел, он истомился, извелся за несколько минут, так тяжел был ему этот вызов на допрос. И он сказал Тансыкбаеву:

— Я жду, гражданин начальник.

Тансыкбаев удивленно поднял глаза:

— Ты ждешь? — недоуменно проговорил он. — Чего ты ждешь?

— Допроса жду. Вопросов жду…

— Ах вон оно что! — протянул Тансыкбаев, подавляя в себе вспыхнувшее торжество. — Что ж, это неплохо, Куттыбаев, я тебе скажу, совсем неплохо, когда обвиняемый сам, как говорится, по доброй воле, раскаявшись, ждет допроса, чтобы ответить на дознание… Значит, ему есть что сказать, есть что открыть следственным органам.

Не так ли? — Тансыкбаев понял, что именно так следует вести сегодня допрос, сменив угрожающий тон на обманчиво дружелюбный. — Стало быть, ты осознал, — продолжал он, — в чем твоя вина, и желаешь помочь следственным органам в борьбе с врагами Советской власти, даже если ты сам был врагом. Важно, что для нас с тобой Советская власть прежде всего, дороже отца-матери, разумеется, для каждого по-своему, — он замолчал удовлетворенно и добавил: — Я всегда думал, что ты разумный человек, Куттыбаев, И всегда надеялся, что мы с тобой найдем общий язык. Что молчишь?

— Не знаю, — неопределенно ответил Абуталип, — не понимаю, в чем я виноват, — добавил он, украдкой поглядывая за окно вагона. Поезд шел напряженно, и сарозекская степь под хмуро нависающим небом убегала назад с головокружительной скоростью, как в немом кино.

— Вот что я тебе скажу. Будем откровенны, — продолжал Тансыкбаев. — Ведь тебя везут, как короля, в спецвагоне не случайно. Такое не бывает зазря. За так-сяк в купе отдельном не повезут. Значит, ты важная персона в следственном деле. От тебя многое зависит. И с тебя особый спрос. Подумай. Очень даже подумай. А теперь послушай,

что я скажу. Сегодня поздно вечером мы прибываем в Оренбург, в Чкалов то есть. Там нас ждут. Это наш первый пункт. Ты знаешь, там проживают двое из твоих подельников: Попов Александр Иванович и татарин Сейфулин Хамид. Оба они уже под арестом. Кстати, с твоих показаний. И оба признаются, что вместе с тобой были в плену в Баварии, а потом вместе бежали, — кстати, при странных обстоятельствах, почему-то только вашей бригаде удалось бежать из каменоломен, в этом мы еще разберемся. А потом в Югославии подвизались, и оба они дают показания, что были на встрече с английской миссией. Ты хорошо знаешь, о чем речь. Об этом ты писал в своих воспоминаниях. Надо сказать, любопытно написанных. Нам известно, что Попов — резидент, а Сейфулин его дублер, правая рука. Ты, Куттыбаев, конечно, не первая скрипка в агентуре, потому тебе облегчение, если поможешь следствию.

— Какая агентура? Я уже говорил, что я не видел их с сорок пятого года, как кончилась война, — вставил Абуталип.

— Это неважно. Совсем неважно. Не обязательно видеться в личном порядке, с глазу на глаз. Кто-то был связным. Ну, скажем, этот самый правдолюбец Едигей Джангельдин не ездил ли в

Оренбург или куда еще? Ведь и так могло быть, что вы держали связь через кого-то. Ты подумай сначала.

— Если я скажу, что Едигей ездил в Оренбург на своем верблюде Каранаре, — это пойдет? — не удержался Абуталип.

— Ты опять за свое, Куттыбаев. Напрасно. Я с тобой ведь по-хорошему, а ты уже нос воротишь. Сопротивление только во вред тебе. А насчет Едигея можешь не беспокоиться. Надо будет, возьмем и его, даже вместе с верблюдом. Если хочешь, чтобы мы его не трогали, не крути на очной ставке.

Паровоз впереди дал долгий, сильный сигнал встречному. Его мощный гудок тягостно прошелся по сердцу Абуталипа. Все меньше времени оставалось до разъезда Боранлы-Буранный. Ход рассуждений кречетоглазого ужасал Абуталипа. Для такой силы нет ничего невозможного в стране. Но в этот час больше всего угнетало Абуталипа то, что на Тансыкбаева напала необычная словоохотливость, и он не собирается заканчивать допрос.

— Так вот, — прервал молчание Тансыкбаев, отодвигая от себя бумаги и подняв глаза на Абуталипа. — Я уверен, что мы поймем друг друга, в

этом твой выход. Очная ставка в Оренбурге определит главное — или ты будешь мне помогать, делать дело, или я сделаю все, чтобы ты очень сожалел, когда получишь четвертной срок, а то и вышку. Ты понимаешь, что к чему. Мы доберемся и до самого Тито, которому вы служили все эти годы. За процессом следит сам Иосиф Виссарионович. Никто не останется безнаказанным, корчевать будем беспощадно, Так что, дорогой, благодари судьбу, что я не желаю тебе зла. Но и ты не должен оставаться в долгу. Ты понимаешь, о чем речь?

Абуталип молчал и, холодея, считал в уме минуты приближения к полустанку. Значит, так и не придется увидеть своих хотя бы в окно. Эта мысль сверлила его мозг.

— Ты что молчишь? Я тебя спрашиваю, ты понимаешь, о чем речь? — допытывался Тансыкбаев.

Абуталип кивнул головой. Конечно, он понимал, о чем речь.

— Ну, вот так бы давно! — Тансыкбаев истолковал кивок как знак согласия, он встал, подошел к Абуталипу и даже положил ему руку на плечо. Я знал, что ты неглупый джигит, что ты выйдешь на правильный путь. Значит, мы с тобой договорились. И ни в чем не сомневайся. Делай

все, как я скажу. Самое главное — не волнуйся на очной ставке, гляди в глаза и говори все, как есть. Попов — резидент, с сорок четвертого года завербован английской разведкой, перед депортацией был на совещании у самого Тито, имеет долгосрочное задание на случай волнений. Все, этого достаточно. Теперь насчет этого татарина Сейфулина, значит, так, Сейфулин — правая рука Попова. И все — этого хватит. Остальное мы сами. Делай заявления и не сомневайся. Тебе ничего не грозит. Абсолютно ничего. Я тебя не подведу. Так, стало быть. С врагами у нас разговор короткий — врагов ликвидируем. С друзьями сотрудничаем — делаем скидку. Запомни. И еще запомни, со мной шутки плохи. А что ты такой бледный, потный какой-то, тебе что, нездоровится? Душно?

— Да, плохо себя чувствую, — сказал Абуталип, преодолевая приступ головокружения и тошноты, точно он отравился дурной пищей.

— Ну, если так, не стану тебя задерживать. Сейчас пойдешь к себе и отдыхай до самого Оренбурга. Но в Оренбурге чтобы как штык. Понял? На очной ставке чтобы никаких шатаний. Никаких «не помню, не знаю, забыл» и прочее… Все, как есть, выкладывай, и баста. А остальное пусть тебя не волнует. Остальное мы сами. Вот так. Сейчас

не будем заниматься писаниной, иди отдыхай, а по итогам очной ставки в Оренбурге подпишем бумаги, как требуется. Подпишешь показания. А сейчас иди. Считаю, что мы с тобой обо всем договорились. — С этими словами Тансыкбаев отправил Абуталипа в его арестантское купе.

И с этого момента, как бы от нового рубежа, для Абуталипа началась какая-то особая жизнь. Ему показалось, что поезд ускорил свой бег. За окном стремительно мелькали хорошо знакомые места, до Боранлы-Буранного оставались считанные минуты. Надо было успокоиться, взять себя в руки и ждать, быть готовым к любому для себя исходу, но прежде всего надо было умерить скорость поезда. «Надо, чтобы поезд шел медленнее», — подумал Абуталип, заклиная некую силу, и вскоре почувствовал, или ему так показалось, что поезд вроде бы стал сбавлять скорость, за окном прекратилось раздражающее мелькание. И тогда он сказал себе: «Все будет, как я прошу!» — и немного успокоился, перестал задыхаться; приникнув к решетчатому окну, он стал ждать.

Поезд и в самом дел подходил к разъезду Боранлы-Буранный, куда беда пригнала Абуталипа изгоем, где он прижился и мечтал, пока дети подрастут, переждать невзгоды истории. Но и этому

оказалось не суждено сбыться. Семья осталась брошенной на произвол судьбы, а сам он проезжал теперь мимо в арестантском вагоне.

Абуталип всматривался в окно с таким напряжением, будто должен был запомнить увиденное на всю жизнь, до последнего вздоха, до последнего света в глазах. И все, что он видел в тот предполуденный час февральской зимы: сугробы, прогалины у железной дороги, местами оголившуюся, местами заснеженную степь — он воспринимал, как святое видение, — с трепетом, мольбой и любовью. Вот пригорок, вот ложбинка, вот тропка, по которой они с Зарипой ходили на ремонт путей с инструментом на плечах, вот полянка, где летом бегала детвора баранлинская и его мальчишки Даул и Эрмек… А вот кучка верблюдов, а вот там еще пара, и один из них — едигеевский Каранар, его же издали можно отличить, все такой же могучий, неспешно бредет себе куда-то; но что это — снег пошел вдруг, в воздухе за окном заметались снежинки, ну, конечно, ведь с утра небо набухало тучами, значит, быть непогоде, но чуточку бы погодил снежок, совсем чуточку, ведь видны уже загоны верблюжьи и первая крыша с дымом из трубы, а вот и стрелка, поезд переходит на запасную

колею, колеса перестукивают на стыках, и стрелочник у будки с флажком, так это же Казангап, жилистый, как посохшее дерево; о, Боже, вот промелькнула будка Казангапа, поезд движется дальше, мимо поселка; вот домики, их крыши и окна, вот кто-то вошел в дом только спину его увидел Абуталип, а вот кто-то орудует у жердей и досок, что-то строит для детворы. Едигей, — да, это он, Едигей, в телогрейке с засученными рукавами, и рядом его дочурки, а с ними и Эрмек, да, Эрмек мой родной, дорогой мой мальчик, стоит неподалеку от Едигея и что-то подает ему с земли, о Боже, лицо его только мелькнуло, а где же Даул, где Зарипа? Вон женщина идет беременная, то жена начальника разъезда Сауле, а вот и Зарипа, в платке, сбившемся на плечи, Зарипа и Даул, она ведет младшего за руку, они идут туда, где Едигей с детворой что-то сооружают, они идут и не знают, что он, Абуталип, судорожно зажал себе рукой рот, чтобы не закричать, не заорать дико и отчаянно: «Зарипа! Родная! Даул! Даул, сынок мой! Это я! Я вижу вас последний раз! Прощайте! Даул! Эрмек! Прощайте! Не забывайте! Я не могу без вас! Умру я без вас, без родных моих детей, без жены моей любимой! Прощайте!»

И все, что было увидено в те промелькнувшие

мгновения, снова и снова возникало перед взором Абуталипа, когда поезд уже давно миновал долгожданный разъезд Боранлы-Буранный. Уже валил снег за окном, густо и обильно, уже давно все осталось позади, но для Абуталипа Куттыбаева время остановилось в минувшем пространстве, на том отрезке пути, который вмещал в себя всю боль и смысл его жизни.

Он так и не смог оторвать себя от окна, хотя из-за снега глядеть в окно было уже бессмысленно. Он так и остался прикованным к окну, потрясенный тем, что, не смирившись с творимой несправедливостью, вынужден был, однако, подчиниться некой воле, тихо, украдкой проследовать мимо жены и детей, как безмолвная тварь, ибо к тому принудила его эта сила, лишившая его свободы, и он, вместо того, чтобы спрыгнуть с поезда, объявиться, открыто побежать к истосковавшейся семье, униженный и жалкий, глядел в окошко, позволил Тансыкбаеву обращаться с собой, как с собакой, которой приказано сидеть в углу и не двигаться. И чтобы как-то унять себя, Абуталип дал себе слово, которое не произнес, но понял…

Горькую сладость мимолетной встречи Абуталип испивал теперь до дна. Только это было

в его силах, только это оставалось в его воле — воскрешать и воскрешать все заново, подробно, в деталях, зримо: то, как увидел вначале Казангапа, все такого же, с неизменным флажком в жилистой руке, на постоянном его посту, сколько же поездов пропустил он на своем веку, стоя то в одном, то в другом конце разъезда; и то, как потом пошли боранлинские домики, загоны для скота, дымки над трубами, и потом — как он чуть не захлебнулся от собственного крика и отчаяния, успев зажать себе рот, когда увидел Эрмека среди детворы возле Буранного Едигея, что-то сооружавшего для ребятишек в тот час, верного человека, оставшегося в мире, как утес, самим собой. Эрмек подавал Едигею то ли дощечку, то ли еще что-то, и в те несколько секунд увидено было так отчетливо, так ясно — Едигей, живо обращенный к детям, большой, кряжистый, смуглолицый, в телогрейке с засученными рукавами, в кирзачах, и мальчик в старой зимней шапчонке и валенках, и идущие к ним Зарипа с Даулом. Бедная, родная Зарипа — так близко увидена была им — и то, что платок сбился на плечи, обнажив ее черные волнистые волосы, и бледное лицо, такое трогательное и желанное; расстегнутое пальто, грубые сапоги на ногах, купленные

им, наклон головы к сыночку — она что-то ему говорила, — все это, бесконечно близкое, родное, незабываемое, долго продолжало сопутствовать Абуталипу в его мысленном прощании после встречи… И ничем нельзя было заменить этой утраты, ничем и никогда…

Всю дорогу шел снег, мела, крутила пурга. На одной из станций перед Оренбургом поезд задержался на целый час — расчищали пути от сугробов… Слышались голоса, люди работали, проклиная погоду и все на свете. Потом поезд снова двинулся и шел, окутанный метельными вихрями. В Оренбург въезжали долго, придорожные деревья смутно высились черными, безмолвными корявыми стволами, как сушняк на брошенном кладбище. Самого города практически не было видно. На сортировочной станции опять же долго стояли в ночи — спецвагон отцепляли от состава. Абуталип это понял по толчкам вагонов, по крикам сцепщиков, по гудкам маневровых локомотивов. Потом вагон потащили еще куда-то, должно быть, на запасный путь.

Была уже глубокая ночь, когда спецвагон был поставлен на отведенное ему место. Последний толчок, последняя команда снизу: «Хорош! Отваливай!» Вагон остановился как вкопанный.

— Ну, все! Собирайся! Выходи, заключенный! — приказал старший надзиратель Абуталипу, открывая дверь купе. — Не задерживай! Выходи! Заспался? Глотни свежего воздуха!

Абуталип медленно поднялся навстречу и отрешенно сказал, подойдя вплотную к надзирателю:

— Я готов. Куда идти?

— Ну, готов, так шагай! А куда идти, конвой укажет, — надзиратель пропустил Абуталипа в коридор, но потом удивленно и возмущенно заорал, остановил его:

— А вещмешок твой остается, что ли? Ты куда? Почему не берешь вещмешок? Или тебе носильщика пригласить? Вернись, забери свои шмотки!

Абуталип вернулся в купе, нехотя взял забытый вещмешок и, когда снова вышел в коридор, то чуть не столкнулся с двумя местными спецсотрудниками, спешно и озабоченно идущими по вагону.

— Остановись! — прижал Абуталипа к стенке надзиратель. — Пропусти! Пусть товарищи пройдут.

Выходя из вагона, Абуталип слышал, как те двое постучались в купе Тансыкбаева.

— Товарищ Тансыкбаев! — донеслись их взвол-

нованные голоса. — С прибытием! Уж мы заждались вас! Уж мы заждались! А у нас снегопад! Извините! Разрешите представиться, товарищ майор!

Вооруженный конвой — трое в ушанках, в солдатской форме, — стоял внизу в ожидании заключенного, которого приказано было провести через пути к крытой машине.

— Ну, сходи! Чего ждешь? — торопил один из конвоиров. Сопровождаемый надзирателем, Абуталип молча сходил по ступеням с поезда. Резко дохнуло холодом, мелко порошил снег. От морозных поручней жестко свело руку. Тьма, разрываемая путевыми огнями на незнакомой станции, путаница рельсов, заметенных пургой, тревожные сигналы маневровых толкачей.

— Сдаю заключенного номером девяносто семь! — доложил конвою старший надзиратель.

— Принимаю заключенного номером девяносто семь! — эхом ответил старший конвоир.

— Все! Шагай, куда прикажут! — сказал Абуталипу старший надзиратель на прощание. И потом добавил зачем-то: — А там посадят в машину и увезут…

Абуталип под конвоем двинулся по путям, перешагивая наугад через рельсы и шпалы. Шли,

закрываясь от снега. Абуталип нес на плече вещмешок. То там, то тут подавали гудки локомотивы ночной смены.

Оренбургские коллеги, прибывшие к Тансыкбаеву в купе, чтобы увезти его в гостиницу, однако задержались, отмечая его прибытие. Коллеги предложили ради знакомства выпить и закусить тут же, в купе, тем более что ночь, нерабочее время. Кто не согласится. В разговоре Тансыкбаев счел возможным сказать, что дело пошло на лад, можно быть уверенным в успехе очной ставки, ради которой они прибыли из Алма-Аты.

Коллеги быстро сошлись, оживленно беседовали, как вдруг снаружи раздались возбужденные голоса и топот ног по коридору вагона. В купе ворвались конвоир и старший надзиратель. Конвоир был в крови. С диким, перекошенным лицом, отдавая честь Тансыкбаеву, крикнул:

— Заключенный номером девяносто семь погиб!

— Как погиб? — вскочил вне себя Тансыкбаев. — Что значит погиб?

— Бросился под паровоз! — уточнил старший надзиратель.

— Что значит бросился? Как бросился? — неистово тряс надзирателя Тансыкбаев.

— Когда мы подошли к путям, слева и справа маневровые двигались, — начал сбивчиво объяснять конвоир. — Там же состав передвигали. Туда-сюда… Ну, мы и остановились, чтобы переждать… А заключенный вдруг размахнулся вещмешком, ударил меня по голове, а сам кинулся прямо под паровоз, под колеса…

Все в полной растерянности от неожиданности происшедшего молчали. Тансыкбаев стал лихорадочно собираться к выходу.

— Гад такой, сволочь, выкрутился! — выругался он с дрожью в голосе. Все дело сорвал! А! Надо же! Ушел ведь, ушел! — и отчаянно махнул рукой, налил себе полный стакан водки.

Его оренбургские коллеги, однако, не преминули предупредить конвоира, что всю ответственность за случившееся несет конвой…

* * *

В самых последних числах февраля ездил Казангап в Кумбель проведать Сабитжана в интернате. Ездил верхом на верблюде. В проходящих товарняках зимой слишком уже холодно было добираться. В вагоны не залезешь, запрещено, а на открытых площадках ветер невыносимый. На верблюде же, тепло одевшись, можно при

хорошем ходе спокойно за день съездить туда и обратно и дела успеешь сделать.

Казангап вернулся в тот день к вечеру. Пока он спешивался, Едигей еще подумал — что-то не в духе Казангап, что-то уж очень мрачен, сын, наверно, нашкодил в интернате, да и устал, должно быть, трюхать верхом туда-сюда.

— Ну, как съездил? — подал голос Едигей.

— Да ничего, — глухо отозвался Казангап, занятый своей поклажей. Потом обернулся и, подумав, сказал: — Ты сейчас дома будешь?

— Дома.

— Дело есть. Я сейчас зайду к тебе.

— Заходи.

Казангап не заставил себя ждать. Пришел вместе со своей Букей. Сам впереди, жена следом. Оба они были чем-то очень озабочены. У Казангапа был усталый вид, шея еще больше вытянулась, плечи обвисли, усы поникли. Толстая Букей одышливо дышала, словно бы сердце так колотилось, что не могла продохнуть.

— Вы что такие, вы, часом, не поругались? — посмеялась Укубала. Мириться пришли. Садитесь.

— Если бы поругались, — набрякшим голосом ответила Букей, все так же тяжело дыша. Оглядываясь по сторонам, Казангап поинтересовался:

— А девчушки ваши где?

— У Зарипы играют с ребятами, — ответил Едигей. — А зачем они тебе?

— Вести у меня плохие, — промолвил Казангап, глянув на Едигея и Укубалу. — Дети пусть пока не знают. Беда большая. Умер наш Абуталип!

— Да ты что?! — подскочил Едигей, а Укубала, коротко вскрикнув, зажала ладонью рот и побелела как стена.

— Умер! Умер! Несчастные дети, несчастные сироты! — полухрипом-полушепотом запричитала Букей.

— Как умер? — все еще не веря услышанному, испуганно придвинулся Едигей к Казангапу.

— Бумага такая пришла на станцию.

И все они вдруг замолчали, не глядя друг на друга.

— Ой, горе! Ой, горе! — схватилась за голову Укубала и застонала, раскачиваясь из стороны в сторону…

— Где эта бумага? — спросил наконец Едигей.

— Бумага на месте, на станции, — стал рассказывать Казангап. — Ну, побывал я в интернате и дай, думаю, загляну на вокзал в магазинчик тот самый в зале ожидания, Букей мыла просила купить. Только я к двери, а навстречу сам началь-

ник станции Чернов. Ну, поздоровались, давно ведь знаем друг друга, а он мне говорит: «Вот кстати попался на глаза, зайдем ко мне в кабинет, письмо есть, захватишь с собой на разъезд». Он открыл свой кабинет, мы вошли. Достает из стола конверт с печатными буквами. «Абуталип Куттыбаев, говорит, у вас работал на разъезде?» У нас, говорю, а что такое? «Да вот третьего дня прибыла эта бумага, а передать не с кем было на Боранлы-Буранный. На, передай его жене. Тут ответ на ее запросы. Умер он, как тут написано», — и сказал какое-то непонятное мне слово. «От инфаркта, говорит». А это что такое — инфаркт, говорю я. А он отвечает — «от разрыва сердца». Вот оно как — лопнуло сердце. Я как сидел, так и оторопел. Не поверил вначале. Взял в руки ту бумагу. Там сказано: начальнику станции Кумбель сообщить на разъезд Боранлы-Буранный официальный ответ для гражданки такой-то на ее запрос — и дальше о том, что подследственный Абуталип Куттыбаев, так и так, умер от приступа. Так и сказано. Я прочел, гляжу на него и не знаю, что делать. «Вот какие дела, — говорит Чернов и разводит руками. — Возьми, передай ей». Я говорю — нет, у нас так не положено. Не хочу быть черным вестником. Детишки у него малые, как я

посмею их сокрушить, нет, говорю. Мы, говорю, боранлинцы, вначале там у себя посоветуемся и потом решим. Или кто из нас приедет специально за этой бумагой и привезет ее, как подобает привозить такую тяжкую весть, не воробей же погиб, человек, или скорей всего жена его, Зарипа Куттыбаева, сама приедет и получит из ваших рук. И вы уж сами объясните да расскажите, как все произошло. А он мне: «Дело, говорит, твое, как хочешь. А только мне-то что объяснять да рассказывать. Я никаких подробностей знать не знаю. Мое дело передать эту бумагу по назначению, вот и все». Ну, я говорю, извините, но пусть пока бумага побудет у вас, а на словах я передать передам, и мы посоветуемся там у себя, на месте. «Ну, смотри, говорит, тебе виднее». С тем я вышел от него и всю дорогу погонял верблюда и сердцем изболелся: как же нам быть? У кого из нас хватит духу сказать им такое?.. Казангап замолчал. Едигей пригнулся так, как будто гора налегла на плечи.

— Что теперь будет? — промолвил Казангап, но ему никто не ответил.

— Я так и знал, — горестно покачал головой Едигей. — Не выдержал он разлуки с детьми. Вот этого я больше всего боялся. Не вынес разлуки. А

тоска — это вещь страшная. Вот детишки его так тоскуют по отцу — смотреть на них нет сил. А был бы он другим человеком, ну пусть, скажем, осудили бы его не знаю за что, ну пусть бы осудили его. Ну отсидел бы год, два или сколько и вернулся бы. Ведь он в немецком плену, в концлагерях сколько натерпелся, в партизанах тоже несладко приходилось, и все эти годы воевал в чужих краях и не сломился, потому что тогда он был один, сам по себе, тогда семьи у него не было. А сейчас его, что называется, с живым мясом отодрали от живого, от самого дорогого для него, от детей. Вот и случилась беда…

— Да-а, я тоже так думаю, — отозвался Казангап. — Не верил я, что от разлуки человек может умереть. А не то, совсем молодой ведь, и умный, и грамотный, дождался бы, когда разберутся да освободят. Не виноват ведь ни в чем. Разумом-то он понимал, конечно, а сердце, выходит, не выдержало…

Потом они еще долго сидели, обдумывали положение, хотели придумать, как подготовить к этой вести Зарипу, но как они ни думали, ни гадали, а все сходилось клином к одному — семья лишилась отца, дети осиротели, Зарипа овдовела, и к этому ничего ни прибавить, ни убавить.

Однако самое разумное предложение высказала все-таки Укубала:

— Пусть Зарипа сама получит ту бумагу на станции. Пусть перенесет этот удар там, а не здесь, возле детей. И пусть решит — там, на станции, и по пути назад будет у нее время обдумать, как быть. Надо ли детям знать об этом или пока не стоит. Может, решит подождать, пока они чуточку подрастут да позабудут хоть немного отца. Трудно ведь сказать…

— Ты верно говоришь, — поддержал ее Едигей. — Она мать, пусть сама решает, скажет или не скажет ребятам о смерти Абуталипа. Я лично не могу… — И дальше Едигей не смог выговорить, язык не подчинился, он закашлялся, чтобы сбить приступ жалости, стиснувший его горло.

И еще сказала Укубала, когда они уже пришли к общему мнению.

— Надо, Казаке, — посоветовала она Казангапу, — чтобы вы сказали Зарипе, что какие-то письма ждут ее у начальника станции. Ответы, мол, пришли на ее запросы. Но просили прибыть ее лично, так, мол, надо. А во-вторых, продолжала она, — нельзя Зарипу отправлять туда одну в такой день. У них тут ни родных, ни близких. А самое страшное в горе — это одиночество. Ты,

Едигей, поезжай вместе с ней, будь рядом в этот час. Мало ли что может случиться при таком несчастье. Скажи, что тебе надо на станцию по делам, и поезжайте вместе. А дети побудут у нас.

— Хорошо, — согласился Едигей с доводами жены. — Завтра я скажу Абилову, что Зарипу требуется повезти в больницу на станцию. Пусть приостановит на минуту проходящий поезд.

На том порешили. Но выехать в Кумбель им удалось лишь через два дня на попутном поезде, приостановившемся на линии по просьбе начальника разъезда. То было 5 марта. Буранный Едигей навсегда запомнил тот день.

Ехали в общем вагоне. Народу разного двигалось полно, с семьями, с детьми, с неизбежным дорожным бытом, сивушным духом, с беспорядочными хождениями, с картами до очумелости и бабьими полуприглушенными исповедями друг другу о нелегком житье-бытье, о пьянстве мужиков, о разводах, о свадьбах, о похоронах… Люди ехали далеко. И им сопутствовало все, что составляло их повседневную жизнь… К ним со своей бедой и горем примкнули ненадолго Зарипа и сопровождавший ее Буранный Едигей.

Конечно, Зарипе было не по себе. Сумрачная, встревоженная, она всю дорогу молчала, раз-

думывая, должно быть, о том, какие ответы ее ждут у начальника станции. Едигей тоже больше помалкивал.

Есть ведь на свете чуткие, сердобольные люди, примечающие с первого взгляда, что неладное происходит с человеком. Когда Зарипа встала с места и пошла по вагону в тамбур постоять у окна, русская старушка, сидевшая на лавке против Едигея, сказала, глянув добрыми, когда-то голубыми, а теперь выцветшими от старости глазами:

— Что, сынок, жена-то у тебя больная?

Едигей даже вздрогнул.

— Не жена, а сестра она мне, мамаша. В больницу везу.

— То-то, гляжу, мается бедняжка. И очень ей худо. Глаза в горести беспросветные. Боится небось в душе-то. Боится, как бы в больнице болезнь какую страшнющую не отыскали. Эх, житье наше бытье! Не родишься — свет не увидишь, а родишься — маеты не оберешься. Так-то оно. Да господь милостив, молодая еще, обойдется, чай, — приговаривала она, улавливая и понимая каким-то образом ту смятенность и печаль, которые переполняли Зарипу все сильнее с приближением к станции.

Езды до Кумбеля часа полтора. Пассажирам

поезда было безразлично, по каким местам ехали они в тот день. Спрашивали лишь, какая станция впереди. А великие сарозеки лежали еще в снегу, в молчаливом и бескрайнем царстве нелюдимого приволья. Но какие-то первые проблески отступления зимы уже обозначились. Чернели оттаявшие местами залысины на склонах, проступали неровные кромки оврагов, мелькали пятна на пригорках, и повсеместно снег начал оседать от влажного, оттепельного ветра, пробудившегося в степи с приходом марта. Однако солнце еще затворялось в сплошных низких тучах, серых и водянистых даже с виду. Жива была еще зима — мокрый снег мог повалить, а то и метель напоследок могла заняться…

Поглядывая в окно, Едигей оставался на своем месте, напротив сердобольной старушки, изредка разговаривая с ней, но к Зарипе не стал подходить. Пусть, думал он, одна побудет, пусть постоит у окна вагонного, обдумает свое положение. Может быть, какое-то внутреннее предчувствие подскажет ей что-то. Возможно, припомнится ей та поездка в начале осени прошлого года, когда они все вместе, обе семьи со всей ребятней, забрались в попутный товарняк и поехали в Кумбель за дынями и арбузами и были

очень счастливы, а для детей то было незабываемым праздником. Совсем недавно, казалось бы, все это происходило. Сидели они тогда, Едигей и Абуталип, у приоткрытых дверей вагона на ветерке и разговоры вели всякие, крутились рядом ребята, глазели на проплывающие мимо земли, а жены, Зарипа и Укубала, тоже вели о чем-то своем задушевные разговоры. Потом ходили по магазинам и по станционному скверику, в кино побывали, в парикмахерской. Мороженое ели ребята. Но самое трагикомичное было, когда они так и не смогли все вместе уговорить Эрмека подстричься. Боялся он почему-то прикосновения машинки к голове. И вспомнилось Едигею, как появился в тот момент в дверях парикмахерской Абуталип и как сынишка кинулся к нему, а тот схватил его и, прижимая к себе, как бы защищая от парикмахера, сказал, что они наберутся духу и сделают это в следующий раз, а пока потерпится. Чернокудрый Эрмечик растет и поныне не стриженный от рождения, но теперь без отца…

И снова, уже в который раз пытался Буранный Едигей постичь, понять, объяснить себе, почему Абуталип Куттыбаев умер, не дождавшись решения своего дела. И снова приходил к единственно объяснимому заключению — только безысходная

тоска по детям надорвала ему сердце. Только разлука, тяжесть которой дано далеко не всем постичь, только горестное сознание того, что сыновья, а без них он не представлял себе не то что жизни — дыхания, без которого мгновенно прерывается самая жизнь, остались оторванными, брошенными на произвол судьбы на каком-то разъезде, в безлюдных, безводных сарозеках, только это убило его…

Все о том же думал Едигей, сидя на скамейке в пристанционном скверике, поджидая Зарипу. Они условились, что он будет поджидать ее здесь, на этой скамейке, пока она сходит за бумагами к начальнику станции.

Был уже полдень, но погода стояла нехорошая. Низкое облачное небо так и не прояснилось. Сверху что-то изредка падало — то ли снежинки, то ли капли влаги задевали лицо. Ветер поддувал со степи волглый, пахнущий уже тронутыми таяньем лежалыми снегами. Зябко, неуютно было Едигею. Обычно он любил потолкаться при случае среди людей в станционной суете и сутолоке, сам ведь далеко не едешь, ничем не озабочен, а тут поезда поглядишь, как выскакивают пассажиры и быстро шныряют по перрону, привнося в жизнь нечто от кино: вот оно есть — прибыл

поезд, и вот его не станет — убыл поезд.

В этот раз все это не интересовало его. Он удивлялся, какие отрешенные лица у людей, какие они безликие, равнодушные, усталые, как отдалены друг от друга… К тому же музыка, передаваемая по радио, простудно хрипящему на всю пристанционную площадь, вызывала печаль и уныние однообразной текучей монотонностью. Что за музыка?

Прошло уже минут двадцать, а то и больше, как Зарипа скрылась в вокзальном помещении. Едигей стал беспокоиться, и хотя они твердо договорились, что он будет ждать ее на этой скамейке, на этой именно, где в прошлый раз с детьми и Абуталипом сидели они и ели мороженое, он решил уже пойти за ней, посмотреть, что там.

И тут он увидел ее в дверях и вздрогнул невольно. Она бросилась в глаза среди входящей и выходящей толпы своей отъединенностью от всего, что было вокруг. Ее лицо было смертельно бледным, и она шла, никуда не глядя, как во сне, ни на кого и ни на что не натыкаясь, точно бы ничего вокруг не существовало, шла как в пустыне, как незрячая, прямо и скорбно держа голову, плотно сомкнув губы. Едигей встал при ее приближении. Она подходила, казалось, очень

долго, опять же как во сне, настолько страшно, отстраненно было ее медленное приближение с опустевшими глазами. Минула, быть может, целая вечность, бездна холодной, темной протяженности невыносимого ожидания, покуда она подошла вплотную, держа в руках ту самую бумагу в плотном конверте с напечатанными, как выразился Казангап, буквами, и, подойдя, сказала, разомкнув губы:

— Ты знал?

Он медленно склонил голову.

Зарипа опустилась на скамейку и, закрыв лицо руками, крепко сжимая голову, точно бы голова могла развалиться, разлететься на куски, горько зарыдала, уйдя вся в себя, в свою боль и утрату. Она плакала, собравшись в мучительный содрогающийся комок, уходила, утопала, проваливалась все глубже в себя, в свое безмерное страдание, а он сидел рядом и готов был, как тогда, когда увозили Абуталипа, оказаться вместо него, на его месте и принять на себя, не задумываясь, любые муки, только бы защитить, избавить эту женщину от удара. Он понимал при этом, что ничем не может ни утешить, ни унять ее, пока не иссякнет первая оглушающая волна беды.

И так они сидели на скамейке пристанционного

скверика. Зарина плакала, судорожно всхлипывая, и в какой-то момент не глядя отшвырнула прочь скомканный конверт со злополучной бумагой. Кому она нужна была теперь, та бумага, коли самого в живых не было? Но Едигей подобрал конверт и положил его к себе в карман. Потом он достал платок и силой, разжимая ее пальцы, заставил Зарипу утереть слезы. Но это не помогло.

А музыка лилась по радио над станцией, как знаючи, траурная, бесконечно тягостная. Мартовское небо серо и влажно нависало над головой, ветер донимал душу порывами. Прохожие же косились на эту пару, на Зарипу и Едигея, думали, конечно, про себя: вот, мол, поскандалили людишки. Обидел он ее, наверно, крепко… Но, оказывается, не все так думали.

— Плачьте, добрые люди… Плачьте, — раздался рядом соболезнующий голос. — Лишились мы родимого отца! Как-то теперь будет?

Едигей поднял голову и увидел проходящую мимо женщину в старой шинели, на костылях. Одну ногу у нее отняли по самое бедро. Он ее знал. Бывшая фронтовичка, работала в билетной кассе на станции. Кассирша была сильно заплакана и, плача, шла, приговаривая: «Плачьте. Плачьте. Как-то теперь будет?» И, плача, прошла

дальше, привычно переставляя с тупым перестуком костыли под неестественно приподнятыми плечами, пришаркивая на каждые два стука костылей подошвой единственной ноги, донашивающей старый солдатский сапог…

Смысл ее слов дошел до Едигея, когда он увидел, как столпились вдруг люди перед входом на станцию. Задрав головы, они смотрели, как несколько человек, приставив лестницу, вывешивали высоко над дверью большой военный портрет Сталина в черном, траурном обрамлении.

Понял он, почему и музыка по радио так заунывно звучала. В другое время он тоже поднялся бы, и постоял среди людей, и разузнал бы, что и как случилось с этим великим человеком, без которого никто не представлял себе круговращения мира, но сейчас своего горя хватало. Он не проронил ни слова. И Зарипе было ни до кого и ни до чего…

А поезда шли, как и полагалось им идти, что бы ни произошло на свете. Через полчаса должен был проходить по линии поезд дальнего следования под номером семнадцать. Как и все пассажирские, он не останавливался на таких разъездах, как Боранлы-Буранный. С тем расчетом он и двигался. Никому, однако, не могло

прийти в голову, что на этот раз придется семнадцатому остановиться на Боранлы-Буранном. Так решил про себя, причем твердо и спокойно, Едигей. Он сказал Зарипе:

— Нам скоро возвращаться, Зарипа. Осталось полчаса. Ты должна сейчас продумать как следует, как быть — скажешь ли детям о смерти отца или пока повременишь. Я не буду тебя успокаивать и что-то подсказывать, ты сама себе голова. Теперь ты им и вместо отца и вместо матери. Но об этом тебе следует подумать, пока мы в пути. Если ты решишь пока не говорить ребятам, то бери себя в руки. При них ты не должна лить слезы. Сможешь ли, хватит ли сил у тебя? И мы должны знать, как вести себя при них. Понимаешь? Вот ведь какой вопрос.

— Хорошо, я все понимаю, — ответила сквозь слезы Зарипа. — И пока мы доедем, я соберусь с мыслями и скажу, как нам быть. Я сейчас, я постараюсь взять себя в руки. Я сейчас…

В поезде на обратном пути было все так же. Люди ехали скопом, в табачном дыму, все так же бороздя великую страну из края в край.

Зарипа и Едигей попали в купированный вагон. Пассажиров здесь было поменьше, и они пристроились в проходе у окна, у самого края,

чтобы не мешать другим и поговорить о своих делах. Едигей сидел на откидном сиденье в коридоре, а Зарипа стояла рядом и смотрела в окно, хотя он и предлагал ей свое место.

— Так мне будет лучше, — сказала она.

И теперь, все еще изредка всхлипывая, превозмогая себя, перебарывая свалившуюся на плечи беду, она пыталась сосредоточиться, глядя в окно, обдумать хотя бы для начала свое новое — вдовье — житье-бытье. Если прежде была надежда, что все это оборвется в один прекрасный день как кошмарный сон, рано или поздно вернется Абуталип, ведь не могло же быть, чтобы не разобрались с таким недоразумением, и снова будут они вместе всей семьей, а все остальное образуется — нашли бы способ, как ни трудно, выжить, выстоять и сыновей воспитать, то теперь нет надежды. Было ей о чем думу думать…

О том же думал и Буранный Едигей, поскольку не беспокоиться о судьбе этой семьи он не мог. Так уж оно получилось. Однако он считал, что сейчас больше, чем когда-либо, должен быть сдержанным и спокойным и тем самым внушить ей хоть какую-то уверенность. Он не торопил ее. И правильно сделал. Наплакавшись, она сама начала разговор.

— Мне придется пока скрыть от ребят, что отца их больше нет, проговорила прерывающимся голосом Зарипа, сглатывая, загоняя в себя плач. Не могу сейчас. Особенно Эрмек… Зачем такая привязанность, это страшно… Как лишить их мечты? Что с ними будет? Ведь они только этим и живут… Ждут, ждут изо дня в день, каждую минуту… Надо будет со временем выбраться отсюда, переменить место… Пусть подрастут немного. За Эрмека очень боюсь. Пусть он хоть чуточку повзрослеет… И тогда скажу, да и сами догадаются понемногу… А сейчас нет, не в силах… Пусть уж я сама… Напишу письма братьям и сестрам, своим и его. Теперь-то что им бояться нас? Откликнутся, надеюсь, помогут уехать… А там видно будет… Мне теперь только бы детей Абуталипа вырастить, раз уж самого нет…

Так рассуждала она, а Буранный Едигей молча слушал, понимая и принимая смысл каждого ее слова, зная наверняка, что это лишь самая малая толика, самая поверхностная часть того, что, как смерч, пронеслось и проносится в ее мыслях. Всего не высказать в таких случаях… Потому он сказал, стараясь нисколько не расширить границ разговора:

— Пожалуй, ты права, Зарипа… Если бы я не

знал этих ребят, сомневался бы. Но на твоем месте я тоже не посмел бы сказать такое. Немножко надо подождать. А пока родственники твои откликнутся, не сомневайся ни в чем, что касается нас. Как были, так и будем держаться. Работай, как и прежде, дети будут у нас вместе с нашими. Сама знаешь, Укубала любит их как своих. А остальное видно станет…

И еще сказала в этом разговоре Зарипа с тяжелым вздохом:

— Вот ведь как устроено, оказывается, в жизни. Так страшно, так мудро и взаимосвязанно. Конец, начало, продолжение… Если бы не дети, честное слово, Едигей, не стала бы я жить сейчас. Пошла бы даже на это. Зачем мне жить? Но дети, они обязывают, они принуждают, они удерживают меня. И в этом спасение, и в этом продолжение. Горькое, тяжкое, но продолжение… И думаю я сейчас со страхом не о том даже, когда они узнают правду, от этого никуда не денешься, а о том, что будет дальше. Это всегда будет в них кровоточить, то, что случилось с их отцом. В любом случае, будут ли они поступать на учебу, на работу, предстоит ли им проявить себя в чем-то в глазах общества, с этой фамилией им нигде ходу не будет… И когда я думаю об этом, мне кажется, что существует

какая-то всесильная преграда для нас. Мы с Абуталипом избегали разговоров этих. Я его щадила, он меня. С ним, я была в том уверена, наши сыновья выросли бы полноценными людьми… И это нас оберегало от разрушений, от невзгод… А теперь я не знаю… Я не смогу заменить им его… Потому что он — это был он… Он бы всего добился. Он хотел как бы переместиться, перевоплотиться в своих детей. Потому он и умер, оттого, что его оторвали от них…

Едигей внимательно слушал ее. То, что Зарипа высказала эти сокровенные мысли ему как наиболее близкому человеку, вызывало в нем искреннее желание как-то отозваться, оградить, помочь, но сознание своего бессилия угнетало его, вызывало глухое, подспудное раздражение.

Они уже приближались к разъезду Боранлы-Буранному. По знакомым местам, по перегону, на котором Буранный Едигей сам работал многие лета и зимы…

— Ты приготовься, — сказал он Зарипе. — Прибываем уже. Значит, так и порешили — детям пока ни слова. Хорошо, так и будем знать. Ты, Зарипа, сделай так, чтобы не выдать себя. А сейчас приведи себя в порядок. И иди в тамбур. Стой у дверей. Как только поезд остановится, спокойно

выходи из вагона и жди меня. Я выйду, и мы пойдем.

— Что ты хочешь сделать?

— Ничего. Это оставь мне. В конце концов, ты имеешь право сойти с поезда.

Как всегда, пассажирский поезд номер семнадцать шел напролет через разъезд, правда сбавляя скорость у семафора. Именно в этот момент, при въезде на Боранлы-Буранный, поезд резко затормозил с шипением и страшным скрежетом букс. Все испуганно повскакали с мест. Раздались выкрики, свистки по всему поезду.

— Что такое?

— Стоп-кран сорвали?

— Кто?

— Где?

— В купированном!

Едигей тем временем открыл дверь Зарипе, и она сошла с поезда. А сам подождал, пока в тамбур ворвались проводник и кондуктор.

— Стой! Кто сорвал стоп-кран?

— Я, — ответил Буранный Едигей.

— Кто такой? По какому праву?

— Надо было.

— Как надо было? Ты что, под суд захотел?

— А ничего. Запишите в своем акте, который

вы в суд или куда передадите. Вот документы. Запишите, что бывший фронтовик, путевой рабочий Едигей Жангельдин сорвал стоп-кран и остановил поезд на разъезде Боранлы-Буранный в знак траура в день смерти товарища Сталина.

— Как? Разве Сталин умер?

— Да, по радио объявили. Слушать надо.

— Ну тогда другое дело, — опешили те и не стали задерживать Едигея. Тогда иди, раз такое дело.

Через несколько минут поезд номер семнадцать продолжил свой путь…

И снова шли поезда с востока на запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали все те же, испокон нетронутые пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

Космодрома Сары-Озек-1 тогда еще не было и в помине в этих пределах. Возможно, он вырисовывался лишь в замыслах будущих творцов космических полетов.

А поезда все так же шли с востока на запад и с запада на восток…

Лето и осень пятьдесят третьего года были са-

мыми мучительными в жизни Буранного Едигея. Ни до этого, ни после никогда никакие снежные заносы на путях, никакие сарозекские зной и безводье, никакие иные невзгоды и беды, ни даже война, а он дошел до Кенигсберга и мог быть тысячу раз убитым, и раненым, и изувеченным, не принесли, не доставили Едигею стольких страданий, как те дни…

Афанасий Иванович Елизаров как-то рассказывал Буранному Едигею, отчего происходят оползни, эти неотвратимые сдвиги, когда обваливаются, трогаясь с места, целые склоны, а то и вся гора заваливается набок, разверзая скрытую толщу земли. И ужасаются люди — какое бедствие таилось под ногами. Опасность оползней в том, что катастрофа назревает незаметно, изо дня в день, ибо грунтовые воды постепенно подмывают изнутри основу пород — и достаточно небольшого сотрясения земли, грома или сильного ливня, чтобы гора начала медленно и неуклонно ползти вниз. Обычный обвал совершается внезапно и разом. Оползень же идет грозно, и нет никаких сил, которые могли бы его приостановить…

Нечто подобное может произойти и с человеком, когда остается он один на один со своими неодолимыми противоречиями и мечется, сокру-

шаясь духом, не смея поведать о том никому, ибо никто на свете не в состоянии ни помочь ему, ни понять. Он об этом знает, это страшит его. И это надвигается на него…

Первый раз Едигей почувствовал в себе такой сдвиг и явственно осознал, что это значило, когда месяца два спустя после поездки с Зарипой в Кумбель снова поехал туда по делам. Он обещал Зарипе заглянуть на почту, узнать, есть ли письма для нее, и, если нет, послать три телеграммы по трем адресам, которые она ему вручила. До сих пор ни на одно свое письмо она не получила ответа от родственников. И теперь она хотела просто знать, получили они эти письма или нет, в телеграммах она так и писала — убедительная просьба сообщить, получены ли вами письма, только да или нет, ответ на письма необязателен. Выходило, братья и сестры не желали даже по почте связываться с семьей Абуталипа.

Едигей выехал на своем Буранном Каранаре поутру, с тем чтобы к вечеру уже обернуться. Конечно, когда он отправлялся один, без поклажи, любой знакомый машинист с радостью прихватывал его с собой, а там через полтора часа и Кумбель. Однако он стал остерегаться таких поездок на проходящих поездах из-за Абуталиповых

ребят. Оба они, и старший и младший, все так же изо дня в день ждали у железной дороги возвращения отца. В их играх, разговорах, загадках, рисунках, во всем их немудреном ребяческом бытии ожидание отца было сутью жизни. И, несомненно, самой авторитетной фигурой для них в тот период был дядя Едигей, который, по их убеждениям, должен был все знать и помочь им.

Едигей и сам понимал, что без него на разъезде ребятам будет еще тягостней и сиротливей, и поэтому почти все свободное время пытался чем-то занять их, отвлечь постепенно от напрасных ожиданий. Памятуя о завещании Абуталина рассказывать мальчишкам о море, он вспоминал все новые и новые подробности своего детства и рыбацкой молодости, всякие были и небыли Аральского моря. Как умел приспосабливал эти рассказы для малышей, но всякий раз удивлялся их способности — смышленности, впечатлительности, памяти. И очень был доволен тем — сказывалось в них отцовское воспитание. Рассказывая, Едигей ориентировался прежде всего на младшего, Эрмека. Однако младший не уступал старшему, из всех четырех его слушателей — детей обоих домов — был он для Едигея самым близким, хотя Едигей старался не выделять его.

Эрмек оказался наиболее заинтересованным слушателем и самым лучшим истолкователем его рассказов. О чем бы ни шла речь, любое событие, любой интересный поворот в действии он связывал с отцом. Отец для него присутствовал во всем и всюду. Идет, например, такой разговор:

— А на Аральском море есть такие озера у берегов, где растут густые камыши. А в тех камышах прячутся охотники с ружьями. И вот утки летят весной на Аральское море. Зимой они жили на других морях, где теплее было, а как стаяли льды на Арале, летят побыстрей и днем и ночью, потому что очень соскучились по здешним местам. Летят они большой стаей, хотят поплавать в воде, искупаться, покувыркаться, все ниже и ниже подлетают к берегу, а тут дым и огонь из камышей, пах-пах! То палят охотники. Утки с криком падают в воду. А другие в испуге улетают на середину моря и не знают, как быть, где теперь жить. И кружатся там над волнами, кричат. Ведь они привыкли плавать у берегов. А к берегам приближаться боятся.

— Дядя Едигей, но ведь одна утка сразу улетела назад, туда, откуда она прилетела.

— А зачем она туда улетела?

— Ну как же, ведь мой папика там матрос, он

плавает там на большом корабле. Ты ведь сам говорил, дядя Едигей.

— Да, правильно, а как же, — вспоминает Едигей, попав впросак. — Ну и что потом?

— А эта утка прилетела и сказала моему папике, что охотники спрятались в камышах и стреляли в них. И что им негде жить!

— Да, да, это ты верно.

— А папика сказал той утке, что скоро он приедет, что на разъезде у него два мальчика — Даул и Эрмек, и еще есть дядя Едигей. И когда он приедет, мы все соберемся и пойдем на Аральское море и прогоним из камышей охотников, которые стреляют в уток. И снова уткам будет хорошо на Аральском море… Будут плавать в воде и кувыркаться вот так, через голову…

Когда рассказы истощались, Буранный Едигей прибегал к гаданиям на камнях. Теперь он постоянно носил при себе сорок один камушек величиной с крупный горох. Этот давнишний способ гадания имел свою сложную символику, свою старинную терминологию. Когда Едигей раскладывал камушки, приговаривая и заклиная, чтобы они отвечали честно и правдиво, жив ли человек по имени Абуталип, где он, и скоро ли дорога ляжет перед ним, и что на челе у него,

и что на душе, ребята сосредоточенно молчали, неотрывно следя за тем, как располагались камни. Как-то раз Едигей услышал какое-то шебаршение, тихий разговор за углом. Заглянул осторожно. То были Абуталиповы ребята. Эрмек теперь сам гадал на камнях. Раскладывая их как умел, он при этом каждый камушек подносил ко лбу и к губам и каждый заверял:

— И тебя я люблю. Ты тоже очень умный, хороший камушек. И ты не ошибайся, не спотыкайся, говори честно и прямо, так же как говорят камушки дяди Едигея. — Потом он принялся истолковывать старшему брату значение расклада, в точности повторяя сказ Едигея. — Вот видишь, Даул, общая картина неплохая, совсем неплохая. Вот это дорога. Дорога немного затуманена. Туман какой-то стоит. Но это ничего. Дядя Едигей говорит, это дорожные неурядицы. В пути не без этого. Отец все время собирается в путь. Он хочет сесть в седло, но подпруга ослабла немного. Вот видишь, подпруга не затянута. Ее надо подтянуть покрепче. Значит, что-то еще задерживает отца, Даул. Придется подождать. А теперь посмотрим, что на правом ребре, что на левом ребре. Ребра целы. Это хорошо. А на лбу что у него? На лбу хмурость какая-то. Очень он беспокоится о нас,

Даул. На сердце, вот видишь этот камушек, на сердце боль и тоска — очень он соскучился по дому. Скоро ли путь? Скоро. Но одна подкова на заднем копыте коня болтается. Значит, надо перековать. Придется подождать еще. А что в переметных сумах? О, в сумах покупки с базара! А теперь — будет ли ему доброе расположение звезд? Вот видишь, эта звезда — Золотая коновязь. А от нее пошли следы. Они еще не совсем ясные. Значит, предстоит скоро отвязать коня и двинуться в путь…

Буранный Едигей незаметно отошел, растроганный, огорченный и удивленный всем этим. С того дня он стал избегать гадания на камнях…

Но дети детьми, их можно было еще как-то утешить, обнадежить, а если на то пошло, взять на себя такой грех — обмануть до поры до времени. Но еще одна кручина-дума поселилась в душе Буранного Едигея. В тех обстоятельствах и в той цепи событий она должна была возникнуть, она, как тот оползень, должна была когда-то стронуться с места, и остановить ее он не смог…

Очень он переживал за нее, за Зарипу. Хотя и не было между ними никаких иных разговоров, помимо обычных житейских, хотя никогда и ни в чем не давала она тому повода, Едигей постоянно

думал о ней. Но он не просто жалел ее, сочувствовал, как любой и каждый, не просто сострадал ей оттого, что все видел и знал, какие беды обступали ее, тогда не стоило бы и речи заводить. Он думал о ней с любовью, с неотступной мыслью о ней и внутренней готовностью стать для нее человеком, на которого она могла бы положиться во всем, что касалось ее жизни. И он был бы счастлив, если бы узнал, что она, допустим, так и полагает, что именно он, Буранный Едигей, самый преданный и самый любящий ее человек на свете.

То было мучительно — делать вид, что ничего особенного он к ней не испытывает, что между ними ничего не может и не должно быть!..

По пути в Кумбель всю дорогу он был занят этими размышлениями. Изводился. По-разному думалось. Испытывал странное, переменное состояние духа как бы в ожидании то ли скорого праздника, то ли неминуемой болезни. И в этом его состоянии ему казалось порой, что снова он находится на море. На море человек всегда чувствует себя по-другому, не как на земле, даже если все спокойно вокруг и, казалось бы, ничего не грозит. Как ни раздольно, как ни отрадно подчас бороздить по волнам, пусть и занимаясь нужным

делом на плаву, как ни красивы отражения закатов и зорь на водной глади, но все равно надо было возвращаться к берегу, к тому или иному, но к берегу. Вечно на плаву не пробудешь. А на берегу ждет совсем иная жизнь. Море — временно, сушь постоянна. Или, если страшно приставать к берегу, надо найти остров, высадиться на нем и знать, что здесь твое место и здесь ты должен быть всегда. И ему даже представилось: нашелся бы такой остров, забрал бы он Зарипу с детишками и жил бы там. И к морю приучил бы ребят, и сам до конца дней провел бы жизнь на острове посреди моря, не сетуя на судьбу, а лишь радуясь. Только бы знать, что в любое время можешь ее видеть и быть для нее нужным, желанным, самым родным человеком…

Но тут же становилось стыдно перед собой от таких желаний — он почувствовал, как в краску кинуло, хотя за сотни километров вокруг и духу человеческого близко не было. Размечтался, как мальчишка, на остров захотелось, а с чего бы, спрашивается, с какой стати? И это он смеет так грезить, он, повязанный по рукам и ногам всей жизнью, семьей, детьми, работой, железной дорогой, наконец, сарозеками, к которым прирос, сам того не замечая, душой и телом… Да и нужен

ли он Зарипе, пусть худо ей, конечно, но почему он должен мнить о себе такое, почему он должен быть ей мил? Насчет ребят он не сомневался — он в них души не чаял, и они тянулись к нему. А с чего Зарипа стала бы того желать?! Да и имеет ли он на то право, чтобы так думать, когда жизнь давно поставила его крепко-накрепко на место, где ему наверняка пребывать до скончания дней…

Буранный Каранар шел знакомой тропой, много раз хоженной, и, зная, сколько еще предстоит пути, без принуждений со стороны хозяина трусил ходкой пробежкой, покрикивая и тяжко постанывая на бегу, покрывая резвым шагом немеренные сарозекские расстояния, по весенним увалам, логам, мимо иссохшего некогда соленого озера. А Едигей, сидя на нем, страдал, занятый собою… И настолько переполняли его эти противоречивые чувства, что не находил он себе места и душа его не находила приюта в немеренных пространствах Сары-Озеков… Так непосильно было ему…

С этими настроениями прибыл он в Кумбель. Хотелось, конечно, чтобы Зарипа получила наконец ответы на свои письма от родственников, но при мысли, что родственники могут приехать за осиротевшей семьей и увезти ее в свои края или

вызвать к себе, Едигею становилось совсем плохо. На почте в окошечке до востребования ему опять ответили, что никаких писем для Зарипы Куттыбаевой не прибывало. И он неожиданно для себя обрадовался этому. Мелькнула даже какая-то нехорошая, дикая мысль против совести: «Вот и хорошо, что нет». Потом он добросовестно выполнил ее поручение — отправил три телеграммы по трем адресам. С тем вернулся к вечеру…

Весна тем временем сменялась летом. Уже пожухли, повыгорели сарозеки. Отошла трава-мурава, как тихий сон. Желтая степь снова стала желтой. Накалялся воздух, день ото дня приближалась жаркая пора. А от родственников Куттыбаевых все так же не было ни слуху ни духу. Нет, не откликнулись они ни на письма, ни на телеграммы. А поезда катились через Боранлы-Буранный, и жизнь текла своим чередом…

Зарипа уже и не ждала ответов, поняла, что нечего рассчитывать на помощь родных, что не стоит обременять их больше письмами и призывами о помощи… И, убеждаясь в этом, женщина впадала в молчаливое отчаяние — куда было двинуться теперь, как быть?.. Как сказать детям об их отце, с чего начинать, как перестраивать сокрушенную жизнь? Ответа пока не находила.

Быть может, не меньше, чем сама Зарипа, переживал за них Едигей. За них переживали все боранлинцы, но Едигею-то было ведомо, как обернулась трагедия этой семьи лично для него. Он уже не мог отделить себя от них. Изо дня в день он жил теперь судьбой этих ребят и Зарипы. И тоже был в напряженном ожидании — что теперь будет с ними, и тоже был в молчаливом отчаянии — как теперь быть им, но ко всему этому он еще постоянно думал, все время мучительно думал: а как быть самому, как сладить с собой, как заглушить в себе голос, зовущий к ней? Нет, и он не находил никакого ответа… Не предполагал он никогда, что придется столкнуться в жизни и с таким делом…

Много раз намеревался Едигей признаться ей, сказать откровенно и прямо, как любит ее и что готов все тяготы ее взять на себя, потому что не мыслит себя отдельно от них, но как было это сделать? Каким образом? Да и поймет ли она его? Совсем ведь женщине не до этого, когда такие беды обрушились на ее одинокую голову, а он, видите ли, полезет со своими чувствами! Куда это годится? Постоянно думая об этом, он мрачнел, терялся, ему стоило немалых усилий оставаться внешне таким, каким ему подобало

быть на людях.

Однажды он все же сделал такой намек. Возвращаясь с обхода по перегону, заметил еще издали, что Зарипа пошла с ведрами к цистерне за водой. Его толкнуло к ней. И он пошел. Не потому, что был удобный случай, вроде бы ведра поднести. Почти через день, а то и ежедневно работали они вместе на путях, разговаривать могли сколько угодно. Но именно в ту минуту почувствовал Едигей неодолимость желания подойти к ней немедленно и сказать то, что не мог больше скрывать. Он подумал даже сгоряча, что это к лучшему — пусть не поймет, пусть отвергнет, но зато остынет, успокоится душа… Она не видела и не слышала его приближения. Стояла спиной, отвернув кран цистерны. Одно ведро было уже наполнено и отставлено в сторону, а под струей стояло второе, из которого вода уже переливала через край. Кран был открыт до отказа. Вода пузырилась, выплескивалась, натекала вокруг лужей, а она точно бы не замечала ничего, стояла понуро, прислонившись плечом к цистерне. Зарипа была в ситцевом платьице, в котором прошлым летом встречала большой ливень. Едигей разглядел пряди вьющихся волос на виске и за ухом, ведь Эрмек был кудрявым в нее, осунувшееся лицо,

истончившуюся шею, опустившееся плечо и брошенную на бедро руку. Шум ли воды заворожил ее, напомнив горные речки и арыки Семиречья, или просто ушла в себя, застигнутая в ту минуту горьким раздумьем? Бог знает. Но только Едигею стало невыносимо тесно в груди при виде ее оттого, что все в ней было до бесконечности родным, от желания немедленно приласкать ее, оберечь, защитить от всего, что угнетало. Но делать этого нельзя было. Он лишь молча закрутил вентиль крана, остановил льющуюся воду. Она глянула на него без удивления, отрешенным взором, как будто он находился не возле, а где-то очень далеко от нее.

— Ты чего? Что с тобой? — молвил он участливо.

Она ничего не сказала, усмехнулась только углами губ и неопределенно приподняла брови над проясняющимися глазами, говоря этим: ничего, мол, так себе…

— Тебе худо? — снова спросил Едигей.

— Худо, — призналась она, тяжело вздохнув. Едигей растерянно подвигал плечами.

— Зачем ты так изводишься? — упрекнул он ее, хотя собирался говорить не об этом. — Сколько можно? Ведь этим не поможешь. И нам тяжко (он

хотел сказать — и мне) смотреть на тебя, и детям трудно. Пойми. Не надо так. Надо что-то делать, — говорил он, стремясь подобрать слова, которые, как того хотел он, должны были бы сказать ей, что именно он больше, чем кто-либо на свете, переживает и любит ее. — Ты вот сама подумай. Ну не отвечают на письма, так бог с ними, не пропадем. Ведь с тобой (он хотел сказать — я) мы все тут как свои. Ты только не падай духом. Работай, держись. А ребята поднимутся и здесь, среди нас (он хотел сказать — со мной). И все образуется понемногу. Зачем тебе куда-то уезжать? Мы все здесь как свои. А я, ты сама знаешь, без детишек твоих дня не бываю. — И остановился, потому что раскрылся настолько, насколько позволяло его положение.

— Я все понимаю, Едике, — ответила Зарипа. — Спасибо, конечно. Я знаю, в беде не останемся. Но нам надо выбираться отсюда. Чтобы позабыли дети все, что и как тут было. И тогда я должна буду сказать им правду. Сам понимаешь, так долго не может продолжаться… Вот и думаю, как быть…

— Так-то оно так, — вынужден был согласиться Едигей. — Только ты не спеши. Подумай еще. Ну куда ты с этими малолетками, где и как придется? А я как подумаю, мне страшно, как я тут без

вас буду…

И действительно, очень страшился за них, за нее и за ребят, и оттого не пытался заглянуть дальше чем в завтрашний день, хотя тоже понимал, что долго так продолжаться не могло. А через несколько дней после этого разговора был еще случай, когда он выдал себя с головой и долго каялся, мучился после этого, не находя себе оправдания.

С той памятной поездки в Кумбель, когда Эрмек, испугавшись парикмахера, не дал себя подстричь, прошло много месяцев. Мальчик так и ходил нестриженый, весь в черных кудряшках, и хотя вольные кудри украшали его, но подстричь упрямого трусишку давно было пора. Едигей при случае то и дело утыкался носом в пушистое темя мальчонки, целуя его и вдыхая запах детской головы. Однако волосы доходили Эрмеку уже до плеч и мешали ему в играх и беготне. Как, должно быть, непривычна, чужда и непонятна была для малыша сама необходимость эта. Потому он не давался никому, а Казангап, видя такое дело, сумел уговорить его. Припугнул даже немного — что, мол, козлята не любят длинноволосых, бодать будут.

Потом Зарипа рассказывала, как стригли Эр-

мека. Пришлось Казангапу по-настоящему силу применить. Зажал его между ног и обработал машинкой. Рев стоял на весь разъезд. А когда закончилась стрижка, добрая Букей, чтобы успокоить ребенка, сунула ему зеркало. На, мол, посмотри, какой ты хорошенький стал. Мальчик глянул, не узнал себя и еще больше заорал. Таким, ревущим во всю мочь, уводила его Зарипа с Казангапова двора, когда повстречался на тропинке Едигей.

Наголо остриженный Эрмек, совершенно непохожий на себя, с оголившейся тонкой шеей, с оттопыренными ушами, заплаканный, вырвался из рук матери, кинулся к Едигею с плачем:

— Дядя Едигей, посмотри, что они сделали со мной!

И если бы прежде сказали Буранному Едигею, что с ним произойдет такое, ни за что бы не поверил. Он подхватил малыша на руки и, прижимая его к себе, всем существом своим воспринял его беду, его беззащитность, его жалобу и доверие, как будто все это произошло с ним самим, он стал целовать его и приговаривал срывающимся от горечи и нежности голосом, не понимая толком смысла своих слов:

— Успокойся, родной мой! Не плачь. Я никому

не дам тебя в обиду, я буду тебе как отец! Я буду любить тебя как отец, только ты не плачь! — И, глянув на Зарипу, которая замерла перед ним сама не своя, понял, что перешагнул какую-то запретную черту, и растерялся, заспешил, удаляясь от нее с мальчиком на руках, бормоча в замешательстве одни и те же слова: — Не плачь! Вот я сейчас этого Казангапа, я вот, сейчас я ему покажу! Я ему покажу, вот сейчас этого Казангапа, я ему покажу! Вот я сейчас, я ему покажу!..

Несколько дней после этого Едигей избегал Зарипу. Да и она, как понял он, уходила от встречи с ним. Каялся Буранный Едигей, что так нелепо проговорился, что смутил ни в чем не повинную женщину, у которой и без этого хватало забот и тревог. Каково было ей в ее положении — сколько боли добавил он к ее горестям! Ни прощения, ни оправдания не находил себе Едигей. И на долгие годы, быть может до последнего вздоха, запомнил он то мгновение, когда всем существом своим ощутил приникшего к нему беззащитного обиженного ребенка, и как тронулась в нем душа от нежности и горечи, и как смотрела на него Зарипа, пораженная этой сценой, как глядела она на него с немым криком скорби в глазах.

Притих на какое-то время Буранный Едигей по-

сле этого случая и все то, что вынужден был в себе затаить, заглушить, перенес на ее детей. Иного способа не находил. Он занимал их всякий раз, когда был свободен, и все продолжал рассказывать им, многое повторяя и многое припоминая заново, о море. То было самой любимой темой у них. О чайках, о рыбах, о перелетных птицах, об аральских островах, на которых сохранились редкие животные, уже исчезнувшие в других местах. Но в тех разговорах с ребятами припоминал Едигей все чаще и все настойчивей собственную быль на Аральском море, единственное, что он предпочитал не рассказывать никому. То было вовсе не детским делом. Знали о том только двое, только он и Укубала, но и между собой они никогда не заговаривали об этом, ибо то было связано с их умершим первенцем. Будь он жив, тот младенец, был бы он сейчас гораздо старше боранлинской детворы, старше даже Казапгапова Сабитжана года на два. Но не выжил. А ведь всякого ребенка ждут с надеждой, что родится он и будет долго жить, очень долго, даже трудно представить себе, как долго, а иначе стали бы разве люди рожать детей?..

В ту рыбацкую бытность его, в молодые годы, незадолго до войны пережили они с Укубалой

удивительный случай. Такое случается, должно быть, лишь однажды и никогда не повторяется.

С тех пор как они поженились, Едигею в море все время хотелось побыстрей вернуться домой. Он любил Укубалу. Он знал, что она его тоже ждет. Более желанной женщины для него тогда не было. Ему подчас казалось, что он существует, собственно, для того, чтобы все время думать о ней, вбирать, накапливать в себе силу моря и силу солнца и отдавать затем себя ей, ждущей его жене, ибо из этой отдачи возникало обоюдное счастье, сердцевина счастья — все остальное, внешнее лишь дополняло и обогащало их счастье, их взаимное упоение тем, что было даровано ему солнцем и морем. И когда она почувствовала, что в ней что-то произошло, что она забеременела и скоро быть ей матерью, к постоянным ожиданиям встреч после моря прибавилось ожидание будущего первенца. То была безоблачная пора в их жизни.

Поздней осенью, уже перед началом зимы, на лице Укубалы начали проступать различимые при внимательном взгляде коричневые пятна. И уже обозначился, округлился живот. Однажды она спросила его, какая из себя рыба алтын мекре. «Слышать слышала о ней, но никогда не

видела». Он сказал ей, что это очень редкая рыба из осетровых, глубоководная, довольно крупная, но достоинство ее больше в красоте — сама рыба сиповато-крапчатая, а темя, плавники и хрящевой гребень по спине — от головы до кончика хвоста — как из чистого золота, дивно как светится золотым блеском. Оттого и называется алтын мекре, золотой мекре.

В следующий раз Укубала сказала, что ей приснился во сне золотой мекре. Рыба будто бы плавала вокруг нее, а она пыталась ее изловить. Ей очень хотелось поймать ту рыбу, а затем отпустить. Но обязательно подержать ту рыбу в руках, ощутить ее золотую плоть. Ей до того хотелось потискать ту рыбину, что во сне она погналась за ней. А рыбина не давалась, и, проснувшись, Укубала долго не могла успокоиться, испытывая странную досаду, будто и в самом деле не удалось ей достигнуть какой-то важной цели. Укубала посмеялась над собой, но и наяву ей все так же нестерпимо хотелось изловить золотого мекре.

А Едигей это понял, думал об этом, выгребая сети из моря, и, как оказалось потом, правильно истолковал значение ее желания, возникшего во сне и не исчезнувшего в яви. Он понял так, что ему предстоит во что бы то ни стало добыть золо-

того мекре, ибо то, что испытывала беременная Укубала, было ее талгаком[21]. Многие женщины на сносях чувствуют такую неудовлетворенность, их талгак проявляется в том, что они хотят съесть чего-то кислого, соленого, очень острого или горького, а иные страсть как хотят жареного мяса какого-нибудь дикого зверя или птицы. Едигей не удивился талгаку жены. Жена промыслового рыбака и должна была пожелать то, что имело отношение к занятию мужа. Ей сам бог велел захотеть увидеть воочию и ощутить в руках золото той большой рыбы Понаслышке Едигей знал, что если талгак беременной женщины останется неутоленным, то это может привести к вредным последствиям для ребенка в утробе.

Талгак же Укубалы оказался настолько необыкновенным, что она сама не посмела признаться в этом вслух, а Едигей не стал уточнять, не стал допытываться, потому что неизвестно было, сможет ли он добыть такую редкую рыбу. Решил вначале поймать ее, а уж потом выяснить, это ли было ее страстью.

К тому времени большой сезон рыболовства на Аральском море был уже на исходе — разгар

[21] Примечания: 21

Талгак — потребность беременной женщины в особой на вкус еде, утоление некоего желания.

сезона от июля по ноябрь. Зима дышала уже в лицо. Артель готовилась к зимнему промыслу, подледному лову, когда море на всем своем полуторатысячекилометровом по кругу пространстве покроется крепким льдом и придется бить огромные проруби, запускать туда обгруженные сети и тянуть их со дна морского воротом от одной проруби к другой с помощью упряжных верблюдов, этих незаменимых степных тягачей… И ветер будет вьюжить, а рыба, что попадает в сети, не успеет и шевельнуться, когда ее выпростают наверх, закаменеет сразу, покроется ледяным панцирем на открытом аральском холоде… Но сколько ни приходилось Едигею зимой и летом ловить с артелью рыбу и ценных и малоценных пород, однако не помнил, чтобы золотой мекре когда-нибудь попадался в сети. Эту рыбу удавалось изредка взять на крючок или блесну, и то было событием для рыбаков. Об этом говорили потом, что такому-то повезло — вытащил золотого мекре.

В то раннее утро он отправился в море, сказав жене, что порыбачит для дома, пока еще лед не стал. Укубала отговаривала его накануне:

— Дома ведь полно всякой рыбы. Стоит ли выходить? Холодно уже.

Но Едигей настоял на своем.

— Что дома, то дома, — сказал он. — Сама говоришь, тетка Сагын крепко слегла. Надо ее попользовать горячей свежей ухой, усачовой или жереховой. Самое первое средство. А кто ей, старой, наловит рыбы?

Под этим предлогом и двинулся с утра пораньше Едигей на добычу золотого мекре. Все снасти, все необходимые приспособления он тщательно продумал и приготовил заранее. Все это было уложено на носу лодки. И сам поплотней оделся, поверх всего плащ дождевой с капюшоном натянул и поплыл.

День был неясный, неустойчивый, между осенью и зимой. Преодолевая под косым углом накат воды, Едигей направлял лодку веслами в открытое море, где, как он предполагал, должны быть места пастьбы золотого мекре. Все, конечно, зависело от везения, ибо нет ничего малопостижимее в охотничьем предприятии, нежели ловля морской рыбы на крючок. На суше, как бы то ни было, человек и его добыча находятся в одной среде, ловец может преследовать зверя, приближаясь, подкрадываясь, выжидая и нападая Под водой ничего этого ловцу не дано. Опустив снасти, он вынужден ждать, появится ли рыба, и

если появится, то накинется ли на приманку.

В душе Едигей очень надеялся, что должно ему повезти, ибо вышел он в море не ради промысла, как бывало всегда, а ради вещего желания беременной жены.

Крепок и силен был молодой Едигей на веслах. Неутомимо, равномерно отталкиваясь от зыбкой текучей воды, выводил он лодку в море по извилистым, шатким волнам. Такие волны аральские рыбаки называют ийрек толкун — кривобокие волны. Ийрек толкуны — ранние предвестники грядущего шторма. Но сами по себе они неопасны, и можно было не страшась плыть подальше в море.

По мере удаления от земли берег с его крутым глинистым обрывом и каменистой полосой прибоя с края воды постепенно уменьшался, становясь все менее различимым, и вскоре превратился в смутную, временами исчезающую черту. Тучи неподвижно нависли сверху, а понизу держался заметно сквозящий ветер, лижущий водную рябь.

Часа через два Едигей остановил лодку, убрал весла, заякорился и стал устраивать снасти. У него были две катушки с бечевой, с самодельным устройством, застопоряющим лесу. Одну он

приладил на корме, бечева с грузилом опустилась через рогатину на глубину метров в сто, и в запасе оставалось метров двадцать. Другую установил таким же способом на носу. И затем снова взял в руки весла, для того чтобы придерживать, подправлять лодку в нужном положении среди течений и ветра. И, главное, чтобы не спутались лесы между собой.

И с тем стал ждать. По его предположениям, именно в таких местах могла обитать эта редкая рыба. Доказательств тому не имелось, то была чистая интуиция. И, однако, он верил, что та рыба должна появиться. Непременно, обязательно должна появиться. Без нее он не мог возвратиться домой. Она нужна ему была не ради забавы, а ради очень важного в его жизни дела.

Рыбы через некоторое время дали о себе знать. Но то были не те. Сначала поймался жерех. Когда Едигей его тянул, он знал, что это не золотой мекре. Не могло быть такого, чтобы с первого раза попался золотой мекре. Слишком просто и неинтересно стало бы жить на свете. Едигей согласен был потрудиться, подождать. Потом подцепился на крючок большой усач, одна из лучших рыб на Арале, если не самая лучшая. И того, оглушив, он бросил на дно лодки. Во всяком случае, на уху

для больном тетки Сагын уже было больше чем достаточно. И еще попался тран — аральский лещ. Какого черта его туда занесло? Обычно трап держится поверху. Но бог с ним, сам виноват. И после этого наступила длительная, тягостная пауза… «Нет, я дождусь, — сказал себе Едигей. — Хоть я и не говорил, но она знает, что я отправился за золотым мекре. И я должен его добыть, чтобы дите в утробе не изнывало. Это ведь дите хочет, чтобы мать увидела и подержала в руках золотого мекре. А почему оно того хочет, этого никто не знает. Мать тоже того жаждет, а я отец, и я сделаю так, чтобы желание их утолить».

Пошаливали ийрек толкуны, крутили лодку, потому они и кривобокие, неверные, шаткие волны. Замерзать начал Едигей от малоподвижности и все время зорко следил за катушками с бечевой — не дернется ли, не поползет ли леса, покоящаяся на рогатине. Нет, ни на носу, ни на корме никаких признаков. Однако Едигей не терял терпения. Он знал, он верил, что должен прийти к нему золотой мекре. Только бы море потерпело малость — что-то уж больно крутят ийрек толкуны. К чему бы это? Нет, шторма не должно быть так скоро. Может, к вечеру или к ночи поднимутся штормовые волны — алабаши,

пестроголовые ревуны. И тогда закипит грозный Арал от края и до края, белой пеной покроется, и никто не посмеет тогда сунуться в море. А пока еще можно, пока еще есть время…

Нахохлившись, замерзая и оглядываясь вокруг, ждал Едигей свою рыбу в море. «Что ж ты медлишь, вот ей-богу, да ты не бойся, — подумал он о рыбе. Не бойся, я говорю, я ведь тебя отпущу назад. Не бывает, говоришь, такого? А вот представь себе — бывает. Не для еды тебя я поджидаю. Еды и рыбы всякой полно дома. И вот на дне лодки лежат три рыбины. Стал бы я из-за еды выжидать тебя, золотой мекре! Понимаешь, первенец должен появиться у нас. А ты приснился недавно моей жене, и с тех пор она покой потеряла, хотя и не говорит об этом, но я-то все вижу. Я не могу объяснить, почему это так, но очень надо, чтобы она увидела тебя и подержала в руках, и я даю слово, сразу же отпущу тебя в море. Тут дело такое, что ты особая, редкая рыба. У тебя золотое темя и хвост, и плавники, и хребет по спине тоже золотые. И ты войди в наше положение. Она жаждет увидеть тебя наяву, она хочет притронуться к тебе, чтобы почувствовать в руках, какой ты на ощупь, золотой мекре. Не думай, что если ты рыба, то к нам не имеешь отношения. Хотя ты

и рыба, а она почему-то тоскует по тебе как по сестре, как по брату, и хочется ей увидеть тебя, прежде чем родится ребенок. И дите в чреве будет довольно. Вот такое вот дело. Выручай, друг мой, золотой мекре. Подходи. Не обижу. Слово даю. Если бы я имел злой умысел, ты бы это почувствовал. На крючок, их два крючка, выбирай любой, я нацепил большой кусок мяса. Немного с запахом мясо, чтобы ты учуял издали. И ты подходи и не думай ничего плохого. Если бы я блесну подсунул тебе, тогда было бы нечестно, хотя ты скорее пошел бы на блесну. Но ведь ты же проглотишь блесну, и как ты будешь потом жить с железом в брюхе, когда я отпущу тебя в море? То было бы обманом. А я тебе честно предлагаю крючок. Немного поранятся губы, только и всего. И не беспокойся, я захватил с собой большой бурдюк. Туда я налью воды, и ты полежишь пока в бурдюке с водой, а потом уплывешь. Но я не уйду отсюда без тебя. А время не ждет. Разве ты не чувствуешь, как крепчают волны и ветер усиливается, разве ты хочешь, чтобы первенец мой родился сиротой, без отца? Подумай, помоги мне…»

Уже смеркалось в сизых просторах холодною предзимнего моря. То появляясь на гребнях волн, то исчезая между волнами, лодка шла к берегу.

Трудно шла, борясь с бурунами, море уже шумело, вскипало исподволь, раскачивалось, набирая штормовую силу. Ледяные брызги летели в лицо, и руки на веслах взбухали от холода и влаги.

Укубала ходила по берегу. Давно уже, охваченная тревогой, она вышла к морю и ждала мужа. Когда соглашалась идти замуж за рыбака, говорили ей степные сородичи-скотоводы: подумала бы, прежде чем слово дать, на тяжкую жизнь отваживаешься, выходишь замуж за море и придется не раз и не два умываться слезами у моря, мольбы к нему обращать. А она не отказала Едигею, только сказала: как муж, так и я буду…

Так оно и получилось. А в этот раз ушел он не с артелью, а один, и уже быстро смеркалось, и на море было шумно и неспокойно.

Но вот замелькали среди бурунов взмахи весел и лодка показалась на волне. Закутанная в платок, с выпирающим уже животом, Укубала подошла к самому прибою и ждала здесь, пока причаливал Едигей. Прибой вынес мощным толчком лодку на отмель. Едигей мигом соскочил в воду и вытащил лодку на берег, волоча ее, как бык. И когда он распрямился, весь волглый и соленый, Укубала подошла и обняла его за мокрую шею под холодным, одеревеневшим плащом.

— Все глаза проглядела. Почему ты так долго?

— Он не появлялся весь день и только под конец приплыл.

— Как, ты ходил за золотым мекре?

— Да, я его упросил. Ты можешь посмотреть на него.

Едигей достал из лодки тяжелый кожаный бурдюк, наполненный водой, развязал его и выплеснул на прибрежную гальку вместе с водой золотого мекре. То была большая рыба. Могучая и красивая рыба. Она бешено заколотила золотым хвостом, изгибаясь, подпрыгивая, разметая вокруг мокрую гальку, и, широко разевая розовую пасть, обратилась к морю, пытаясь добраться до родной стихии, до прибоя. На какую-то недолгую секунду рыба вдруг замерла напряженно, затихла, пытаясь освоиться, оглядывая немигающими безупречно круглыми и чистыми глазами тот мир, в котором нечаянно очутилась. Даже в сумеречном предвечерье зимнего дня непривычный свет ударил в голову, и увидела рыба сияющие глаза людей, склонившихся над ней, кромку берега и небо и в очень далекой перспективе над морем различила за редкими облаками на горизонте нестерпимо яркий для нее закат угасающего солнца. Задыхаться начала. И рыба

вскинулась. Заколотилась, закрутилась с новой силой, желая добраться до воды. Едигей поднял золотого мекре под жабры.

— Подставляй руки, держи, — сказал он Укубале.

Укубала приняла рыбину, как ребенка, на обе руки и прижала ее к груди.

— Какая она упругая! — воскликнула Укубала, ощутив ее пружинистую внутреннюю силу. — А тяжелая, как полено! И как здорово пахнет морем! И красивая какая! На, Едигей, я довольна, очень довольна. Исполнилось мое желание. Отпусти ее в воду поскорей…

Едигей понес золотого мекре к морю. Войдя по колено в набегающий прибой, он дал рыбе соскользнуть вниз. На какое-то короткое мгновение, когда золотой мекре падал в воду, отразилась в густой синеве воздуха вся золотая оснастка рыбы от темени до хвоста, и, блеснув, вспарывая воду стремительным корпусом, рыба уплыла в глубину…

А большой шторм разразился на море ночью. Ревело море за стеной, под обрывом. Еще раз убедился Едигей: неспроста возникают предвестники бури — ийрек толкуны. То была уже глубокая ночь. Прислушиваясь в полудреме к

бушующему прибою, Едигей вспомнил о своем заветном мекре Как-то его рыбе сейчас? Хотя, должно быть, на больших глубинах море не так сотрясается. В своей глубокой тьме рыба тоже прислушивается, наверно, к тому, как ходят волны поверху. Едигей счастливо улыбнулся при этом и, засыпая, положил руку на бок жены и услышал вдруг толчки из чрева. То давал о себе знать его будущий первенец. И этому Едигей счастливо улыбнулся и безмятежно уснул.

Знал бы, что не пройдет и года, как разразится война, и все опрокинется в жизни, и уйдет он от моря навсегда и только будет о нем вспоминать… Особенно когда тяжелые дни наступят…

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей…

В том страшном для Буранного Едигея пятьдесят третьем году и зима легла ранняя. Никогда такого не бывало в сарозеках. В конце октября уже заснежило, холода начались. Хорошо, что успел до того картошки завести с Кумбеля себе и Зарипе с детьми. Как знал — поторопился. Последний

раз пришлось на верблюде ехать, побоялся, что в проходящем товарняке картошка померзнет в открытом тамбуре, пока довезешь. Кому она тогда нужна. А так поехал на Буранном Каранаре, уложил на него вьюком два огромных мешка — самому не сладить было с мешками, хорошо, что люди подсобили, — один по одну сторону, другой по другую, а сверху утеплил мешки кошмой, подоткнул края, чтобы ветер не задувал, сам же взгромоздился на самый верх между мешками и поехал спокойно к себе на Боранлы-Буранный. Сидел на Каранаре, как на слоне. Так думалось и самому Едигею. До этого никто здесь представления не имел о верховых слонах. Той осенью крутили на станции первый индийский фильм. Все кумбельцы от мала до велика повалили смотреть невиданную кинокартину о невиданной стране. В фильме, кроме бесконечных песен и танцев, показывали слонов, на тигров в джунгли выезжали охотиться, сидя на слонах. Едигею тоже удалось посмотреть ту картину. Были они с начальником разъезда на общепрофсоюзпом собрании как делегаты от боранлинцев, вот тогда по окончании собрания в клубе депо показали им индийский фильм. С того и началось. Стали выходить из кино, разговоры разные возникали,

и дивились железнодорожники, как в Индии на слонах ездят. А кто-то громко сказал на это:

— И что вам дались эти слоны, едигеевский Буранный Каранар чем хуже слона? Нагрузи — так он прет, как слон!

— И то верно, — засмеялись вокруг.

— Да что слон! — откликнулся еще голос. — Слон-то только в жарких странах может жить. А попробуй у нас по сарозекам зимой. Слон твой и копыта откинет, куда ему до Каранара!

— Слушай, Едигей, слушай, Буранный, а почему бы тебе не соорудить такую же будку на Каранаре, как в Индии на слонах? И будешь себе ездить, как тамошний богач!

Едигей посмеивался. Подшучивали над ним друзья, но все же лестно было слышать такие слова о своем знаменитом атане…

Зато перепало Едигею той зимой, попереживал, погоревал из-за того же Каранара…

Но это случилось уже с холодами. А в тот день застиг его в пути первый снегопад. Снежок и до этого сыпал несколько раз и быстро таял. А тут зарядил, да еще как! Сомкнулось небо над сарозеками сплошным мраком, ветер закрутил. Густо, тяжело повалил снег белыми кружащимися хлопьями. Не холодно было, но мокро и неуютно.

А главное — не различить ничего вокруг из-за снега. Что было делать? В сарозеках нет попутных пристанищ, где можно было бы переждать непогоду. Оставалось одно — положиться на силу и чутье Буранного Каранара. Он-то должен был привезти к дому. Едигей предоставил атану полную волю, а сам поднял воротник, нахлобучил шапку, укрылся капюшоном и терпеливо сидел, тщетно стараясь что-то различить по сторонам. Непроглядная завеса снега, и только. А Каранар шел в той круговерти, не сбавляя шага и, должно быть, понимая, что хозяин сейчас ему не хозяин, потому и примолк, затих на вьюках и ничем уже не проявлял себя. Великой силой должен был обладать Каранар, чтобы с таким грузом бежать в степи по снегопаду. Могуче, жарко дышал, неся на себе хозяина, и кричал, рявкал, как зверь, а то завывал подолгу тягучим дорожным гудом и все шел неутомимо и безостановочно сквозь летящий навстречу снег…

Немудрено — слишком длинным показался Едигею тот путь. «Скорей бы уж добраться», — думал он и представлял себе, как заявится и что дома наверняка беспокоятся, что с ним в такую непогоду. Укубала тревожится о нем, только не скажет об этом вслух. Она не из тех, кто выкла-

дывает все, что в мыслях. Может быть, и Зарипа думает, что с ним? Конечно, думает. Но она тем более звука не проронит, старается как можно меньше попадаться ему на глаза и избегает всяческих разговоров наедине. А что избегать, что, собственно, плохого такого произошло? Ведь ни словом, ни поступком каким не дал он, Едигей, повода к тому, чтобы кто-то мог подумать, будто что-то здесь не так. Как было прежде, так и есть. Просто они, оказавшись попутчиками в жизни, словно бы оглянулись вдруг, той ли дорогой идут… И снова пошли. Вот и все. А каково приходится ему при этом, это уж его беда… Это его судьба — на роду, должно быть, так написано, что разрываться суждено как между двух огней. И пусть то никого не тревожит, это его дело, как быть с самим собой, с душой своей многострадальной. Кому какое дело, что с ним и что его ждет впереди! Не малое дитятко он, как-нибудь разберется, сам развяжет тугой узел, который затягивался все туже по его же вине…

Это были страшные мысли, мучительные и безысходные. Вот уже зима вступила в сарозеки, а он по-прежнему не мог ни забыть Зарину, ни отказаться хотя бы мысленно от Укубалы. На беду свою, он нуждался в обеих сразу, и они, вероятно,

видя и зная это, не пытались торопить события, чтобы помочь ему побыстрей определиться. Внешне все обстояло как всегда — ровные отношения между женщинами, детвора обоих домов, как общая семья, вместе росла, постоянно вместе играли их дети на разъезде — то в том доме, то в этом… Так прошло лето, и так минула осень…

Сиротливо и неприютно чувствовал себя Буранный Едигей в одиночестве среди снегопада. Мело, безлюдье кругом. Каранар то и дело стряхивал с головы налипающие комья снега и будил на бегу тишину рыком и выкликами. Худо было хозяину в том пути. Едигей ничего не мог поделать с собой, никак не удавалось ему успокоить, определить себя на чем-то одном, бесспорном и безусловном. Не мог начистоту открыться перед Зарипой, не мог отречься и от Укубалы. И тогда он начинал поносить, ругать себя последними словами: «Скотина! Хайван что ты, что твой верблюд! Сволочь! Собака! Дурья голова!» — и еще в том же духе, перемежая их крепким матом, бичевал себя, устрашал и оскорблял, чтобы отрезветь, чтобы прийти в себя, одуматься, остановиться… Но ничто не помогало… И был он что тот оползень, стронувшийся с места… Единственная отрада, которая ждала его, были дети. Они

безоговорочно принимали его таким, какой он есть, и не ставили перед ним особых проблем. В чем помочь, что подвезти, что приладить по дому — это он для них готов был всегда с великим удовольствием, как и сейчас картошку вез им на зиму в двух огромных мешках, навьюченных на Каранара. Топливо тоже было запасено…

Мысли о детях были прибежищем для Едигея, там он оказывался в полном ладу с самим собой. Он представлял, как доберется до Боранлы-Буранного, как выбегут мальчишки из дома, заслышав его приезд, и не загонишь их назад, хотя снег идет, и будут прыгать вокруг с громкими криками: «Дядя Едигей приехал! На Каранаре! Картошку привез!» — и то, как строго и властно прикажет он верблюду лечь ничком на землю и тогда, весь заснеженный, слезет с Каранара, отряхиваясь и успевая между делом погладить детишек по головам, и как затем начнет разгружать мешки с картошкой и поглядывать, а не появится ли возле Зарипа, если она дома, он ей ничего не скажет особенного, да и она не скажет, он только посмотрит ей в лицо и будет тем доволен — и опять занедужит, закручинится, так что ж, куда от этого денешься, а ребятишки будут крутиться возле, путаться под руками, то и дело опасливо

подбегая к нему, боясь верблюжьего рыка, и, преодолевая страх, будут пытаться ему помочь, и это принесет ему вознаграждение за все муки…

Внутренне он готовился к скорой встрече с Абуталиповыми ребятами, заранее думал: а что расскажет он им в этот раз, своим, как он их называл, ненасытным слухачам? Опять об Аральском море? Самые любимые рассказы — всякие случаи на море, которые они домысливают затем с непременным участием отца и тем самым продолжают, сами того не ведая, держать связь с ним, с памятью о нем… Только вот все, что знал и слышал Едигей о морской жизни, истощилось, все уже много раз им было сказано и пересказано, кроме разве что истории с золотым мекре. А как поведать эту историю? Кому ее объяснить, кроме как самому себе, знающему, что стоит за давнишним тем событием.

Так проделывал он путь в тот снегопадный день. Всю дорогу не покидали его сомнения, размышления… И всю дорогу шел снег…

С того снега и зима легла в сарозеках, ранняя и студеная с первых шагов.

С началом холодов снова пришел в неистовство Буранный Каранар, снова взъярился, снова взбунтовалась в нем самцовая сила, и уже ничто

и никто не мог посягать на его свободу. Тут и самому хозяину в пору было отступиться, не лезть на рожон…

На третий день после снегопада промело сарозеки метельным морозным ветром, и встала сразу, как пар, напряженная мглистая стынь над степью. Далеко и отчетливо слышались по стуже скрипучие шаги, любой звук, любой шорох разносился с предельной ясностью. Поезда на перегоне слышались за многие километры. А когда на рассвете услышал Едигей спросонья трубный рев Буранного Каранара в загоне и то, как он топтался и расшатывал со скрежетом изгородь за домом, понял, какая напасть снова пожаловала ко двору. Быстро оделся, вышел впотьмах, пошел к загону и раскричался, колюче обдирая глотку морозным вяжущим воздухом:

— Ты чего! Ты чего, опять конец света? Опять за свое? Опять кровь мою пить! Ах ты хайван! Замолчи! Заткнись, говорю! Что-то ты рано больно в этом году решил заняться этим делом. Не насмешил бы народ!

Но напрасно он тратил слова на ветер. Обуреваемый пробудившейся страстью верблюд не думал считаться с ним. Он требовал своего, он орал, фыркал, устрашающе скрипел зубами,

ломал загон.

— Значит, учуял? — Хозяин сменил гнев на укоризну. — Ну ясное дело, тебе сейчас немедленно требуется бежать туда, в стадо. Учуял, что какая-то кайманча[22] в охоту пришла! Эх-эх! И почему только угораздило бога устроить ваше верблюжье отродье так, что в году только раз спохватываетесь о том, чем могли заниматься каждый день без шума и скандала? И кому тогда какое дело! Так нет, прямо конец света!..

Все это выговаривал Буранный Едигей больше для формы, чтобы не так обидно было, ибо он прекрасно понимал свою беспомощность. Ничего не оставалось, не сотрясать же воздух впустую, — открыл загон. И не успел он отодвинуть тяжеленную, в рост человека калитку из жердей, которую держал на крепкой цепи, как, едва не сшибя его с ног, Каранар ринулся вон и побежал в степь с яростным воплем и рыком, широко раскидывая цыбастые ноги и тряся тугими черными горбами. Мигом скрылся с глаз, взметая тучи снега за собой.

— Тьфу ты! — плюнул вслед хозяин и добавил в сердцах: — Беги, беги, дурак, а то опоздаешь!

---

[22] Примечания: 22
Кайманча — молодая верблюдица.

Едигею с утра предстояло выходить на работу. Потому и пришлось смириться с бунтом Каранара. Знал бы, чем все это кончится, да разве отпустил бы его — ни за что, пусть хоть лопнул бы. Но кто бы без него смог управляться дома с взбесившимся атаном? Пусть проваливает куда подальше. Понадеялся Едигей, что верблюд проветрится на воле, поостынет в нем горячая кровь, поуспокоится…

А в полдень пришел Казангап и сказал ему, сочувственно усмехаясь:

— Ну, бай, худо твое дело. Только на выпасе был. Твой Каранар пошел, как я думаю, в большой поход. Здешних кайманок ему уже маловато.

— Побежал, что ли, куда? Да ты не разыгрывай меня, скажи серьезно.

— Что тут несерьезного? Говорю тебе, потянуло его в другие стада. Что-то учуял зверюга. Ездил я глянуть, как там у нас. Только выехал за большую балку, смотрю, кто-то по степи бежит, аж земля гудит, — сам Каранар. Глаза выкатил, орет что есть мочи, слюни текут из пасти. И прет, как паровоз. Целая метель за ним. Думал, потопчет. Так он мимо меня пронесся, точно и не видит, что человек перед

ним. Пошел в сторону Малакумдычапа. Там под обрывом ходят стада побольше, чем наше. Здесь ему неинтересно. Для него теперь размах нужен. В самой силе скотина.

Едигей расстроился по-настоящему. Представил себе, сколько мороки будет, сколько неприятностей.

— Да ладно, успокойся. Найдутся в той стороне хорошие атаны, они ему бой дадут, вернется, как собака битая, куда он денется, — успокоил его Казангап.

На другой день уже стали поступать вести, как сводки с фронта, о боевых действиях Буранного Каранара. Картина складывалась малоутешительная. Стоило остановиться поезду на Боранлы-Буранном, как машинист, или кочегар, или кондуктор наперебой рассказывали о бесчинствах и погромах Каранара, устраиваемых им в пристанционных и приразъездных верблюжьих гуртах. Передали, что на разъезде Малакумдычап Каранар забил до издыхания двух атанов и погнал перед собой в степь четырех маток, хозяевам с трудом удалось отбить их у Каранара. Люди из ружей стреляли в воздух. В другом месте Каранар согнал с верблюдицы ехавшего верхом хозяина. Хозяин, олух небесный, ждал часа два, думал,

что, позабавившись, атан с миром отпустит его верблюдицу, которая, кстати, вовсе не собиралась сама избавляться от этого нахала. Но когда человек стал приближаться к верблюдице, чтобы уехать на ней домой, Каранар кинулся на него зверь зверем и погнал его — и затоптал бы, если бы тот не успел спрыгнуть в глубокую промоину и затаиться там, как мышь, ни живой ни мертвый. Потом он пришел в себя и, выбравшись по оврагу подальше от места встречи с Буранным Каранаром, поспешил домой счастливый, что жив остался.

Поступали по устному телефону сарозекскому и другие подобные вести о свирепых похождениях Каранара, но самое тревожное и грозное сообщение прибыло в письменном виде с разъезда Ак-Мойнак. Вон куда подался, чертяка, Ак-Мойнак, за станцией Кумбель! Оттуда прислал свое послание некий Коспан. Вот что писалось в этой достопримечательной записке:

> «Салем, уважаемый Едигей-ага! Хотя ты и известный человек в сарозеках, но придется тебе выслушать неприятные вещи. Я-то думал, ты мужик покрепче. Чего ты распустил своего громилу Ка-

ранара? От тебя такого мы не ожидали. Он тут страх навел на нас великий. Покалечил наших атанов, а сам отбил трех лучших маток, к тому же прибыл он сюда не один — пригнал какую-то верблюдицу оседланную, видно, согнал по пути хозяина, а не то зачем этой верблюдице пришлой быть под седлом. Так вот, отбил он этих маток, угнал их в степь и никого близко не подпускает — ни человека, ни скотину. Куда это годится? Один молодой атанча наш уже издох, ребра у него оказались переломаны. Я хотел выстрелами в воздух отпугнуть Каранара, забрать наших маток. Куда там! Ничего не боится. Готов загрызть, изжевать заживо кого угодно! Только бы не мешали ему заниматься его делом. Он не жрет, не пьет, кроет этих маток подряд, только земля ходуном ходит. Тошно смотреть, как он это зверски делает. И орет при этом на всю степь, словно конец света наступает. Сил нет слушать! И, сдается мне, он мог бы заниматься этим делом сто лет без продыху. Я такого изверга сроду не видывал. В нашем поселке все встревожены.

Женщины и дети боятся далеко уходить от домов. А потому я требую, чтобы ты прибыл незамедлительно и забрал своего Каранара. Даю срок. Если через день не появишься и не избавишь нас от этого наваждения, то не серчай, дорогой ага. Ружье у меня крупнокалиберное. Такими пульками медведя валят. Прострелю ему ненавистную башку при свидетелях, и делу конец. А шкуру пришлю попутным товарняком. Не посмотрю, что Буранный Каранар. А на слово я крепкий человек. Приезжай, пока не поздно.

Твой ак-мойнакский ини[23] Коспан».

Вот такие дела закрутились. Письмецо хотя и чудаком писанное, но предупреждение в нем вполне серьезное. Посоветовались они с Казангапом и решили, что Едигею придется немедленно отправляться на разъезд Ак-Мойнак.

Сказать просто, сделать не так легко. Надо было добраться до Ак-Мойнака, изловить Каранара в степи да вернуться назад по таким холодам, и вьюга могла подняться в любой момент. Проще

---

[23] Примечания: 23
Ини — младший брат, младший родич, земляк.

всего было одеться потеплее, сесть на проезжавший товарняк, а оттуда верхом. Но кто знает, как далеко ушел в степь Каранар со своим гаремом. Судя по тону письма, акмойнакцы могли быть так раздражены, что не дадут верблюда, придется в чужой стороне пешком гоняться по сугробам за Каранаром.

Утром Едигей двинулся в путь. Укубала наготовила ему еды на дорогу. Оделся он плотно. Поверх стеганых ватных штанов и телогрейки надел овчинную шубу, на ноги валенки, на голову лисий малахай-трилистник — такой, что ни с боков, ни сзади ветер не задувает, вся голова и шея в меху, — на руки теплые овчинные рукавицы. А когда оседлывал он верблюдицу, на которой собрался ехать в Ак-Мойнак, прибежали Абуталиповы ребята, оба. Даул принес ему вязанный вручную шерстяной шарф.

— Дядя Едигей, мама сказала, чтобы у тебя шея не простыла, — сказал он при этом.

— Шея? Скажи, горло.

Едигей принялся от радости тискать ребят, целовать их, так растрогался, что и слов других не находил. Возликовал в душе, как ребенок, — это был первый знак внимания с ее стороны.

— Скажите маме, — сказал он детям при отъ-

езде, — что скоро я вернусь, бог даст, завтра же прибуду. Ни минуты не стану задерживаться. И мы все соберемся и будем вместе пить чай.

Как хотелось Буранному Едигею поскорее добраться до злополучного Ак-Мойнака и обернуться назад, чтобы увидеть Зарипу, глянуть в ее глаза и убедиться, что не случайным намеком был этот шерстяной шарфик, который он бережно сложил и упрятал во внутренний карман пиджака. Когда уже выехал и потом, когда изрядно удалился от дома, едва удержался, чтобы не повернуть назад, бог с ним, с этим взбесившимся Каранаром, пусть пристрелит его на здоровье некий Коспан и пришлет его шкуру, в конце концов сколько можно нянчиться с диконравным верблюдом, пусть покарает его судьба. Пусть! Поделом! Да, были такие горячие порывы! Но постыдился. Понял, что дурак дураком будет, что опозорится в глазах людей, и прежде всего в глазах Укубалы, да и самой Зарипы. И остыл. Убедил себя, что только один у него способ утолить нетерпение — поскорее добраться и поскорее вернуться.

С тем[31] погонял. Достаточно морозно было. Ветер тянул ровный и жесткий. На ветру

---

[31] Примечания: 31

Здесь и далее жирным шрифтом добавлен текст по изданию: Санкт-Петербург. Издательский Дом «Азбука-классика» 2007

иней обкладывал лицо, мех лисьего малахая намерзал пушистой куржой. И такой же белой куржой оседало дыхание бурой верблюдицы шлейфом от шеи до самой холки. Зима, знать, входила в силу. Затуманились дали. Вблизи вроде нет тумана, а посмотришь — на краю видимости стоит туманность. Эта туманность все время как бы передвигалась перед ним по мере езды. Насколько к ней приблизится путник, настолько она отступит. Нелюдимо и сурово было в зимних сарозеках, застывших в ветренной белизне.

Молодая, но ходкая верблюдица шла под верхом неплохо, бодро взрыхляя целину. Но для Едигея это была не та езда, не та скорость. Будь то Каранар, совсем по-другому ехалось бы. У того дыхание куда мощнее и размах шага — не сравнить. Недаром ведь сказано еще исстари:

Чем лучше конь того коня?
Превосходящим ходом лучше.
Чем лучше батыр того батыра?
Умом превосходящим лучше…

Ехать было далеко и все время в одиночестве. Порядком истомился бы в пути Едигей, если бы не шарфик, подаренный Зарипой. Всю дорогу

он ощущал присутствие этой вроде бы пустяковой вещицы. Сколько прожил уже на свете, а не предполагал, что такая мелочь может так согреть сердце, если исходит от любимой женщины. Тем и пробавлялся всю дорогу. Запуская руку за пазуху, поглаживал шарфик и блаженно улыбался. Но потом призадумался. Как же быть, как же жить дальше? Впереди получался полный тупик. Как быть? Живой человек должен жить, видя перед собой цель и пути к этой цели. А их-то и небыло.

И тогда скорбным туманом заволакивался взор Буранного Едигея, как те молчаливые сарозекские дали, затянутые морозной мглой. Не находил Едигей ответа, сокрушался, переживал, падал духом и снова обнадеживал себя безнадежными грезами...

И подчас становилось ему по-настоящему страшно в этом безмолвии и одиночестве. И почему такая жизнь выпала ему? Зачем он попал в сарозеки? Зачем объявилась на Борналы-Буранном эта несчастная семья, гонимая судьбой? Не было бы всего этого — не знал бы ни каких терзаний и жил бы себе спокойно и удобно. Так нет, душа его невменяема, и хочет она того, что невозможно... А тут еще этот раз-

бушевавшийся Каранар, тоже обуза, тоже кара Божья, не везет. Нет, кроме шуток, не везет ему в жизни…

Прибыл Едигей на Ак-Мойнак уже почти к вечеру. Притомилась по пути верблюдица. Путь был далекий, да еще в зимнее время. **Ак-Мойнак — такой же, разъезд, как Борналы-Буранный, только вода у них тут своя, колодезная. А в другом особых отличий нет — те же сарозеки. Подъезжая к Ак-Мойнаку, спросил Едигей у встретившегося на краю улочки малого, где, мол, тут Коспан. Тот ему сказал, что Коспан в этот час как раз на работе, дежурит по разъезду. Туда и направился Буранный Едигей. Подъехал к дежурке и собирался уже спешиться, как на крыльце появился среднего роста, бойкий, хитро ухмыляющийся мужичок в полушубке словно бы с чужого плеча, в стоптанных валенках, в старом треухе набекрень.**

— А-а, Едигей-ага! Наш дорогой Боралы-ага! — сразу узнал он Едигея, скатываясь с крыльца. — Значит, прибыл, а мы ждем-пождем. Думаем-гадаем, то ли приедет, то ли нет.

— Попробуй тут не приехать, — усмехнулся Едигей, — когда такое грозное письмо при-

слали.

— А как же иначе! Ну письмо еще полбеды, Едигей-ага. Письмо — это бумажка. А тут дела такие, что надо тебе срочно избавлять нас от своего Каранара, а то мы тут как в блокаде. В степь ходу нет. Завидит кого издали — бежит как бешеный, готов изувечить! Что за паразит! Страшно иметь такого атана. — Он умолк, оглядел верхового Едигея и добавил: — Только я смотрю, как ты будешь с ним управляться, голыми руками, что ли!

— Зачем голыми руками? Вот мое оружие. — Едигей достал из переметной сумы навернутый на кнутовище бич.

— Вот этой плеткой, что ли?

— А что же, пушку, что ли, прикажешь иметь против верблюда?

— Да мы тут с ружьями не смеем. Не знаю, может, конечно, признает тебя за хозяина, тогда... Только вряд ли, глаза его в дыму...

— Ну, посмотрим, — отвечал Едигей. — Что время тратить? Должно быть, ты и есть тот самый Коспан. Если так, то веди меня, покажи, где он там, а остальное оставь мне.

— Это не так близко, — сказал Коспан и стал оглядываться по сторанам, а потом посмотрел

на свои часы. — Вот что, Едигей-ага поздно уже. Пока доберемся туда, свечереет. А куда ты потом на ночь глядя? Нет так не пойдет. Таких людей, как ты, не всегда зазовешь в гости. Будь нашим гостем. А с утра — как душе твоей угодно.

Такого оборота Едигей не ожидал. Он-то рассчитывал, если удастся изловить Каранара, сегодня же ночью добраться до Кумбеля, там заночевать возле станции у знакомых, а на рассвете двинуться пораньше домой. Видя, что Едигей хотел бы уехать, Коспан решительно запротестовал:

— Нет, Едигей-ага, так не пойдет. За письмо прости. Но другого выхода не было. Житья не стало. Только я не отпущу тебя. Если, не дай Бог, случится что ночью в безлюдной зимней степи, не хочу быть черноликим на все Сары-Озеки. Оставайся, а утром как хочешь. Вон мой домик, с краю. У меня еще полтора часа дежурства. Будь как у себя. Располагайся. Верблюдицу ставь в загон. Корм будет. Вода у нас своя, вволю.

Быстро потемнело тем зимним днем. Коспан и его семья оказались чудными людьми. Старуха мать, жена, мальчик лет пяти (старшая девочка

училась, оказывается, в кумбельском интернате) и сам Коспан были заняты только тем, чтобы угодить гостю. В доме было жарко натоплено, по-особому оживленно. На кухне уваривалось мясо зимнего забоя. Тем временем пили чай. Старуха мать сама наливала пиалы Буранному Едигею и все расспрашивала про семью, про детей, про житье-бытье, про погоду, да откуда, мол, родом-племенем, да сама в свою очередь рассказывала, когда и как прибились они на разъезд Ак-Мойнак. Едигей охотно отзывался на разговоры, хвалил желтое топленое масло, которое поддевал ломтиками горячих лепешек и отправлял в рот. Коровье масло в сарозеках редкость. Овечье, козье, верблюжье масло тоже неплохое дело, но коровье все же вкуснее. А им прислали коровьего масла их родственники с Урала. Едигей, уплетая лепешки с этим маслом, уверял, что чувствует даже запах луговых трав, чем очень покорил старуху, и она принялась рассказывать о родине своей — о яицких[24] землях, о тамошних травах, лесах и реках…

Тем временем пришел начальник разъезда — Эрлепес, приглашенный Коспаном по случаю

---

[24] Примечания: 24

Яицкие — от слова «жайык» (раздольная, широкая), так называлась прежде река Урал.

приезда Буранного Едигея. **С приходом Эрлепеса начался сам собой мужской разговор о службе, о транспорте, о заносах на путях. С Эрлепесом Едигей был немного знаком и прежде, тот давно уже работал на железной дороге, а теперь привелось познакомиться поближе. Эрлепес был старше Едигея. Начальником Ак-Мойнака он сидел с конца войны, и чувствовалось, что к нему на разъезде относились с уважением.**

Уже ночь стояла за окнами. Как и на Боранлы-Буранном, то и дело проходили с шумом поезда, позвякивали стекла, ветер посвистывал в оконных створках. И все-таки это было совсем другое место, хотя и по той же железной дороге в сарозеках, и Едигей был среди совсем других людей. Здесь он был гостем, хотя приехал из-за сумасбродного Каранара, но все равно его встретили достойно.

С приходом Эрлепеса Едигей почувствовал себя тем более на своем месте. Хорошо знал казахскую старину. Разговор вскоре перешел на былые времена, на знаменитых людей, на знаменитые истории. Очень расположился в тот вечер Едигей к новым ак-мойнакским друзьям. К этому располагали его не только беседы, но и радушие хозяина и хозяйки и в немалой степени хорошее

угощение и выпивка. Водка была. С мороза и с дороги Едигей выпил полстакана, закусил из выставленных на низеньком круглом столе солений вяленым оркочем — горбьим салом молодой верблюжатины, — и благодать разлилась по телу, умиляя и углаживая душу. Захмелел малость Буранный Едигей, оживился, заулыбался. Эрлепес тоже позволил себе выпить в честь гостя и тоже чувствовал себя приподнято. Поэтому он и попросил Коспана:

— Сходи, ради бога, Коспан, принеси мою домбру.

— Вот это дело, — одобрил Едигей. — С малолетства завидую тем, кто на домбре играет.

— Большой игры не обещаю, Едике, но кое-что припомню в твою честь, сказал Эрлепес, скинув пиджак и засучивая заранее рукава рубашки.

В отличие от шустрого, многословного Коспана Эрлепес был более сдержанным. Массивный лицом и дородный, он внушал уверенность в себе. Когда он взял в руки домбру, то сосредоточился и словно отдалился на некое расстояние от повседневности. Так случается, когда человек готовится обнаружить свои сокровенные чувства и привязанности. Налаживая инструмент, Эрлепес глянул на Едигея долгим, мудрым взглядом,

и в его черных, навыкате, больших глазах блеснули, отражаясь, как в море, блики света. А когда он ударил по струнам и пробежал длинными цепкими пальцами вверх и вниз по высокой, на всю длину взмаха, шейке домбры, успев извлечь разом целую гроздь звуков и одновременно завязывая узелки новых гроздей, которые будет затем, развивая тему, щедро срывать со струн, понял Буранный Едигей, что не легко и не просто обернется ему слушанье этой музыки. Ибо он, оказывается, всего лишь отвлекся, всего лишь забылся малость в гостях, но первые же звуки домбры снова вернули его к себе, снова кинули с головой в пучину горестей и бед. Отчего же такое возникло в нем? Выходит, давно уже было известно тем людям, которые сочинили эту музыку, как и что произойдет с Буранным Едигеем, какие тяготы и муки предназначены ему на роду? А иначе как могли они знать, что почувствует он, когда услышит себя в том, что наигрывал Эрлепес? Встрепенулась душа Едигея, воспарила и застонала, и разом отворились для него все двери мира — радости, печали, раздумья, смутные желания и сомнения…

Дейсвительно отменно играл Эрлепес на домбре. Давнишние переживания давнишних

людей оживали в струнах, высвобождая, как сухие дрова в костре, огонь душевного горения. А Едигей думал в тот час, то и дело поглаживая шарфик, спрятанный во внутреннем кармане пиджака, о том, что есть на свете женщина, которую он любит, и сама мысль о ней для него услада и мука, что жить без нее ему невмоготу, и потому он будет любить ее всегда, неоглядно, неизбывно, бесконечно, чего бы то ему ни стоило. Об этом и звенела, то угасая, то возгораясь, домбра в руках Эрлепеса. Одни наигрыши сменялись другими, одни мелодии переливались в следующие, и плыла душа Едигея, словно лодка по волнам. Снова очутился он мысленно на Аральском море, припомнились незримые морские течения вдоль берегов, их направление угадывалось по длинным и густым, как женские волосы, водорослям, уплывающим по течению, вытягиваясь на одном и том же месте. Когда-то у Укубалы были такие волосы, ниже коленей. И когда она купалась, то ее волосы тяжело уплывали в сторону, как те водоросли по морскому течению. И она счастливо смеялась и была красива и смугла.

Просветлел, растрогался Буранный Едигей, так хорошо ему было слушать домбру. Только ради

этого стоило проделать по зимним сарозекам дневной путь. «Вот и хорошо, что Каранар заскочил сюда, — подумалось Едигею. — Сам очутился здесь и меня завлек, просто принудил приехать. А душа моя зато хоть разок насладится домброй. Эй да молодец Эрлепес! Большой мастер, оказывается! А я-то и не знал…»

Слушая наигрыши Эрлепеса, Едигей думал о своем, пытался со стороны посмотреть на свою жизнь, подняться над ней, как кличущий коршун над степью, высоко-высоко и оттуда, в полном одиночестве паря на прямо расставленных крыльях по восходящим воздушным потокам, оглядывать то, что внизу. Огромная картина зимних сарозеков представала перед его взором. Там, на незаметной излучине железнодорожной линии, приткнулось кучкой несколько домиков и несколько огоньков — это разъезд Боранлы-Буран-ный. В одном из домиков Укубала с дочурками. Они, пожалуй, уже спят. А Укубала, возможно, и не спит. Что-то ведь думает, и что-то должно ей подсказывать сердце. А в другом домике — Зарипа со своими ребятами. Она-то наверняка не спит. Тяжело ей, что и говорить. А впереди еще сколько предстоит горя мыкать — ребятишки-то пока не знают об отце. А куда

денешься, правду не обойдешь стороной…

Представил он себе, как, грохоча, бегут в тот час поезда среди ночи, полыхая огнями и взметая снежную пыль, и какая глухая и бесконечная ночь стоит вокруг. Неподалеку от того места, где сейчас он гостит, внимая домбре, в беспросветно темной и дикой степи, среди снегов и ветра бодрствует неистовый Каранар. Ему не до сна, не до покоя. Вот ведь как устроено в природе. Весь год набирается сил, весь год изо дня в день собирает и пережевывает корм, все время непрестанно перетирая жвачку могучими челюстями, и для этого у него соответственно устроен желудок, вначале накапливающий грубый корм, а затем возвращающий его для вторичного измельчения, чем и занимается верблюд, пережевывая жвачку на ходу и даже во сне, и все это с тем, чтобы накопить, сконцентрировать силу в горбах, и чем мощнее, налитее и крепче горбы, чем плотнее в них сало, тем мощнее самец в зимний гон. И тогда ему нипочем ни снега, ни холода, ни даже хозяин и тем более прочие люди. Тогда он лютует, опьяненный неукротимой силой, тогда он царь и владыка, и нет ему ни устали, ни страха, и ничего на свете не существует — ни

питья, ни еды, ничего кроме утоления великой и необузданной страсти его. Но ведь для этого он и жил целый год, для этого и набирался силы изо дня в день. И в этот час Буранный Едигей сидел гостем в тепле и слушал домбру, а где-то в этой округе, среди буранистой ночи, среди лунных снегов ярился и метался Буранный Каранар, верный зову крови, ревниво оберегая облюбованных им маток от всего постороннего, не допуская к ним ни зверя, ни даже птицу, зычно вопя и потрясая устрашающе черными космами бороды.

И об этом думалось Едигею под звуки домбры…

Музыка мгновенно переносила его мысль из прошлого в настоящее и снова в прошлое. К тому, что ожидалось завтра. Странное желание возникло при этом — заслонить, загородить от опасности все, что дорого ему, весь мир, который представился ему, чтобы никому и ничему не было плохо. И это смутное ощущение некой вины своей перед всеми, кто был связан с его жизнью, вызывало в нем тайную печаль…

— Уа, Едигей, — окликнул его Эрлепес, задумчиво улыбаясь, доигрывая, мелко перебирая затихающие струны. — Ты никак устал с дороги,

надо тебе отдохнуть, а я тут на домбре бренчу.

— Да нет, что ты, Эрлеке, — искренне смутился Едигей, прикладывая руки к груди. — Наоборот, давно мне не было так хорошо, как сейчас. Если сам не устал, продолжай, сделай такое добро. Играй.

— А что бы ты хотел?

— Это тебе лучше знать, Эрлеке. Мастер сам знает, что ему сподручней. Конечно, старинные вещи — они как бы роднее. Не знаю отчего, за душу берут, думы навевают.

Эрлепес понимающе кивнул.

— Вот и Коспан у нас такой, — усмехнулся он, глядя на непривычно притихшего Коспана. — Как слушает домбру, вроде тает, другим человеком становится. Так, что ли, Коспан? Но сегодня у нас гость. Ты уж не забывай. Плесни нам понемногу.

— Это я мигом, — оживился Коспан и подлил на дно стаканов по новой.

Они выпили, закусили. Переждав, Эрлепес снова взял в руки домбру, снова проверил, ударяя по струнам, так ли настроен инструмент.

— Коли тебе по душе старинные вещи, — сказал он, обращаясь к Едигею, напомню я тебе одну историю, Едике. Многие старики ее знают, да и ты знаешь. Кстати, у вас Казангап хорошо

рассказывает, но он рассказывает, а я наиграю и спою — целый театр устрою. В твою честь, Едике. «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану».

Едигей благодарно закивал, а Эрлепес прошелся по струнам, предваряя сказание так хорошо знкомой домбровой увертюрой, и снова застонала настороженная душа Едигея, ибо все, что было в этой истории, отзывалось в нем в этот раз с особой тоской и пониманием. Гудела домбра, ей вторил голос поющего Эрлепеса, густой и низкий, очень подходящий для рассказа о трагической судьбе знаменитого жырау[25] Раймалы-аги. Раймалы-аге было уже за шестьдесят, когда он влюбился в молодую девушку, в девятнадцатилетнюю бродячую певицу Бегимай, она зажглась как звезда на его пути. Вернее, это она влюбилась в него. Но Бегимай была свободна, своенравна и могла распорядиться собой так, как ей хотелось. Молва же осудила Раймалы-агу. И с тех пор эта история любви имеет своих сторонников и противников. Нет равнодушных. Одни не приемлют, отвергают поступок Раймалы-аги и требуют, чтобы имя его было забыто, другие сочувствуют, сопереживают, передают эту горь-

[25] Примечания: 25
Жырау — степной бард.

кую печаль влюбленного из уст в уста, из рода в род. Так и живет сказание о Раймалы-аге. Во все времена есть у Раймалы-аги свои хулители и свои защитники.

Припомнилось Едигею в тот вечер, как поносил и злобствовал кречетоглазый, обнаруживший среди бумаг Абуталипа Куттыбаева запись обращения Раймалы-аги к брату Абдильхану. Абуталип же, напротив, был очень высокого мнения об этой, как он называл ее, поэме о степном Гете; оказывается, у немцев тоже был великий и мудрый старик, который влюбился в молоденькую девушку. Абуталип записал песню о Раймалы-аге со слов Казангапа в надежде, чтобы прочли ее сыновья, когда станут взрослыми людьми. Абуталип говорил, что бывают отдельные случаи, отдельные судьбы людей, которые становятся достоянием многих, ибо цена того урока настолько высока, так много вмещает в себя та история, что то, что было пережито одним человеком, как бы распространяется на всех живших в то время и даже на тех, кто придет следом, много позже…

Перед ним сидел Эрлепес, вдохновенно наигрывая на домбре и вторя ей голосом, начальник разъезда, которому положено прежде всего ведать путями на определенном участке железной

дороги, казалось бы, зачем ему носить в себе мучительную историю давнего прошлого, историю несчастного Раймалы-аги, зачем страдать так, точно бы сам он был на его месте… Вот что значит музыка и истинное пение, думалось Едигею, скажут: умри и родись заново — и на то готов в ту минуту… Эх, как хочется, чтобы всегда горел в просветлевшей душе такой огонь, от которого ясно и вольготно думается человеку о себе самым лучшим образом…

На новом месте Едигею не сразу удалось уснуть, хотя он и выходил перед этим подышать воздухом, хотя и устроили ему хозяева удобное, теплое ложе, застелили свежими простынями, сберегаемыми в каждом доме для таких случаев. Он лежал подле окна и слышал, как скребся и посвистывал ветер, как проходили поезда в ту и другую сторону… Ждал рассвета, чтобы обротать взбунтовавшегося Каранара и пораньше отправиться в путь, побыстрей добраться до Боранлы-Буранного, где ждут его детишки обоих домов, потому что он всех любит в равной степени и потому что он для того и живет на этой земле, чтобы им было хорошо… Обдумывал он, каким способом предстоит усмирить Каранара. Вот ведь задача, все у него не как у людей, и верблюд достался самый

норовистый и свирепый, люди боятся одного его вида и теперь готовы даже пристрелить… Но как втолкуешь скотине, что хорошо, что плохо… **Ведь потянуло его сюда неспроста — так природа распорядилась, а Каранар велик и могуч, и оттого нет ему никаких преград, и кто бы ни встал на его пути, любого сокрушит… Как тут быть, как приструнить Каранара? Придется заковать его в цепи и держать всю зиму в загоне, а не то не сносить ему бедовой головы, не Каспан, так кто-нибудь другой пристрелит, и ничего не поделаешь… Засыпая, припомнил еще раз пение Эрлепеса, его игру на домбре и очень был доволен, что довелось провести с ним целый вечер. Ожили и переселились в душу через ту домбру страдания некогда влюбившегося, на беду свою, певца Раймалы-аги. И хотя ничего общего не было между ними, Едигей ощутил в той истории Раймалы-аги какое-то отдаленное созвучие, какую-то одинаковую боль. То, что испытал Раймалы-ага лет сто тому назад, как эхо отдавалось теперь в нем, в Буранном Едигее, живущем в пустынных сарозеках. Едигей тяжело вздыхал, ворочался в постели, грустно и тоскливо было ему от всей этой надвигающейся неясности, неопределенности**

духа в себе. Куда ему было податься и как быть дальше? Что сказать Зарипе и что ответить Укубале? Нет, не находил распутья, плутал, запутывался и, засыпая, очутился вдруг на Аральском море… Голова закружилась от нестерпимой синевы и ветра… И как тогда, как в детстве, ринулся к морю, чтобы вообразить себя чайкой, вольно витающей над бурунами, и очень тому обрадовался, ликовал, реял над морским протором и слышал все время, как гудела и звенела домбра, как пел Эрлепес о несчастной любви Раймалы-аги, и снилось ему снова, как выпускал он в море золотого мекре. Мекре был гибкий и увесистый, и когда он нес его к воде, явственно ощущал живую плоть рыбы, то, как она жаждала вырваться в свою стихию. Он шел по прибою, море катилось ему навстречу, а он смеялся ветру в лицо, а потом разжал руку, и золотой мекре, вспыхивая в густой синиве воздуха живым радужным блеском, очень долго соскальзывал и падал в воду… И все так же доносилась откуда-то музыка… Кто-то плакал и жаловался на свою судьбу.

Той ночью гулял в степи морозный порывистый ветер. Стужа набирала силу. Стадо верблюдиц из четырех голов, облюбованное и оберегаемое Бу-

ранным Каранаром, стояло в затишке, в ложбине под невысокой сопкой. Заметаемые с подветренной стороны снегом, они сбились в кучу, угревая друг друга, положив головы на шеи друг другу, но их неистовый косматый повелитель Каранар не давал им покоя. Он все носился, кружил вокруг да около, злобно рыча, ревнуя их неизвестно к кому и чему, разве что к луне, которая просвечивала вверху сквозь летучую мглу.

Каранар не находил себе места. Он топтался по метельному дымному насту, черный зверь о двух горбах, с длиннющей шеей и рявкающей патлатой головой. Сколько же в нем было силы! Он и сейчас не прочь был заняться любовным трудом и все докучал и приставал то к одной, то к другой матке, крепко кусал их за лодыжки и за ляжки, оттирал их одну от другой, но это было уж слишком с его стороны, верблюдицам достаточно было и дневного времени, когда они охотно исполняли его прихоти, а ночью им хотелось покоя. Поэтому они тоже неприязненно орали в ответ, отбивались от его неуместных приставаний и не собирались уступать. Ночью им хотелось покоя.

Ближе к рассвету поуспокоился, попритих и Буранный Каранар. Стоял рядом с самками, покрикивая изредка как бы спросонья и дико

озираясь вокруг. И тогда верблюдицы прилегли на снег, вся четверка, одна возле другой, вытянули шеи, опустили головы и притихли, задремали малость. Снились им малые верблюжата, те, что были, и те, которые собирались народиться от черного атана, прибежавшего сюда невесть откуда и завладевшего ими в битве с другими атанами. И снилось им лето, пахучая полынь, нежное прикосновение сосунка к вымени, и вымена их побаливали, покалывали из смутной глубины, предощущая будущее молоко… А Буранный Каранар стоял все так же на страже, и ветер посвистывал в его космах…

И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг Солнца, и когда, вращаясь вокруг себя, она наконец повернулась таким боком, что наступило утро над сарозеками, увидел вдруг Буранный Каранар, как появились поблизости двое людей верхом на верблюдице. То были Едигей и Коспан. Коспан взял с собой ружье.

Взъярился Буранный Каранар, задрожал, заорал, закипел во гневе — как смели люди вступить в его пределы, как могли приблизиться к его гурту, какое имели право нарушить его гон? Каранар завопил зычным, свирепеющим голосом

и, дергая головой на длиннющей шее, залязгал зубами, как дракон, разевая страшную клыкастую пасть, И пар валил, как дым, из его горячего рта на холоде и тут же оседал на черных космах белой налетающей изморозью. От возбуждения Каранар начал мочиться, встал раскорячившись и пустил струю против ветра, отчего в воздухе резко запахло распыленной мочой, и ледяные капли упали на лицо Едигея.

Едигей спрыгнул на землю, сбросил шубу на снег и, оставшись налегке — в телогрейке и ватных штанах, — раскрутил бич с кнутовища, которое держал в руках.

— Ты смотри, Едике, в случае чего я его уложу, — сказал Каспан, направляя ружье.

— Нет, ни в коем случае. За меня не беспокойся. Я хозяин, я сам отвечаю. Ты это береги для себя. Если на тебя нападет, тогда дело другое.

— Хорошо, — согласился Коспан, оставаясь верхом на верблюдице.

А Едигей, нахлестывая бич резкими, стреляющими хлопками, пошел навстречу своему Каранару. Каранар же, завидев его приближение, еще больше впал в бешенство и потрусил, крича и брызгая слюной, навстречу Едигею. Тем временем матки встали с лежбища и тоже беспокойно

забегали вокруг.

Хлопая бичом, которым он обычно погонял верблюжью волокушу на снежных заносах, Едигей шел по снегу, громко окликая издали Каранара, надеясь, что тот узнает его голос:

— Эй, эй, Каранар! Не валяй дурака! Не валяй, говорю! Это я! Ты что, ослеп? Это я, говорю!

Но Каранар не реагировал на его голос, и Едигей ужаснулся, когда увидел косматый злобный взгляд верблюда и то, как он набегал на него всей своей черной громадой с трясущимися горбами на спине. И тогда, поплотней надвинув малахай, Едигей пустил в ход бич. Бич был длинный, метров семь, плетенный из тяжелой, просмоленной кожи. Верблюд орал, наступал на Едигея, пытаясь схватить его зубами или повалить на землю и затоптать, но Едигей не подпускал его к себе и хлестал бичом со всей силы, увертывался, отступал и наступал и все кричал ему, чтобы тот опомнился и признал его. Так бились они каждый как умел, и каждый был по-своему прав. Едигей был потрясен неукротимой, невменяемой устремленностью атана к счастью и понимал, что лишает его этого счастья, но другого выхода не было. Одного только опасался Едигей, только бы глаз Каранару не выбить, остальное сойдет.

Упорство Едигея сломило наконец волю животного. Нахлестывая, крича, наступая на верблюда, Едигею удалось приблизиться и кинуться, затем ухватить его за верхнюю губу, он чуть не оторвал эту губу, с такой силой вцепился, и тут же, изловчившись, наложил на нее заготовленную заранее закрутку. Каранар замычал, застонал от нестерпимой боли, причиненной ему закруткой, в его расширенных немигающих, немеющих от страха и боли глазах Едигей увидел свое четкое отражение, как в зеркале, и отпрянул было, убоявшись собственного вида. Ему захотелось бросить все к черту и бежать прочь, чем так мучить ни в чем не повинную тварь, но он тут же одумался: его ждали в Боранлы-Буранном, и нельзя было возвращаться без Каранара, того просто пристрелят ак-мойпак-ские соседи. И он пересилил себя. Торжествующе вскрикнул и принялся угрожать верблюду, заставляя его лечь на землю. Надо было его оседлать. Буранный Каранар все еще сопротивлялся, вопил и рычал, обдавая хозяина влажным дыханием горячей ревущей пасти, но хозяин оставался непреклонным. Он заставил верблюда покориться.

— Коспан, сбрасывай сюда седло и отгони этих верблюдиц подальше, за сопку, чтобы он их не

видел! — прокричал Едигей Коспану.

Тот сразу скинул седло с верховой верблюдицы, а сам побежал отгонять Каранарово стадо. Тем временем все было покончено — Едигей быстро уложил седло на Каранара и, когда прибежал Коспан и принес Едигею брошенную шубу, быстро оделся и не мешкая водрузился верхом на оседланного и обузданного Каранара.

Разъяренный верблюд еще пытался вернуться к разлученным маткам, хотел даже, закидывая голову набок, достать зубами хозяина. Но Едигей знал свое дело. И, несмотря на рыки и злобные вопли, на раздраженное несмолкаемое вытье Каранара, Едигей упорно гнал его по снежной степи и все пытался вразумить.

— Перестань! Хватит! — говорил он ему. — Замолчи! Все равно назад не вернешься. Дурная ты голова! Думаешь, я тебе зла желаю? Да не будь меня, сейчас бы тебя пристрелили как вредного бешеного зверя. А что скажешь? Ты же взбесился, это верно, еще как верно! Взбесился, ведешь себя как последний сумасброд! А не то зачем приперся сюда, своих маток тебе не хватало? Вот учти, доберемся до дома — и конец твоим куролесиям по чужим стадам! На цепь посажу, и ни шагу тебе не будет свободы, раз ты такой оказался!

Грозился Буранный Едигей больше для того, чтобы оправдаться в собственных глазах. Силой уводил Каранара от его ак-мойнакских верблюдиц. И это было вообще-то несправедливо! Был бы он смирным животным — какой вопрос! Вот ведь бросил Едигей верховую верблюдицу у Коспана. Коспан обещал при случае пригнать ее на Боранлы-Буранный — и никаких тебе проблем, все мило и хорошо. А с этим окаянным одни неприятности.

Через некоторое время смирился Буранный Каранар и с тем, что снова оказался под седлом, и с тем, что снова попал под начало хозяина. Кричал уже поменьше, выровнял, убыстрил шаг и вскоре достиг высшего хода — бежал тротом, стриг ногами расстояние сарозеков как заведенный. И Едигей успокоился, уселся поудобней между упругими горбами, застегнулся от ветра, поплотней подвязал малахай и теперь с нетерпением ждал приближения к боранлинским местам.

Но было еще достаточно далеко до дома. День выдался сносный. Немного ветреный, немного облачный. Метели в ближайшие часы можно было не опасаться, хотя ночью вполне могло запуржить. Буранный Едигей возвращался довольный тем, что удалось изловить и обуздать

Каранара, а особенно вчерашним вечером у Коспана, домброй и пением Эрлепеса.

И Едигей невольно вернулся к мыслям о своей незадачливой жизни. Вот ведь беда! Как сделать, чтобы никто не пострадал и чтобы боль свою не таить, а сказать напрямик — так и так, мол, Зарипа, люблю тебя. И если детям Абуталипа не будет ходу с фамилией отца, то, если Зарипу это устроит, пожалуйста, пусть запишет этих ребят на его, Едигея, фамилию. Он будет только счастлив, если его фамилия пригодится Даулу и Эрмеку. И пусть не будет им никаких помех и преград в жизни. И пусть добиваются они успеха своими силами и умением. Жалко разве для этого фамилию отдать? Да, и такие мысли навещали по пути Буранного Едигея.

Уже день клонился к исходу. Неутомимый Каранар как ни противился, как ни ярился, но под верхом шел добросовестно. Вот впереди открылись боранлинские лога, вот знакомые буераки, заметенные сугробами, вот большое всхолмление — и впереди на излучине железной дороги приткнулся разъезд Боранлы-Буранный. Дымки вьются над трубами. Как-то там его родные семьи? Вроде бы отлучился всего на день, а тревога такая, будто целый год здесь не был. И соскучил-

ся здорово — особенно по детишкам. Завидев впереди поселение, Каранар еще прибавил шагу. Припотевший, разгоряченный шел, широко раскидывая ноги, выбрасывая изо рта клубы пара. Пока Едигей приближался к дому, на разъезде успели встретиться и разминуться два товарных поезда. Один пошел на запад, другой на восток…

Едигей остановился на задах, во дворе, чтобы сразу же запереть Каранара в загон. Спешился, ухватил врытую в землю на перекладине толстую цепь, сковал ею переднюю ногу верблюда. И оставил его в покое. «Пусть поостынет, потом расседлаю», — решил он про себя. Спешил он почему-то очень. Распрямляя затекшие спину и ноги, Едигей выходил из загона, когда прибежала старшая дочка — Сауле. Едигей обнял ее, неловко двигаясь в шубе, поцеловал.

— Замерзнешь, — сказал он ей. Она была легко одета. — Беги домой. Я сейчас.

— Папа, — сказала Сауле, ласкаясь к отцу, — а Даул и Эрмек уехали.

— Куда уехали?

— Совсем уехали. С мамой. Сели на поезд и уехали.

— Уехали? Когда уехали? — все еще не понимая, о чем речь, переспросил он, глядя в глаза дочери.

— Да сегодня утром еще.

— Вот как! — дрогнувшим голосом отозвался Едигей. — Ну ты беги, домой беги, — отпустил он девочку. — А я потом, потом. Иди, иди сейчас…

Сауле скрылась за углом. А Едигей быстро, даже не прикрыв за собой калитку загона, как был в шубе поверх ватника, направился прямо в барак Зарипы. Шел и не верил. Ребенок мог что-то напутать. Не должно быть такого. Но крыльцо было потоптано многими следами. Едигей резко потянул дверь за скобу и, переступив порог, увидел покинутую, уже давно простывшую комнату с разбросанным повсюду ненужным хламом. Ни детей, ни Зарипы!

— Как же так? — прошептал Едигей в пустоту, все еще не желая понять до конца, что произошло. — Значит, уехали? — сказал он удивленно и скорбно, хотя совершенно очевидно было, что люди уехали отсюда.

И ему стало плохо, так плохо, как никогда за всю прожитую жизнь. Он стоял в шубе посреди комнаты, у холодной печи, не понимая, что делать, как быть дальше, как остановить в себе кричащую, рвущуюся наружу обиду и утрату. На подоконнике лежали забытые Эрмеком гадательные камушки, те самые сорок один камушек, на

которых научились они гадать, когда вернется не существующий давно их отец, камушки надежды и любви. Едигей сгреб в горсть гадательные камушки, зажал их в руке — вот и все, что осталось. Больше у него не хватило сил, он отвернулся к стене, прижимаясь горячим горестным лицом к холодным доскам, и зарыдал сдавленно и безутешно. И пока он плакал, из руки его и то и дело падали на пол камушки один за другим. Он судорожно пытался удержать их в дрожащей руке, но рука не подчинялась ему, и камушки выскальзывали и падали на пол с глухим стуком один за другим, падали и закатывались по разным углам опустевшего дома…

Потом он обернулся, сползая по стене, медленно опустился на корточки и сидел так в шубе и нахлобученном малахае, подперев спиной стену и горько всхлипывая. Достал из кармана шарфик, подаренный накануне Зарипой, и утирал им слезы…

Так сидел он в покинутом бараке и пытался понять, что произошло. Выходит, Зарипа уехала с детьми в его отсутствие нарочно. Значит, она того хотела или боялась, что он не отпустит их. Да он и не отпустил бы их ни в коем случае, ни за что. Чем бы это ни кончилось, не отпустил бы,

будь он здесь. Но теперь было поздно гадать, как и что было бы, не будь он в отъезде. Их не было. Не было Зарипы! Не было мальчиков! Да разве бы он разлучился с ними? Это все Зарипа, поняла, что лучше уехать в его отсутствие. Облегчила себе отъезд, но не подумала о нем, о том, как страшно будет ему застать опустевший барак.

И кто-то ведь остановил ей поезд на разъезде! Кто-то! Да известно кто — Казангап, кто же еще! Только он не срывал, конечно, стоп-кран, как Едигей в день смерти Сталина, а договорился, упросил начальника разъезда остановить какой-нибудь пассажирский поезд. Это такой тип… И Укубала, должно быть, приложила руку, чтобы побыстрей выпроводить их вон отсюда! Ну подождите же! И кровь мщения глухо и черно вскипела, зажигая мозг, — хотелось ему сейчас собраться с силами и сокрушить все и вся на этом богом проклятом разъезде, именуемом Боранлы-Буранный, сокрушить дотла, чтобы щепочки не осталось, сесть на Каранара и укатить в сарозеки, подохнуть там в одиночестве от голода и холода! Так он сидел на покинутом месте — обессиливший, опустошенный, потрясенный случившимся. Осталось только тупое недоумение: «Зачем уехала, куда уехала? Зачем уехала, куда уехала?»

Потом он появился дома. Укубала молча приняла его шубу, шапку, валенки отнесла в угол. По застывшему, как камень, серому лицу Буранного Едигея трудно было определить, что он думает и что намерен делать. Глаза его казались незрячими. Они ничего не выражали, затаили в себе нечеловеческое усилие, которое он прилагал, чтобы оставаться сдержанным. Укубала уже несколько раз в ожидании мужа ставила самовар. Самовар кипел, в нем полно было тлеющего древесного угля.

— Чай горячий, — сказала жена. — С огня.

Едигей молча глянул на нее и продолжал хлебать кипяток. Он не чувствовал кипятка. Оба напряженно ждали разговора.

— Зарипа уехала отсюда с детьми, — промолвила наконец Укубала.

— Знаю, — не поднимая головы от чая, коротко буркнул Едигей. И, помолчав, спросил, все так же не поднимая головы от чая: — Куда уехала?

— Этого она нам не сказала, — ответила Укубала.

На том они замолчали. Обжигаясь крутым чаем и невзирая на это, Едигей занят был лишь одним: только бы не взорваться, только бы не разнести тут все вдребезги, не напугать детей, только бы

не натворить беды…

Кончив пить чай, он снова стал собираться на улицу. Снова надел валенки, шубу, шапку.

— Ты куда? — спросила жена.

— Скотину посмотреть, — бросил он в дверях.

Короткий зимний день успел тем временем кончиться. Быстро, почти зримо сгущался, темнел воздух вокруг. И мороз заметно покрепчал, поземка зашевелилась, вскидываясь, змеясь бегущими гривами. Едигей хмуро прошагал в загон. И, войдя, раздраженно зыркнул глазами, прикрикнул на рвавшегося с цепи Каранара:

— Ты все орешь! Тебе все неймется! Ну так ты у меня, сволочь, дождешься! С тобой у меня разговор короткий теперь! Теперь мне все нипочем!

Едигей зло толкнул Каранара в бок, замaтерился злым матом, расседлал, отшвырнул прочь седло со спины верблюда и расцепил на его ноге цепь, на которой тот был прикован. Затем он взял его за повод, в другой руке зажал бич, намотанный на кнутовище, и пошел в степь, ведя на поводу нудно покрикивающего, воющего с тоски атана. Несколько раз хозяин оглядывался, угрожающе замахивался, одергивал Буранного Каранара, чтобы тот прекратил свой стон и вопль, но, поскольку это не возымело действия, плюнул

и, не обращая внимания, шел угрюмо и терпеливо снося верблюжий ор, шел упрямо по глубокому снегу, по поземке, по сумеречному полю, темнеющему, теряющему постепенно очертания. Он тяжело дышал, но шел не останавливаясь, Долго шел, мрачно опустив голову. Отойдя от разъезда далеко за пригорок, он остановил Каранара и учинил над ним жестокую расправу. Сбросив на снег шубу, Едигей быстро привязал повод недоуздка к поясу на ватнике, чтобы верблюд не вырвался и не убежал и чтобы иметь руки свободными, и, ухватившись обеими руками за кнутовище, принялся стегать бичом атана, вымещая на нем всю свою беду. Яростно, беспощадно хлестал он Буранного Каранара, нанося удар за ударом, хрипя, изрыгая ругательства и проклятия:

— На тебе! На! Подлая скотина! Это все из-за тебя! Из-за тебя! Это ты во всем виноват! И теперь я тебя отпущу, беги куда глаза глядят, но прежде я тебя изувечу! На тебе! На! Ненасытная тварь! Тебе все мало! Тебе надо бегать по сторонам. А она уехала тем часом с детьми! И никому из вас нет дела, каково мне! Как мне теперь жить на свете? Как мне жить без нее? Если вам все равно, то и мне все равно. Так получай, получай, собака!

Каранар кричал, рвался, метался под ударами

бича и, обезумев от страха и боли, сбил хозяина с ног и побежал прочь, волоча его по снегу. Он волок хозяина с дикой, чудовищной силой, волок как бревно, лишь бы избавиться от него, лишь бы освободиться, убежать туда, откуда его насильно вернули.

— Стой! Стой! — вскрикивал Едигей, захлебываясь, зарываясь в снегу, по которому тащил его атан.

Шапка слетела, сугробы били жаром и холодом в голову, в лицо, в живот, налезали за шею, за пазуху, в руках запутался бич, и ничего нельзя было поделать, чтобы как-то остановить атана, отвязать повод от ремня на поясе. А тот волок его панически, безрассудно, видя в бегстве спасение. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы Едигею не удалось каким-то чудом распустить ремень, сдернуть пряжку и тем спастись, не то задохнулся бы в сугробах. Когда он уже схватился за повод, верблюд проволок его еще несколько метров и остановился, удерживаемый хозяином из последних сил.

— Ах ты! — приходя в себя, бормотал Едигей, задыхаясь и пошатываясь. Так ты так? Ну получай, скотина! И прочь, прочь с моих глаз! Беги, проклятый, чтобы никогда мне не видеть тебя!

Пропади ты пропадом! Сгинь, проваливай! Пусть тебя пристрелят, пусть изведут, как бешеную собаку! Все из-за тебя! Подыхай в степи. И чтобы духу твоего близко не было! — Каранар убегал с криком в ак-мойнакскую сторону, а Едигей догонял его, стегал бичом, выпроваживал, отрекаясь, проклиная и матеря на чем свет стоит. Пришел час расплаты и разлуки. И потому Едигей долго кричал еще вслед:

— Пропадай, чертова скотина! Беги! Подыхай там, ненасытная тварь! Чтоб тебе пулю в лоб закатили!

Каранар убегал все дальше по сумеречному, стемневшему полю и вскоре исчез в метельной мгле, только доносились изредка его резкие трубные выклики. Едигей представил себе, как всю ночь напролет без устали будет бежать он сквозь метель туда, к ак-мойнакским маткам.

— Тьфу! — плюнул Едигей и повернул назад по широкому, пропаханному собственным телом снежному следу. Без шапки, без шубы, с пылающей кожей на лице и руках, брел он в темноте, волоча бич, и вдруг почувствовал полное опустошение, бессилие. Он упал на колени в снег и, согнувшись в три погибели, крепко обнимая голову, зарыдал глухо и надсадно. В полном

одиночестве, на коленях посреди сарозеков, он услышал, как движется ветер в степи, посвистывая, взвихриваясь, взметая поземку, и услышал, как падает сверху снег. Каждая снежинка и миллионы снежинок, неслышно шурша, шелестя в трении по воздуху, казалось ему, говорили все о том, что не снести ему бремя разлуки, что нет смысла жить без любимой женщины и без тех ребятишек, к которым он привязался, как не всякий отец. И ему захотелось умереть здесь, чтобы замело его тут же снегом.

— Нет бога! Даже он ни хрена не смыслит в жизни! Так что же ждать от других? Нет бога, нет его! — сказал он себе отрешенно в том горьком одиночестве среди ночных пустынных сарозеков. До этого он никогда не говорил вслух такие слова. И даже тогда, когда Елизаров, постоянно памятуя сам о боге, убеждал в то же время, что, с точки зрения науки, бога не существует, он не верил тому. А теперь поверил…

И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг Солнца и, вращаясь вокруг оси своей, несла на себе в тот час человека, коленопреклоненного на снегу, посреди снежной пустыни. Ни король, ни император, ни какой иной владыка не пал бы на колени

перед белым светом, сокрушаясь от утраты государства и власти с таким отчаянием, как сделал то Буранный Едигей в день разлуки с любимой женщиной… И плыла Земля…

Дня через три Казангап остановил Едигея у склада, где они получали костыли и подушки под рельсы для ремонта.

— Что-то ты нелюдимый стал, Едигей, — сказал он как бы между прочим, перекладывая связку железок на носилки. — Ты избегаешь меня, что ли, сторонишься почему-то, все никак не удается поговорить.

Едигей резко и зло глянул на Казангапа.

— Если мы начнем говорить, то я тебя придушу на месте. И ты это знаешь!

— А я и не сомневаюсь, что ты готов придушить меня и, быть может, еще кое-кого. А только с чего это ты так гневаешься?

— Это вы принудили ее уехать! — высказал напрямик Едигей то, что мучило и не давало ему покоя все эти дни.

— Ну, знаешь, — покачал головой Казангап, и лицо его стало красным то ли от гнева, то ли от стыда. — Если тебе такое пришло в голову, значит, ты дурно думаешь не только о нас, но и о ней. Скажи спасибо, что женщина эта оказалась

с великим умом, не то что ты. Ты думал когда-нибудь, чем бы могло все это кончиться? Нет? А она подумала и решила уехать, пока не поздно. И я помог ей уехать, когда она попросила меня о том. И я не стал допытываться, куда она двинулась с детьми, и она не сказала, пусть об этом знает судьба и больше никто. Понял? Уехала, не уронив ни единым словом своего достоинства и достоинства твоей жены. И они попрощались как люди. Да ты поклонись им обеим в ноги, что уберегли они тебя от беды неминуемой. Такой жены, как Укубала, тебе вовек не сыскать. Другая бы на ее месте такое бы устроила, что ты убежал бы на край света почище твоего Каранара…

Молчал Едигей — что было отвечать? Казангап говорил, в общем-то, правду. Только нет, не понимал Казангап того, что ему было недоступно. И Едигей пошел на прямую грубость.

— Ладно! — проговорил он и сплюнул пренебрежительно в сторону. Послушал я тебя, умника. Потому ты такой и ходишь здесь двадцать три года бессменно, без сучка, без задоринки, как истукан. Откуда тебе знать дела эти! Ладно! Некогда мне тут выслушивать. — И пошел, не стал разговаривать.

— Ну смотри, дело хозяйское, — послышалось

позади.

После этого разговора задумал Едигей покинуть опостылевший разъезд Боранлы-Буранный. Всерьез задумал, потому что не находил успокоения, не находил в себе сил забыть, не мог осилить снедающую душу тоску. Без Зарипы, без ее мальчишек все померкло вокруг, опустело, оскудело. И тогда, чтобы избавиться от этих мучений, решил Едигей Жангельдин официально подать заявление начальнику разъезда об увольнении и уехать с семьей куда глаза глядят. Только бы здесь не оставаться. Ведь не прикован же он цепями навечно к этому богом забытому разъезду, большинство людей живут же в других местах — в городах и селах, они не согласились бы здесь жить ни часа. А почему он должен век куковать в сарозеках? За какие грехи? Нет, хватит, уедет, вернется на Аральское море или двинет в Караганду, в Алма-Ату — и мало ли еще мест на свете. Работник он хороший, руки-ноги на месте, здоровье есть, голова пока на плечах, плюнет на все и уедет, чего тут думу думать. Соображал Едигей, как подступиться с этим разговором к Укубале, как убедить ее, а остальное не задача. И пока он собирался, выбирал удобный момент для разговора, минула неделя и объявился вдруг

Буранный Каранар, выгнанный хозяином на вольное житье.

Обратил внимание Едигей на то, что собака что-то все лает за домом, беспокоится, побежит, полает и снова вернется. Едигей вышел посмотреть что там, и увидел неподалеку от загона незнакомое животное — верблюд, только странный какой-то, стоит и не двигается. Едигей подошел поближе и только тогда узнал своего Каранара.

— Так это ты, значит? До чего же ты дошел, бечара[26], до чего же ты истаскался! — воскликнул опешивший Едигей.

От прежнего Буранного Каранара остались только кожа да кости. Огромная голова с запавшими грустными глазами болталась на истончившейся шее, космы были вроде не свои, а подцеплены для смеха, свисали ниже колен, прежних каранаровских горбов, вздымавшихся как черные башни, не было и в помине — оба горба свалились набок, как увядшие старушечьи груди. Атан так обессилел, что не хватило мочи добрести до загона. И остановился здесь, чтобы передохнуть. Весь до последней кровинки, до

---

[26] Примечания: 26
Бечара — бедолага.

последней клеточки изошелся он в гоне и теперь вернулся как опорожненный мешок, добрался, приполз.

— Эх-хе-хе! — не без злорадства удивлялся Едигей, оглядывая Каранара со всех сторон. — Вот до чего ты докатился! Тебя даже собака не узнала. А ведь был атаном! Ну и ну! И ты еще заявился?! Ни стыда, ни совести! Яйца-то у тебя на месте, дотянул или потерял по пути? А и вонища же от тебя. На ноги лил, сил не хватало. Вон как намерзло на заднице! Бечара! Совсем доходягой стал!

Каранар стоял, не в силах шевельнуться, и не было в нем ни прежней силы, ни прежнего величия. Грустный и жалкий, он лишь покачивал головой и старался только устоять, удержаться на ногах.

Едигею стало жалко атана. Он пошел домой и вернулся с полным тазиком отборного пшеничного зерна. Подсолил сверху полпригоршней соли.

— На, поешь, — поставил он корм перед верблюдом. — Может, оклемаешься. Я потом доведу тебя до загона. Полежишь, придешь в себя.

В тот день у него был разговор с Казангапом. Сам пошел к нему домой и речь завел такую:

— Я к тебе, Казангап, вот по какому делу. Ты не

удивляйся: вчера, мол, разговаривать не хотел, то да се говорил, а сегодня заявился. Дело серьезное. Хочу я возвратить тебе Каранара. Поблагодарить пришел. Когда-то ты подарил его мне сосунком. Спасибо. Послужил он мне хорошо. Я его недавно прогнал, терпение мое лопнуло, так он сегодня прибрел. Едва ноги приволок. Сейчас лежит в загоне. Недели через две придет в прежний вид. Силен и здоров будет. Только подкормить требуется.

— Постой, — перебил его Казангап. — Ты куда клонишь? Что это ты вдруг решил возвращать мне Каранара? Я тебя просил об этом?

И тогда Едигей выложил все, как того ему хотелось. Так и так, мол, помышляю уехать с семьей. Надоело в сарозеках, пора переменить место жительства. Может, к лучшему обернется. Казангап внимательно выслушал и вот что сказал ему:

— Смотри, дело твое. Только, сдается мне, ты сам не понимаешь, чего ты хочешь. Ну хорошо, допустим, ты уехал, но от себя-то не уедешь. Куда бы ты ни запропастился, а от беды своей не уйдешь. Она будет всюду с тобой. Нет, Едигей, если ты джигит, то ты здесь попробуй перебори себя. А уехать — это не храбрость. Каждый может уехать. Но не каждый может осилить себя.

Едигей не стал соглашаться с ним, но не стал и спорить. Просто задумался и сидел, тяжело вздыхая. «А может, все же уехать, закатиться в другие края? — думал он. — Но смогу ли забыть? А почему я должен забывать? А как же быть дальше? И не думать нельзя, и думать тяжко. А ей каково-то? Где она теперь с несмышленышами? И есть ли кому понять и помочь ей в случае чего? И Укубале нелегко — сколько дней уже молча сносит она мое отчуждение, мою угрюмость… А за что?»

Казангап понял, что происходит в уме Буранного Едигея, и, чтобы облегчить положение, сказал, кашлянув, чтобы привлечь его внимание. Он сказал ему, когда тот поднял глаза:

— А впрочем, зачем мне тебя убеждать, Едигей, словно бы я хочу какую-то выгоду иметь. Ты и сам все разумеешь. И если на то пошло, ты не Раймалы-ага, а я не Абдильхан. И главное, за сто верст вокруг нет у нас ни одной березины, к которой я мог бы привязать тебя. Ты свободен, поступай как угодно. Только подумай, перед тем как стронуться с места.

Эти слова Казангапа долго оставались в памяти Едигея.

X

Раймалы-ага был очень известным для своего времени певцом. Смолоду прославился. Милостью божьей он оказался жырау, сочетавшим в себе три прекрасных начала: он был и поэтом, и композитором собственных песен, и исполнителем незаурядным, певцом большого дыхания. Своих современников Раймалы-ага поражал. Стоило ему ударить по струнам, как вслед за музыкой лилась песня, рождаясь в присутствии слушателей. И на следующий день эта песня ходила уже из уст в уста, ибо, услышав напев Раймалы, каждый уносил его с собой по аулам и кочевьям. Это его песню распевали тогдашние джигиты:

Воды прохладной вкус познает конь горячий,

Когда он припадет к реке, бегущей с гор.

Когда же я скачу к тебе, чтобы с седла припасть к твоим губам,

Я познаю отраду бытия на белом свете…

Раймалы-ага красиво и ярко одевался, это ему сам бог велел. Особенно любил богатые, отороченные лучшими мехами шапки, разные для зимы, лета и весны. И был еще у него конь неразлучный — всем известный золотисто-игреневый ахалтекинец Сарала, даренный туркменами на званом пиру. Хвалу воздавали Сарале не меньше, чем хозяину. Любуясь походкой его, изящной и величественной, знатоки наслаждение получали. Потому и говорили те, кому охота была подшутить: все богатство Раймалы — звук домбры да походка Саралы.

А оно так и было. Всю свою жизнь Раймалы-ага провел в седле и с домброй в руках. Богатства не нажил, хотя славу имел огромную. Жил, как майский соловей, все время в пирах, в веселии, везде ему почет и ласка. А коню уход и корм. Однако были иные крепкие, состоятельные люди, которые не любили его, — беспутно, мол, бестолково прожил жизнь, как ветер в поле. Да, поговаривали и так за спиной.

Но когда Раймалы-ага появлялся на красном пиру, то с первыми звуками его домбры и песни все затихали, все завороженно смотрели на его руки, глаза и лицо, даже те, кто не одобрял его образа жизни. На руки смотрели потому, что не

было таких чувств в человеческом сердце, созвучия которым не нашли бы эти руки в струнах; на глаза смотрели потому, что вся сила мысли и духа горела в его глазах, беспрестанно преображавшихся; на лицо смотрели потому, что красив он был и одухотворен. Когда он пел, лицо его менялось, как море в ветреный день…

Жены уходили от него, отчаявшись и исчерпав терпение, но многие женщины плакали украдкой по ночам, мечтая о нем.

Так катилась его жизнь от песни к песне, со свадьбы на свадьбу, с пира на пир, и незаметно старость подкралась. Вначале в усах седина замелькала, потом борода поседела. И даже Сарала стал не тот — телом упал, хвост и грива иссеклись, по походке только и можно было судить, что был когда-то конь отменный. И вступил Раймалы-ага в зиму свою, как тополь островерхий, подсыхающий в гордом одиночестве… И тут обнаружилось, что нет у него ни семьи, ни дома, ни стад, ни иного богатства. Приютил его младший брат Абдильхан, но прежде высказал в кругу близких сородичей недовольство и упреки. Однако велел поставить ему отдельную юрту, велел кормить и обстирывать…

О старости стал петь Раймалы-ага, о смерти

стал призадумываться. Великие и печальные песни рождались в те дни. И настал его черед постигать на досуге изначальную думу мыслителей — зачем рождается человек на свет? И уже не разъезжал он, как прежде, по пирам и свадьбам, все больше дома оставался, все чаще наигрывал на домбре грустные мелодии, воспоминаниями жил да все дольше засиживался со старейшинами в беседах о бренности мира…

И, бог ему свидетель, спокойно завершил бы дни свои Раймалы-ага, если бы не один случай, потрясший его на склоне лет.

Однажды не утерпел Раймалы-ага, оседлал своего престарелого Саралу и поехал на большой праздник развеять скуку. Домбру на всякий случай прихватил. Уж очень просили уважаемые люди побывать на свадьбе, если не петь, то погостить хотя бы. С тем и поехал Раймалы-ага — с легкой душой, с намерением быстро вернуться.

Встретили его с почетом большим, в самую лучшую юрту белокупольную пригласили. Сидел он там в кругу знатных лиц, кумыс попивал, разговоры вел приличествующие да благожелания высказывал.

А в ауле пир шел горой, доносились отовсюду песни, смех, голоса молодых, игры и забавы.

Слышно было, как готовились к скачкам в честь молодоженов, как хлопотали повара у костров, как гомонили на воле табуны, как беспечно резвились собаки, как ветер шел со степи, донося запахи трав цветущих… Но более всего и ревностно улавливал слух Раймалы-аги музыку и пение в соседних юртах, смех девичий то и дело взрывался вокруг, заставляя его настораживаться…

Томилась, изнывала душа старого певца. Виду не подавал собеседникам, но мысленно Раймалы-ага витал в прошлом, ушел в те дни, когда сам был молодым и красивым, когда мчался по дорогам на молодом и ретивом скакуне Сарале, когда травы, сминаясь под копытами, плакали и смеялись, когда солнце, заслышав песню его, катило навстречу, когда ветер не вмещался в грудь, когда от звуков его домбры загоралась кровь в сердцах людей, когда каждое слово его срывали на лету, когда умел он страдать, умел любить, и казниться, и слезы лить, прощаясь со стремени… К чему и зачем все то было? Чтобы затем жалеть и угасать на старости, как тлеющий огонь под пеплом серым?

Печалился Раймалы-ага, все больше помалкивал, погруженный в себя. И вдруг услышал он приближающиеся к юрте шаги, голоса и звон мо-

нист, и знакомое шуршание платьев уловило его ухо. Кто-то снаружи высоко приподнял сшитый полог над дверью юрты, и на пороге появилась девушка с домброй, прижатой к груди, открытолицая, со взглядом озорным и гордым, с бровями, как тетива тугими, что выдавало в ней весьма решительный характер, и вся она, черноокая, была ладна собой, словно бы сотворена умелыми руками, — и ростом, и обличьем, и одеянием девичьим. Она стояла в дверях с поклоном, в сопровождении подруг и нескольких джигитов, прощения прося у знатных лиц. Но никто не успел и рта открыть, как девушка уверенно ударила по струнам и, обращаясь к Раймалы-аге, запела приветственную песню:

«Как караванщик, издали идущий к роднику, чтоб жажду утолить, к тебе пришла я, певец прославленный Раймалы-ага, сказать слова привета. Не осуди, что вторглись мы сюда толпою шумной, — на то здесь пир, на то веселье воцаряется на свадьбах. Не удивляйся смелости моей, Раймалы-ага, — отважилась к тебе явиться с песней, с таким же трепетом и тайным страхом, как если бы

сама в любви признаться я хотела. Прости, Раймалы-ага, я смелостью заряжена, как порохом ружье заветное. Хотя живу я вольно на пирах и свадьбах, но к встрече этой готовилась всю жизнь, как та пчела, что мед по каплям собирает. Готовилась, как тот цветок в бутоне, которому раскрыться суждено в урочный час. И этот час настал…»

«Позволь, но кто же ты, пришелица прекрасная?» — хотел было узнать Раймалы-ага, но не посмел прервать чужую песню на полуслове. Однако весь подался к ней в удивлении и восторге. Душа смутилась в нем, горячей кровью возбудилась плоть, и если бы в тот час особым зрением обладать сумели люди, увидели б они, как встрепенулся он, как крыльями взмахнул, подобно беркуту на взлете. Глаза в нем ожили и засияли, насторожился сам, как клик желанный заслышав в небесах. И поднял голову Раймалы-ага, забыв о годах…

А девушка-певица продолжала:

«Послушай же историю мою, жырау великий, коль скоро я решилась на этот шаг. Я с юных лет люблю тебя, певец от

бога Раймалы-ага. Я всюду следовала за тобой, Раймалы-ага, где б ты ни пел, куда б ты ни приехал. Не осуждай. Моя мечта была акыном стать таким, каким ты был, какой ты есть поныне, великий мастер песни Раймалы-ага. И, следуя повсюду за тобой незримой тенью, ни слова твоего не пропустив, твои напевы повторяя как молитвы, училась я, стихи твои, как заклинанья, затвердила. Мечтала я, просила я у бога мне ниспослать великой силы дар, чтобы могла тебя приветствовать в один счастливый день, чтобы в любви признаться, в преклонении давнем спеть песни, сочиненные в твоем присутствии, и еще, пусть бог простит мне эту дерзость, с тобой, великий мастер, в искусстве состязаться я мечтала, пусть если даже буду побеждена. О Раймалы-ага, об этом дне мечтала, как иной о свадьбе. Но я была мала, а ты — таким великим, таким любимым всеми, настолько славой и почетом окружен, немудрено, меня, девчонку малую, заметить ты не мог в народе, не мог ты отличить в том многолюдье на пирах. А я же, упиваясь песнями

твоими, сгорая от стыда, я втайне грезила тобой и женщиной хотела стать скорее, чтобы прийти к тебе и объявиться смело. И клятву я дала себе познать искусство слова, познать природу музыки так глубоко и научиться петь, как ты, учитель мой, чтобы прийти к тебе, не уклоняясь и не страшась взыскующего взора, чтобы привет сказать, в любви признаться и бросить вызов свой, нисколько не таясь. И вот я здесь. Я вся здесь на виду и на суду. Пока росла я, пока я женщиной предстать спешила без опозданья, так время медленно тянулось, и наконец-то нынешней весной все девятнадцать мне исполнились. А ты, Раймалы-ага, в моем девичьем мире все такой же и все тот же, лишь поседел немного. Но это не помеха, чтобы любить тебя, как можно не любить других, совсем не поседевших. И вот я здесь. Теперь позволь сказать мне решительно и ясно, меня отвергнуть как девицу волен ты, но как певицу — не смеешь отвергать, поскольку я пришла с тобою состязаться в красноречии… Тебе бросаю вызов, мастер, слово за тобой!»

— Но кто же ты? Откуда ты? — воскликнул Раймалы-ага и с места встал. Как звать тебя?

— Мое имя Бегимай.

— Бегимай? Так где же ты была до этого? Откуда ты явилась, Бегимай? — невольно вырвалось из уст Раймалы-аги, и голову склонил он омраченно.

— Ведь я сказала, Раймалы-ага. Мала была я, я росла.

— Все понимаю, — ответил он на то. — Не понимаю лишь одно — судьбы своей не понимаю! Зачем угодно было ей тебя взрастить такой прекрасной к закату лет моих предзимних? Зачем? Чтобы сказать, что все, что было прежде, не то все было, что я напрасно жил на свете, не ведая, что будет мне как воздаяние от неба отрадное мучение узнать, услышать, лицезреть тебя? К чему судьба немилость проявляет столь жестоко?

— Напрасно сетуешь так горько, Раймалы-ага, — сказала Бегимай. — Уж если то судьба в моем лице явилась — во мне не сомневайся, Раймалы-ага. Ничто не будет мне дороже, чем знать, что радость я могу тебе доставить девичьей лаской, песней и любовью беззаветной. Во мне не сомневайся, Раймалы-ага. Но если ты сомненья одолеть не сможешь, уж если ты закроешь предо

мной дверь к себе, то и тогда, любя тебя безмерно, почту за честь особую с тобою состязаться в мастерстве, готовая принять любые испытанья.

— О чем ты говоришь! Что испытанье словом, Бегимай! Что стоит состязанье в мастерстве, когда есть испытанья пострашнее — любви, не совместимой с тем порядком, в котором мы живем. Нет, Бегимай, не обещаю я соревноваться в красноречии с тобой. Не потому, что сил не хватит, не потому, что слово умерло во мне, не потому, что голос потускнел. Я лишь могу тобою восхищаться, Бегимай. Я лишь могу любить тебя себе на горе, Бегимай, и лишь в любви с тобою состязаться, Бегимай.

С этими словами Раймалы-ага взял домбру, настроил ее на новый лад и запел новую песню, запел как в былые дни — то как ветер, чуть слышный в траве, то как гроза, грохочущая раскатами в бело-голубом небе. С тех пор и осталась та песня на земле. Песня «Бегимай».

> «...Если ты пришла издалека, чтоб испить воды из родника, я как ветер встречный добегу и к ногам твоим упаду, Бегимай. Если же сегодня день наипоследний мне судьбой начертан на роду,

то сегодня не умру я, Бегимай, и вовеки не умру я, Бегимай, оживу и снова буду жить, Бегимай, чтобы не остаться без тебя, Бегимай, без тебя, как без очей, Бегимай...»

Вот так он пел ту песню «Бегимай». День тот надолго остался в памяти людей. Сколько разговоров закипело сразу вокруг Раймалы-аги и Бегимай. А когда провожали невесту к жениху, среди праздничных белых юрт, среди всадников на праздничных конях, среди яркой праздничной толпы, во главе провожального каравана гарцевали Раймалы-ага и Бегимай с песнями благопожеланий. Бок о бок ехали они, стремя в стремя ехали они, красовались рядышком они, обращались к богу они, к добрым силам обращались они, новобрачным счастья желали они, на домбрах играли они, на свирелях играли они, песни пели они — то он, то она, то он, то она...

И дивились люди вокруг, что такие песни слышат они, и смеялись травы вокруг, дым костров стелился вокруг, и летали птицы вокруг, веселились ребята, на двухлетках вокруг скача...

Не узнавали люди старого певца Раймалы-агу. Снова голос звенел, как бывало, снова гибким и

ловким он стал, как бывало, а глаза сияли, как две лампы в белой юрте на зеленом лугу. Даже конь его Сарала шею выгнул и тоже гордился.

Но не всем то было по душе. Были в толпе и те, что плевались, глядя на Раймалы-агу. Сродственники, соплеменники его возмущались — баракбаи, так назывался тот род. Баракбаи злились, находясь на свадьбе. Куда это годится — Раймалы-ага с ума спятил на старости лет. Стали наговаривать они брату его Абдильхану. Как же будем тебя волостным избирать, засмеют нас другие на выборах, если старый пес Раймалы на позорище нас выставляет? Слышишь, что поет, как жеребец молодой, гогочет? А она, девка эта, слышишь, что отвечает? Стыд и срам! На глазах у всех голову крутит ему. Не к добру. Зачем связываться с этой девкой? Приструнить его надо, чтобы худая молва не пошла по аулам…

Абдильхан давно уже зло держал на беспутного брата, до седин дожившего за беспутным занятием. Думал — постарел, остепенился, и тут на тебе: на весь род баракбаев позор навлекает.

И тогда приударил коня своего Абдильхан, пробиваясь к брату через толпу, и кричал, угрожая кнутом: «Опомнись! Домой уезжай!» Но не слышал и не видел его старший брат, сладкозвуч-

ными песнями занятый. А поклонники — те, что плотной толпой окружали верхами певцов, те, которые в песнях каждое слово ловили, Абдильхана вмиг оттеснили и успели с разных сторон по шее огреть плетьми. Разберись тут, кто руку приложил. Ускакал Абдильхан…

А песни пелись. В ту минуту новая песня рождалась в устах.

«…Когда марал влюбленный подругу кличет ревом поутру, ему ущелье вторит эхом горным», — пел Раймалы-ага.

«Когда же лебедь, разлученный с лебедицей белой, на солнце глянет поутру, то солнце он увидит кругом черным», — отвечала песней Бегимай.

И так они пели в честь молодых — то он, то она, то он, то она…

Не ведал Раймалы-ага в тот час самозабвенный, с какой кипучей злобой в груди ускакал брат Абдильхан, с какой обидой и местью нестерпимой последовали за ним сородичи, весь баракбаев род. Какую в сговоре расправу заготовили они ему, не знал…

А песни пелись — то он, то она, то он, то она…

Мчал Абдильхан, к седлу пригнувшись черной тучей. К аулу, к дому! Сородичи, что волчьей стаей рядом шли, ему кричали на скаку:

— Брат твой рассудком тронулся! Ума лишился! Беда! Его лечить скорее надо!

А песни пелись — то он, то она, то он, то она…

Так с песнями проводили они свадебный кортеж к положенному месту. Здесь на прощание еще раз спели благопожелания. И, обращаясь к людям, сказал Раймалы-ага, что счастлив тем, что дожил до благословенных дней, когда судьба ему в награду послала равного акына, певицу молодую Бегимай. Сказал, что кремень, лишь о кремень ударяясь, огонь воспламеняет, так и в искусстве слова, состязаясь в мастерстве, акыны постигают тайны совершенства. Но сверх всего, сверх мыслимого счастья он счастлив тем, что напоследок жизни, как на закате, когда светило всей мощью полыхает, наполненной от сотворенья мира, познал любовь он, познал такую силу духа, какую не знавал отроду.

— Раймалы-ага! — ему в ответном слове сказала Бегимай. — Сбылась моя мечта. Я буду следовать за тобой. Как скажешь и где скажешь — явлюсь немедленно с домброй. Чтоб песня с песней сочеталась, чтобы любить тебя и быть твоей любовью. С тем жизнь свою судьбе вручаю без оглядки.

Так пелись песни.

И здесь при всем степном народе условились

они, что встреча через день на ярмарке большой, где будут петь для всех приезжих со всех сторон.

И в тот же час те, что разъезжались с проводов, весть разнесли по всей округе о том, что Раймалы-ага и Бегимай на ярмарку приедут петь. Бежала новость:

— На ярмарку!

— На ярмарку коней седлайте!

— На ярмарку акынов слушать приезжайте!

Молва людская эхом откликалась:

— Вот праздник будет!

— Вот потеха!

— Вот красота!

— Какой позор!

— Как здорово!

— Бесстыдство-то какое!

А Раймалы-ага и Бегимай расстались посреди пути:

— До ярмарки, родная Бегимай!

— До ярмарки, Раймалы-ага!

И, удаляясь, еще кричали с седел:

— До ярмарки-и!

— До ярмарки-и, Раймалы-ага-а-а!

День на исходе был. Большая степь спокойно погружалась в наплывы белых сумраков степного лета. Созрели травы, чуть духом увядания

травы отдавали, прохладой свежей веяло после дождей в горах, летели коршуны перед закатом низко и неспешно, посвистывали птахи, славя вечер мирный…

— Какая тишина, какая благодать! — промолвил Раймалы-ага, поглаживая коня по гриве. — Ах, Сарала, ах, старина, мой славный конь, неужто жизнь так прекрасна, что даже в свой последний срок любить так можно?..

А Сарала шагал дорожным ходом, пофыркивал, спеша домой, чтобы ногам дать отдых, день-деньской ходил под седлом, воды речной испить ему хотелось и в поле выйти попастись при лунном свете.

А вот аул у изгиба реки. Вот юрты, вот огни веселые дымят.

Раймалы-ага спешился. Коня у коновязи на выстойку поставил. В жилье не заходя, присел передохнуть у очага снаружи. Но кто-то подошел. Соседский парень.

— Раймалы-ага, вас просят люди в юрту.

— Какие люди?

— Да все свои, все баракбаи.

Переступив порог, увидел Раймалы-ага старейшин рода, сидящих тесным полукругом, и среди них чуть сбоку — брата Абдильхана. Тот мрачен

был. Глаза не поднимал, как будто прятал что во взоре.

— Мир вам! — приветствовал Раймалы-ага сородичей. — Уж не случилась ли беда?

— Тебя мы ждем, — промолвил самый главный.

— Если меня, то здесь я, — ответил Раймалы-ага, — и собираюсь место выбрать, чтоб сесть в кругу.

— Постой! Остановись в дверях! И на колени встань! — услышал он приказ.

— Что это значит? Ведь я пока хозяин этой юрты.

— Нет, ты не хозяин! Не может быть хозяином старик, сдвинувшийся с ума!

— О чем же речь?

— О том, что дашь отныне клятву нигде и никогда не петь, не шляться по пирам и напрочь выкинуть из головы ту девку, с которой ты сегодня песни пел срамные, забыв о пегой бороде своей бесстыжей, забыв о чести нашей и своей. Так поклянись! Чтоб на глаза ты больше ей не попадался!

— Напрасно тратите слова. Я послезавтра на ярмарке с ней буду петь при всем народе.

Тут крик поднялся:

— Да он же нас позором покрывает!

— Пока не поздно, откажись!

— Да он рехнулся!

— Да он и впрямь свихнулся!

— А ну-ка тише! Помолчите! — навел порядок главный судия. — Итак, Раймалы, ты все сказал?

— Я все сказал.

— Вы слышите, потомки рода Баракбая, что соплеменник наш, сей нечестивый Раймалы, сказал?

— Мы слышали.

— Тогда послушайте, что я скажу. Вначале я тебе скажу, несчастный Раймалы. Всю жизнь в бедности однолошадной, в гуляниях провел ты, пел на пирах, домброй бренчал, шутом-маскаропозом был. Ты жизнь свою употребил для развлечений других. Тебе прощали мы твое беспутство, в те времена ты молод был. Теперь ты стар, и ты смешон теперь. Тебя мы презираем. Пора о смерти бы подумать, о смирении. А ты же на забаву и на злословие чужим аулам с той девкой спутался, как вертопрах последний, попрал обычаи, законы и не желаешь покориться нашему совету, так что ж, пусть покарает тебя бог, сам на себя пеняй. Теперь второе слово. Встань, Абдильхан, ты брат его единокровный, от одного

отца и матери одной, и ты опора наша и надежда. Тебя мы волостным хотели бы видеть от имени всех баракбаев. Но брат твой рехнулся вконец, он сам не разумеет, что творит, и может стать помехой в этом деле. А потому ты вправе поступить с ним так, чтобы умалишенный Раймалы нас не позорил бы на людях, чтобы никто не смел бы плюнуть нам в глаза и на посмешище поднять не смел бы баракбаев!

— Никто мне не пророк и не судья, — заговорил Раймалы-ага, опережая Абдильхана. — Мне жалко вас, сидящих здесь и не сидящих, вы в заблуждении темном, вы судите о том, что недоступно решать на общем сборе. Не ведаете вы, где истина, где счастье в этом мире. Да разве же постыдно петь, когда поется, да разве же любить постыдно, когда любовь приходит, ниспосланная богом на веку? Ведь самая большая радость на земле — влюбленным радоваться людям. Но коли вы меня считаете безумным лишь потому, что я пою и от любви, пришедшей неурочно, не уклоняюсь, радуюсь ей, то я уйду от вас. Уйду, свет клином не сошелся. Сейчас же сяду на Саралу, уеду к ней, или уедем вместе в края другие, чтоб не тревожить вас ни песнями, ни поведением своим.

— Нет, не уйдешь! — взорвался грозным хрипом все это время молчавший Абдильхан. — Отсюда ты не выйдешь никуда. Ни на какую ярмарку тебе нет хода. Тебя лечить мы будем, пока твой разум не найдет тебя.

И с этими словами брат выхватил домбру из рук акына.

— Вот так! — И оземь бросил, растоптал тот хрупкий инструмент, как бык взъяренный топчет пастуха. — Отныне петь ты позабудешь! Эй вы, ведите клячу эту, Саралу! — И подал знак.

И те, что на дворе стояли наготове, от коновязи быстро подогнали Саралу.

— Срывай седло! Бросай сюда! — топор припрятанный выхватывая, командовал Абдильхан. Седло крушил он топором, кромсая в щепки.

— Вот! Никуда ты не поедешь! Ни на какую ярмарку! — И в ярости изрезал в клочья сбрую, ремни стремян порезал на куски, а сами стремена в кусты забросил, одно в одну, второе в сторону другую.

В испуге заметался Сарала, на пятки приседал, храпел, грызя удила, как будто знал, что и его постигнет та же участь.

— Так, значит, ты на ярмарку собрался? На Сарале верхом? Так погляди! — свирепствовал

Абдильхан.

И тут же сородичи свалили Саралу в два счета, в два счета волосяным арканом стянули лошадь в узел. А Абдильхан, могучей пятерней схватив коня за храп, оттягивая голову навзничь, над горлом беззащитным нож занес.

Рванулся что есть силы Раймалы-ага из рук удерживающих:

— Остановись! Не убивай коня!

Но не успел. Как кровь струей горячей ударила из-под ножа, в глаза ударила, как тьма средь дня. И весь в крови дымящейся, облитый кровью Саралы, с земли, шатаясь, встал Раймалы-ага.

— Напрасно! Ведь я пешком уйду. Я на коленях уползу! — сказал униженный певец, полою утираясь.

— Нет, и пешком ты не уйдешь! — От горла перерезанного Саралы лицо в оскале резко поднял Абдильхан. — Тебе отсюда шагу не шагнуть! — проговорил он тихо и вдруг вскричал: — Хватайте! Смотрите, он безумен! Вяжите, он убьет!

Тут крики. Все смешались, сшиблись:

— Сюда веревку!

— Заламывай руки!

— Крути потуже!

— Он спятил! Вот вам бог!
— Смотри, глаза какие!
— Он разум потерял, ей-ей!
— Тащи его туда, к березе!
— Давай поволокли! — Тащи скорей!

Уже луна над головой стояла высоко. Совсем спокойно было в небе, на земле. Пришли какие-то шаманы, костер разложили и в дикой пляске изгоняли духов, затмивших разум великого певца.

А он стоял, привязанный к березе, с руками, туго стянутыми за спиной.

Потом пришел мулла. Тот зачитал молитвы из Корана. На путь потребный наставлял мулла.

А он стоял, привязанный к березе, с руками, стянутыми за спиной.

И обращаясь к брату Абдильхану, запел Раймалы-ага:

«Последний сумрак унося с собой, уходит ночь, и день грядущий с утра наступит снова. Но для меня отныне света нет. Ты солнце отнял у меня, несчастный брат мой Абдильхан. Ты рад, угрюмо торжествуешь, что разлучил меня с любовью, от бога посланной уже на склоне лет. Но знал бы ты, какое счастье я ношу с собою,

пока дышу, пока не смолкло сердце. Ты повязал, ты прикрутил меня петлями к древу, а я не здесь сейчас, несчастный брат мой Абдильхан. Здесь только тело бренное мое, а дух мой, как ветер, пробегает расстояния, как дождь, соединяется с землей, я каждое мгновение с нею неразлучен, как ее волос собственный, как собственное ее дыхание. Когда она проснется на рассвете, я козерогом диким с гор к ней прибегу и буду ждать на каменном утесе, когда она из юрты выйдет поутру. Когда она огонь воспламенит, я буду дымом сладким, окуривать ее я буду. Когда она поскачет на коне и через брод речной перебираться станет, я буду брызгами лететь из-под копыт, я буду окроплять ее лицо и руки. Когда же запоет она, я песней буду…»

Над головой чуть слышно шелестели ветки по утренней заре. День наступил. Узнав о том, что Раймалы сошел с ума, полюбопытствовать прибыли соседи. С коней не слезая, толпились в отдалении.

А он стоял в изодранной одежде, привязанный

к березе, с руками, туго стянутыми за спиной.

Интересно пел ту песню, что знаменитой стала после:

С черных гор когда пойдет кочевье,
Развяжи мне руки, брат мой Абдильхан.
С синих гор когда пойдет кочевье,
Дай мне волю, брат мой Абдильхан.
Не гадал, не думал, что тобою буду
Связан по рукам и по ногам
С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Развяжи мне руки, брат мой Абдильхан,
Я по доброй воле в небеса уйду…
С черных гор когда пойдет кочевье,
Я на ярмарке не буду, Бегимай.
С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай.
Мы с тобой не будем петь на ярмарке,
Конь мой не поспеет, сам я не дойду.
С черных гор когда пойдет кочевье,

С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай,
Я по доброй воле в небеса уйду…

Вот какая она, история эта…

Теперь, по пути на Ана-Бейит, провожая Казангапа в последний путь, и об этом неотступно думал Едигей.

XI

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей…

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана…

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

Миновав долгий проезд вдоль краснопесчаного обрыва Малакумдычап, где некогда кружила Найман-Ана в поисках своего сына-манкурта, они оказались на подступах к Ана-Бейиту. И тут случилась первая загвоздка. Они натолкнулись неожиданно на препятствие — на изгородь из колючей проволоки.

Едигей первым остановился — вот те раз! Он даже привстал на стременах и с высоты Каранара посмотрел направо, посмотрел налево — насколько глаз хватал змеилась вверх и вниз по степи непроходимая шипованная проволока, на-

цепленная в несколько рядов на железобетонные четырех-гранные столбы.

Позади остановились трактора. Первым выскочил из кабины Сабитжан, за ним Длинный Эдильбай.

— Что такое? — махнул рукой Сабитжан на изгородь. — Не туда попали, что ли? — спросил он у Едигея.

— Почему не туда? Туда, да только вот проволока откуда-то взялась. Черт ее побери!

— А разве ее прежде не было?

— Не было.

— А как же быть теперь? Как мы поедем дальше?

Едигей промолчал. Он и сам не знал, как быть.

— Эй ты! А ну останови трактор! Хватит тарахтеть! — раздраженно бросил Сабитжан высунувшемуся из кабины Калибеку.

Тот заглушил мотор. За ним смолк и экскаватор. Стало тихо. Совсем тихо.

Великая сарозекская степь простиралась под небом от края и до края земли, но прохода к Ана-Бейитскому кладбищу не было.

Первым нарушил молчание Длинный Эдильбай:

— А что, Едике, прежде ее здесь не было?

— Сроду не было! Первый раз вижу.

— Выходит, что оградили зону специально. Для космодрома, наверно? — предположил Длинный Эдильбай.

— Да, так получается. Иначе зачем столько трудов — в голой степи такую изгородь отгрохали. Кому-то ведь взбрело в голову. Что ни вздумается, то и делают, черт их побери! — выругался Едигей.

— Да что тут чертыхаться! Лучше было узнать заранее, прежде чем выезжать на похороны в такую даль, — мрачно подал голос Сабитжан.

Наступила тягостная пауза. Буранный Едигей глянул неприязненно сверху вниз, с высоты Каранара, на стоящего подле Сабитжана.

— Ты вот что, родимый, потерпи-ка малость, не суетись, — сказал он как можно спокойней. — Прежде здесь не было колючей проволоки, откуда было знать?

— Вот об этом и речь, — буркнул Сабитжан и отвернулся.

Опять замолчали. Длинный Эдильбай что-то соображал.

— Так как быть теперь, Едике? Что делать? Есть ли какая-нибудь другая дорога на кладбище?

— Да, должна быть. Почему же нет? Есть тут до-

рога, километров пять правее, — отвечал Едигей, оглядываясь по сторонам. — Давайте двинемся туда. Не может же быть без проезда — ни туда, ни сюда.

— Так это точно, там есть дорога? — вызывающе уточнил Сабитжан. — А то как раз получится — ни туда, ни сюда!

— Есть, есть, — заверил Едигей. — Садитесь, поехали. Не будем время терять.

И они снова двинулись. Снова затарахтели трактора позади. Поехали вдоль проволоки.

Переживал Едигей. Очень он был обескуражен этим. Как же так, досадовал он в душе, позакрывали, заградили кругом и на кладбище дорогу не указали. Вот дела-то, вот жизнь! И, однако, у него была надежда — должно быть какое-то сообщение и на этой, южной стороне. Так оно и оказалось. Выехали прямо к шлагбауму.

Приближаясь к шлагбауму, Едигей обратил внимание на основательность, прочность пропускного пункта: крепкие бетонные монолиты по краям, у самого проезда с края дороги кирпичный домик с широким, сплошь цельным стеклом для обозрения, сверху, на плоской крыше, были установлены два прожекторных фонаря, видимо, для освещения проезда в ночное время. От

шлагбаума уходила дальше асфальтированная дорога. Едигей забеспокоился при виде такой устроенности.

С их появлением из постового помещения вышел молоденький, совсем еще юный белобрысый солдат с автоматом через плечо дулом книзу. Одергивая гимнастерку на ходу и поправляя фуражку на голове для пущей важности, он остановился посреди полосатого шлагбаума с неприступным видом. И все же вначале поздоровался, когда Едигей подъехал вплотную к перекладине, преграждающей дорогу.

— Здравствуйте, — козырнул часовой, глянув на Едигея светло-голубыми, еще ребяческими глазами. — Кто такие будете? Куда путь держите?

— Да мы здешние, солдат, — сказал Едигей, улыбаясь мальчишеской строгости часового. — Вот везем человека, старика нашего, хоронить на кладбище.

— Не положено без пропуска, — отрицательно покачал головой молоденький солдат, не без опаски отстраняясь от Каранаровой зубастой пасти, жующей жвачку. — Здесь охраняемая зона, — пояснил он.

— Понимаю, но нам же на кладбище. Оно тут неподалеку. Что тут такого? Похороним — и на-

зад. Никаких задержек.

— Не могу. Не имею права, — сказал часовой.

— Слушай, родимый. — Едигей склонился с седла так, чтобы лучше были видны его боевые ордена и медали. — Не посторонние мы. Мы с разъезда Боранлы-Буранного. Слышал, должно быть. Мы свои люди. Хоронить-то ведь надо. Мы только на кладбище — и назад.

— Да я-то понимаю, — начал было часовой, бесхитростно пожимая плечами, но тут некстати подоспел Сабитжан с напускным, поспешающим видом важного, делового человека.

— Что такое, в чем дело? Я из облпрофсовета, — заявил он. — Почему задержка?

— Потому что не положено.

— Я же говорю, товарищ постовой, я из облпрофсовета.

— А мне все равно, откуда вы.

— Как это так? — опешил Сабитжан.

— А так. Охраняемая зона.

— Тогда зачем разговоры разводить? — оскорбился Сабитжан.

— А кто разводит? Я вот разъясняю из уважения человеку на верблюде, а не вам. Чтобы ему понятно было. А вообще-то я не имею права вступать в разговоры с посторонними. Я на посту.

— Значит, проезда на кладбище нет?

— Нет. Не только на кладбище. Здесь проезда нет никому.

— Ну тогда что ж, — обозлился Сабитжан. — Я так и знал! — бросил он Едигею. — Так и знал, что ерунда получится! Так нет! Куда там! Ана-Бейит! Ана-Бейит! Вот тебе Ана-Бейит. — И с этими словами он отошел оскорбленно, сплевывая зло и нервно.

Едигею стало неловко перед молоденьким часовым.

— Извини, сынок, — сказал он ему по-отечески. — Ясное дело, ты службу несешь. Но покойника куда теперь девать? Это же не бревно, чтобы свалил да поехал.

— Да я-то понимаю. А что я могу? Мне как скажут, так я и должен делать. Я же не начальник здесь.

— Да-а, дела-а, — растерянно протянул Едигей. — А сам-то ты откуда родом?

— Вологодский я, папаша, — проокал часовой смущенно и по-детски обрадованно, не скрывая, улыбаясь тому, что приятно ему было ответить на этот вопрос.

— Так что, у вас в Вологде тоже так — на кладбищах часовые стоят?

— Да что ты, папаша, зачем же! На кладбище у нас когда хошь и сколько хошь. Да разве в этом дело? Тут ведь закрытая зона. Да ты, папаша, сам служил и воевал, смотрю, знаешь небось, служба есть служба. Хочу не хочу, а долг, никуда не денешься.

— Так-то оно так, — соглашался Едигей, — только куда теперь нам с покойником?

Они замолчали. И крепко подумав, солдатик с сожалением тряхнул белобровой, ясноглазой головой.

— Нет, папаша, не могу! Не в моих правах!

— Что ж, — проговорил совершенно растерянно Едигей.

Ему было тяжко повернуться лицом к своим спутникам, потому что Сабитжан все больше распалялся, подошел к Длинному Эдильбаю.

— Я ведь говорил! Не надо тащиться в такую даль! Это же предрассудки! Морочите голову себе и другим. Какая разница, где закидать мертвеца! Так нет: лопни, подай им Ана-Бейит. И ты тоже мне — уезжай, без тебя похороним! Вот и хороните теперь!

Длинный Эдильбай молча отошел от него.

— Слушай, друг, — сказал он часовому, подойдя к шлагбауму. — Я тоже служил и тоже знаю кое-

какие порядки. Телефон у тебя есть?

— Есть, конечно.

— Тогда так — звони начальнику по караулу. Доложи, что местные жители просят, чтобы им разрешили проезд на кладбище Ана-Бейит!

— Как? Как? Ана-Бейит? — переспросил часовой.

— Да. Ана-Бейит. Так называется наше кладбище. Звони, друг, другого выхода нет. Пусть самолично разрешение получит для нас. А мы — будь уверен, кроме кладбища, нас тут ничего не интересует.

Часовой задумался, переминаясь с ноги на ногу, наморщив лоб.

— Да ты не сомневайся, — сказал Длинный Эдильбай. — Все по уставу. На пост прибыли посторонние лица. Ты докладываешь начальнику караула. Вот и вся механика. Что ты на самом деле! Ты обязан доложить.

— Ну хорошо, — кивнул часовой. — Сейчас позвоню. Только начальник караула все время по территории колесит, по постам. А территория-то вон какая!

— Может, и мне разрешишь рядом быть? — попросил Длинный Эдильбай. — В случае чего подсказать, что к чему.

— Ну давай, — согласился часовой.

И они скрылись в постовом помещении. Дверь была открыта, и Едигею все было слышно. Часовой звонил куда-то, все спрашивал начальника караула. А тот не обнаруживался.

— Да нет, мне начальника по караулу! — объяснял он. — Лично его… Да нет. Тут дело важное.

Едигей нервничал. Куда же запропастился этот начальник по караулу? Вот не везет так не везет!

Наконец он отыскался.

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! — громко заговорил часовой звонким, взволнованным голосом.

И доложил ему, мол, тут местные жители приехали хоронить человека на старинном кладбище. Как быть? Едигей насторожился. Скажет лейтенант — пропусти, и все! Молодец Длинный Эдильбай! Все же сообразительный парень. Однако разговор часового стал затягиваться. Теперь он все время отвечал на вопросы:

— Да… Сколько? Шесть человек. А с покойником семь. Старик какой-то умер. А старший у них на верблюде. Потом трактор с прицепом, А за трактором экскаватор тоже… Да нужно, говорят, стало быть, могилу рыть… Как? А что мне сказать? Значит, нельзя? Не разрешается? Есть,

слушаюсь!

И тут раздался голос Длинного Эдильбая. Видимо, он выхватил трубку.

— Товарищ лейтенант! Войдите в наше положение. Товарищ лейтенант, мы прибыли с разъезда Боранлы-Буранный. А куда же нам теперь? Войдите в наше положение. Мы здешние люди, мы ничего плохого не сделаем. Мы только похороним человека и сразу вернемся… А? Что? Ну как же так! Ну, приезжайте, приезжайте, сами убедитесь! У нас тут есть старик наш, фронтовиком был, воевал. Объясните ему.

Длинный Эдильбай вышел из караульного помещения растроенный, но сказал, что лейтенант приедет и все решит на месте. За ним подошел часовой и сказал то же самое. Часовой теперь чувствовал облегчение, поскольку начальник караула сам должен был решить вопрос. Он теперь спокойно шагал взад-вперед у полосатой перекладины.

Было уже три часа. А они еще не добрались до Ана-Бейита, хотя и осталось не так далеко.

Едигей вернулся к часовому.

— Сынок, долго ли ждать твоего начальника? — спросил он.

— Да нет. Сейчас примчится. Он на машине. Тут

минут десять — пятнадцать ходу.

— Ну ладно, подождем. А давно эту колючую проволоку установили?

— Да порядочно. Мы ее ставили. Я тут служу уже год. Выходит, полгода уже, как оцепили вокруг.

— То-то и оно. Я ведь тоже не знал, что тут такая заграда. Из-за этого вот и получилось. Вроде я теперь виноватый, потому что я затеял сюда везти на погребение. Тут у нас кладбище старинное — Ана-Бейит. А Казангап покойный был очень хорошим человеком. Тридцать лет вместе проработали на разъезде. Хотелось как лучше.

Солдат, видимо, проникся сочувствием к Буранному Едигею.

— Слушай, папаша, — сказал он деловито. — Вот приедет начальник караула лейтенант Тансыкбаев, вы ему скажите все как есть. Что он, не человек? Пусть доложится выше. А там вдруг и разрешат.

— Спасибо на добром слове. А иначе как же нам? Как ты сказал — Тансыкбаев? Фамилия лейтенанта Тансыкбаев?

— Да, Тансыкбаев. Он у нас тут недавно. А что? Знакомый? Из ваших он. Может, свояк какой будет?

— Да нет, что ты, — усмехнулся Едигей. — Тан-

сыкбаевых у нас, как у вас Ивановых. Просто припомнился один человек с такой фамилией.

Тут зазвонил телефон на посту, и часовой поспешил туда. Едигей остался один. Вздыбились опять брови. И, хмуро оглядываясь вокруг, посматривая, не покажется ли машина на дороге за шлагбаумом, Буранный Едигей покачал головой. «А вдруг это сын того, кречетоглазого? — подумал он и сам же себя обругал мысленно. — Еще что! Втемяшится же в голову! Сколько их, с такой фамилией. Не должно, не может быть. С тем Тансыкбаевым сквитались ведь потом сполна… Все-таки есть правда на земле! Есть! И как бы то ни было, всегда будет правда…»

Он отошел в сторону, достал носовой платок и протер им тщательно свои ордена, медали и ударнические значки на груди, чтобы они блестели и чтобы их сразу видно было лейтенанту Тансыкбаеву.

XII

А с тем кречетоглазым Тансыкбаевым дело обстояло так.

В 1956 году в конце весны был большой митинг в кумбельском депо, всех тогда созвали, со всех станций и разъездов съехались тогда путейцы. Оставались на местах только те, кто стоял в тот день на линии. Сколько всяких собраний промелькнуло на веку Буранного Едигея, но тот митинг не забывался никогда.

Собрались в паровозоремонтном цехе. Народу было полным-полно, иные аж наверх залезли, под самую крышу, на консолях сидели. Но самое главное — какие речи были! Про Берию выяснилось все до дна. Заклеймили проклятого палача, никаких сожалений не было! Крепко выступали, до самого вечера, деповские рабочие сами лезли на трибуну, и ни один человек не ушел, как пригвоздило всех к месту. И только рокот голосов, как лес, шумел под сводами корпуса. Запомнилось, кто-то рядом в толпе молвил про то чисто российским говором: «Ну как есть море перед бурей». А так оно и было. Колотилось сердце в

груди, на фронте перед атакой так колотилось, и очень пить хотелось. Во рту пересыхало. Но где там при таком многолюдье воды достать? Не до воды было, пришлось терпеть. В перерыве Едигей протиснулся к парторгу депо Чернову, бывшему начальнику станции. Тот в президиуме был.

— Слушай, Андрей Петрович, может, и мне выступить?

— Давай, если есть такая охота.

— Охота есть, очень даже. Только вначале посоветуемся. Помнишь, у нас на разъезде работал Куттыбаев. Абуталип Куттыбаев. Ну, еще ревизор написал на него донос, что, мол, югославские воспоминания пишет. Абуталип там воевал в партизанах. И всякое другое приписал еще тот ревизор. А эти бериевские приехали, забрали человека. Он и умер из-за этого, пропал ни за что! Помнишь?

— Да, помню. Жена его приезжала за бумагой.

— Во-во! А потом семья-то уехала. А я вот сейчас слушал, думал. С Югославией у нас дружба — и никаких разногласий! А за что страдают неповинные люди? Детишки Абуталиповы подросли, им уже в школу. Так надо же все на чистую воду. А не то будет им каждый тыкать в глаза. Детишки и так пострадали — без отца остались.

— Постой, Едигей. Так ты хочешь об этом выступить?

— Ну да.

— А как фамилия того ревизора?

— Да узнать можно. Я его, правда, больше не видел.

— У кого ты сейчас узнаешь? А потом, есть ли документальное доказательство, что именно он написал?

— А кто еще больше?

— Тут фактическое доказательство нужно, дорогой мой Буранный. А вдруг не так окажется? Дело нешуточное. Ты вот что, Едигей, послушай совета. Напиши письмо обо всем этом в Алма-Ату. Напиши все как было, всю ту историю, и пошли в ЦК партии республики. А там разберутся. Задержки не будет. Партия крепко взялась за это дело. Сам видишь.

Вместе со всеми на том митинге Буранный Едигей выкрикивал громогласно и решительно: «Слава партии! Линию партии одобряем!» А потом, под конец митинга, кто-то запел «Интернационал». Его поддержало несколько голосов, и через минуту вся толпа как один запела под сводами депо великий гимн всех времен, гимн всех, кто был вечно угнетаем. Никогда еще не

доводилось Едигею петь в таком многолюдье. Как на волнах подняло и понесло его торжественное, гордое и в то же время горькое сознание своего единства с теми, кто есть соль и пот земли. А гимн коммунистов все нарастал, возвышался, вскипая в сердце отвагой и решимостью отстоять, утвердить право многих для счастья многих.

С этим ликующим чувством он вернулся домой. За чаем рассказал Укубале подробно и живо все, что было на митинге. Рассказал и о том, как тоже хотел было выступить и что ему ответил на то теперешний парторг Чернов. Укубала слушала мужа, наливала ему из самовара чай пиалу за пиалой, а тот все пил и пил.

— Да что с тобой, ты вон опорожнил уже весь самовар! — удивилась она, посмеиваясь.

— Понимаешь, там, на митинге, еще так захотелось пить отчего-то. Заволновался очень. А где там, столько народу, не шевельнешься. А потом выскочил, хотел напиться, а тут смотрю — в нашу сторону состав направляется. Я к машинисту. Свой оказался парень. Жандос с Тогрек-Тама. Ну, по пути попил я у него воды. Но разве то дело!

— То-то же, гляжу, — промолвила Укубала, подливая ему чаю по новой. И сказала потом: — Вот что, Едигей, хорошо, что ты подумал о них, об

Абуталиповых детях. Раз такое дело, если времена наступили такие, что не будет притеснений сиротам, так ты уж отважься. Письмо — дело хорошее, но пока оно напишется, пока дойдет, да прочтется, да пока думать будут над ним, ты уж лучше сам поезжай в Алма-Ату. И там все расскажешь как было.

— Так ты думаешь, мне в Алма-Ату? Прямо к большому начальству?

— Ну а что такого? По делу же. Друг твой Елизаров сколько уже зовет не дозовется. Адреса оставляет каждый раз. Ну, не я, так ты съезди. Мне-то от дому куда, детей на кого? А ты не откладывай. Бери отпуск. Сколько у тебя отпусков было бы за эти годы — на сто лет. Возьми хоть разок и там, на месте, большим людям все расскажи.

Едигей подивился разумности жены.

— А что, жена, ты вроде дело говоришь. Давай подумаем.

— Не думай долго. Не тот случай. Чем раньше сделаешь, тем лучше. Афанасий Иванович тебе и поможет. Куда идти, к кому идти, он-то лучше знает.

— Тоже дело.

— Вот и я говорю. Не стоит откладывать. А заодно посмотришь — кое-что купишь для дома.

Девчушки-то наши подросли. Сауле осенью в школу. В интернат определять будем или как? Ты думал об этом?

— Думал, думал, а как же, — спохватился Буранный Едигей, стараясь скрыть, как поразило его то, что так быстро подросла старшая из дочерей, что уже и в школу пора.

— Так вот если думал, — продолжала Укубала, — поезжай, поведай людям о том, что мы тут пережили в те годы. Пусть помогут сиротам хотя бы оправдаться за отца. А потом будет время — походи, посмотри, что для дочерей и для меня не мешало бы. Я ведь тоже уже немолода, — сказала она со сдержанным вздохом.

Едигей посмотрел на жену. Странно, что можно постоянно видеться и не замечать того, что потом увидишь разом. Конечно, она немолода была уже, но и до старости было далеко. И, однако, нечто такое, новое, незнакомое почувствовал в ней. И понял он — умудренность во взгляде жены обнаружил и первую ее седину заметил. Их было на виске штуки три-четыре, белеющих нитей, не больше, и все-таки они говорили о прожитом и пережитом…

Через день Едигей был уже на станции Кумбель в качестве пассажира. Да, пришлось сделать

ход назад от Боранлы-Буранного, чтобы сесть на алма-атинский поезд. Едигей не сожалел об этом. Так или иначе, надо было сперва отправить телеграмму Елизарову о своем приезде. А это можно было сделать только на станции:

На алма-атинском перроне среди мелькающих лиц увидел Буранный Едигей Елизарова и обрадовался бурно, как дитя. Елизаров приветливо помахал ему шляпой и пошел рядом с вагоном. Вот повезло! Не мечтал Едигей, что Елизаров сам встретит. Не виделись они давно, с прошлой осени. Нет, не изменился Афанасий Иванович, пусть и в годах был. Все такой же подвижный, сухощавый. Казангап называл его аргамаком — скакуном чистых кровей. То была высокая похвала — аргамак Афанасий. Елизаров знал об этом и добродушно соглашался — пусть будет потвоему, Казангап! И при том добавлял — старый аргамак, но все-таки аргамак! И на том спасибо! Обычно он приезжал в сарозеки в рабочей одежде, в кирзовых сапогах, в старой, видавшей виды кепке, а здесь был при галстуке, в хорошем темно-синем костюме. И этот костюм ему очень шел, его фигуре и, главное, цвету волос — седых уже наполовину.

И пока поезд останавливался, Афанасий Ива-

нович шел рядом полубоком, улыбаясь ему в окно. Серые, со светлыми ресницами глаза Елизарова лучились искренним удовольствием от желанной встречи. Это сразу согрело Едигея, и недавние сомнения отошли разом. «Хорошее начало, — обрадовался он, — бог даст, поездка будет удачной».

— Ну наконец-то пожаловал! В кои-то веки! Здравствуй, Едигей! Здравствуй, Буранный! — встретил его Елизаров.

Они крепко обнялись. От многолюдья вокруг, от радости Едигей растерялся немного. Пока они выбирались на привокзальную площадь, Елизаров засыпал его вопросами. О всех спросил, кто как поживает — как там Казангап, Укубала, Букей, дети, кто теперь начальник разъезда, не забыл и о Каранаре.

— А как там твой Буранный Каранар? — поинтересовался он, заранее весело смеясь чему-то. — Все такой же — лев рыкающий?

— Ходит. Что с ним станется, рычит, — отвечал Едигей. — В сарозеках ему приволье. Чего ему еще надо?

Возле вокзала стояла большая черная машина, поблескивающая полировкой. Такую Едигей видел впервые. То был «ЗИМ» — лучший автомо-

биль пятидесятых годов.

— Это мой Каранар, — пошутил Елизаров. — Садись, Едигей, — говорил он, открывая ему переднюю дверцу. — Поедем.

— А кто же поведет машину? — спросил Едигей.

— Сам, — сказал Елизаров, садясь за руль. — На старости лет отважился, как видишь. Чем мы хуже американцев?

Елизаров уверенно завел мотор. И, прежде чем тронуться с места, улыбаясь, посмотрел вопросительно на гостя.

— Вот ты и прибыл, стало быть. Выкладывай сразу — надолго ли?

— Я ведь по делу, Афанасий Иванович. Как получится. А прежде посоветоваться надо с вами.

— Я так и знал, что по делу едешь, а не то вытащишь тебя из твоих сарозеков! Как же! Давай так, Едигей. Сейчас мы поедем к нам. Будешь жить у нас. И не возражай. Никаких гостиниц! Ты у меня особый гость. Как я у вас в сарозеках, так ты у меня. Сыйдын сыйы бар — так ведь по-казахски! Уважение от уважения!

— Да вроде так, — подтвердил Едигей.

— Значит, порешили. И мне веселей будет. Моя Юлия уехала в Москву к сыну, второй внук

народился. Вот она и поспешила на радостях к молодым.

— Второй внук! Поздравляю! — сказал Едигей.

— Да, слушай, второй уже, — проговорил Елизаров, удивленно приподнимая плечи. — Станешь дедом, поймешь меня! Хотя тебе еще далеко. В твои годы у меня еще ветер в голове гулял. А вот странно, мы с тобой понимаем друг друга, несмотря на разницу в возрасте. Ну так поехали. Поедем через весь город. Наверх. Вон видишь горы, снег на вершинах? Туда, под горы, в Медео. Я тебе рассказывал, по-моему, дом наш в пригороде, почти в селе.

— Помню, Афанасий Иванович, вы говорили, дом у самой речки. Всегда слышно, как вода шумит.

— Сейчас сам убедишься. Поехали. Пока светло, посмотри на город. Красота у нас сейчас. Весна. Все в цвету.

От вокзала улица шла прямо и, казалось, бесконечно через весь город, постепенно среди тополей и парков поднимаясь к возвышенности. Елизаров ехал не спеша. Рассказывал по пути, где что располагалось, — то были все больше разные учреждения, магазины, жилые дома. В самом центре города на большой и открытой

со всех сторон площади стояло здание, которое Едигей сразу узнал по изображениям, — то был Дом правительства.

— Здесь ЦК, — кивнул Елизаров.

И они проехали мимо, не предполагая, что на другой день им предстоит быть здесь по делу. И еще одно здание узнал Буранный Едигей, когда они свернули с прямой улицы налево, — то был Казахский оперный театр. Через пару кварталов они снова повернули в сторону гор по дороге, уходящей в Медео. Центр города оставался позади. Ехали долгой улицей среди особняков, палисадников, мимо журчащих от половодья арычных потоков, бегущих с гор. Сады цвели кругом.

— Красиво! — промолвил Едигей.

— А я рад, что ты попал как раз в эту пору, — ответил Елизаров. — Лучшей Алма-Аты быть не может. Зимой тоже красиво. Но сейчас душа поет!

— Значит, настроение хорошее, — порадовался Едигей за Елизарова.

Тот быстро глянул на него серыми выпуклыми глазами, кивнул и посерьезнел, хмурясь, и снова разбежались в улыбке морщины от глаз.

— Эта весна особая, Едигей. Перемены есть. Потому и жить интересно, хотя годы набегают.

Одумались, огляделись. Ты когда-нибудь болел так, чтобы заново вкус жизни ощутить?

— Что-то не помню, — со всей непосредственностью ответил Едигей. — Разве что после контузии…

— Да ты здоров как бык! — рассмеялся Елизаров. — Я вообще-то и не об этом. Просто к слову… Так вот. Партия сама сказала первое слово. Очень я этим доволен, хотя в личном плане причин особых нет. А вот отрадно на душе и надежды питаю, как в молодости. Или это оттого, что на самом деле старею? А?

— А ведь я, Афанасий Иванович, как раз по такому делу прибыл.

— То есть как? — не понял Елизаров.

— Может быть, помните? Я вам рассказывал об Абуталипе Куттыбаеве.

— А, ну как же, как же! Прекрасно помню. Вон оно что. А ты в корень глядишь. Молодец. И не откладывая сразу прибыл.

— Да это не я молодец. Укубала надоумила. Только вот с чего начинать? Куда идти?

— С чего начинать? Это мы должны с тобой обсудить. Дома, за чаем, не торопясь обсудим, что к чему. — И, помолчав, Елизаров сказал многозначительно: — Времена-то как меняются, Едигей,

года три назад и в мыслях не шевельнулось бы приехать по такому делу. А теперь — никаких опасений. Так и должно быть в принципе. Надо, чтобы все мы, все до едина держались этой справедливости. И никому никаких исключительных прав. Я так понимаю.

— Вам-то здесь виднее, к тому же вы ученый человек, — высказал свое Едигей, — у нас на митинге в депо тоже об этом говорилось. А я сразу подумал тогда об Абуталипе, давно эта боль сидит во мне. Хотел даже выступить на митинге. Речь не просто о справедливости. У Абуталипа дети ведь остались, подрастают, старшему в школу этой осенью…

— А где они сейчас, семья-то?

— Не знаю, Афанасий Иванович, как уехали тогда, скоро уже три года, так и не знаем.

— Ну, это не страшно. Найдем, разыщем. Сейчас главное, говоря юридически, возбудить вопрос о деле Абуталипа.

— Вот-вот. Вы сразу нашли нужное слово. Потому и приехал я к вам.

— Думаю, что не напрасно приехал.

Как знал, так оно и получилось. Очень скоро, буквально через три недели по возвращении Едигея, прибыла бумага из Алма-Аты, в которой

черным по белому было написано, что бывший рабочий разъезда Боранлы-Буранный Абуталип Куттыбаев, умерший во время следствия, полностью реабилитирован за неимением состава преступления. Так и было сказано! Бумага предназначалась для оглашения ее в коллективе, где работал пострадавший.

Почти одновременно с этим документом пришло письмо от Афанасия Ивановича Елизарова. То было знаменательное письмо. Всю жизнь сохранял Едигей то письмо среди самых важных документов семьи — свидетельств о рождении детей, боевых наград, бумаг о фронтовых ранениях и трудовых характеристик…

В том большом письме Афанасий Иванович сообщал, что премного доволен скорым рассмотрением дела Абуталипа и рад его реабилитации. Что сам факт этот — доброе знамение времени. И, как он выразился, это наша победа над самими собой.

Писал он далее, что, после того как Едигей уехал, он еще раз побывал в тех учреждениях, которые они посетили с Едигеем, и узнал важные новости. Во-первых, следователь Тансыкбаев снят с работы, разжалован, лишен полученной награды и привлекается к ответственности.

Во-вторых, писал он, как сообщили ему, семья Абуталипа Куттыбаева проживает, оказывается, в Павлодаре. (Вон в какую даль занесло!) Зарипа работает учительницей в школе. Семейное положение в настоящее время — замужняя. Вот такие официальные сведения поступили с ее местожительства. И еще, писал он, твои подозрения, Едигей, насчет того ревизора оправдались в ходе пересмотра дела, оказывается, это именно он сочинил донос на Абуталипа Куттыбаева. «Почему он это сделал, что его побудило на такое злодеяние? Я много размышлял об этом, припоминая то, что знал из подобных историй, и то, что ты мне рассказывал, Едигей. Представив себе все это, я пытался понять мотивы его поступка. Нет, мне трудно ответить. Я не могу объяснить, чем была вызвана такая ненависть с его стороны к совершенно постороннему для него человеку — Абуталипу Куттыбаеву. Возможно, это такая болезнь, эпидемия, поражающая людей в какой-то период истории. А возможно, подобное губительное свойство изначально таится в человеке — зависть, исподволь опустошающая душу и приводящая к жестокости. Но какую зависть могла вызвать фигура Абуталипа? Для меня это остается загадкой. А что касается способа рас-

правы, то он стар, как мир. В свое время стоило лишь донести на кого-то, что он еретик, и такого на базарах Бухары забивали камнями, а в Европе сжигали на костре. Об этом мы с тобой много говорили, Едигей, в твой приезд. После выяснения фактов по пересмотру Абуталипова дела лишний раз убеждаюсь: долго еще предстоит людям изживать в себе этот порок — ненависть к личности в человеке. Как долго — даже трудно предугадать. Вопреки всему этому славлю я жизнь за то, что справедливость неистребима на земле. Вот и в этот раз снова восторжествовала она. Пусть дорогой ценой, но восторжествовала! И так будет всегда, покуда мир стоит. Я доволен, Едигей, что добился ты справедливости бескорыстно...»

Многие дни ходил Едигей под впечатлением письма. И удивлялся Едигей себе — тому, как изменился он сам, нечто прибавилось, словно уяснилось в нем. Тогда он и подумал впервые, что, должно быть, пришла пора готовиться к грядущей не за горами старости...

Елизаровское письмо явилось для него неким рубежом — жизнь до письма и после. Все, что было до письма, — отошло, подернулось дымкой, удаляясь, как берег с моря, все, что после, — спокойно протекало изо дня в день, напоминая, что

оно будет длиться долго, но не бесконечно. Но главное — из письма он узнал о том, что Зарипа была уже замужем. Это известие еще раз заставило его пережить тяжкие минуты. Успокаивал он себя тем, что знал, каким-то образом предчувствовал, что она вышла замуж, хотя и не знал, где она, что с детьми и как живется ей среди других людей. Особенно остро и неотступно почувствовал он это по пути, когда возвращался поездом домой. Трудно сказать, отчего такое пришло в голову. Но вовсе не потому, что на душе было плохо. Наоборот, из Алма-Аты Едигей уезжал в приподнятом, хорошем настроении. Везде, где они побывали с Елизаровым, их принимали с пониманием и доброжелательностью. И это уже само по себе вселяло уверенность в правоте помыслов и надежду на добрый исход дела. Так оно потом и оказалось. А в тот день, когда Едигей уезжал из Алма-Аты, Елизаров повел его обедать в привокзальный ресторан. Времени до отхода поезда было предостаточно, и они славно посидели, и выпили, и потолковали по душам на прощание. В том разговоре, как понял Едигей, Афанасий Иванович высказал свою сокровенную думу. Он, бывший московский комсомолец, очутившийся еще в двадцатые годы в Туркестанском

крае, боровшийся с басмачами, да так и осевший здесь на всю жизнь, занявшись геологической наукой, считает, что вовсе не напрасно возлагал весь мир столько надежд на то, что было начато Октябрьской революцией. Как бы тяжко ни приходилось расплачиваться за ошибки и промахи, но продвижение на неизведанном пути не остановилось — в этом суть истории. И еще он сказал, что теперь движение пойдет с новой силой. Порукой тому — самоисправление, самоочищение общества. «Раз мы можем сказать себе в лицо об этом, значит, есть в нас силы для будущего», — утверждал Елизаров. Да, хорошо потолковали они тогда за обедом.

С тем настроением и возвращался Буранный Едигей к себе в сарозеки.

И опять двинулись перед взором сине-снежные Алатауские горы, пролетая на отдалении кряжистым сопутствующим хребтом, протянувшимся через все Семиречье. И вот тогда, обдумывая в пути свое пребывание в Алма-Ате, понял он, внутренний голос подсказал ему, что, должно быть, Зарипа уже замужем.

Глядя на горы, глядя на весенние дали, думалось Едигею о том, что есть на свете верные люди — и слову и делу, такие, как Елизаров, и

что без таких, как он, человеку на земле было бы гораздо труднее. И еще, уже по завершении всех хождений по делу Абуталипа, думалось ему о превратностях быстротекущего, переменчивого времени — остался бы жив Абуталип, сейчас бы сняли с него возведенные облыжно обвинения и, быть может, заново обрел бы он счастье и покой со своими детьми. Был бы жив! Этим все сказано. Был бы он жив, конечно же, Зарипа ждала бы его до наипоследнего дня. Уж это точно! Такая женщина дождалась бы мужа, чего бы то ей ни стоило. А коли некого ждать, то и нечего ждать, нечего жить молодой женщине в одиночестве. А раз такое дело, если встретит подходящего человека, то выйдет замуж, а почему и нет? Едигей расстроился от этих мыслей. Пытался переключить внимание на что-то другое, пытался не думать, не давать воли воображению. Но ничего не получалось. **Тогда он пошел в вагон-ресторан.**

Здесь было малолюдно и еще чисто и свежо по началу пути. Сидел Едигей в одиночестве у самого окна. Вначале взял бутылку пива, чтобы занять себя чем-то. Широкий обзор вагона-ресторана позволял созерцать одновременно и горы, и степь, и небо над ними. Этот зеленый

простор в мимолетном маковом цвету с одной стороны и торжественность заснеженных горных хребтов с другой стороны возвышали, возносили душу к несбыточным желаниям и приводили к горьким сокрушениям. От горечи ему захотелось горького. И он заказал водки. Выпив несколько рюмок, он однако не почувствовал выпитого. Тогда он заказал пиво и сидел, весь отдавшись своим размышлениям. День клонился к концу. В прозрачности весеннего вечера разбегалась земля по сторонам от железной дороги. Проносились, мелькая, поселки, сады, дороги, мосты, люди и стада, но все это мало трогало Едигея, ибо тяжелая тоска, подступившая вдруг с новой силой, омрачала и угнетала его душу смутным предчувствием некой законченности былого.

И опять пришли на память прощальные слова Раймалы-аги:

…С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай…

В том состоянии казалось Едигею Буранному, что это он притянут веревками к березе, как

когда-то Раймалы-ага, что это он, отторгнутый и отнятый от самого себя…

Так просидел он до темноты, пока не набилось в вагон-ресторан много народу и стало трудно дышать от табачного дыма. Не понимал Едигей — и чего это люди так беспечны, что за мелочные разговоры волнуют их за столом и почему они находят удовольствие в водке и табаке? Неприятны были ему и женщины, объявившиеся здесь с мужчинами. Особенно неприятен был их смех. Он встал, пошатываясь; нашел официантку, запыхавшуюся с подносом между галдящими столами путевого ресторана, и, расплатившись, пошел в свое купе. Предстояло пройти несколько вагонов. Пока он шел, раскачиваясь вместе с поездом, ему становилось все тягостней и сиротливей от ощущения своего полного одиночества и отчужденности.

Зачем было жить, зачем куда-то ехать…

И теперь ему безразлично, откуда, куда и зачем он едет, куда спешит сквозь ночь скорый поезд. В каком-то тамбуре он остановился, прижался пылающим лбом к прохладным застекленным дверям и стоял здесь не оглядываясь, не обращая внимания на пассажиров,

снующих мимо него.

А поезд шел раскачиваясь. И можно было открыть дверь, поскольку у Едигея, как у всех железнодорожников, был свой ключ, можно было открыть и переступить черту… В какой-то пустынной местности во тьме Едигей различил два далеких манящих огонька. Они долго не исчезали из виду. То ли окна одинокого жилья светились, то ли то были костры небольшие. Какие-то люди, должно быть, находились возле тех огней. Кто они? И почему они там? Эх, была бы там Зарипа с детишками! Спрыгнул бы сейчас с поезда и побежал к ней, а добежав одним духом, упал бы ей в ноги и плакал бы не стыдясь, чтобы выплакать всю накопившуюся боль и тоску…

Буранный Едигей сдавленно застонал, глядя на те огоньки в степи, уже исчезающие в стороне. И стоял так у дверей тамбура, всхлипывая неслышно и не оборачиваясь, не обращая внимания на шумные хождения пассажиров по поезду. Лицо его было мокрым от слез… и была возможность открыть дверь и переступить черту…

А поезд шел раскачиваясь.

…С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай…

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

Поднявшись с гнездовья, с обрыва Малакумдычап, большой коршун-белохвост вылетел на обозрение местности. Он облетал свои угодья дважды — до полудня и пополудни.

Внимательно просматривая поверхность степи, примечая все, что шевелилось внизу, вплоть до ползущих жуков и юрких ящериц, коршун молча летел над сарозеками, степенно помахивая крыльями, постепенно набирая высоту, чтобы шире и дальше видеть степь под собой, и одновременно приближался, перемещаясь плавными витками, к своему излюбленному

месту охоты — к территории закрытой зоны. С тех пор как этот обширный район был огорожен, здесь заметно прибавилось мелкой живности и разного рода пернатых, потому что лисы и другое рыскающее зверье уже не смели проникать сюда беспрепятственно. Зато коршуну изгороди была нипочем. Тем он и пользовался. Она обернулась ему на благо. Хотя как сказать. Третьего дня засек он сверху маленького зайчонка, и, когда кинулся на него камнем, зайчишка успел заскочить под проволоку, а коршун чуть не напоролся с размаху на шипы. Едва вывернул, едва уклонился, взмыл круто и яростно вверх, задевая перьями острое жало шипов. Несколько пушинок с груди потом отделились в воздухе, полетели сами по себе. С тех пор коршун старался подальше держаться от этой опасной изгороди.

Так летел он в тот час, как подобает владыке, с достоинством, не суетясь, ничем, ни одним лишним взмахом не привлекая к себе внимания наземных существ. В этот день с утра — в первый и теперь во второй залет — он заметил большое оживление людей и машин на обширных бетонированных полях космодрома. Машины катили взад-вперед и особенно часто кружили возле конструкций с ракетами. Эти ракеты, нацеленные

в небо, давно уже стояли особняком на своих площадках, коршун давно уже привык к ним, но сегодня что-то происходило вокруг. Слишком много машин, слишком много людей, слишком много движения…

Не осталось не замеченным коршуном и то, что проследовавшие давеча по степи человек на верблюде, два тарахтящих трактора и рыжая лохматая собака стояли теперь у колючей проволоки снаружи, точно бы не могли ее преодолеть… Рыжая собака раздражала коршуна своим праздным видом и особенно тем, что околачивалась возле людей, но он ничем не выказал своего отношения к рыжей собаке, не опустится же он до такой степени… Он просто кружил над этим местом, зорко поглядывая, что будет дальше, что собирается делать эта рыжая собака, виляющая хвостом возле людей…

Едигей поднял бородатое лицо и увидел в небе парящего коршуна. «Белохвост, крупный, — подумал он. — Ээ, был бы коршуном, кто бы мог меня остановить. Полетел бы и сел бы на кумбезах[27] Ана-Бейита!»

В это время впереди на дороге показалась

---

[27] Примечания: 27
Кумбез — гробница.

машина. «Едет! — обрадовался Буранный Едигей. — Ну, дай бог, все уладится!» Газик быстро примчался к шлагбауму и резко остановился сбоку от дверей постового помещения. Часовой ждал приближения машины. Он сразу вытянулся, отдал честь начальнику по караулу лейтенанту Тансыкбаеву, когда тот вышел из газика, и начал докладывать:

— Товарищ лейтенант, докладываю вам…

Но начальник караула приостановил его жестом и, когда часовой на полуслове убрал руку от козырька, обернулся к стоящим по ту сторону шлагбаума.

— Кто тут посторонние? Кто ждет? Это вы? — спросил он, обращаясь к Буранному Едигею.

— Биз, бизрой, карагым. Ана-Бейитке жетпей турып калдык. Калай да болса, жардамдеш, карагым[28], — сказал Едигей, стараясь, чтобы награды на груди попали на глаза молодому офицеру.

На лейтенанта Тансыкбаева это не произвело никакого впечатления, он лишь сухо кашлянул и, когда старик Едигей намерился было снова заговорить, холодно упредил его:

— Товарищ посторонний, обращайтесь ко

[28] Примечания: 28

Мы, это мы сынок. Не пропускают нас на кладбище. Сделай что-нибудь, помоги нам, сынок.

мне на русском языке. Я лицо при исполнении служебных обязанностей, — пояснил он, хмуря черные брови над раскосыми глазами.

Буранный Едигей засмущался сильно:

— Э-э, извини, извини. Если не так, то извини. — И растерянно умолк, потеряв дар речи и ту мысль, которую собирался высказать.

— Товарищ лейтенант, разрешите изложить нашу просьбу, — выручая старика, обратился Длинный Эдильбай.

— Изложите, только покороче, — предупредил начальник по караулу.

— Одну минутку. Пусть присутствует при этом сын покойного. — Длинный Эдильбай обернулся в сторону Сабитжана. — Сабитжан, эй, Сабитжан, подойди сюда!

Но тот, прохаживаясь в стороне, лишь отмахнулся неприязненно:

— Договаривайтесь сами.

Длинному Эдильбаю пришлось покраснеть.

— Извините, товарищ лейтенант, он в обиде, что так получается. Это сын умершего, нашего старика Казангапа. И тут еще зять его, вон он, в прицепе.

Зять подумал, кажется, что его требуют, и стал слезать с прицепа.

— Эти детали меня не интересуют. Излагайте суть дела, — предложил начальник по караулу.

— Хорошо.

— Коротко и по порядку.

— Хорошо. Коротко и по порядку.

Длинный Эдильбай принялся докладывать все как есть — кто они, откуда, с какой целью и почему появились здесь. И пока он говорил, Едигей следил за лицом лейтенанта Тансыкбаева и понял, что ничего хорошего ждать им не следует. Тот стоял по ту сторону шлагбаума лишь для того, чтобы выслушать формально жалобу посторонних лиц. Едигей это понял и померк в душе. И все, что было связано со смертью Казангапа, все его приготовления к выезду, все то, что он сделал, чтобы убедить молодых согласиться хоронить покойника на Ана-Бейите, все его думы, все то, в чем он видел связующую нить свою с историей сарозеков — все это вмиг превратилось в ничто, все это оказалось бесполезным, ничтожным перед лицом Тансыкбаева. Едигей стоял оскорбленный в лучших чувствах. Смешно и обидно было ему до слез за трусливого Сабитжана, который вчера еще только, запивая водку шубатом, разглагольствовал о богах, о радиоуправляемых людях, стараясь поразить боранлинцев своими

познаниями, а теперь не желал и рта раскрыть! Смешно и обидно было ему за нелепо обряженного в ковровую попону с кистями Буранного Каранара — зачем и кому это надо теперь! Этот лейтенантик Тансыкбаев, не пожелавший или побоявшийся говорить на родном языке, — разве он мог оценить убранство Каранара? Смешно и обидно было Едигею за несчастного Казангапова зятя-алкоголика, который, ни капли не употребив спиртного, ехал в трясучем прицепе, чтобы быть рядом с телом покойного, а теперь подошел и встал рядом, судя по всему, еще надеясь, что их пропустят на кладбище. Даже за собаку свою, за рыжего пса Жолбарса, смешно и обидно было Буранному Едигею — зачем увязался он по своей доброй воле и зачем терпеливо выжидает, когда они двинутся дальше? Зачем все это ему-то, псине? А быть может, собака-то как раз и предчувствовала, что худо будет хозяину, потому и примкнула, чтобы быть в такой час рядом. В кабинах сидели молодые парни трактористы Калибек и Жумагали — что им сказать теперь и что они должны думать после всего этого? Униженный и расстроенный Едигей, однако, явственно ощущал, как поднималась в нем волна негодования, как горячо и яростно исторгалась кровь из серд-

ца, и, зная себя, зная, как опасно ему поддаться зову гнева, старался заглушить его в себе усилием воли. Нет, не имел он права не совладать с собой, покуда покойник лежал еще непогребенный в прицепе. Не к лицу старому человеку возмущаться и повышать голос. Так думал он, стискивая зубы и напрягая желваки, чтобы не выдать ни словом, ни жестом того, что происходило в нем в тот час. Как и ожидал Едигей, разговор Длинного Эдильбая с начальником по караулу сразу же обернулся в безнадежную сторону.

— Ничем не могу помочь. Въезд на территорию зоны посторонним лицам категорически воспрещен, — сказал лейтенант, выслушав Длинного Эдильбая.

— Мы не знали об этом, товарищ лейтенант. А иначе мы не приехали бы сюда. Зачем, спрашивается? А теперь, раз уж мы оказались здесь, попросите вышестоящее начальство, чтобы нам разрешили похоронить человека. Не везти же нам его обратно.

— Я уже докладывал по службе. И получил указание не допускать никого ни под каким предлогом.

— Какой же это предлог, товарищ лейтенант? — изумился Длинный Эдильбай. — Стали бы мы

искать предлог. Зачем? Чего мы не видели там, в вашей зоне? Если бы не похороны, зачем бы мы стали такой путь делать?

— Я вам еще раз объясняю, товарищ посторонний, сюда доступа нет никому.

— Что значит посторонний! — вдруг подал голос до сих пор молчавший зять-алкоголик. — Кто посторонний? Мы посторонний? — сказал он, багровея дряблым, испитым лицом, а губы у него стали сизые.

— Вот именно: с каких это пор? — поддержал его Длинный Эдильбай.

Стараясь не переступать некую дозволенную границу, зять-алкоголик не повысил голоса, а лишь сказал, понимая, что он плохо говорит по-русски, задерживая и выправляя слова:

— Это наш, наше сарозекский кладбищ. И мы, мы, сарозекский народ, имеем право хоронить здесь своя людей. Когда здесь хоронит очень давно Найман-Ана, никто не знал, что будет такой закрытый зон.

— Я не намерен вступать с вами в спор, — заявил на то лейтенант Тансыкбаев. — Как начальник караульной службы на данное время, я еще раз заявляю — на территорию охраняемой зоны никакого доступа ни по каким причинам

нет и не будет.

Наступило молчание. «Только бы выдержать, только бы не обругать его!» Заклиная себя, Буранный Едигей глянул мельком на небо и опять увидел того коршуна, плавно кружащего в отдалении. И опять позавидовал он этой спокойной и сильной птице. И решил, что дальше нечего испытывать судьбу, придется убираться, не лезть же силой. И, глянув еще раз на коршуна, Едигей сказал:

— Товарищ лейтенант, мы уйдем. Но передай, кто там у вас, генерал или еще больше, — так нельзя! Я, как старый солдат, говорю — это неправильно.

— Что правильно, что нет — обсуждать приказ свыше я не имею права. И чтобы в дальнейшем вы знали, мне велено передать: это кладбище подлежит ликвидации.

— Ана-Бейит? — поразился Длинный Эдильбай.

— Да. Если оно так называется.

— А почему? Кому мешает это кладбище? — возмутился Длинный Эдильбай.

— Там будет новый микрорайон.

— Чудеса! — развел руками Длинный Эдильбай. — Вам больше негде, места не хватает?

— Так предусмотрено по плану.

— Слушай, а кто твой отец? — спросил в упор Буранный Едигей лейтенанта Тансыкбаева.

Тот очень удивился:

— Это еще зачем? Какое ваше дело?

— А такое, что не должен ты говорить нам о том, о чем должен был сказать там, где задумали уничтожить наше кладбище. Или твои отцы не умирали, или ты сам никогда не умрешь?

— Это не имеет никакого отношения к делу.

— Хорошо, давай по делу. Тогда давай, товарищ лейтенант, кто у вас самый главный, пусть меня выслушает, я требую, чтобы разрешили мне сказать жалобу самому главному вашему начальнику. Скажи, что старый фронтовик, сарозекский житель Едигей Жангельдин хочет сказать ему пару слов.

— Этого я сделать не могу. Мне указано, как положено действовать.

— А что ты можешь? — опять вмешался зять-алкоголик. И сказал с отчаяния: — Милица на базаре и то лучше!

— Прекратите безобразие! — выпрямился, бледнея, начальник по караулу. Прекратите! Уберите этого от шлагбаума и освободите дорогу от тракторов!

Едигей и Длинный Эдильбай схватили зятя-алкоголика и потащили его прочь, к тракторам на дороге, а он продолжал кричать, оглядываясь:

— Саган жол да жетпейди, саган жер да жетпейди! Урдым сендейдин аузын![29]

Сабитжан, который все это время отмалчивался, мрачно прохаживаясь в стороне, тут решил проявить себя, выступив навстречу:

— Ну что? От ворот поворот! Так оно и должно было быть. Разбежались. Ана-Бейит! И только! А теперь вот как побитые собаки!

— Это кто побитая собака? — кинулся к нему разошедшийся не на шутку зять-алкоголик. — Если есть среди нас собака, то это ты, сволочь! Какая разница — тот, что стоит там или ты? А еще бахвалишься — я государственный человек! Да ты никакой не человек.

— А ты, пьянчуга, язык-то придержи! — крикливо пригрозил Сабитжан, чтобы слышно было и на посту. — Я бы на их месте за такие слова упек бы тебя куда подальше, чтоб духу твоего близко не было! Какая польза обществу, уничтожать надо таких, как ты!

С этими словами Сабитжан повернулся спиной,

---

[29] Примечания: 29

Тебе и дороги не хватает, тебе и земли не хватает! Плевал я на тебя!

плевать, мол, мне на тебя и тех, кто с тобой, и, проявляя вдруг активность, по-хозяйски, громко и требовательно стал распоряжаться, приказывая трактористам:

— А вы что разинули рты? А ну заводите трактора! Как приехали, так и уедем! К чертовой матери! Давай поворачивай! Хватит! Побыл в дураках! Послушался других.

Калибек завел свой трактор и стал осторожно разворачивать прицеп на выезд, тем временем зять-алкоголик вскочил в тележку, снова занял свое место возле покойника. А Жумагали ждал, пока Буранный Едигей отвяжет своего Каранара от ковша экскаватора. Видя это, Сабитжан, однако, не воздержался, а, наоборот, заторопил:

— А ты чего не заводишь? Давай заводи! Нечего! Крути назад! Похоронил, называется! Я ведь сразу был против! А теперь хватит! Крути домой!

Пока Буранный Едигей садился на верблюда — надо было вначале заставить его прилечь, потом взгромоздиться в седло и поднять его на ноги, — трактора пошли вперед, в обратный путь. Покатили по своим же следам. И даже ждать не стали. Это Сабитжан, сидя в первом тракторе, торопил…

А в небе кружил все тот же коршун. Наблюдая

свысока за рыжей собакой, почему-то раздражавшей его своим бесцельным поведением, коршун следил за ней. Непонятно было, почему собака не побежала, когда двинулись трактора, вперед, а осталась возле человека с верблюдом, ждала, пока он сядет верхом, и потом потрусила за ним.

Люди на тракторах, следом верховой на верблюде, а за ним рыжая собака, бегущая скоком, снова двинулись по сарозекам в направлении обрыва Малакумдычап, где на уступе в одной из глухих промоин грунта было коршунье гнездо. В другое бы время коршун заволновался, роняя тревожные выкрики, держался бы вроде на отдалении, но не спускал бы глаз с пришельцев, убыстряя полет, позвал бы свою подругу, что охотилась по-соседству на своих законных землях, чтобы и она присоединилась к нему на всякий случай, если потребуется защищать гнездо, но на этот раз коршун-белохвост нисколько не беспокоился — птенцы давно уже оперились и покинули гнездо. С каждым днем укрепляя крылья, янтарноглазые, горбатоклювые коршунята уже вели самостоятельную жизнь, имели свои владения в сарозекской округе и теперь не очень-то дружелюбно встречали старого коршуна, когда он заглядывал мимоходом в их края…

Коршун следил за людьми, повернувшими в обратный путь, по привычке видеть все, что происходит в пределах его угодий. И особенно вызывала любопытство рыжая лохматая собака, неотлучно находящаяся при людях. Что связывало ее с ними, почему она не охотилась сама по себе, а бегала, виляя хвостом, за теми, кто занят был своими делами? Зачем ей такая жизнь? И еще привлекали внимание коршуна какие-то блестящие предметы на груди человека, едущего на верблюде. Именно поэтому коршун сразу заметил, как человек на верблюде, следовавший за тракторами, вдруг резко свернул в сторону и пошел суходолом наискось, обгоняя трактора наперерез, пока они огибали суходол. Он погонял верблюда все быстрей и быстрей, размахивая плетью, блестящие предметы на груди его подпрыгивали и позвякивали, верблюд резво бежал, широко и длинно выкидывая ноги, а рыжая собака припустила галопом…

Так продолжалось некоторое время, пока человек на верблюде не обогнал стороной трактора и не остановился поперек пути на въезде в каньон Малакумдычапа. И трактора затормозили перед ним.

— Что? Что случилось еще? — выглянул из ка-

бины Сабитжан.

— Ничего. Глуши моторы, — велел Буранный Едигей. — Разговор есть.

— Какой еще разговор? Не задерживай, накатались досыта!

— Сейчас ты задерживаешь. Потому что хоронить будем здесь.

— Хватит издеваться! — вспылил Сабитжан, еще больше раздергивая на шее галстук, свалявшийся в тряпку. — Я сам буду хоронить на разъезде, и никаких разговоров! Хватит!

— Слушай, Сабитжан! Отец твой, никто не спорит. Но ведь в мире не ты один. Ты послушай все-таки. Что случилось там, на посту, ты сам видел, сам слышал. Никто из нас не виноват. Но подумай о другом. Где это видано, чтобы мертвого возвращали с похорон домой? Такого не бывало. Это позор на наши головы. Вовеки такого не бывало.

— А мне плевать на все, — возразил Сабитжан.

— Это сейчас тебе плевать. Сгоряча чего не скажешь. А завтра будет стыдно. Подумай. Позора ничем не смоешь. Вынесенный из дома на погребение не должен возвращаться назад.

Тем временем из кабины экскаватора вылез Длинный Эдильбай, с тележки спустился зять-ал-

коголик, экскаваторщик Жумагали тоже подошел узнать, в чем дело. Буранный Едигей верхом на Каранаре преграждал им дорогу.

— Слушайте, джигиты, — говорил он. — Не идите против человеческого обычая, не идите против природы! Такого не бывало, чтобы с кладбища покойника возвращали назад. Кого увезли хоронить, тот должен быть похоронен. Другого не дано. Вот обрыв Малакумдычап. Это тоже наша земля сарозекская! Здесь, на Малакумдычапе, Найман-Ана великий плач имела. Послушайте меня, старика Едигея. Пусть будет здесь могила Казангапа. И моя могила тоже пусть будет здесь. Бог даст, сами похороните. Об этом буду молить вас. А сейчас еще не поздно, еще есть время — вон там, на самом обрыве, предадим покойника земле!

Длинный Эдильбай глянул на указанное Едигеем место.

— Как, Жумагали, проедет твой экскаватор? — спросил он у того.

— Да проедет, почему же нет. Вон тем краем…

— Ты постой, тем краем! Ты вперед у меня спроси! — вмешался Сабитжан.

— А вот мы и спрашиваем, — ответил Жумагали. — Слышал, что человек сказал? Что тебе

еще надо?

— А я говорю, хватит издеваться! Это надругательство! Поехали на разъезд!

— Ну, если ты думаешь об этом, то надругательство как раз и будет, когда покойника с кладбища домой приволокешь! — сказал ему Жумагали. — Так что ты крепко подумай.

Все примолкли.

— Вот что, вы как хотите, — бросил Жумагали, — а я поеду могилу рыть. Мой долг вырыть яму, да поглубже. Пока еще время терпит. В темноте никто этим заниматься не будет. А вы тут как хотите.

И Жумагали направился к своему экскаватору «Беларусь». Не мешкая завел его, вырулил на обочину и поехал мимо на пригорок и с него на верх обрыва Малакумдычап. За ним зашагал Длинный Эдильбай, за ним тронул своего Каранара Буранный Едигей.

Зять-алкоголик сказал трактористу Калибеку:

— Если не поедешь туда, — указал он на обрыв, — то я лягу под трактор. Мне это ничего не стоит. — С этими словами он встал перед трактористом.

— Ну чего, куда ехать? — спросил Калибек у Сабитжана.

— Кругом сволочи, кругом собаки! — выругался вслух Сабитжан. — Ну чего сидишь, заводи давай, трогай за ними!

Коршун в небе теперь следил за тем, как люди завозились на обрыве. Одна из машин стала судорожно дергаться, выгребая землю и откладывая ее в кучу возле ебя, как суслик возле норы. Тем временем сзади подползал трактор с прицепом. В нем все так же сидел одинокий человек перед странным неподвижным предметом, завернутым в белое и положенным посередине тележки. Рыжая лохматая собака слонялась возле людей, но больше держалась верблюда, лежала у его ног.

Коршун понял, что эти пришельцы долго останутся на обрыве, копаясь в земле. Он плавно отвалил в сторону и, наметывая широкие круги над степью, полетел в сторону закрытой зоны, собираясь поохотиться по пути и глянуть заодно, что происходило там, на космодроме.

Вот уже вторые сутки на площадках космодрома царило напряжение, работа шла беспрерывно днем и ночью. Весь космодром со всеми прилегающими спецслужбами и зонами ночью был ярко освещен сотнями мощных прожекторов. На земле было светлее, чем днем. Десятки тяжелых, легких и специальных машин, много ученых и

инженеров были заняты подготовкой к осуществлению операции «Обруч».

Антиспутники, изготовленные для уничтожения летательных аппаратов в космосе, давно уже стояли, нацеленные к подъему, на особой площадке космодрома. Но по соглашению ОСВ-7 они были заморожены в использовании до особой договоренности, так же как подобные средства американской стороны. Теперь они находили свое новое применение в связи с экстренной программой по осуществлению транскосмической операции «Обруч». Такие же ракеты-роботы готовились к синхронному запуску по операции «Обруч» и на американском космодроме Невада.

Время старта в сарозекских широтах приходилось на восемь часов вечера. Ровно в восемь ноль-ноль ракеты должны были стартовать. Последовательно, с интервалом полторы минуты в дальний космос должны были уйти девять сарозекских антиспутниковых ракет, предназначенных образовать в плоскости Запад — Восток постоянно действующий обруч вокруг земного шара против проникновения инопланетных летательных аппаратов. Невадским ракетам-роботам предстояло установить обруч Север — Юг.

Ровно в три часа пополудни на космодроме

Сары-Озек-1 включилась контрольно-предпусковая система «Пятиминутка». Через каждые пять минут на всех экранах и табло по всем службам и каналам вспыхивали напоминания, сопровождаемые звуковым дубляжем: «До старта четыре часа пятьдесят пять минут! До старта четыре часа пятьдесят минут…» За три часа до старта должна была включиться система «Минутка».

К тому времени орбитальная станция «Паритет» успела изменить параметры своего местонахождения в космосе и одновременно были перекодированы каналы радиосвязи бортовых систем станции, чтобы исключить всякую возможность контактов с паритет-космонавтами 1–2 и 2–1.

А между тем совершенно напрасно, поистине как глас вопиющего в пустыне, из вселенной шли беспрерывные радиосигналы паритет-космонавтов 1–2 и 2–1! Они отчаянно просили не прерывать с ними связи. Они не оспаривали решение Общенупра, предлагая еще и еще раз изучить проблемы возможных контактов с лесногрудской цивилизацией, исходя, разумеется, прежде всего из интересов землян, они не настаивали на немедленной реабилитации своей, соглашаясь ждать и делать все, чтобы их

нахождение на планете Лесная Грудь служило обоюдной пользе межгалактических отношений, но они возражали против предпринимаемой сторонами операции «Обруч» — против той глобальной самоизоляции, ведущей, как они считали, к неизбежной исторической и технологической рутине человеческого общества, на преодоление которой потребуются тысячелетия… Но было уже поздно… Никто на свете не мог их слушать, никто не предполагал, что в мировом пространстве безмолвно взывают их голоса…

Тем временем на космодроме Сары-Озек-1 уже включилась система «Минутка», необратимо отсчитывающая приближение старта по операции «Обруч»…

А коршун, совершив очередной облет, снова появился над обрывом Малакумдычап. Люди там были заняты своим делом — они работали лопатами. Экскаватор уже нарыл большую кучу земли. Теперь он запускал ковш глубоко в яму, выскребая последние порции грунта. Вскоре он перестал дергаться и отошел в сторону, а люди принялись что-то докапывать на дне ямы. Верблюд был на месте, однако рыжей собаки не было видно. Куда она могла деться? Коршун подлетел поближе и, описывая плавный круг над обры-

вом, поворачивая голову то направо, то налево, увидел наконец, что рыжая собака лежала под прицепом, растянувшись у самых колес. Собака валялась себе, отдыхая, а может быть, дремала, и дела ей не было до коршуна. Сколько летал он сегодня над ней, а она даже ни разу не взглянула в небо. Суслик и тот, привстав столбиком, вначале оглядится вокруг и посмотрит вверх, нет ли опасности какой. А собака приспособилась к житью возле людей и ничего не боится, и никаких тебе забот. Вон как разлеглась! Коршун завис на мгновение, напрягся и выпустил из-под хвоста резкую, как выстрел, зеленовато-белую струю в сторону собаки. Вот, мол, на тебе!

Что-то шмякнулось сверху на рукав Буранного Едигея. То был птичий помет. Откуда бы? Едигей стряхнул помет с рукава, поднял голову. «Опять белохвост, все тот же. Уже в который раз над головой. К чему бы это? Ишь как хорошо ему. Плывет, качается по воздуху». Мысль его прервал голос Длинного Эдильбая со дна ямы.

— Ну что, Едике, ты посмотри! Хватит или еще копать?

Едигей хмуро склонился над краем могилы.

— Отойди в тот угол, — попросил он Длинного Эдильбая, — а ты, Калибек, вылезай пока. Спаси-

бо тебе. Ну что ж, вроде бы глубина достаточная. И все-таки, Эдильбай, еще чуток расширить надо казанак, пусть будет попросторней.

Отдав эти распоряжения, Буранный Едигей взял малую канистру с водой и, отойдя за экскаватор, совершил омовение, как и полагалось перед молитвой. И тогда душа его более или менее водворилась на место — пусть не удалось похоронить Казангапа на Ана-Бейите, но как бы то ни было — избежали большого позора: не приволокли покойника непогребенным домой. Не прояви он настойчивости, так бы оно и получилось. Теперь надо было как-то уложиться во времени, чтобы до наступления темноты успеть вернуться на Боранлы-Буранный. Дома, конечно, ждут и будут беспокоиться из-за их задержки. Обещали ведь вернуться не позднее шести, к тому времени готовились поминки. Но уже было полпятого. Еще предстояли захоронение и дорога по сарозекам. Даже при быстрой езде это часа на два. Однако спешить, комкать похороны тоже было не след. В крайнем случае помянут поздно вечером. Ничего не поделаешь…

После омовения Едигей почувствовал себя облеченным совершить последний ритуал. Прикрутив пробку канистры, он появился из-за

экскаватора со значительным выражением лица, важно разглаживая бороду.

— Сын усопшего раба божьего Казангапа Сабитжан, встань с левой стороны от меня, а вы четверо принесите тело на край могилы, положите покойника головой к закату, — произнес он несколько торжественным голосом. И когда все было сделано, сказал: — А теперь обратимся все в сторону священной Каабы. Раскройте ладони перед собой, думайте о боге, чтобы слова и помыслы наши были услышаны им в такой час.

Как ни странно, никаких смешков и бормотаний за спиной у себя Едигей не уловил. И был тем доволен, а ведь могли же сказать: брось, старик, голову морочить, какой ты, к шутам, мулла, давай лучше прикопаем мертвеца побыстрей да вернемся домой. Мало того, Едигей взял на себя смелость приносить молитву на погребении стоя, а не сидя, ибо слышал от знающих людей, что в арабских странах, откуда пришла религия, молятся на кладбищах, стоя во весь рост. Так это или не так, но хотелось Едигею быть поближе головой к небесам.

Но, прежде чем начать обряд, кланяясь во вступлении к нему правой и левой сторонам света и таким же наклоном головы земле и небу и тем

самым кланяясь творцу за незыблемое устроение мира, в котором человек возникает случайно, а исчезает с неизменностью наступления дня и ночи, опять же увидел Буран-ный Едигей коршуна-белохвоста перед собой. Тот планировал впереди, чуть пошевеливая крыльями, размеренно описывая высоко в небе круг за кругом. Но коршун вовсе не отвлекал его от внутреннего настроя, а, наоборот, помогал сосредоточиться в кругу высоких дум.

Перед ним на краю зияющей ямы лежал на носилках завернутый в белую кошму усопший Казангап. Произнося вполголоса погребальные слова, заблаговременно предназначенные всем и каждому, всем и на все времена впредь до скончания света, слова, в которых были изначально сказаны предопределения, неизбежные и равнозначные дла всех, для любого человека, кем бы он ни был и в какую бы эпоху ни жил, а в равной степени неизбежно и для тех, кому еще суждено будет народиться, произнося эти всеобъемлющие формулы бытия, постигнутые и завещанные пророками, Буранный Едигей вместе с тем пытался дополнить их собственными мыслями, исходящими из его души и личного опыта. Ведь не зря же жил человек на свете.

«Если ты и вправду слышишь, о боже, мою молитву, которую я повторяю вслед за праотцами из заученных книг, то услышь и меня. Я думаю, одно другому не будет мешать.

Вот мы стоим здесь, на обрыве Малакумдычап, у разверзнутой могилы Казангапа, в безлюдном и диком месте, потому что не удалось похоронить нам его на завещанном кладбище. А коршун в небе смотрит на нас, как стоим мы с раскрытыми ладонями и прощаемся с Казангапом. Ты, великий, если ты есть, прости нас и прими захоронение раба твоего Казангапа с милостью, и если он того заслуживает, определи его душу на вечный покой. Все, что от нас зависело, мы постарались сделать. Остальное за тобой!

А теперь, раз я к тебе обращаюсь в такой час, выслушай меня, пока я еще жив и могу мыслить. Ясное дело, люди только и знают что просят тебя — пожалей, помоги, огради! Слишком много ждут от тебя по всякому случаю — правому и неправому. Убийца и тот хочет в душе, чтобы ты был на его стороне. А ты все молчишь. Что и говорить, на то мы люди, кажется нам, особенно когда туго приходится, что только для того ты и существуешь в небесах. Тяжко тебе, понимаю, мольбам нашим нет конца. А ты один. Я же ни-

чего не прошу. Я лишь хочу сказать в такой час, что мне думается.

Сокрушаюсь я крепко оттого, что заветное кладбище наше, где покоится Найман-Ана, отныне нам недоступно. А потому хочу я, чтобы и мне суждено было лежать в этом месте, на Малакумдычапе, где ступала нога ее. Да будет так, чтобы быть мне рядом с Казангапом, которого сейчас мы предадим земле. И если правда, что душа после смерти переселяется во что-то, зачем мне быть муравьем, хотелось бы мне превратиться в коршуна-белохвоста. Чтобы летать вон как тот над сарозеками и глядеть не наглядеться с высоты на землю свою. Вот и все.

А насчет завещания своего я накажу молодым, что прибыли сюда вместе со мной. Скажу я им, что наказ свой возлагаю на них — похоронить меня здесь. Вот только не вижу, кто совершит молитву надо мной. В бога они не верят и молитв никаких не знают. Ведь никто не знает и никогда не узнает, есть ли бог на свете. Одни говорят — есть, другие говорят — нет. Я хочу верить, что ты есть и что ты в помыслах моих. И когда я обращаюсь к тебе с молитвами, то на самом деле я обращаюсь через тебя к себе, и дано мне в час такой мыслить, как если бы мыслил ты сам,

создатель. В этом ведь все дело! А они, молодые, об этом не думают и молитвы презирают. Но что они смогут сказать себе и другим в великий час смерти? Жалко мне их, как постигнут они сокровенность свою человеческую, если нет у них пути возвыситься в мыслях так, как если бы каждый из них вдруг оказался бы богом? Прости мне это кощунство. Никто из них богом не станет, но иначе и ты перестанешь существовать. Если человек не сможет возомнить себя втайне богом, ратующим за всех, как должен был бы ратовать ты о людях, то и тебя, боже, тоже не станет… А мне не хотелось бы, чтобы ты исчез бесследно…

Вот и вся печаль моя. Прости, если что не так. Я простой человек, как умею, так и думаю. Сейчас доскажу я последние слова из священных писаний, и мы приступим к погребению. Благослови же нас на это дело…»

— Аминь, — заключил Буранный Едигей молитву и, помолчав, еще раз глянув на коршуна с пронзительной тоской, медленно обернулся к стоящим позади молодым, о которых только что высказал свое мнение самому господу богу. Кончилась беседа с богом. Перед ним стояли те самые пятеро, с которыми он прибыл сюда и с которыми предстояло сейчас совершить наконец

столь затянувшееся захоронение.

— Так вот, — сказал он им раздумчиво, — что полагалось сказать в молитве, я сказал за вас. Теперь приступим к делу.

Скинув пиджак с орденами, Буранный Едигей сам опустился на дно ямы. Ему помогал Длинный Эдильбай. Сабитжан, как сын умершего, оставался в стороне, выражая свою скорбь склоненной головой, те трое — Калибек, Жумагали и зять-алкоголик — сняли с носилок кошмяной куль с телом и опустили его в могилу на руки Едигея и Длинного Эдильбая.

«Вот и настал час разлуки! — подумал Буранный Едигей, укладывая Казангапа на вечное пребывание на ложе его в глубине земли. — Прости, что долго не могли определить тебя на место. Целый день возили то туда, то сюда. Но так уж получилось. Не по нашей вине не погребли мы тебя на Ана-Бейите. Но не думай, я это дело не оставлю так. Дойду куда угодно. Пока жив, не промолчу. Уж я им скажу! А ты будь спокоен на своем месте. Велика, необъятна земля, а место тебе в десять вершков оказалось, видишь ли, предназначено здесь. И ты здесь не будешь один. Скоро и я водворюсь сюда, Казангап. Ты подожди меня немного. И не сомневайся. Если только беды

какой не приключится, если умру своей смертью, прибуду и я сюда, и будем снова вместе. И превратимся мы в землю сарозекскую. Только знать того не будем. Знать об этом дано, лишь покуда живешь. Потому я и говорю вроде бы тебе, а на самом деле себе. Ведь то, чем ты был, того уже нет. Вот так мы и уйдем — из былого в небылое. А поезда будут пробегать по сарозекам, и другие люди придут вместо нас…»

И тут старый Едигей не выдержал, всхлипнул — все, что было-перебыло за многие годы их жизни на разъезде Боранлы-Буранный, вся эта, казалось бы, громадная протяженность во времени, все беды, невзгоды и радости поместились в несколько прощальных слов и несколько минут погребения. Как много и как мало дано человеку!

— Ты слышишь, Эдильбай? — проговорил Едигей, соприкасаясь с ним в тесной яме плечом к плечу. — Ты и меня похорони здесь, чтобы рядышком был. И вот так вот руками своими уложи меня и пристрой, как это делаем мы сейчас, чтобы и мне лежалось удобно. Ты даешь мне слово?

— Перестань, Едике, потом поговорим. Ты давай сейчас вылезай на свет божий. А я тут сам закончу дело. Успокойся, Едике, вылезай. Не томись.

Размазывая глину на мокром лице, Буранный

Едигей поднялся со дна ямы, ему протянули руки, и он вылез наверх, плача и бормоча какие-то жалостливые слова. Калибек принес канистру с водой, чтобы старик умылся.

Потом они кинули вниз по пригоршне земли и принялись засыпать могилу с подветренной стороны. Вначале лопатами, а потом Жумагали сел за руль, сталкивая грунт бульдозером. Потом снова укладывали кучу над могилой лопатами…

А коршун-белохвост все парил над ними, наблюдая за облачком пыли и за этой горсткой людей, совершавших нечто странное на обрыве Малакумдычап. Он отметил какое-то особое оживление среди них, когда на месте ямы стала вырастать свежая гора земли. И рыжая собака, потягиваясь, встала тем временем со своего места из-под прицепа и тоже теперь крутилась возле людей. Ей-то чего надо было? Только старый верблюд, украшенный попоной с кистями, все так же невозмутимо жевал свою жвачку, непрестанно двигая челюстями…

Кажется, люди собирались уезжать. Но нет, вот один из них, хозяин верблюда, развернул ладони перед лицом, все остальные поступили так же…

Время уже не терпело. Буранный Едигей обвел всех долгим, пристальным взглядом и сказал:

— Вот и делу конец. Хорошим ли человеком был Казангап?

— Хорошим, — ответили те.

— Не остался ли в долгах он кому? Здесь его сын, пусть возьмет на себя долг отца.

Никто ничего не ответил. И тогда Калибек сказал за всех:

— Нет, никаких долгов за ним не осталось.

— В таком случае что ты скажешь, сын Казангапа Сабитжан? — обратился к нему Едигей.

— Спасибо вам всем, — коротко ответил тот.

— Ну раз так, значит — двинулись домой! — сказал Жумагали.

— Сейчас. Одно только слово, — остановил его Буранный Едигей. — Я среди вас тут самый старый. Просьба у меня ко всем. Если такое случится, похороните здесь меня, вот тут, бок о бок с Казангапом. Вы слышали? Это мой завет, стало быть, так и понимайте.

— Этого никто не знает, Едике, как и что будет, зачем заранее думать, высказал свое сомнение Калибек.

— Все равно, — настаивал Едигей. — Мне полагается сказать, а вам полагается выслушать. А когда дело дойдет до дела, вспомните, что был такой завет.

— А еще какие великие заветы будут? Давай, Едике, выкладывай заодно, подшутил Длинный Эдильбай, желая разрядить обстановку.

— А ты не смейся, — обиделся Едигей. — Я ведь всерьез.

— Запомним, Едике, — успокоил его Длинный Эдильбай. — Если так выйдет, сделаем, как ты хочешь. Не сомневайся.

— Ну вот это слово джигита, — удовлетворенно пробурчал тот.

Трактора стали разворачиваться для съезда с обрыва. Ведя на поводу Каранара, Буранный Едигей пошел рядом с Сабитжаном, пока трактора съезжали вниз. Он хотел поговорить с ним наедине о том, что его очень тревожило.

— Слушай, Сабитжан, руки у нас освободились, и есть теперь один разговор. Как же нам быть с кладбищем нашим, с Ана-Бейитом? — сказал он ему вопрошающим тоном.

— А что как быть? Тут и голову нечего ломать, — ответил Сабитжан. — План есть план. Ликвидировать его будут, сносить по плану. Вот и весь сказ.

— Да я не об этом. Так можно на любое дело махнуть рукой. Вот ты родился и вырос здесь. Выучил тебя отец. И теперь мы его похоронили. Одного в

чистом поле — единственное утешение, что все равно на своей земле. Ты грамотный, работаешь в области, слава богу, разговоры можешь вести с кем угодно. Книги разные читал…

— Ну и что из этого? — перебил его Сабитжан.

— А то, что помог бы ты мне в разговоре, отправились бы мы с тобой, пока не поздно, не откладывая, прямо завтра же к начальству здешнему, есть же в этом городе кто-то самый главный. Нельзя, чтобы Ана-Бейит сровняли с землей. Ведь тут история.

— Это все старые сказки, пойми ты, Едике. Здесь решаются мировые, космические вопросы, а мы пойдем с жалобой о каком-то кладбище. Кому это нужно? Для них это — тьфу! Да и все равно туда нас не пустят.

— Так если не идти, то не пустят. А если потребовать, то и пустят. А нет, так сам начальник может подъехать на встречу. Не гора же он, чтобы с места не трогаться.

Сабитжан метнул на Едигея раздраженный взгляд.

— Оставь, старик, это пустое дело. А на меня не рассчитывай. Мне это совсем ни к чему.

— Так бы и сказал. И разговору конец. А то сказки!

— А как же ты думал? Что я, так и побегу! Ради чего? У меня семья, дети, работа. Зачем мне против ветра мочу пускать? Чтобы отсюда один звонок — и мне пинком под задницу? Нет уж, спасибо!

— Ты свое спасибо сам принимай, — бросил Буранный Едигей и добавил зло:

— Пинком под задницу! Выходит, только для задницы и живешь!

— А как же ты думал? Вот именно! Это тебе просто — кто ты? Никто. А мы для задницы живем, чтобы в рот послаще попало.

— Во-во! Прежде головой дорожили, а теперь, выходит, задницей.

— Как хочешь, так и понимай. А дураков не ищи.

— Ясно. Разговору конец! — отрезал Буранный Едигей. — Справляй поминки, и больше нам с тобой, бог даст, не встретиться никогда.

— Уж как придется, — скривился Сабитжан.

На том они разминулись. Пока Буранный Едигей садился на верблюда, трактористы поджидали его, заведя моторы, но он им сразу сказал, чтобы они не задерживались, а ехали своим ходом, да побыстрей насколько можно, люди там ждут с поминками, а ему верхом везде дорога, он,

мол, поедет сам по себе.

Когда трактористы укатили, Едигей еще оставался на месте, решая, как поступить дальше.

Теперь он был один, в полном одиночестве посреди сарозеков, если не считать верного пса Жолбарса, который вначале кинулся за уходящими тракторами, а потом снова прибежал, когда понял, что хозяину теперь не по пути с ними. Но Едигей не обращал на него внимания. Если бы собака убежала домой, он и этого не заметил бы. Не до того было. Свет был не мил. Ничем не мог подавить он в себе душевного ожога — гнетущую, тревожную опустошенность после разговора с Сабитжаном. Эта сосущая пустота неутихающей боли зияла в нем, как сквозная брешь, как ущелье, в котором только холод и мрак. Каялся Буранный Едигей, крепко каялся, что зря затеял разговор, напрасно бросил слова на ветер. Разве же Сабитжан тот человек, к которому стоило обращаться за советом да помощью? Понадеялся — грамотный, мол, образованный, ему проще найти язык с такими, как он сам. А что из того, что обучался он на разных курсах да в разных институтах? Может быть его и обучали для того, чтобы он сделался таким, каким оказался. Может быть, где-то есть кто-то проницательный, как дьявол, который

много трудов вложил в Сабитжана, чтобы Сабитжан стал Сабитжаном, а не кем-то другим. Ведь сам он, Сабитжан, рассказывал, расписывал на все лады такую ерунду о радиоуправляемых людях. Грядут, мол, те времена! А что, если им самим уже управляет по радио тот невидимый и всемогущий…

И чем больше думал старик Едигей об этом, тем обидней и безысходней становилось от этих мыслей.

— Манкурт ты! Самый настоящий манкурт! — прошептал он в сердцах, ненавидя и жалея Сабитжана.

Но он вовсе не собирался мириться со случившимся, он понимал, что должен что-то сделать, что-то предпринять, чтобы не согнуться в три погибели. Буранный Едигей понимал, что если он отступит, то это будет его поражением в собственных глазах. Предчувствуя, что предстоит что-то совершить вопреки очевидному исходу дня, он пока еще не мог сказать точно, что именно он хотел бы сделать, с чего начать и как приступить к тому, чтобы думы и чаяния его по поводу Ана-Бейита дошли до тех, кто действительно может изменить приказ. Дошли бы и возымели какое-то действие, переубедили бы их… Но как этого до-

стичь? Куда двинуться, что предпринять?

В тяжком раздумье Едигей огляделся по сторонам, сидя верхом на Каранаре. Кругом была молчаливая степь. Предвечерние тени уже закрадывались под краснопесчаные яры Малакумдычапа. Трактора давно уже исчезли вдали, умолкли. Укатила молодежь. Последний из тех, кто знал и сохранял в памяти сарозекскую быль, — старик Казангап лежал теперь на обрыве, под свеженасыпанным холмом одинокой могилы, посреди необъятной степи. Едигей представил себе, как мало-помалу бугорок этот осядет, приплюснется, сольется с полынным цветом сарозеков и трудно, а то и просто невозможно будет различить его на этом месте. Тому и быть — никто не переживет землю, никто не минет земли…

Солнце набрякло, отяжелело к концу дня, принижаясь под непосильной тяжестью своей все ближе и ближе к горизонту. Свет уходящего светила менялся с минуты на минуту. В чреве заката неуловимо зарождалась тьма, наливаясь сумеречной синевой в сияющем золоте озаренного пространства.

Размышляя, обдумывая обстановку, Буранный Едигей решился на то, чтобы снова вернуться

к шлагбауму на проезде в зону. Иного способа не придумал. Теперь, когда похороны были позади, когда он не был связан никем и ничем и потому мог полагаться на себя в полной мере настолько, насколько хватило бы сил, отпущенных ему природой и опытом, он мог позволить себе действовать на свой страх и риск так, как считал нужным. Прежде всего он хотел добиться, заставить караульную службу пойти на то, чтобы его препроводили, пусть даже под конвоем, к большому начальству, или, если потребуется, принудить того начальника прибыть к шлагбауму и выслушать его, Буранного Едигея. И тогда бы он все высказал в лицо…

Все это им было продумано, и Буранный Едигей решил действовать без промедления — непосредственным поводом к тому он намерен был выдвинуть прискорбный случай с похоронами Казангапа. Он твердо решил проявить настойчивость у шлагбаума, требовать пропуска или встречи, с этого начать, заставить охранников понять, что он будет добиваться своего до тех пор, пока его не выслушает самый высокий чин, а не какой-то Тансыкбаев…

На том он укрепился духом.

— Таубакель! Если у собаки есть хозяин, то у

волка есть бог! — ободрил он себя и уверенно приударил Каранара, направляясь в сторону шлагбаума.

Тем временем солнце закатилось, стало быстро темнеть. Когда он приближался к зоне, было уже совсем темно. Оставалось с полкилометра до шлагбаума, когда впереди стали ясно видны постовые фонари. Здесь, не доезжая до часового, Едигей заранее спешился. Слез, сползая с седла. Верблюд был ни к чему в таком деле. Зачем такая обуза? Да еще какой начальник попадется, а то ведь не захочет разговаривать, скажет: «Проваливай отсюда вместе со своим верблюдом. Откуда ты такой взялся! Никакого приема тебе нет!» — и в кабинет не допустит. Но главное же, не знал Едигей, чем кончится его затея, долго ли придется ждать результата, так уж лучше было заявиться самому по себе, а Каранара оставить пока стреноженным в степи. Будет себе пастись.

— Ну ты здесь подожди пока, а я пойду попытаю, чем оно обернется, пробурчал он, обращаясь к Каранару, но больше для собственной уверенности. Пришлось все-таки укладывать верблюда наземь, потому что требовалось достать из переметной сумы путы, приготовить их.

Пока Едигей возился впотьмах с путами, было

так тихо вокруг, царила такая безмерная тишина, что он слышал собственное дыхание и попискивание, жужжание каких-то насекомых в воздухе. Над головой засветилось великое множество звезд, вдруг сразу объявившихся в чистом небе. Так тихо было, точно бы ожидалось что-то…

Даже привычный к сарозекской тишине Жолбарс и тот, напряженно настораживаясь, поскуливал почему-то. Что ему могло не нравиться в этой тишине? — Ты еще мне тут путаешься под ногами! — недовольно высказался хозяин. Потом он подумал: а куда девать собаку? И некоторое время соображал, перебирая верблюжьи путы в руках, как быть с собакой. Ясное дело, собака не отстанет. Будешь гнать — все равно не уйдет. Появляться же с собакой просителем опять же было не к лицу. Если не скажут, то посмеются, подумают: вот, мол, пришел старик права отстаивать, а с ним никого, кроме собаки. Так уж лучше быть без пса. И тогда Едигей решил привязать его на длинном поводу к верблюжьей сбруе. Пусть побудут вместе в одной связке собака и верблюд, пока он отлучится. С тем он подозвал собаку: «Жолбарс! Жолбарс! Поди сюда!» — и склонился, чтобы заладить узел на его шее. И тут как раз что-то произошло в воздухе, что-то сдвинулось

в пространстве с нарастающим вулканическим грохотом. И совсем рядом, где-то совсем вблизи, в зоне космодрома, взметнулась столбом в небо яркая вспышка грозного пламени. Буранный Едигей отпрянул в испуге, а верблюд с криком вскочил с места… Собака в страхе кинулась к ногам человека.

То пошла на подъем первая боевая ракета-робот по транскосмической заградительной операции «Обруч». В сарозеках было ровно восемь часов вечера. Вслед за первой рванулась ввысь вторая, за ней третья и еще, и еще… Ракеты уходили в дальний космос закладывать вокруг земного шара постоянно действующий кордон, чтобы ничего не изменилось в земных делах, чтобы все оставалось как есть…

Небо обваливалось на голову, разверзаясь в клубах кипящего пламени и дыма… Человек, верблюд, собака — эти простейшие существа, обезумев, бежали прочь. Объятые ужасом, они бежали вместе, страшась расстаться друг с другом, они бежали по степи, безжалостно высветляемые гигантскими огненными сполохами…

Но как долго бы они ни бежали, то был бег на месте, ибо каждый новый взрыв накрывал их с головой пожаром всеохватного света и сокруша-

ющего грохота вокруг…

А они бежали — человек, верблюд и собака, бежали без оглядки, и вдруг, почудилось Едигею, откуда ни возьмись появилась сбоку белая птица, некогда возникшая из белого платка Найман-Аны, когда она падала с седла, пронзенная стрелой собственного сына-манкурта… Белая птица быстро полетела рядом с человеком, крича ему в том грохоте и светопреставлении:

— Чей ты? Как твое имя? Вспомни свое имя! Твой отец — Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай…

И долго еще разносился ее голос в сомкнувшейся тьме…

Через несколько дней из Кзыл-Орды прибыли на Боранлы-Буранный обе дочери Едигея, Сауле и Шарапат, с мужьями, с детьми, получив телеграмму о кончине сарозекского старца Казангапа. Помянуть, засвидетельствовать свою скорбь приехали, а заодно и погостить денек-другой у родителей, поскольку нет худа без добра.

Когда они сошли с поезда всей гурьбой и объявились у Едигеева порога, отца дома не было, а Укубала выскочила навстречу и, плача, обнимаясь, целуясь с детьми, не нарадуясь, все приговаривала:

— Многое спасибо тебе, Господи! Вот кстати-то! Отец как обрадуется! Как хорошо, что приехали! И все вместе приехали, собрались да приехали! Отец-то как обрадуется!

— А где же отец? — спросила Шарапат.

— А он вернется к вечеру. Уехал с утра в Почтовый ящик, к начальству тамошнему. Все дела у него там какие-то! Я потом расскажу. Да что же вы стоите? Это же ваш дом, дети мои…

Поезда в этих краях все так же шли с запада на восток и с востока на запад…

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.